

# Часть I







## Эта сторона

### 1

— А что там, с той стороны моста?

Егор уже, наверное, в сотый раз спрашивает это — и не устает, потому что ответ каждый раз разный.

Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за двадцать от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать, но не может.

Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть — и за ней видно все то же: ржавые рельсы, ржавые балки и ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями; чем-то, шевелящимся и на ветру, и без ветра.

Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман это дыхание самой реки, медленной, пенной, больной.

Самой реки с берега тоже не видно: бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман — ее чавканье, хлюпанье, урчание. Кажется, что она живая, но это только кажется. Ничего живого там, внизу, нет. И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать, одно слово — вода... Какая же эта вода?

По реке нельзя сплавляться — даже на баржах с железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху.

Поэтому и названия никакого реке теперь не нужно: река и река.

А раньше она называлась «Волга».

Егор не отстает:

— Ну так что?

— Что-то... Города какие-то, наверное. Такие же пустые, как вон наш Ярославль. Сам же знаешь, что спрашиваешь?

— Я-то как раз ничего не знаю. Это вы ж у нас все знаете, Сергей Петрович.

— Попробуй только нос на мост сунуть! Голову тебе оторву! Ясно тебе?!

— Мне-то ясно, Сергей Петрович. Я-то что? Просто балда с гитарой. Это вы же у нас комендант! Мне-то и не нужно этого знать. А вы-то? Это вам ведь восточную границу империи оборонять!

Полкан смотрит на Егора хмуро. Трет лысину. Отодвигает в сторону стакан в серебряном железнодорожном подстаканнике. Рычит:

— А мне хватает того, что я знаю, понял ты, умник? От Москвы и на тот край света идет эта наша гребаная железная дорога. Но как по мне — она на нас и заканчивается, раз с той стороны уже столько лет никто не стучался. Каждый своим делом должен заниматься, ясно тебе? У каждого свой пост!

Полкан барабанит пальцами по столу, пытается придумать себе занятие, под предлогом которого мог бы вышвырнуть Егора из своего кабинета. Урок политинформации кончился, не начавшись.

Егор предлагает перемирие:

— Гитару отдай, я пойду.

— Хрена тебе, а не гитару, понял?! Иди историю учи, и потом рукопашный бой у тебя будет, а вечером поговорим про твою гитару! Раздолбайничать он хочет, а учиться он не хочет ни хрена! Географию империи иди учи! Что тебе та сторона уперлась? Ты хоть вбей себе сначала в башку, что с этой!

А что с этой стороны?

Пустые дома, пустые улицы. Пустые жестянки брошенных машин. Кости ничейные — и порознь, и в обнимку. Дикае собаки.

Живых мест осталось мало. Разве что на постах, в станциях-крепостях сидят люди, прицепившись, прилепившись к железной дороге — и ощетинившись.

Полканов Пост, получается, самый крайний. Гарнизону велено охранять восточные подступы Московии, и он, верный присяге, стережет мост. То ли от бунтовщиков стережет, то ли от кочевников, то ли от зверья — сейчас уже даже Полкан не скажет, от кого.

В учебниках истории, по которым Егора заставляют учиться, все заканчивается благостно: процветание, справедливость, вхождение в новую эру. А где эта эра накрылась медным тазом, туда учебник уже не достает. Нужно верить Полкану, который говорит, что народ взбеленился, предатели растащили страну по частям, а столица была слишком обескровлена, чтобы и дальше держаться за отваливающиеся земли. Москва тогда, дескать, провела границу по отравленной ядовитой Волге, поставила на этом берегу Пост, про тот берег забыла, и занялась своими делами. Дел было еще невпроворот.

Была Россия — стала Московия.

Больше Егору знать и не полагается. Глядя Полкану в его свиные глаза, он говорит:

— Сдались мне эти твои география с историей. Екнулся старый мир, да и хер бы с ним. А гитару я все равно сопру. Не ты дарил, не тебе и отбирать, понял?!

Егор отодвигается потихоньку поближе к выходу, чтобы успеть вышмыгнуть, пока отяжелевший, закостеневший Полкан выберется из-за своего стола. Тот натужно соображает, что именно Егор ему сейчас сказал; в конце концов трясет кулачищем:

— Гляди у меня, балда! На ночь за стеной оставляю, вот тогда увидим, какой ты храбрый! А балалайку твою в печку кину!

— Посмей только!

Но гоняться за Егором коменданту лень. А потом — зачем сейчас гоняться, если ночевать им все равно под одной крышей. Егор сам придет к нему в лапы, как миленький. Не за стеной же, в самом деле, спать! И Полкан, не вставая, рычит глухо:

— Не хочешь учиться — не учишь! Семнадцать лет человеку, а он только брэнчать хочет да шляться, а думать он не хочет ни о чем! Знаешь, что? Хочешь за мост — валяй, шагай! Отпускаю! Только никуда ты не пойдешь, ясно? Потому что никуда от мамки своей не денешься! Сидишь под юбкой у нее! Только мне хамить вон умеешь, а больше ничего не умеешь!

— Я под юбкой, а ты под каблуком! Сам-то ты что можешь? На жопе только сидеть и командовать! Что тут, много ума надо? Командир, блин!

— Пшел вон! Вон пшел отсюда!

Егору только этого и надо: довести Полкана до белого каления.

Он сует руки в карманы и скатывается по ступеням с верхнего этажа коммуны — вниз.

## 2

Проскакивая второй, Егор тормозит у дерматиновой двери, у четвертой квартиры. Затаив дыхание, слушает — услышит ее голос? Нет?

Слух у Егора острый. Соседские разговоры слышит за стенкой дословно, по собачьему лаю слышит, как от китайцев подводки идут; знает, на какую ноту свистит чайник, а на какую воют волки. Мать говорит, это он в своего настоящего отца таким пошел. Дурацкий, говорит, дар, ничего от него хорошего.

Нет. Не слышно ее. Молится за дерматиновую дверь их старушенция, а больше ничего. Зря останавливался. Егор прыгает через несколько ступеней и летит дальше вниз.

В подъезде забирает приставленный к стенке лонгборд.

Становится на колеса, но никуда не едет: смотрит в окна над собой. В окна второго этажа. Окна пустые; на секунду ему кажется, что за стеклом, как подо льдом, скользнула она — распущенные светлые волосы, худые загорелые плечи — даже прозрачные серые глаза видятся... Неужели прослушал ее, неужели пропустил? Егор вскидывает руку, машет стеклу и льду — неуверенно.

И тут же спиной чувствует взгляд.

Мишель стоит у гаражей и смотрит на него насмешливо и заранее устало — она не хочет даже начинать этот разговор: привет, как дела, у меня нормально — потому что лучше Егора понимает, что там, за этой словесной шелухой. Ей двадцать четыре, Егор для нее слишком мелок и недостаточно крут, хоть он и пасынок коменданта Поста. Егору семнадцать, у него уже, конечно, все было; но было только так — для порядка и для очистки совести, с китайской проституткой на Шанхае. А Мишель — звезда, принцесса, инопланетянка.

В руках у нее айфон: ее вечный старый айфон, с которым она не расстанется ни на секунду. Мобильный, по которому нельзя никуда звонить, потому что сотовые сети упали давным-давно, еще в начале войны. Но он нужен Мишель не для того, чтобы звонить в настоящее. Он ей для связи с прошлым.

Егор шмыгает носом.

— Привет. Как дела?

Мишель смотрит на него — и он видит в ее взгляде что-то еще, не только вечную ее утомленность от Егоровых неумелых ухаживаний. Видит черноту — глаза перегорели. Она набирает воздуха, чтобы сдуть Егора из поля зрения, но вместо этого говорит бессильно и как будто бы равнодушно:

— Телефон сдох.

— Это как сдох?

— Не знаю. Должно же было это когда-нибудь случиться.

Как будто равнодушно — но ее голос дрожит, и Мишель отворачивается от Егора, смотрит в пустоту за воротами.

Егор тогда пыжится, чтобы выглядеть и звучать как можно увереннее.

— Ну как-то, наверное, можно починить его!

Мишель смотрит на него внимательно, в упор. У Егора головокружение. Он слушает ее запах.

— Как? Я носила уже Кольке Кольцову. Он говорит — этому хана, был бы новый — можно было бы попытаться память перекинуть, а так...

— Ну тогда, — глупо улыбаясь, говорит Егор. — Добро пожаловать к нам на Пост, наконец. Чувствуй себя, как дома. Тут у нас застава, там больница, а это школа. Нужники на улице — канализация не пашет...

Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью:

— Дебил. Не смешно.

Она отворачивается, сутулится и уходит. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет навсегда. Он и сам с собой не стал бы после такого разговаривать, а уж Мишель... Дебил. Точно, дебил.

Надо что-то придумать срочно. Что угодно. Сейчас!



Он комкает слова, лепит сумбур:  
 – Я тут песню придумал... Написал... Хочешь, сыграю?  
 Слава богу, этого она уже не слышит.

## 3

Мишель берется за дверную ручку очень осторожно: ручка скрипит, дверь скрипит, жирно лакированный сосновый паркет скрипит, все скрипит в этой проклятой квартире. Дед смеется: как по минному полю идешь — не туда ступил, кранты. Бабка услышит и все, приехали. Дед про минные поля знает, в войну сапером служил. В глубине квартиры пульсирует заунывное, скрипучим голосом:

Алый мрак в небесной черни  
 Начертил пожаром грань  
 Я пришел к твоей вечерне,  
 Полевая глухомань

Нелегка моя кошница  
 Но глаза синее дня  
 Знаю, мать-земля черница  
 Все мы тесная родня

Это бабка с надгробным пафосом бубнит своего Есенина. Твердит непослушными губами стихи, думает, что так память не потеряет.

И придем мы по равнинам  
 К правде сошьего креста  
 Светом книги голубиной  
 Напоить твои уста.

С порога шибает старческой кислятиной. Воздух густой как вода. В солнечном луче вихрится золотая пыль — будто бы планктон под фонарем нырлящика. Причитания затихают.

Мишель делает шаг, другой — и из комнаты, конечно, слышится:  
 – Никита! Никита!

Мишель с досадой выпускает из себя воздух, набранный в легкие, чтобы плыть, не касаясь паркетного дна.

– Никита! Это ты? Кто это?

Наконец, Мишель нехотя отзывается.

- Это я, баб!
- А дед где?
- На дежурстве он, баб!

Теперь нужно войти к ней поскорее, потому что иначе бабка может испугаться и расплчется еще, чего доброго. До инсульта она была кремень, и даже когда ее родная дочь сгнула в отключенной от связи Москве, она при внучке не плакала. А теперь вот чуть что – сразу в слезы.

У бабки все отнялось, кроме правой руки. Она приподнимает голову, тянется навстречу Мишель, тревожно хмурится – а потом узнает Мишель, улыбается ей и бросает голову на подушку. Просит настойчиво, но по-детски настойчиво:

– Деда найдешь мне?

– Он отдежурит и придет, ба! Он тебе зачем? Тебе судно поменять? Подмыть? Давай, я сделаю!

Мишель говорит нарочито спокойно. Но получается как будто зло. Мишель спрашивает себя – слышит бабка в ее голосе эту злость или не слышит? Было бы стыдно, если бы услышала.

– Нет, внушка, нет. Спасибо.

– А зачем?

– Ни зачем. Я подожду его. Я подожду.

Бабка пытается улыбнуться Мишель благодарно, но левая половина рта у нее неживая, и вместо улыбки получается ухмылка.

Вся комната заставлена старьем. В буфете фарфор: какие-то печальные собачки, мальчики в матросках со стертыми глазами; на шифоньере – ящики с неизвестным бархламом, все в пылице.

От кислятины глаза слезятся. Трудно возвращаться сюда с улицы.

Мишель поскорее уходит, притворяет к бабке дверь, и слышит, как та опять принимается читать нараспев:

Белая береза  
Под моим окном  
Принакрылась снегом  
Точно серебром

Мишель, конечно, знает, зачем бабке ее Никита. Наизусть знает, какие разговоры она собирается с ним заводить. Ей жалко бабку, но деда ей еще жалче, и поэтому она даже и не пойдет его искать, и не станет ему рассказывать, что бабка его звала.

Она заходит в кухню, закрывает дверь поплотнее, садится на свою табуретку, выуживает в кармане наушники, чтобы заглушить бабкино бормотание музыкой, достает свой телефон – и только тут вспоминает, что тот сдох.

Мишель по привычке, по инерции смотрит в перегоревший черный экран, но видит там только себя саму. А раньше там был весь мир — весь ее довоенный московский мир. Родители — живые, пятикомнатная квартира в центре и дом за городом, отмытые до блеска проспекты и выложенные брусчаткой улицы, расфурфиренные школьные друзья, кафе с угодливыми официантами и самыми фантастическими блюдами.

И еще видео с хохочущими людьми. И видео с отцовскими наставлениями.

И много музыки — саундтрек ко всей ее прежней московской жизни. Все эти годы на Посту Мишель не вынимала наушники из ушей: слушала все свое прежнее, пыталась наложить старую свою роскошную музыку на новую убогую картинку. Kleилось плохо, но всегда можно было закрыть глаза.

Теперь вот пришлось открывать.

#### 4

Полкан выходит во двор и оглядывает свою крепость.

Крепость для гарнизона слишком велика — зато лучше места для нее было не придумать. До Распада тут располагался Ярославский шинный завод; огромная территория с тех пор еще была обнесена бетонным забором с колючкой поверх, на въездах еще прежними владельцами были устроены КПП, а огромные чадные трубы могли бы стать такими дозорными башнями, с которых тот берег было бы видно до самого горизонта через любой туман — да вот только по ним наводились бомбардировщики, поэтому долго они не простояли.

А теперь охрана обходит все эти гектары раз в день, овчарки обнюхивают периметр, проверяют — не подкопался ли кто под забор, не перемахнул ли — приближаются к кирпичным заводским корпусам, и до темна возвращаются обратно в коммуну.

Коммуна стоит с самого края завода: две малоэтажных панельки, гаражи, дворик. Одна раньше была административным зданием, другая — поделена на типовые квартирki, в которых существовали от зарплаты до зарплаты, а иногда и в кредит, нормальные люди, большинство шинники. Получили тут жилье за выслугу своих резиновых лет.

Когда нормальная жизнь гикнулась вместе с зарплатами и кредитами, а российское человечество сильно поредело, граница обитаемого мира была перенесена ближе к столице, а уцелевшие по эту сторону ядовитой реки, сгучились на территории бывшего шинного завода. Их уже немного оставалось, так что делить им было особо нечего; куковать одним в своих старых квартирах — без окон, а иногда и без стен — было и тоскливо, и опасно. Человек человека греет все-таки...

Собрались они на Посту, спрятались за его бетонными заборами, обжили его общагу, в гаражах наладили какие-то мастерские, поставили сторожевые башенки, присягнули на верность Московии и стали как-то быть дальше — на самом краю мироздания.

Земля, кажется, все еще оставалась круглой, но верили теперь в это не все, а научные споры вести было и вовсе некому. Геополитическая карта стала меньше, а темных пятен на ней — больше; даже, собственно, Ярославль, по-хорошему, надо было бы на этой карте перерисовать, да только в город никого было не выгнать.

Из одной квартиры сделали клуб, из другой — столовую, в третьей разместили медпункт, а в четвертой детский сад и школу разом — потому что дети упрямо рождались: жизнь-то шла своим чередом, и те, кто потерял на войне свои первые семьи, тянулись к друг другу за утешением. Сильней любви только клей шибает.

От Полкана первая жена сбежала куда-то, допустим, в Королев, еще до Распада. Полкан тогда рулил отделением полиции по Ленинскому району, домой возвращался на рогах, жену третировал, и вот она дала ему отставку.

Потом прежняя Россия кончилась, а когда дым рассеялся, Полкану стало одиноко. Он заприметил Тамару, но та была не одна, с ней в комплекте шел Егор. Егоров отец куда-то от нее делся, и искать она его не планировала. Нутром ощущала, что в живых его больше нет, а значит, обязательствами она не связана.

Тамара многие вещи знала, просто знала — и все.

«Заприметил», — это Полкан сам так сказал ей.

Остальные говорили: «Голову потерял». Тамара была, конечно, для своего возраста очень красива. Но в то, что Полкан ее, цыганку, готов полюбить всерьез, а не на вечер, и в особенности в то, что он захочет, как родного, воспитывать цыганенка, она не верила.

Полгода он ее осаждал, подвергая унылым ментовским ухаживаниям и клянясь, что станет Егору папкой — при том, что уже тогда был командиром Поста, и виды на него имели многие.

Через месяц после того, как Тамара согласилась с ним сойтись, Полкан стал пить меньше; на новую жену руки не подымал. Но никаким папкой он Егору не стал, а Егор не стал ему сыном. В отличие от Тамары, Егор в смерти пропавшего своего родного отца уверен не был.

Никому никогда и в голову не приходило, что Егор мог бы быть сыном Полкана — кряжистого, брыластого, с башкой, растущей прямо из плеч.

Из уважения к Полкану Егора «цыганенком» на Посту даже за глаза никто не называл. Называли «Полканов выкормыш».

## 5

Егор глядит на алые силуэты панельных домов, которые маячат над путями. Там гниет город Ярославль. Сгонять туда? Может, повезет.

Здорово было бы вот так вот запросто взять и найти мобильник. Найти айфон и принести ей, вручить ей с таким видом, как будто ничего такого в этом особенного нет: вот, у меня, кстати, завалился старый, решил тебе его слить, твой же вроде сдох, да?

Или нет.

Или лучше уже описать все приключения, с которыми ему этот телефон достался. Как трудно было выбраться с Поста, что именно пришлось наврать охране, по чьей наводке он попал в ту самую квартиру, где у мертвых жильцов был припрятан не распакованный еще, новенький айфон. Новый было бы круче, чтоб прямо в коробке; это Мишель точно бы оценила!

Отпроситься у охраны на воротах, соврав, что Полкан Егора отправил с заданием на заставу? Но они могут начать звонить отчиму, а тот наябедничает матери, а мать устроит истерику, мол, Егорушка опять напрасно подвергает себя чудовищным опасностям. Как по ней, лучше было бы, если бы он сидел круглые сутки во дворе на лавочке и палочку ножиком строгал.

В полуобрушенных заводских корпусах расположено бомбоубежище: начинается оно на территории завода, но выходит катакомбами за ее пределы. Там, в подzemелье — Егоров тайный ход, тяжеленная чугунная дверь с замком-вентилем, как на подлодке. Неизвестный никому, кроме него и Полкана. Когда-то отчим, пытаясь с Егором подружиться, показал ему этот лаз под большим секретом.

Для дружбы этого не хватило.

Егор берет в караулке короткий семьдесят четвертый, выбирается за стену, становится на свой лонгборд и катит вдоль путей до города. Ветка доходит как раз до Ленинского района, бывшей Полкановой вотчины.

За воротами КПП можно по Советской ехать, а можно по Республиканскому проезду — и то, и то ведет от реки внутрь города.

Ярославль состоит из всего подряд: тут сталинка, тут панелька, тут трехэтажная стекляшка ТЦ, тут карусель, тут помойка, тут памятник Ленину в голубином дерьме, тут церковь обшелушенная; красоты недостача.

Нынешние обитатели Поста в город ходить не любят; если только в Родительскую субботу. Придут, потолкуются, повздыхают, разошьют по-быстрому пузырь. Посмотрят в слепые окна, повспоминают, какая раньше жизнь была, посмеются над бедами, которые тогда казались страшными, поплачут потихоньку над теми, кого не воротить — вот и вся программа.

А Егору Ярославль по кайфу. Тут доска нормально едет. Хороший здесь асфальт, дыбятся только местами, где-то корни взламывают серую корку, где-то воронки от снарядов — но так ехать даже веселей.

Зря мать параноит — в городе ничего такого уж опасного нет, от чего не спас бы укороченный ментовской калаш. Может, по ту сторону реки все и кишит какими-нибудь чудовищами — но через реку они, как и люди, перебраться не могут.

Егор катит под путями к автобусному парку, мимо приплавленных к асфальту автобусов гармошками — к сгоревшему торговому центру. Тут раньше находился салон сотовой связи: на первом этаже, за фудкортом. Мобильные раньше были самым ходовым товаром, у каждого имелась своя трубка. Куда же, черт их дери, теперь-то все подевались?

Он въезжает на скейте прямо внутрь; в потолке зияет дыра, через нее падают внутрь бледный свет и жухлые листья. В ТЦ, конечно, все уже сто лет как разграблено. Сгоревшее кафе, сгоревшая блинная, сгоревшая бургерная.

Вот и он: черно-желтый салон с оплавленной девушкой на постере: половина лица улыбается, половина обуглена.

Егор ворошит носком сапога горелые пластмассы, заходит в темную подсобку. Конечно, ничего. Капает откуда-то вода, ветер дует в трубы, как в свирель. Шуршат крысы. Егор бессознательно раскладывает капель по нотам, слова придумываются сами:

Ветер дует в трубы, как в свирель  
У него обветренные губы  
Ртутная тяжелая капель  
Нудная, тупая канитель  
Тик, так, тик. Гадаю: лю  
Или не любит?

Егор останавливается, кладет пальцы на деку отобранной Полканом гитары, перебирает воздух, подбирает аккорды; потом, так и не закончив, бросает. Становится на свою доску и катится дальше; не хочется возвращаться домой с пустыми руками.

Пока он доезжает до блочной многоэтажки, Ярославль успевает, как губка, напитаться темнотой. Входя в подъезд, Егор включает фонарь. Поднимается от этажа к этажу, дергая дверные ручки брошенных квартир. Иногда ему чудится, что в квартирах что-то движется; но это, наверное, ветер хлопает оконными ставнями и дверцами кухонных шкафчиков.

Егор находит незапертую квартиру, пробирается внутрь.

За кухонным столом сидит мумия в осенней ветровке. Руки черные, скрюченные, лежат на столе.

Егор садится напротив. Он по городу часто один лазит, его таким не напугаешь. Раньше, то есть, еще было страшновато, и Егор тогда придумал себе с мертвыми разговаривать.

– Привет. Как дела? Что нового?

– Да какое новое, брат. Из дома не выхожу.

– Ну, так-то, ты ничего и не пропустил. Там, снаружи, тоже без изменений. Тебя как звать-то?

– Семен Семеныч. А тебя?

– А меня Егором. Егор Батькович.

– Ну спасибо, что проведал, Егор Батькович.

– Да мне не трудно, я тут рядом живу. Слушай, Семен Семеныч, а ты не против, если я у тебя карманы гляну? Мне тут айфон нужно позарез. У одной девчонки сломался, и я вот короче... Подарить ей хотел.

– А что, красивая девчоночка-то?

– Да вообще огонь.

– Ну, блин. Так-то я не очень это люблю... Ну уж если ты прямо втюрился... Ну ладно тогда.

– Спасибо. Я аккуратно.

Егор лезет к Семену в карманы, тот старается держаться прямо. Карманы у него пустые. Егор тогда отряхивает руки, обходит квартиру, залезает в шкафы, но у Семена Семеновича дома хоть шаром покати.

Егор заглядывает еще в две другие квартиры.

Тут все вверх дном. Шкафы и серванты выпотрошены, все их содержимое вывалено на пол и растоптано. Валяются книги с вырванными страницами, под ногами хрустит хрустальная крошка от битых рюмок и фужеров.

Город за окном становится из алого сизым: солнце закатывается.

Пора возвращаться.

Егор закидывает калаш на плечо и катится по растрескавшемуся асфальту.

## 6

– Деда, пойдем домой!

Мишель глядит на деда Никиту одновременно просительно и строго; старый Никита показывает ей свой стакан, который наполовину полон.

– Еще не время!

– Бабка ноет. Где Никита, где Никита, «Березу» свою – и опять по новой.

Дед Никита обводит присутствующих унылым взглядом. Другие два старых хрыча, давние его друзья, еще заводские, понимающе вздыхают: дескать, прости и прощай, дорогой товарищ. Наспех чокаются, глотают мутный самогон, и дед

с кряхтением поднимается со своего насеста. Идет неровно — полный с краями стакан в нем бродит.

У входа в подъезд они оба переглядываются еще раз, и вдруг Мишель хватается деда Никиту за рукав.

— Я больше тут не могу, деда. Я тут сдохну.

— Ну вот прямо и сдохнешь!

— Я тебе серьезно.

— Ну и я не шучу, — дед вздыхает. — Если б твои родители были живы — да неужели бы они тебя к себе не забрали? Отец в тебе души не чаял! Ты у него с рук не слезала... А тут сколько лет прошло — и ни слуху, ни духу.

Сколько раз их разговор упирался именно в это: в ее упрямое нежелание допустить, что родителей давным-давно нет.

— Ну и че? Ну ладно, ну умерли они. И че?

— И кому ты там нужна тогда?

— Дяде Мише. Тете Саше.

— Позвонить они могли за столько лет, дядя Миша? Не звонили же.

Она мотает головой, но по лестнице за ним наверх все-таки бредет. Навстречу им соседи, из распахнутых дверей хлещет свет, слышны детские смех и плач, ругаются какие-то муж с женой, не думая даже закрыться. Коммуна так потому и называется, что вся она — одна коммуналка на четыре этажа. Какие уж тут секреты, какая личная жизнь.

Дверь, конечно, скрипит, и бабка сразу слышит этот скрип.

— Никита! Ты? Никита!

— Я, Маруся, я.

— Пойди ко мне. Пойди. Поговорить хоч.

Мишель садится в кухне и смотрит в стену. Хочется достать телефон: без телефона хоть вешайся.

— Что ты, Маруся?

— Надо повенчаться, Никита. Мне скоро помирать, а мы не повенчаны. Не найдемся друг с другом на том свете. Мне там одной тоскливо будет. Тебе разве нет?

— Будет, Марусенька. Я, может, к тебе в рай-то и не попаду еще.

— Тьфу тебя! Опять пил?

— Вот именно. А алкоголиков туда не берут, по-моему. Там твой Михаил Архангел скажет мне: «Ну-ка, дыхни!» И не пустит. Или кто там на воротах? Михаил или Гавриил?

— Зря ты так! Дурак!

Бабка всхлипывает, плачет. Мишель поднимается, прислоняется лбом к холодному стеклу; смотрит во двор.

— Не очень шутка, согласен. Да кто нас повенчает-то, Маруся? Тут стариков-то отпеть некому, а ты «венчание». Полкана вон, что ль, попросить?

— Дурак!



## 7

Там, где мост приходит на этот берег, стоит застава. Проброшен телефонный кабель до самого Поста: если вдруг на мосту кто появится, можно будет немедленно звонить в караулку или сразу Полкану. Но на мосту сто лет никого не было, поэтому на дежурство сюда мужики ходят полирнуть дневные сплетни самогоном: ночами прохладно, и начальство не запрещает.

Застава устроена на таком расстоянии, чтобы людям не приходилось дышать речными испарениями. Туман густой, тяжелый и как будто сделан из каучука: далеко от реки его не относит, тянет его обратно к воде. Если посветить фонарем вперед, луч влипает в ядовито-зеленую гущу, сразу теряет силу и даже на пару шагов не может пробиться вглубь — преломляется и расходится во все стороны ровно. Тогда кажется, что туман это мягкая, но непреодолимая стена. Как будто стенка пузыря, в котором находятся и Пост, да и вся остальная Московия. А за стенкой этой, может, летают в пустоте всякие галактики, а может, и нету ничего. Наверное, ничего нету, раз ничего не видно.

— Ну... Ленка Рыжая, понятное дело. Скажи лучше, кто ей не нравится, проще будет. На Ленке у нас все и держится!

Мужики смеются. Колька Кольцов придает себе решительный вид.

— А я бы вот с Мишелью замутил!

— Хо-хо! С Мишелью! Слышали, чуваки? С ней бы кто хочешь замутил бы!

Люди в заставе любят разговаривать. Потому что, когда замолкаешь, слышно становится, как разговаривает сама с собой река — урчит, клокочет, как будто переваривает кого-то, а иной раз издает такие звуки, которые вообще нельзя человеческим языком описать.

Ямщиков вдруг вздрагивает и тычет припавшего к горлышку Антончика в плечо. Озирается испуганно на мост.

— А не бормочет там кто-то, слышишь?

Антончик отрывается от фляжки, тоже настораживается. Оборачивается на Ямщикова.

— Да иди ты! Чуть не подавился из-за тебя! Глотку обжег!

Но Ямщиков не шутит. Он не сводит глаз с клокочущей пелены, за которой прячется неизвестной длины мост. В ней будто что-то на самом деле шевелится, набухает, растет. Приближается.

— Туда вон посвети, ну! — просит Ямщиков. — На мост.

— На мост? Да кто там будет, на мосту-то?

Антончик смеется, и тогда Ямщиков вырывает у него фонарь, и наводит желтый луч на зеленую стену.

— Вон! Не видишь, что ли?!

Руки у него трясутся, фонарь в них скачет, и луч, к туманной завесе уже совсем находящийся на излете, ослабший, то и дело соскальзывает со сгустка темноты, который прорисовывается в зеленой пелене.

Клейкий туман пристает к нему, облепляет, не дает понять очертания. Двигается оно странно, неровно, будто ползет толчками, рывками — да еще и раскачивается из стороны в сторону. Ростом оно, должно быть, не меньше двух с половиной метров, а то и все три. Длинное худое тело вроде бы венчает громадная голова.

Люди на заставе просто наблюдают за тем, как оно приближается к ним — наблюдают зачарованно, словно все инструкции разом вылетели у них из головы.

И только когда оно уже в полный рост маячит сквозь зеленую пелену, когда становится окончательно ясно, что все это происходит на самом деле, Ямщиков словно просыпается и орет:

— Стой, кто идет!

Оно продолжает переть на заставу упрямо: вот оно уже на шаг ближе, еще на шаг, еще, еще, еще.

Ямщиков нашаривает автомат, ствол наставляет на низкое пасмурное небо — облака распластаны на невидимом стекле прямо над головами — и палит в него одиночными. Стекло не бьется, небо не падает, существо это продолжает брести прямо на них. Ямщиков ревет:

— Стрелять буду!

Но Антончик забирает у него автомат.

— Дай мне. А ты посвети-ка лучше...

Ямщиков направляет прыгающий луч на приближающуюся фигуру. Глазастый Антончик ловит ее на мушку. Она все еще окутана зеленым шлейфом, но в такую башку сложно не попасть.

— В ружье! В ружье!

И тут эта фигура, вылупляясь окончательно из тумана, подает голос.

Заунывный, гундосый, как будто бы человеческий — но нет, совсем не человеческий — вой.

## 8

— Где Егор?

Полкан сидит, Тамара стоит над ним — высокая, худая, черные с серебряной нитью волосы собраны в тугий хвост, серебряный крестик выпростался из ворота. Полкан жмет плечами.

— Ну шляется где-то он, Егор твой. Почему я знаю?

— Я сон видела. Что нам угроза. Оттуда, с той стороны.

— С какой стороны, Тамарочка?

– Из-за моста. Змея приползет. Змей...

– Ага. Змей, принято.

Полкан со скрежетом отодвигается назад, шагает к плите, поднимает крышку с кастрюли. Из угла на него глядит томный Никола Чудотворец в жестяном окладе, а с прикроватной тумбочки зыркает Матрона Московская, черно-белая, не иконописная, а сфотографированная еще при жизни, и поэтому никакая не благодная, а, как и полагается живым людям, злая и настороженная. Весь дом в этих иконах, хуже церкви.

– Змей... Приползет змей, принесет погибель.

Глаза у Тамары сузились, она буравит ими Полкана. Он деланно зевает:

– Ну Тамара! Принесет, блин... Ну давай ты перестанешь нести это все! Змей! Ох-хо-хо! А что, добавочки-то нет, говоришь?

– Боюсь за Егора. Он тоже там во сне был, и так нехорошо...

– Ну хватит ты уже брехать! Брехать, каркать! Нормально все с ним, пошляется и вернется, ну?! Так что с рагу с этим?

– Мальчик мой... Мальчик мой...

Тамара закатывает глаза и оседает на пол. Полкан бросает тарелку, отшвыривает стул, успевает схватить жену под руки, чтобы не дать ей удариться.

– Вот накрутишь себя вечно! Сколько можно-то так! А?

И тут в запертые окна скребется с улицы автоматное стрекотание.

## 9

Егор подлетает к заставе снизу по асфальтовой дороге, бросает доску и продирается через кусты к путям, собирая с жухлого репейника серые колючки.

– Держитесь, мужики! Я иду! Я тут!

Он пробирается наконец через заросли, перехватывает поудобнее рукоять, оглядывается бешено вокруг – кто стрелял, кто напал?!

Дозорные на заставе опустили автоматы.

Они всматриваются в туман перед собой остолбенело – теперь по-настоящему замороженно.

Пошатаваясь, ссутулившись, на них упрямо идет оно... он. Идет и... нет, не воеет, а поет.

– Гоооооспооди, помиииииилуй...

Теперь эти слова совсем отчетливы; когда он пропел их в первый раз, было ничего не разобрать – и теперь-то ясно, почему.

На нем рваная хламида черного цвета, разорванная на груди. Лохмотья раздуваются, как парус, искажая очертания. Пляшет тяжелый железный крест на цепи, отскакивает от ребер, замахивается и лупит по ним снова – шаг за шагом.

## Дмитрий Глуховский

– Гоооооспооди, помиииииилуй!..

А в руках он несет истерзанную грязную хоругвь, с самодельным ликом какого-то седобородого старца – измученного, прошитого тут и там автоматным свинцом, но не убитого и глядящего вперед устало, но упрямо.

Подходит ближе. Стаскивает с себя зеленый противогаз с грязными стеклами: через него дышал, пока шел по мосту. Так и перебрался. Пока пел молитву через гундосый противогазный хобот, казалось, что зверюга воеет.

Лицо иссечено, руки иссечены, грудь в шрамах. Глаза белые-белые, навыворот, смотрит, не моргая. На ногах стоптанные кроссовки, бурые от крови. Борода клочками. Больше на лице ничего не разобрать – сплошь корка из грязи и запекшейся сукровицы.

– Эй! Ты кто такой? Ты откуда?

Человек ничего не отвечает им.

Он застывает в пяти шагах от столпившихся перед бруствером дозорных. Опускает задеревеневшей рукой хоругвь – и устанавливает ее в гальку, которой пересыпаны железнодорожные пути.

А потом обессиленно опускается на колени и заваливается набок.

От ворот Поста бегут люди – Полкан с охраной – окружают гостя, обыскивают – оружия, вроде, при нем нет; тогда его поднимают за руки-за ноги и тащат внутрь. Полкан распоряжается класть в лазарет.

Егор, воспользовавшись всеобщей суматохой, приближается к мосту, насколько можно – пока туман не принимается есть глаза, и от кислого его дыхания не начинает драть глотку. Он всматривается в клокочущее зеленое варево, вслушивается в него.. Иной раз кажется, что там, впереди, кто-то бормочет.. А иной раз – будто хрипит, задыхаясь.

– Егор! А ну ка! Живо домой пошел!

Обжигает и оглушает затрецина.

Полкан хватает его клешней за шею и оттаскивает от жерла.

Егор матерится невнятно, но сейчас спорить с Полканом не решается. Ничего, потом сочтемся.

Сам Полкан, отослав всех вон, сам еще медлит, задерживается на краю моста. И прежде, чем вернуться домой, зло харкает на неживую землю.

## Та сторона

### 1

Фаина, главврач и единственный вообще врач постового лазарета, снимает трубку и произносит в нее:

– Да, Сергей Петрович. Фая это. Нет, пока не очнулся. Отравление у него. Противогаз-то совсем старый, вот и надышался все-таки от реки. Лепечет что-то, но ничего не разобрать.

Все койки в лазарете стоят пустые, и только на одной, скрючившись под байковым одеялом, лежит худющий, изможденный человек. Руки у него исцарапаны, ноги все в синяках, на предплечьях порезы, спина вспухла от свежих ссадин, которые только-только начинают закрываться. Кажется, что он весь — одна сплошная кровоточащая или рана, или язва. Но в начале, когда человека сюда только принесли, этого не было видно — такая толстая короста грязи покрывала и его лицо, и его тело.

Сейчас короста сошла, и стало можно догадываться, сколько этому человеку лет: немногим больше тридцати. Точнее трудно определить, потому что лицо обветрено и всегда наморщено. Но в жидкой, как будто никогда не стриженной бороде — ни одного седого волоса. Борода русая, и голова тоже русая, а какого цвета глаза, врач не знает, потому что глаз человек ни разу еще не открыл.

Зрачки мечутся под тонкими веками в красных прожилках, человек крутится в постели и стонет, с кем-то спорит, испуганно вскрикивает, потом вдруг начинает нести какую-то несусветную чушь. Тогда врачница, выполняя полученный от начальства приказ, склоняется над спящим, и мягко, ласково, спрашивает у него:

– Как зовут-то тебя?

Человек не реагирует на ее вопрос никак. Но через некоторое время до него как будто доходит, и он начинает что-то мямлить. А замолкает, так и не договорив. Фаина напряженно вслушивается, потом вздыхает и продолжает:

– Откуда идешь?

Ее вопрос не может достать его из забытья. Он замирает, а потом как-то весь подбирается, прячет голову в руки, хочет весь уместиться под одеялом. Его начинает колотить озноб.

Фаине жалко его, за эти несколько дней она уже к нему привыкла. Назвала про себя Алешей. Решила, что Алеша человек не злой, но пострадавший и напуганный, и теперь ему сочувствует. Фаине видно, что Алеше тревожно, но Полкан велел не отставать от него, пока пришлый не очнется или не выдаст себя во сне.

— Ну что там? Что там такое? Что ты видишь?

Что-то он видит, но рассказать ей не хочет. Только крутится, крутится в постели. Тогда Фаина гладит его высокий горячий лоб своей рукой, разлепляет склеившиеся волосы, успокаивает:

— Тихо-тихо-тихо...

И он вроде бы слушается, затихает.

Врачица идет ставить себе чайник, потом достает из шкафа подаренный на прошлый Новый год почти не тронутый плесенью сборник sudoku и садится решать.

Звук из палаты отрывает ее на середине третьего задания. Она вскакивает и шаркающим бегом возвращается к койке, в которой лежит ее единственный больной.

Он разметал все простыни, его колотит озноб, а в руке он сжимает пойманный нательный крест — так сильно, что пальцы побелели.

Глаза у него открыты.

## 2

Полкан звонил в лазарет не по доброй воле. Ему самому, может, и плевать на этого попа. Но с тех пор, как он известил Москву о том, что за столько лет через мост впервые перебралась живая душа, по ту сторону провода словно с цепи сорвались.

Телефон прямой связи со столицей, китайская бежевая трубка с кудрявым проводом и наклейкой, линялым двуглавым орлом при короне, пиликает утром и вечером. Пост отвечает за отрезок кабеля до следующей станции. Иной раз его воруют, иной раз перегрызают, но в целом соединение с Москвой работает исправно. Общаться разрешено исключительно по проводной линии — радиоприемники под запретом еще с самой войны, чтобы враги не подслушивали. Только вот раньше из Москвы сюда набирали редко — и всякий раз по особо важным делам. Раньше Москву вполне устраивало, что на Посту ничего не происходит.

Полкан глядит на часы: десять утра.

Звонок не задерживается ни на минуту.

Он поднимает трубку и таким голосом, каким сторожевые собаки на воротах разговаривают, отвечает:

– Ярославский пост! Пирогов! Слушаю!

– Это Покровский. Нет новостей?

– Нету, Константин Сергеевич. Без сознания.

– А люди наши не прибыли еще?

– Какие люди, Константин Сергеевич?

– Вам не сказали? В вашем направлении выбыл отряд. С заданием. Вот уже должны у вас быть. Встречайте, значит. Ну все, отбой.

– Погодите, Константин Сергеевич! Вопросик еще. Мы тут поставочку ждем. У нас как бы... Ну, мясные консервы на исходе. Да и с крупами плохо...

– Вы по части продовольствия с соответствующим департаментом решайте. Служба тыла. Я-то тут при чем?

Трубка бухтит недовольно; Полкан утирает лоб рукавом.

– С соответствующими мы уже пытались... А вот люди, которые едут к нам... Они ничего для нас не везут?

– Вот у них и спросите. До связи.

Гудки.

Полкан смотрит в трубку, замахивается ей так, словно хочет разбить ее об угол стола, но в ложе укладывает аккуратно.

Потом встает, отпирает обитую поролоном дверь, выходит на лестничную клетку, вслушивается и спускается вниз, в пищеблок.

Проходит мимо составленных рядами столов, смотрит на нарезанные из старых журналов гирлянды – вчера всей коммуной отмечали день рождения у маленькой дочки Фроловых – и у плиты находит Льва Сергеевича. Откашливается и сообщает ему:

– Слушай, Лева. Говорят, к нам гости едут. Из Москвы. Встретить бы их, накормить по-человечески. Ну и наших всех заодно. А то люди нос повесили.

Лев Сергеевич, худосочный гарнизонный повар, смотрит на него, скрестив на груди руки. Смотрит мрачно одним своим глазом – на другом повязка, отчего Лев Сергеевич походит на пирата. Произносит взвешенно:

– У меня мяса осталось на два дня, а крупы на неделю. Сегодня по-человечески поедим, а через пару недель на человечину переходить придется.

– Что ж ты за злыдень такой! Будет поставка! Куда они денутся?

– Ты с ними говорил?

– Только что вот от телефона.

– О! Духу набрался. И что они?

– Ну, футболеят они меня. От одного департамента к другому. Скоро, скоро, завтра, завтра. Но не отказывают же!

Повар берет жухлую, странной формы луковицу, тычет в нее каким-то прибором с длинным острым жалом. Прибор истошно верещит. Лев Сергеевич отшвыривает луковицу в помойное ведро, хватает из кучи другую. Ворчит:

– Еще б отказались! Мы им тут за так, что ль, границу стережем? Мы у них на довольствии вообще-то. У них, а не у китаез. Вон, гляди, что шлют, нехристи. Вся картоха отравленная, а лук так мне вообще сейчас прибор запорет.

– Какая работа, такое и довольствие!

Полкан пытается пошутить, но пират его шутке не смеется.

– А если мы им тут не нужны, тогда пускай бы нас отпустили. Мы бы взяли тогда и переехали куда-нибудь от этой реки подальше. Не дышали мы бы тут этим дерьмом, и земля бы родила, глядишь. За какой такой надобностью нам-то тут торчать, спрашивается, если Москва на нас класть хотела?

– Короче, Лев Сергеич! Ты присягу приносил? Я приносил. Так что давай, тушенку открывай и ставь на стол. Ты свое дело делай, а за политику я с ними сам разберусь, лады? И бражки бы еще...

Пират Лев Сергеевич с отвращением отбрасывает еще одну истошно верещащую луковицу в помойное ведро и поднимает на Полкана свой пламенеющий глаз.

– Два месяца жрать нам не шлют, а бражки им подавай. Грош доверия у меня твоим москвичам. Пускай с собой бражку везут, дармоеды.

– Они, может, и везут. Они и тушенку, может быть, везут.

Не дожидаясь ответа, Полкан ретируется.

А во дворе его уже дожидается раскрасневшаяся от волнения Фаина.

### 3

Мишель трет руки одна о другую – ожесточенно.

Серое хозяйственное мыло дерет кожу. Вода ледяная. Руки от нее становятся пунцовыми, саднят. Но запах птичника мыло с них соскребает.

Надо что-то делать. Все на Посту должны что-то делать. Ее вот поставили на птичник – ничего особенного. Обычное бабское дело. Предлагали еще воспиталкой в детский сад идти – но Мишель от мелких держится подальше. Была бы своя сестренка там или брат – еще куда ни шло. Но с чужими сопляками возиться... Плюс ответственность. В том году у Морозовых старший выпал из окна, учительница проморгала. Нет, спасибо. Лучше куры. Задохлых кур не спросят.

Лучше безмозглые идиотские вонючие куры.

Мишель трет руки вафельным полотенцем, трет с ненавистью. Потом подходит к окну – сумерки напозают на город от леса. Она приоткрывает окно – хотя бы в кухне проветрить. Слушает дурацкий гомон двора – такой же назойливый, как гомон птичника. И вдруг видит за стеной, в просвете между корпусами – какой-то проблеск.

Луч.



Он бьет от железной дороги, с запада — оттуда, где идет ветка до Москвы. Кто-то едет сюда, на Пост. Мишель поворачивает ухо по ветру, и ветер обрывками, сгустками доносит до нее песню — мужские голоса, сбитые в хор, поют что-то бравое.

Из Москвы приезжают обычно смурные мужики в засаленных спецовках. Везут положенное гарнизону Поста довольствие — банки с тушенкой, пакеты с крупами. Мужики одни и те же: один в оспинах, другой брюхатый такой бородач, третий какой-то мутный головорез с ними ездит, для охраны. И все трое знакомы с Мишелью, конечно. Знают ее заказ — если хоть что-то услышат о ее родных в Москве, сразу ей доложить.

Правда, этих троих уже несколько месяцев тут не было — перебои с поставками; так что уже и по их оспяным рожам Мишель скучала, ждала, как письма от дорогого человека.

Но это не они.

Сноп света все ближе, и все громче песня. Подъезжают!

Дворовые собаки заходятся в лае. Бегут охранники, поправляя на бегу автоматы.

Выходит из подъезда, расправляя плечи и выкатывая вперед пузо, Полкан.

Ворота со скрежетом отворяются — и по специально положенным рельсам на Пост вкатывается сначала одна, потом другая, а потом и третья дрезина.

У Мишель из ее окна второго этажа лучший вид на эту сцену: и Полкан, и приезжие у нее как на ладони.

Тут одни мужчины, все молодые, все затянутые в зеленую форму с погонами. За спинами стволы, на головах фуражки с красными околышами. Потягиваются, смеются. С головной дрезины прыгивает первым, наверное, старший отряда.

Мишель потихоньку приоткрывает оконную створку — чтоб все расслышать.

Старший отдает честь подошедшему Полкану. Рапортует:

— Кригов Александр Евгеньич, Государя императора Московского казачьего войска подъесаул!

Полкан важно отзывается:

— Полковник Пирогов, Сергей Петрович.

Кригов энергично жмет Полкану его пухлую пятерню, снимает фуражку — виски выбриты, а выше соломенные волосы копной — и короткая борода тоже из соломы. Улыбка белая, глаза... Какие у него глаза?

Полкан ехидно уточняет:

— Подъесаул ведь навроде нашего капитана, а, Александр Евгеньевич?

— Нашего — это какого?

— Я в полиции звания получал.

— А... В полиции, — усмехается тот, дальше спорить не собираясь.

Подъесаул. А Мишель про себя решила уже называть его атаманом.

И тут этот атаман берет и сразу, не ища даже, откуда на него так пристально смотрят, а будто все уже зная, поднимает эти самые глаза — стальные — и нацеливает их на прячущуюся за оконными стеклами Мишель.

Красивый.

#### 4

Прибывшие спешиваются. Дрезины у них большие, моторизованные, у каждой есть кузов, в кузове под брезентом лежат ящики. Полкан смотрит на эти ящики — дощатые, с трафаретными надписями «Останкинский мясокомбинат» — и сердце у него радуется.

Ящики пока не трогают, но Полкан решает вопрос не форсировать. Когда будет время — тогда и отгрузят. Что с ходу клянчить — гостей надо сначала принять как следует, отогреть и накормить. Тогда уже и просить будет сподручней.

Но главное свое дело подьесаул Кригов в долгий ящик не откладывает.

— Ну что, господин полковник. Показывайте вашего гостя!

Шагая через двор, на здешнее хозяйство он озирается с кислой миной. Выправка у него что надо, шаг пружинит, взгляд строгий. Полкан глядит на свою крепость его глазами и понимает, что радоваться тут и вправду нечему. По двору гуляют куры, дети играют в караулке, к скамейке прислонен чей-то автомат — хорошо еще, без рожка. Бардак, а не пост.

В лазарете казак задерживается в дверях, оглядывается на врачиху — дадут халат? Но на Посту и тут без церемоний. Он снова недовольно качает головой.

Пришлый уже сидит в постели, обернувшись в одеяло, вокруг смотрит недоверчиво. Фаина объясняет казаку:

— Повезло вам как. Он только ведь сегодня очнулся. А так, чем уж ни пытались... От реки надышался! Проснулся — совсем горячечный. Все сбежать норовил.

Кригов смотрит на этого пришлого, на крест на его впалой груди. Улыбается ему и осеняет себя крестным знамением.

— Ты, брат, к своим попал, не бойся! Какое у тебя распятие знатное! Ты не монах ли, часом?

Тот в ответ только хмурится. Полкан разводит руками:

— Такое впечатление, что он по-русски ни бельмеса!

Казак тянет к гостю руку, а тот весь съезживается, словно его ударить хотят.

— Братец, слушай! Мы тебе плохого не сделаем, — хочет успокоить его Кригов.

Достаёт из ворота серебряный образок на цепочке, предъявляет его пришельцу.

– Видишь? Мы тоже православные! В одного бога веруем!

Пришлого образок зачаровывает, его взгляд перестает метаться с одного дознавателя на другого. Казак продолжает так же спокойно, ласково:

– Ты просто скажи – что стряслось-то? Напал на тебя кто-нибудь?

Рваное дыхание у пришлого налаживается, он кивает казаку.

– Ну вот! Так и расскажи, брат, что там?

Теперь гость качает головой.

Он, кажется, овладевает собой. Лицо его обретает осмысленное выражение. И вместо ответа он показывает на ухо и разводит руками. Фаина переводит:

– Глухой, мол! Вот мне с самого начала так и показалось, что он ничего не слышит.

Полкан скребет себе череп. Сомневается.

– Ну уж... Глухой.

Они приглядываются к гостю повнимательнее. Полкан напоминает:

– А ведь он не слышал, когда ему от заставы кричали. Шел, распевал «Господи, помилуй!». В него палили даже. Хорошо хоть, мимо.

Фаина вставляет свои две копейки:

– Мог и вообще ничего не понимать, если интоксикация серьезная. Мог находиться в бредовом состоянии.

Кригов наклоняется вперед, к сидящему на кровати гостю, тоже показывает себе на ухо, подсказывает ему:

– Глуховат ты, брат?

Пришлый с этим соглашается. Кивает. А потом, будто вспомнив, что умеет говорить, ровно, без перепадов и ударений, гундосит:

– Господь слуха не дал.

Кригов распрямляет спину.

– Ну вот.

Изучает его еще немного, потом кладет ему руку на плечо – тот вздрагивает, но руку не сбрасывает. Кригов медленно и тщательно выговаривает:

– А как звать тебя?

Пришлый не понимает. Тогда казак показывает пальцем на себя и произносит:

– Я Кригов. Александр Кригов.

– Игорь?

– Да какое! Ручка есть у вас и бумага?

Фаина приносит ему исписанную тетрадь и карандаш. Казак пишет свое имя на клетчатом листке, но пришлый смотрит в буквы тупо; насупливается, как будто не все узнает, пытается один раз их прочесть, другой, потом сдается и опять разводит руками. Полкан не выдерживает:

— Еще и безграмотный, что ли? Тьфу ты!

Казак смотрит на гостя вприщур.

— Да сколько ему лет? Он ведь не старый. Детство, небось, на войну пришлось. У нас и в Москве даже таких вот сирот знаешь, сколько! Может быть, и неграмотный.

Тут до гостя все-таки доходит, чего от него хотят. Он тоже тычет себя в грудь пальцем и выговаривает.

— Раб божий Даниил.

Фаина квохчет:

— Ну вот. А я его Алешей, Алешей...

Кригов кивает. Раздумывает.

— Слушай, брат Даниил. Выручай нас. Нам нужно знать, что там, за мостом. А?

Тот хмурится, тужится, хочет понять — но все-таки не понимает. Тогда Кригов, почесав бровь, снова берет карандаш и рисует: две извилистых линии — реку. Мост через нее. Периметр стены Поста очерчивает прямоугольником. Показывает на себя, на Пост. Потом на мост, потом на тот берег.

— Там что? Что там?

Брат Даниил вдруг прищуривается. Поджимается. Собирается. Выговаривает:

— Что на том берегу?

— Да, да!

Он кивает: понял.

— Дорога там. Железная. На восток идет.

— Ну дорога-то ладно. А города какие? Люди живут там? Или все пусто?

— Не понимаю. Что?

Кригову приходится еще раз это же самое спрашивать, и произносить все медленно и терпеливо, губами четко показывая звуки. Даниил вроде под конец соображает, чего от него хотят, но вместо ответа спрашивает сам:

— А ты, божий человек, кому служишь?

— Я-то?

Кригов приосанивается, показывает Даниилу свои погоны, кокарду на фуражке.

— Государю Императору и Московской империи.

— Московской?

Кажется, что из всех этих слов пришлый узнал по губам только одно.

— Так точно.

Проходит еще несколько мгновений — и маска из задубевшей кожи, которая у гостя вместо лица была, расслабляется. Он пытается улыбнуться — выходит плохо.

– Слава Богу. Дошел, значит.

И он тоже крестится.

Раб божий Даниил понимает вопрос по выражению их лиц – и казака, и Полкана.

– Обитель мою разорили. Братьев убили. Я последний остался. Пошел в Москву за заступничеством. По дороге звери напали. Думал, не дойду.

– Кто напал на обитель? Кто? Кто напал?!

– Лихие люди. Там у нас каждый сам за себя. Не разберешь.

Дальше разговор идет трудно: каждый вопрос Даниилу нужно объяснять три и четыре раза, а какие-то он не понимает вообще. Но вроде приходят к тому, что сам он не издалека шел, вроде бы из-под Нерехты откуда-то, где и находился, пока не был разграблен, его самодельный монастырь.

Насколько он знал, дальше имелись города, и в них жили понемногу люди, хотя крупные центры, вроде Екатеринбурга, все еще лежали в руинах. Кригов все услышанное записывает, а, записав, уточняет:

– А как там у вас про Москву думают? Что говорят? Помнят Распад? Зла на нас не держат?

– Да что Москва? – подтягивает свои худые плечи брат Даниил. – Там у нас такое началось после большой войны, брат на брата, сын на отца... Безбожный мир, Сатане преданный. Какая уж разница, кто начал? Все бьют, бьют друг друга... На монахов нападать – виданное ли дело?

– А что же раньше от вас никто к нам не приходил тогда, раз у вас там столько народищу живет? – хмурится Полкан.

Отец Даниил разводит руками.

– Я за всех не могу сказать. Многие-то думают, что Москвы Сам слышал, что Москвы нет давно, в войну сгинула. Разбомбили ее или еще чего... Не знаю. Так все говорили, кого спрашивал. А когда обитель разорили нашу, я себе так сказал: терять нечего – пойду. Посмотрю своими глазами. И вот, одолел сатанинские козни, добрался.

Рабу божьему тоже интересно, как живут на Посту.

– Одержимых тут нету у вас? – строго спрашивает он.

Полкан думает про жену и хмыкает:

– Да нет, вроде бы.

– Во грехе живете или праведно?

– Живем по мере сил, – Полкан машет рукой. – Ладно. Пойдемте, что ли, ужинать, а, Александр Евгеньевич?

Он похлопывает себя по пузу, и это вот пришлый понимает отлично. Кригов его оживление сразу подмечает.

– Что, оголодал, брат Даниил? Давайте его с нами на ужин, а, Сергей Петрович? Пускай знает, что дошел до своих наконец.

За ужином Кригов весел. Он щедро смеется Полкановым шуткам, то и дело встает, чтобы произнести тост. Тосты все эти за Государя императора, долгая ему лета, и за Отечество, чтоб возрождалось шибче; а супостатам чтоб икалось.

И всякий раз, вместо того, чтобы обращаться к Полкану Кригов нашаривает взглядом сидящую через два ряда Мишель. А Мишель — иногда смотрит в тарелку, иногда на деда, а иной раз встречается глазами Кригова.

Егор, которого посадили, как мелкого, между родителей, каждый этот ее взгляд видит и запоминает: на него она так не смотрела никогда. Ему хочется как-то этого самодовольного казачка ковырнуть. И он без спроса вклинивается в их с Полканом разговор.

— Ну, а как там Москва? Стоит?

Кригов удивленно оглядывается на него: он-то, видать, думал, что у Егора язык отрезан. Потом снисходительно улыбается пацану и отвечает ему, а заодно и всем присутствующим:

— Не просто стоит! Порядок наконец навели, уличное освещение вон даже заработало на Садовом кольце! Можно хоть днем, хоть ночью гулять — патрули круглосуточные, наши, казачьи. Полная безопасность. Медицину отладили, Пироговская больница работает. Не ваш ли родственник, Сергей Петрович, ха-ха? Лечат все — и чухотку, и сифилис, прошу прощения у присутствующих здесь дам. И вообще город восстанавливаем. Внутри Бульварного — почти все остеклили. И красят сейчас. Церкви в порядок привели, в каждом храме службу служат, по вечерам такой перезвон стоит, что душа поет. Чистота! Да за что ни возьмись! В городе рестораны работают, танцы вечерами. Цветет Москва!

Мишель ни слова из этой его речи не пропускает. Перестала отвлекаться, смотрит только на подъясаула. И тот, зараза, чувствует все. И продолжает нахваливаться эту свою гребаную Москву, продолжает! Егор уже сто раз пожалел, что спросил, но Кригова теперь не заткнуть.

Поп, которого посадили напротив Кригова, слушает казачка внимательно и даже с восторгом, хотя и хмурится иногда — наверное, понимает не все. Всеобщего веселья ему не слышно, но видно: и смех, и тосты, и одобрительный казачий хор, и яркие солдатские улыбки.

Подъясаул поднимается опять — со стаканом в руке.

— Эх, братья. Я-то еще мальчишкой был, когда наше государство целым было. Но помню кое-что. Помню проспекты, забитые людьми и машинами, помню «Сапсаны» белые от Москвы до Петербурга, помню Шереметьево с сотнями самолетов, синих с серебром! Помню парады нашей грозной военной техники на Тверской! Я у отца на шее сидел, он меня поднимал, чтоб лучше видно было... Вот я и запомнил. Сколько мы потеряли, братцы! Из-за предательств и заговоров, да

и просто по случайности. Была Россия величайшей в мире страной... Только знаете, что? То время, когда мы сидели у папок на закорках, прошло. То, что у наших отцов выпало из рук, нам нужно подобрать. Любо ли вам это? А?!

– Любо! Любо!!

Остальные казаки вскакивают со своих мест, кричат наперебой. Полкан тоже что-то такое одобрительно гудит, хотя его свиной глаз блестит тускло. Поп крестится и закрывает глаза.

Егор подглядывает за Мишель. Но она этого не ощущает.

Он ковыряет вилкой щедро наваленную на тарелку в честь прибытия этих гадов тушенку. Тушенки осталось ненадолго, надо лопать до отвала.

Кусок в рот не лезет.

Забрали бы уже этого чувака и катили бы поскорей обратно в свою Москву.

И тут грохот — поп потерял сознание и рухнул со стула на пол.

## 6

Мишель ждала, что он подойдет к ней после ужина, но Полкан не отпускал его от себя, подливал и подливал китайской сливовки, пока в столовой никого не осталось, кроме них двоих, Егора и самой Мишель. Пришлось идти домой.

Но в у нее груди тянет, знает: этот вечер еще не кончился.

И вот в дверь стучат.

Мишель срывается со своей табуретки в кухне, и первым делом бросается в ванную, к зеркалу. Зажигает свечку, смотрится на себя. Волосы не так лежат, кажется, что там колтун какой-то... Расчесывала-расчесывала, и вот тебе...

Она слышит дедово шарканье, паркетный скрип — Никита выбирается из бабкиной комнаты, и кричит ему:

– Я открою! Слышишь, деда? Я сама!

– Ну, валяй сама... Ждешь, что ли, кого?

Мишель пытается засмеяться. В дверь снова скребутся. Мог же он навести справки и узнать, в какой квартире она живет? Весь вечер глаз не отводил, исцекотал ее своим взглядом.

Она вылетает в прихожую, напускает на себя равнодушный вид и отпирает.

Там стоит баба Нюра из другого дома, почти слепая уже старушенция, которая к своей подруженьке дорогу находит наощупь. Или по запаху.

Надо раздражение спрятать, говорит себе Мишель. Нюра-то в чем виновата? Раз, два.

– Ой, баб Нюр. Добрый вечер.

– Можно мне, деточка?

Мишель берет ее под руку, ведет в комнату. Богомольческая вечеринка будет. Баба Нюра, как стала зрение терять, очень начала воображаемым увлекаться. Приходит, дед должен бабке псалтирь перед глазами держать, та читает, баба Нюра слушает и крестится за обеих.

— А раньше ты тоже такой набожной была, бабусь?

— Раньше, деточка, время другое было. Света было много, а тьмы мало. Вера ведь человеку как свеча во тьме... Путь найти...

— Понятно.

Баба Нюра здоровается, наклоняется к подушкам, целует Марусю в печеное яблоко щеки. Рассказывает, как день прошел: никак. Спрашивает, что там у Маруси: известно, что. Дед кивком отпускает ее: иди, мол, погуляй, что тебе тут со стариками?

Но Мишель не может пойти погулять.

Что — она просто выйдет во двор и будет там, во дворе торчать одна? Типа что, типа ждет трамвая на Москву? Наверняка начнут липнуть казацкие караульные. Или, еще хуже, этот недоразвитый, Егор.

И Мишель садится опять на табуретку — на раскаленную сковородку. Из комнаты шелестит:

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе его поучится день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, егоже возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко веть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет...

С самого начала Молитвослов начали, обреченно думает Мишель. По порядку пойдут. Это на весь вечер, пока бабка не уснет.

И тут во дворе свистят.

Свистят!

Она вскидывает глаза: прямо под ее окном стоит этот ее атаман. Видит ее, девицу у окошечка, и ей именно свистит. Свистит! Во наглый!

Отступить? Ответить? Или отступить?

— Эй! Мишель!

Разузнал, как ее зовут. Спрашивал.

— Спустишь, а? Дело есть!

— Какое еще дело?

Она шепчет ему сердито, а у него такая яркая улыбка, что она сама собой отражается в ее лице. Она кивает, когда он жестом зовет ее к себе, на улицу. И как будто бы нехотя отходит от окна. И снова бросается в ванную, и теперь прихорашивается уже отчаянно. А в комнате баба Маруся поет:



– В грехе живем, Нюрочка, в грехе. Плохо без исповеди, плохо без причастия. Вот человек, который через мост пришел, хорошо было бы, если б он ба-тюшка был, а? Остался бы, может, с нами, и облегчил бы нам жизнь.

– Хорошо бы, Маруся.

Мишель к двери прыгает одним прыжком, а по лестнице идет не спеша, потому что дверь в подъезде распахнута, и атаману все будет слышно.

Выплывает — он стоит прямо перед ней, во рту самокрутка, глаза прищурены. Представляется ей, хотя она уже и имя его знает, и звание.

– Ты ведь не местная, да?

Кригов спрашивает ее об этом сам, первый. Мишель-то все размышляла, как ей привести разговор к тому, что она и сама из Москвы, как и атаман. Что ей Пост этот кажется такой же забытой богом дырой, как, наверное, и ему.

А он сам — сам увидел, что она на остальных здешних жителей не похожа. Мишель чувствует, как у нее начинает припекать щеки.

– Не-а.

– А откуда? Не из Москвы?

– Из Москвы.

Он усмехается и кивает. Он выше ее на голову, и ей приходится задирать подбородок, чтобы смотреть ему в его глаза. Глаза у них одинаковые, думает Мишель. Светло-светло-серые.

– Что тут забыла?

– Так... В Москве просто никого не осталось. А тут... Родня.

– Забирала бы их и возвращалась к нам! Прозябаешь тут... В Москве-то, наверное, жизнь повеселей бы пошла. Тут у вас какие по вечерам развлечения? Слизней с капусты собирать?

Мишель пожимает плечами.

– А где родители жили?

– На Патриарших прудах. У нас прямо на этот пруд окна выходили, у меня даже фотки есть... В телефоне.

– Патрики? А у нас там штаб войсковой совсем рядом.

– Правда?

– Честное слово. На Садовом сразу. А как родителей звали? Сейчас-то там не такая тьма народу живет, как раньше.

Сердце у Мишель начинает колотиться.

– Эдуард Бельков. Это отец. Он в министерстве работал.

– Ого. Эдуард... Эдуард...

Так во сне бывает, когда в пропасть падаешь. Неужели...

– Не Викторovich? Такой... Невысокий, пузатенький?

– Нет.

Мишель мотает головой.

– Не Викторович. Олегович. Он под два метра ростом был.

– Да. Ну... Таких не знаю.

Атаман жмет плечами; но Мишель видит, что и он хотел бы, чтобы сейчас вот так запросто с ней случилось бы чудо, и что ему, как и ей, обидно, что чуда не случилось. Он дотрагивается до ее плеча – по-доброму.

– Ну, ничего. Держись, брат.

Мишель при слове «брат» вспыхивает, и этим себя совсем выдает. Он смеется. Она тоже улыбается.

– Слушай. Время еще не позднее... Пойдем, может, погуляем? Слизней с капусты пособираем там... Ну, или чем у вас занимается модная молодежь?

Она цыкает на него и хмурится. Начинает уходить – от коммуны к заброшенным заводским цехам, к рухнувшим трубам – туда, где ночные чернила разлиты, куда фонари не достают. Остановившись на краю света, оглядывается на него: ну и что, идешь?

## 7

Тамара провожает брата Даниила до самого лазарета, поддерживая его под руку. Он не вырывается, но она чувствует, что он скован, напряжен, как будто ему неприятно ее прикосновение. За ужином Тамаре ужасно хотелось поговорить с монахом, но боязно было, что с первого раза он не поймет и ей придется талдычить ему при всех снова и снова.

Фаина помогает брату Даниилу устроиться на кровати, несет какое-то врачебное питье, и намекает Тамаре, что ей пора уже оставить гостя в покое. Но Тамара не уходит. Потом встает и шепчет что-то докторше.

Та удивленно и смешливо смотрит на нее:

– Исповедаться?

– Да. Наедине.

– Так. Ладно.

Фаина удаляется. Монах смотрит на Тамару непонимающе. Та опускается перед ним на колени.

– Простите меня, батюшка. Чувствовала, враг идет. Ошиблась. Каюсь.

Он хмурится, старается ее понять. Потом крестит. Потом, сомневаясь, спрашивает у нее своим ровным, без перепадов, голосом:

– Что почувствовала?

– Я раскладывала... Карты. Просила, чтобы меня ангелы предупредили...

Он даже вперед подается, так старается ее понять. Она на каждый его вопрос и кивает, и качает головой – чтобы помочь ему.

– Гадаешь?

– Грешна. Я верующая очень. Знаю, что нельзя. Хочу исповедаться. Прощения попросить. Только тут некому было... Исповедаете?

Он качает головой, крестит ее раз, другой, третий.

– В великий грех себя ввергаешь. Сатане предаешься. Молишься Богу?

– Молюсь, каждый день молюсь. Я... Понимаю... Вот, отмаливаю...

– Нельзя.

– Мне... Я боюсь очень. За сына. За мужа. Поэтому заглядываю туда...

Отец Даниил отнимает у нее пальцы, которые она пыталась целовать.

– Запрещаю тебе. Дьяволу открываешься. А Бог тебя не услышит, потому что нет его боле в этом мире. Будущее сокрыто от людей, и смотреть в него – промысел Сатаны. Слышала? Запрещаю!

Тамара смотрит на него растерянно. А он твердо произносит:

– Уйди!

## 8

Как только Мишель вышла из столовой, Егор тоже поднялся. Хотел догнать ее, хотел наконец извиниться за глупость, которую тогда сморозил. Думал рассказать ей, как искал для нее в городе телефон, как облазил сгоревший ТЦ, и как по квартирам еще шастал.

Но она проскочила к себе в подъезд так быстро, что он ничего не успел. Хлопнула ему в лицо дверь. Егор сел в тени во дворе, стал смотреть на ее окна.

Ты мне снилась сегодня  
Мне во сне улыбалась  
Говорила со мною  
Будто с кем-то чужим  
Будто с кем-то пригодным

Она появилась в окне; приоткрыла ставни, посмотрела во двор. Егор отодвинулся еще глубже в тень, взял в руки свою невидимую гитару. Улыбалась... Малость? Жалость. Ну хоть самую малость. Я проснулся – вот жалость. Ничего не осталось. Херня какая-то.

Когда подъесаул свистнул ее, Егор надеялся, что Мишель оскорбится и отошлет его. А она спорхнула прямо в его лапы, даже ломаться не стала. Ну хоть самую малость поломалась бы!

Нельзя было отпустить ее одну с этим. Не хотелось.

Егор должен был слышать все, что он ей скажет и все, что она скажет ему. Это, может, было подло, но без этого ему было никак не обойтись.

Они укрылись от людей за трансформаторной будкой.

Мишель сидит рядом с подвесаулom, совсем близко — головы их склонились друг к другу, они, кажется, шепчутся о чем-то. Руки их сплелись — Егор точно это видит, фонарь с его стороны бьет по ним, и получается, что сам Егор для них невидим, а они — вот они, голубки. Он вслушивается: вещает подвесаул, бархатым своим голосом заговаривает девчонку.

— Нету. Расстался полгода назад. Характерами не сошлись. Ну, то есть как, характерами... С другом я ее застал. С моим.

— Ого!

— И как-то не понял это. Я-то к ней серьезно. С родителями познакомил.

— Может, просто не твой человек, — утешает его Мишель.

— Ну да, видимо, — соглашается он.

— А может, просто сучка.

Они пересмеиваются, потом замолкают. И тишина длится дольше, чем Егор может вытерпеть.

— А когда вы обратно поедете?

Мишель спрашивает это совсем негромко — и совсем другим голосом. Там у них действительно случилось уже что-то, что-то между ними произошло — отчего они стали друг другу ближе.

Дура!

Егор хочет выпрыгнуть из темноты, заорать, прокашляться хотя бы, сорвать им эту их наклеывающуюся любовь! Потому что он чувствует: этот лощеный хрен сейчас окрутит Мишель, охмурит ее, посадит на свою дрезину и заберет к себе в свою хренову Москву, отнимет ее у Егора навсегда — а она только рада будет забыть и больше не вспоминать никогда всю свою жизнь на Посту.

— Как Москва прикажет.

В голосе Кригова тоже такая хрипотца появилась. Такая хрипотца, от которой у Егора кулаки сами собой сжимаются.

Подвесаул снова целует ее и еще что-то такое с ней делает, от чего она ахает тихонечко и всхлипывает. У Егора в паху начинает ломить, в глазах темнеет. Вместо того, чтобы заорать и выпрыгнуть, он только слушает и слушает, смотрит и смотрит... Горит от стыда и не сгорает.

— Алексааандр Евгеньич!

Кричат от коммуны.

— погоди. Зовут, кажется.

Кригов отлепляется от Мишель, всматривается в темноту — и вдруг замечает Егора. Всккивает, выдергивает из кобуры пистолет. Наставляет на Егора ствол.

— Шаг вперед! Сюда иди, засранец!

Егору приходится подчиниться — и он выбредает в пятно света.

— Ты что тут делаешь? А?!

Подъесаул делает к Егору шаг, хватает его за ворот, встряхивает. Он смотрит на Егора зло и с подозрением, а Мишель – с досадой и брезгливостью.

– Не трогай его, Саша. Это нашего Полкана приемыш. Он придурок, мелкий еще.

– А... Точно, он. Ты подглядывал, что ли? А, задротище?

Тот мотает головой, что-то бубнит, Кригов отталкивает Егора от себя – силы слишком неравны, чтобы его бить.

Опять кричат:

– Алексан Евгееенъич! К коменданту!

– Пойдем отсюда, Мишель.

Кригов обнимает Мишель за плечи – уже не дружески, а по-хозяйски. Они уходят – вдвоем, а Егор остается один. Уши у него горят так, как будто казак его за них драл. Лучше б он ему по морде съездил, чем вот так унижительно пощадить.

Говорила со мною  
Будто с кем-то чужим

Идиот. Идиот!

Егор сжимает правую руку в кулак и бьет себя по тыльной стороне ладони левой – по косточкам, чтоб больней. Чтобы почувствовать.

## 9

Полкан зовет Кригова в свой кабинет, чтобы продолжить разговор без чужих ушей. Закуривают. Полкан раскошегаривается едким дымом и сквозь него прищуривается.

– На ужин вы к нам его, конечно, смело, Александр Евгеньевич... Я-то бы поморил его еще в карантине, поспрашивал... Мало ли?

– Что, у вас в нем какие-то сомнения? – вскидывает одну бровь Кригов.

– Ну вот то, что он про тот берег говорил... Черт знает.

Подъесаул вскидывает и другую.

– Слушайте-ка, Сергей Петрович... Ну а вы сами вообще знаете, что творится на том берегу-то?

Полкан пожимает плечами.

– Не знаем мы, Александр Евгеньевич. Не знаем мы точно, что там за этим чертовым мостом. Не ходим мы туда. Ну вот... Может, как этот поп сказал, так все и есть. А может, и наоборот все.

Кригов слушает Полкана с удивлением.

— Странновато это, по правде сказать. Понимаю, граница спокойная... Но все же...

— Ну... Необходимости пока не было, — вздыхает Полкан. — И как — не знаем... Знаем, ясное дело. Железка дальше идет — Буй, Галич, Мантурово, Шарья... Наша вот эта вся Костромская область. Киров, оно же Вятка. Ну и где-то там, впереди, Пермь и Екатеринбург, ну и так далее... А живут там, не живут... Я вот думал, что не живут.

— Почему разведка не работает?

— Нечего там разведке делать. За столько лет ни одна живая душа с той стороны к нам не приходила.

Кригов размышляет.

— Вот были бы у вас разведданные... А так — не вижу оснований ему не доверять. Наш человек, православный. Мне сказали, при нем и хоругвь была?

— Ну была, да.

— Вы сам-то верующий?

Полкан разводит руками.

— Ну, как сказать... Ну, наверное. Крещеный.

Подъесаул усмехается, качает головой. Потом все же объясняет Полкану:

— Это вы вот крещеный, а не верующий — знаете, от чего? От жизни хорошей. Один-единственный раз вылез тут у вас нарушитель — и тот оказался божий человек. А послужили бы вы на югах с мое, узнали бы, что значит — в наше темное время хранить веру.

Полкан вспоминает раны на руках у монаха и замечает:

— Так уж вы и уверены, что он божий человек? Только из-за того, что крестик носит?

— Ну так и что! Таких вот богомольцев знаете, сколько сходится в Москву со всех концов! Слышат, что страна возрождается, и идут... А кто на хоругви у него был изображен?

— Сейчас... Я вот смотрел, просил, чтобы мне записали... Тут где-то... И хоругвь, погоди, достану.

Они смотрят на расстрелянного старца, безыскусно намалеванного на полотнище. Кригов его в лицо не узнает, читает подпись.

— Священномученик Киприан. Это грек какой-то, наверное.

— То есть, вы тоже не знаете?

— Ну я-то что... Солдатских святых знаю. А это какой-то гражданский, видимо, — смеется Кригов.

— Да я ничего и не говорю, — мотает башкой Полкан. — Просто ведь... Ну, у святых есть ведь, так сказать, специализация, да? Один, допустим, от пули бережет, а другой от болезней... Этот вот, например, от чего?

— Кто его знает. Спросите у него сами, раз вам так приспичило.

Полкан отходит к окну, смотрит в свое отражение — смеркается быстро, и за стеклом уже такая крошечная темень, что ничего другого там не видно. В стекле совсем другой Полкан — нет в его отечном лице ни радушия, ни успокоенности, ни согласия с казачьим поддесаулом.

— Ну, то есть, конечно, он надышался от речки от нашей... До сих пор вон — видите, как его... И все же... Вот это его «Господи, помилуй!», когда он под пули шел... В общем, как по мне, так он странноват. И это мягко говоря.

Поддесаул Кригов смотрит на Полкана строго.

— Я вот что вам скажу, господин полковник. На югах, где наши части стояли, абреки требовали от православных от веры нашей отречься. Выкрадут, или в плен возьмут — сразу не убивают, мучают. Отрекись — и живи. Будешь упрямяться — башку отрежем. Знаете, сколько раз я вот так вот получал головы своих бойцов?

Полкан прокашливается.

— Ну... У нас-то тут такого, слава богу, нету...

— Откуда ж вы знаете, что у вас тут есть, а чего нет, если вы за мост не ходите? Так вот. Люди за веру мученическую смерть принять готовы! В такие-то времена! Это вам понятненько? Если человек в этих гиблых, опасных землях остается верен Христу, не боится с хоругвью идти, это о чем говорит?

— Ну... Возможно. Но хоругвь ведь кто угодно может взять, да и крест... Это само по себе ни о чем не говорит, если задуматься.

Поддесаул качает головой — уже резко.

— Вам сказала ведь ваша же докторша. Он и во сне, и в бреду молился. Это-то как изобразишь?

— Ну... Это действительно, может... Может и нет. А вот то, что он глухой, как себя заявляет, как вам кажется? Хочу просто, так-сказать, сверить ощущения... Вслух рассуждаю. Ведь эта граница наша... По Волге. Она ведь от кого граница? Там ведь мятеж был, во время Распада, так же? Так.

Кригов сосет мундштук. Потом вздергивает бровь:

— Как по мне, так он вполне себе глух. А про мятеж там уже и не помнит никто, Сергей Петрович, если у них столько лет междоусобная грызня идет. Хотели бы воевать — воевали бы, и не было бы тут у вас вашей курортной жизни.

Полкан тогда спрашивает для ясности:

— Так вы что? Заберете его обратно с собой в Москву для дальнейшего дознания? Так-то, если по сути, рассказал он пока немного... Может, найдете у себя в Москве кого-то, кто на языке глухих его допросит...

Кригов смотрит на него как-то странно.

— А кто вам сказал, Сергей Петрович, что мы вообще собираемся обратно в Москву?

Мишель не сводит глаз со двора: нельзя упустить момент, когда атаман будет выходить из лазарета. Время позднее, вся его свита уже расквартирована, двор опустел.

На улице мерзко. От Ярославля надвинулись свинцовые тучи, забили все небо. Ветер поднимается — такой ветер, от которого зябко и тревожно. Но критическая масса на небе все еще никак не наберется, и это ожидание ливня пробирает до костей больше, чем любой ливень.

Бабка в комнате уснула и храпит с присвистом, дед посидел с внучкой в кухне, выкурил раздобытую у казаков самокрутку, опрокинул рюмашку и тоже полпелся спать. А Мишель как будто читает.

В голове один только Кригов. Саша.

Глаза, улыбка, руки.

От солнечного сплетения — и вверх, и вниз — то ли цветок распускается, то ли разверзается черная дыра, которая может всю Мишель затянуть и проглотить. Сладко тянет. Вспомнишь улыбку — начинает сердце гнать. Мишель встает, садится и опять встает. Приоткрывает окно и дышит холодным — чтобы остыть и чтобы не прослушать, когда Саша будет выходить во двор.

С того самого дня, как дед заставил ее поверить, что отца с матерью больше нет, она только об одном мечтала: влюбиться в кого-то, кто заберет ее отсюда, из этой чертовой дыры, с края света — в центр мира. В Москву. Мечтала только об этом, но ни в кого из приезжавших из Москвы влюбиться до этого дня не могла.

И тут он.

Собаки заходятся лаем, визжат петли, стучит фанера — хлопает лазаретная дверь. Полкан с Криговым выходят во двор, чиркают зажигалкой, переговариваются. Мишель по минному полю выбирается чудом на лестницу. Ресницы у нее начернены, губы накрашены, а щеки алеют сами.

— Завтра обсудим еще, Сергей Петрович.

Полкан закашливается. Кивает.

Трясут руки, расходятся. Мишель пропускает Полкана мимо себя по лестнице — только бы он ее духи не услышал! — и успевает шикнуть Кригову, прежде чем тот зайдет в свой подъезд.

Ей должно быть стыдно за себя, но ей отчего-то совсем не стыдно.

И не важно, как повела бы себя на ее месте приличная девушка. Как повела бы себя ее мать. Матери нету, жить надо Мишели. Сейчас и здесь. Она берет Кригова за руку. Привстает на цыпочки и сама целует его в губы; он отвечает ей — сразу. Ждал ее.



Мишель знает, как все будет. Атаману, дорогому гостю, положена своя комната, отдельная. И когда он зовет Мишель в эту комнату, она не спорит. Она знает, что будет там, и знает, что будет потом.

В этот цветок, в эту черную дыру, которая распускается у нее в солнечном сплетении, затягивает не только ее саму — в нее затягивает и Кригова, бравого атамана; она отдает ему только то, что сама хотела ему отдать. Она забирает у него сердце. Они сплетаются в канат, и эту связь уже никто не разорвет. Мишель будет с ним, она знает это совершенно точно, и от этого знания ей покойно и тепло.

Когда он курит, она играет с его бородой.

Ей не нужно придумывать, как сказать это. Она не хочет ничего подстраивать, не хочет ни к чему подталкивать его, не хочет вкладывать мысли в его голову. Она хочет быть с ним честной и простой. Она наклоняется к нему и целует его в дымные губы. И просит:

— Саша. Забери меня с собой. Забери к себе.

## 11

Полкан толкает входную дверь, скидывает башмаки, смотрит на себя в зеркало.

— Пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум, бляха.

Сует ноги в клетчатые войлочные тапки, шаркает в кухню.

В ней сидит Тамара — в халате с цветами, перебирает четки. Перед ней чашка с чаем. Глаза бессонные. Руки скрещены. Матрона Московская и та повеселей с фотографии глядит.

— Что он говорит? — спрашивает Тамара.

Полкан чешет затылок.

— Ничего выпить нет у нас? Надо выпить. А казачок, Тамарочка, говорит, что в Москву они обратно не поедут. Говорит, что они поедут за мост.

# По душам

## 1

Егор валяется в постели с книжкой. Какой-то дурацкий роман про то, как люди выживают после апокалипсиса. Мать говорит, до Распада таких много шлепали, что-то такое люди предчувствовали и очень этой темой интересовались. В воздухе висело, наверное... Как перед грозой бывает душно.

Но в книжках все было на жизнь непохоже. Жизнь была скучней раз в тыщу.

На стенах — плакаты с рок-группами, вырезанные из старых журналов. Говорят, перед Распадом слушали совсем другую музыку, но она вся была в Сети, и от нее не осталось ни записей, ни постеров. А от русского рока сохранилась масса всякой требухи: и диски, и кассеты, и плакаты. Егор себе этого добра из Ярославля натащил: прикольно было мечтать о том, сам он однажды будет выступать перед стадионами со своими песнями. Хоть стадион в Ярославле остался всего один — «Шинник», и весь порос бурьяном, но Егор туда пару раз лазал со своей гитарой. Вставал посреди поля, брал аккорды и представлял себе, как трибуны режут от восторга.

Гитара это все, что у Егора осталось от его настоящего отца. Мать объяснила, что тот гастролировал все время, играл в клубах в какой-то крошечной рок-группе. Был пропойца и потаскун, а когда узнал, что Тамара забеременела, пропал насовсем, оставив ребенку в наследство вот гитару. Но это мать так ему рассказывала. Егор, зная ее тяжелый характер, догадывался, что все могло быть и по-другому.

И то, что эту гитару мать сберегла все-таки и отдала ему, тоже говорило за то, что жизнь была посложней ее объяснений.

А теперь гитару Полкан реквизирует — за то, что Егор с урока истории сбежал.

Егору слышно, как дверь хлопает: Полкан домой завалился. Слышно, как раздается, слышно, как бухтит что-то, глядясь на себя в зеркало. В этом доме все слышно очень хорошо.

И потом — еще через минуту — материн крик в кухне.

Егор сначала пытается уши заткнуть — ничего такого уж необычного нет в том, что она Полкана чеховстит. Но потом он все-таки спускает ноги с койки и тайком подкрадывается к кухне. Дверь прикрыта неплотно.

Полкан бубнит:

— Как же я их отговорю, Тamarочка?

— Мне все равно, как! Ты отвечаешь за эту границу, ты знаешь, что тут происходит, а они нет — господи, да придумай что-нибудь, ты же хитрожопый, ты же до полковника дослужился!

Сегодня, кажется, поинтересней, чем обычно. Что там у них с границей? Обычно Полкана отчитывают за пьянку и за слишком внимательные взгляды в направлении рыжей Ленки.

— А что тут у нас происходит, Тamarочка? — Полкан пытается сойти за дурачка.

— Хватит валять идиота. Ты меня прекрасно с первого раза понял.

— И как ты себе это представляешь? Что я приду сейчас к этому их казачку, растолкаю его и скажу: господин атаман, ваша экспедиция отменяется!

Какая еще экспедиция? Куда? Егор аж подбирается весь, как кошка перед прыжком.

— А он мне: как так отменяется? Мне Государь император приказ дал! А я ему: все понимаю, господин атаман, но у нас тут есть инстанции повыше. Он мне: это что еще за инстанции? А я ему: моя жена, господин атаман. Он подумает-подумает и скажет: ну, тут уж даже Государь император бессилён, раз жена!

Егор прислоняется к стене, заглядывает осторожно в щель.

Полкан похихикивает, излагая, но хихикает суетливо, а рожу у него раскраснелась, будто от выпивки. Тамара выслушивает его, не перебивая; в черных глазах — кипучее бешенство. Она дает ему закончить.

— Одно скажи: ты мне правда не веришь, или боишься сойти за подкаблучника перед этими солдафонами?

Полкан выбирает осторожно.

— Ну... Нельзя сказать, чтобы я тебе совсем не верил.

— Значит, ты в себя не веришь. Был бы уверен в себе — не побоялся бы взглянуть слабаком.

— Так! Ты давай-ка слишком-то не бурей!

Он тоже встает — и оказывается ростом ей всего только до переносицы.

— Ты боишься сойти за слабака, а нас всех обречь не боишься?

— Да что ты будешь делать!

— Мы его не трогаем — оно нас не трогает, Сережа. Все просто. Так им и объясни. Что тут трудного? Что тут непонятного?

— Тамара! Они, бляха, военные люди! У них есть приказ! И у меня есть приказ! Все! А «оно нас не трогает» это херня какая-то, а не объяснение, почему ты не выполняешь приказ! А невыполнение приказа это саботаж! А время военное! Что тут непонятного, бляха?!

— Ты их же в первую очередь и убережешь. Этого красавчика казака и всех его мальчишек. С кем они там в Москве у себя воевали? С бандитами какими-нибудь! Что они вообще знают про тот берег?

— А мы что знаем про тот берег? Да боже ты мой, ты сама-то что знаешь про тот берег? Ну Тamarочка, ну твои сны, твои гадания на кофейной гуще к делу не подошьешь, ты понимаешь это или нет?! Тьфу ты, боже мой!

Он принимается расхаживать по зале взад и вперед, пыхтя и потея. Тамара вцепилась в него взглядом, не отпускает.

— Зато, если они там сгинут, вот это ты подошьешь к своему делу. Или к твоему делу в Москве подошьют!

— Ладно. Пойду, скажу: за мост вам идти нельзя. Там сидит лихо. Змей, например. У моей жены предчувствие. Дай только, рюмашку опрокину для храбрости.

— Не смей надо мной смеяться! Никто не виноват, что тебе, полену бесчувственному, ничего такого не доступно!

— Господи! А тебе-то что доступно, ну? Из-за чего крайний раз паника была? Когда этот бомж через мост приперся! Он же у тебя за змея был?

— Он не бомж! Он святой отец!

Мамка и ее глупости. Вот еще, святой отец нашелся. И так весь дом в иконах — ни чихнуть, ни пернуть, а теперь и это еще. Еще, блин, поведет, чего доброго, Егора креститься!

Но тут кое-что поинтереснее. Значит, казаки за мост уезжают, в экспедицию. Хорошие новости: не повезет же казак Мишель с собой!

А с другой стороны: в настоящую, блин, экспедицию. За мост!

— Егор! Ты что, подслушиваешь там?!

Спалила его.

Егор протискивается в кухню.

— Сорян. Я гитару хотел свою попросить. У меня ж вроде закончился мой этот срок. Который типа наказание.

У Полкана харя уже прямо пунцовая.

— Подождешь! — орет он на Егора.

Мать пока на него внимания не обращает.

— Каждый в снах свое видит. Ты, может, проשמандовок каких-нибудь своих старых. А я — будущее. Это ты ничего не знаешь, а я знаю. Знаю, что с той стороны реки — зло. Оно только и ждет, чтобы мы его разбудили. Пускай эти болваны едут туда, за мост, да? Пускай тычут в него палкой. Сначала оно их сожрет, а потом и к нам переползет.

— Ой, ну мам! Ну хорош его стращать! Ну ведь ни один твой сон не сбывался еще!

Полкан поддакивает:

— Это, между прочим, верно. И глухой этот вон тоже говорит — ничего там особенного нет!

Тут взрывается и Тамара — и тоже обрушивается на Егора.

- Выйди вообще отсюда, у нас свои разговоры!
- Гитару отдайте!
- Не получишь ты своей гитары, если будешь так разговаривать! Все, на неделю ее лишен!
- Да что я такого сказал-то? Сны это просто сны, мамуль!
- Никто не виноват, что тебе ничего не передалось! Все отцовские сорняки забили!
- Ой, ну все! Начинается! — Егор зло хохочет. — Отцовские сорняки! Зато, может, крыша не поедет, как у деда!
- Две недели без гитары! Не отдавай ему, Сережа! Пускай научится нормально разговаривать с родителями сначала!
- Да и пошли вы! Шерочка с машерочкой! Психи! Что один, что другой! Родители, блин! В гробу я таких родителей видал!

Егор хлопает дверью так, чтобы в серванте посуда зазвенела. А потом ещё шваркает и входной — злоба перекипает, невозможно удержаться. На лестничной клетке садится на подоконник, пялится в окно. После этой его выходки гитары его точно лишат — и лишат на те самые две недели. Мать в этих вопросах до тошноты принципиальная. Вот ведь, сука, дебилный день!

## 2

Всю ночь Егор прошлялся кругами: уйдет к заводским корпусам, там поторчит, тут поторчит — а потом, как магнитом, его тянет к окнам Мишель. Света там нет — спит давно. Но окно приоткрыто, и Егор уже не раз и не два останавливался за мгновение до того, как позвать ее... Ну или стих начать читать... Ну что-нибудь, короче. Останавливался, потому что становилось стыдно и страшно.

Егор ничего не может с собой поделаться — представляет ее себе — в постели, с голыми загорелыми ногами и в белой безразмерной футболке. А под футболкой...

Увидеть ее сегодня с мужчиной, видеть, как она держит кого-то за руки, как сближается с ним, соприкасается... Мишель, недотрога, святая Мишель, которая любого ухажера на Посту с ходу отшивает...

Теперь ему хочется к ней, с ней — еще отчаяннее, в сто раз отчаянней. Раньше он думал, что это просто невозможно; теперь он знает, что возможно — но не для него. Ну да, этот чмошник старше. И он весь такой из себя прекрасный русский человек. У него-то мать точно не цыганка. Плюс, он типа москвич, а любой на Посту знает, что Мишель двинулась на этой своей Москве. И еще к тому же такой безбашенный храбрец, что решил ехать за мост. Хотя гляди-ка, живут же там люди, оказывается, и ничего такого страшного!

Герой... Уедет-то он уедет, Мишелечка, завтра же вот прямо и отвалит, но еще вилами на воде писано, вернется ли он когда-нибудь или нет! А я тут, тут, и никому да я от тебя не денусь!

Форма, конечно, классная у них. Погончики эти, фуражки.

Снаряга вообще зачет.

С такой снарягой особо и героем не надо быть. У них там еще и пулеметы, небось, на дрезинах, под брезентом спрятаны, а может и еще что-нибудь похлеще пулеметов. Тридцать человек едет. Мамка свои сны сколько угодно может смотреть и пугаться, а тридцать человек при пулеметах — это все-таки сила.

Она, наверное, выйдет этого своего хахаля провожать. До свидания, дорогой хахаль, я дико восхищена твоей нечеловеческой храбростью. Ты отправляешься в край, полный опасностей, как нам поведала Егорова мамка. Дай, расцелую тебя на дорожку. Тьфу, блин.

Вот бы можно было отправиться с ними... Вместо этого болвана.

Тут хлопают ставни. Распахивается окно.

И на весь двор раздается материнский вопль:

— Егooooор! Иди домой!

Егор вжимается в тень. В лицо ему будто горячим паром дали, внутренности рвутся. А у Мишель окно открыто... Она услышит же...

Он вылетает со двора; ноги сами несут его к заводским корпусам. Хочется и под землю провалиться, и что-нибудь такое замутить... Совершить... Сделать что-нибудь, чтобы на него, на него, на Егора, а не на этого хлыща она смотрела.

Ну а что, если...

Что, если он первым на мост заберется?

Первым заберется на него, прямо вот сегодня, сейчас, и дойдет до конца!

И когда эти пижоны в своих погончиках будут с фанфарами на него отправляться, он выйдет такой и скажет: да че, думаете, там че-то особенное, что ли? Я вон ходил вчера, ниче такого.

Тем более, что там ничего и нет, бомж сказал же.

На мост, в эту жуткую зеленую гущу, конечно, без противогаса нельзя, но противогас у Егора припрятан в его тайнике, в заводском бомбоубежище. И фонарик там тоже, кстати, есть. Автомата только ему в это время не выцыганить, ну и черт с ним. Осталось придумать, как прошмыгнуть мимо заставы, которая мост стережет.

В первые пару дней после пришествия бомжа дозор на этой заставе был усиленный — ждали новых гостей, но больше никто из тумана не выходил, и дежурства вернулись к рутине. Три бойца от силы, на рассвете пересменка. Когда смена задерживается, дожидаться ее сонные погранцы не хотят. Бредут к воротам, стучат в караулку, поднимают заспавшихся сменщиков.

Сколько раз так было при Егоре.

Вот тут и можно было бы проскочить.

Он отдирает приставшую чугунную машину, оттаскивает створу в сторону, она скрежещет, сопротивляется, пытается разбудить всех на Посту, паскудина. Но ночь уже самая глубокая, тот самый час перед рассветом, когда мрут старики, когда проснуться невозможно.

У самого Егора — сна ни в одном глазу, его знобит от возбуждения, колотит от зябкого сырого воздуха катакомб. Ничего. Завтра, когда он им всем расскажет, где побывал, отогреется. Когда на него будет Мишель смотреть. И когда он сам будет смотреть на этого казачка.

От наполовину заваленного выхода из бомбоубежища Егор пробирается к насыпи — тут освещения почти нет, а луна за облаками, ничего сложного. Сложно будет вылезти прямо перед дозорными на пути и зашагать по этим путям к мосту.

Егор выбирает себе место — в кустах почти под заставой. Так близко к ней, что разговоры дозорных можно разобрать чуть не слово в слово. Обсуждают пришедшего бомжа, кто-то — кажется, Жора Бармалей, — говорит, что бомж на самом деле то ли странствующий монах, то ли поп без прихода, и что неприкаемые местные бабки его появлению очень обрадовались. Потом разговор переходит на казаков и на консервы, которые они привезли. Давешний ужин был первый приличный недели уже за две, а то и за три, и по московской тушенке на Посту скучали все без исключения. Так что на ящики с трафаретными надписями на дрезинах обратили внимание все. Вот только одноглазый Лев Сергеевич говорит, что казаки ему тушенку сгрузить не дали: старшой пока не разрешал. А чего он ждет?

Вялое осеннее солнце подсвечивает черное небо серым, готовится подыматься, и дозорные могли бы уже в это время засобирааться домой, но они медлят. Может быть, были от Полкана им какие-то инструкции об особых предосторожностях, пока с мостом все опять не устаканится?

Егор начинает ерзать. Ветер становится сильнее, ветки гнутся, ему задувает в ворот и в рукава; наверху тоже, наверное, ежатся — но ждут смену.

Ветер бьет в зеленую стену, оттесняет ее немного — но только немного; испарения, которые поднимаются от реки, слишком тяжелы и слишком обильны. Хорошо еще, что они сейчас не с подветренной стороны — иначе тут без противотога было бы невозможно дышать.

Сидят. Ждут. Небо сереет все явственней. Уходит время.

И когда Егор уже начинает думать, не подняться ли ему по насыпи и не сдать ли дозорным, от Ярославля стремительно надвигается на них саранчиное шуршание — и вместе с ним пелена грязного целлофана.

Ливень.

Тяжелые капли падают сначала мимо, потом попадают в Егора, и там, наверху, попадают еще и в других людей. Егор скорей-скорей натягивает противогаз, накидывает прорезиненный капюшон плащ-палатки. Кожу от кислотных дождей надо беречь.

- Полило! А там-то! На горизонт-то ты глянь!
- Айда до хаты, мужики? В такую погоду кто полезет-то?
- Ну что, товарищ командир?
- Да ничего. Командую отступление!

Дозорные перебраниваются, пересмеиваются, и, натянув куртки на головы, бегут через кусты к Посту. Егор минуту сидит неподвижно, сидит другую, и только убедившись, что назад никто и не думал оборачиваться, вскарабкивается к путям. Пригибается, как под обстрелом, и бежит в зеленую мглу.

### 3

Атаман смотрит на Мишель как-то странно.

Прежде, чем задать ему свой главный вопрос — может ли он ее отсюда с собой забрать — она дождалась специально особенной внутренней легкости, пустоты, ощущения, что после того, что только что произошло — на что она никогда еще не решалась, отважилась вот теперь, и ничего, не умерла — можно решиться вообще на все, что угодно.

Не может же он сказать ей «нет»?

Саша затягивается глубоко. Выпускает дым. Говорит:

– Не могу.

Мишель укутывается в простыню.

Вдруг она чувствует себя не обнаженной, а голой. Голой, перепачканной и нелепой. Цветок в солнечном сплетении завязывается, превращается в странный пульсирующий плод, теплый гнилостным теплом, умерший до рождения.

Она хочет набраться мужества легкомысленно ему улыбнуться, но у нее не получается. Она хочет иметь достаточно равнодушия, чтобы не сбегать от него сразу, но ей не хватает.

Мишель спускает ноги на пол и начинает одеваться.

### 4

Войти в туман — как нырнуть под воду.

Стекла противогаза запотевают, зеленый туман обступает их вокруг — он клубится, струится; он кажется более плотным, чем ему положено быть — не туман,



а какой-то жирный пар валит от ведьминога варева там, внизу. Река клокочет, слышно, как лопаются тяжелые пузыри; хорошо, резиновая вонь противогоза отбивает тяжелый речной дух.

Фермы моста выплывают навстречу медленно, шпалы под ногами — бетонные, перед Распадом замененные — все покрыты каким-то скользким налетом, а ржавые рельсы — все рыхлые от коррозии.

Иногда туман справа или слева вихрится, как будто в нем кто-то может жить, как будто сквозь него кто-то может видеть, будто растворенная в воздухе кислота не выест сразу глаза любому. Кажется, что за спиной у Егора кто-то шагает, переступая осторожными и длинными, как у цапли, ногами... И каждая нога будто высотой с человека, а голова нависает высоко над его головой — неразличимая в зеленой мгле.

Мост бесконечный — Егор пробует считать шпалы, чтобы занять чем-то ум, но бросает после сотой. Ничего, говорит он себе. Если этот бомж перебрался через мост, если казачок за него собрался, то сможет и он, Егор. Что тут такого, в самом деле?

Вдруг на рельсах что-то... Что-то образуется.

Егор замечает это, только когда чуть не спотыкается о него — буквально в нескольких шагах — такой тут густой туман. Мешок? Или... Нет, не мешок.

Прямо на шпалах, вцепившись в них пальцами так, как будто ноги больше не слушались и приходилось подтягиваться вперед на руках, лежит лицом вниз человек. Он, конечно, мертвый — без противогоза реку нельзя пересечь живым; но он ушел от своего берега довольно далеко.

Первое, что бросается в глаза — он совершенно голый.

Голый — в зябком позднем октябре.

Роста он огромного, плечи и руки бугрятся окоченевшими мышцами, волосы склеились в колтун. Егор обходит тело вокруг, в ушах у него ухает, стекла противогоза застилают испарина.

Человек бос, и ступни его ног изранены — тут и там глубокие порезы, трещины, заклеенные сухой кровью. Егор думает — не перевернуть ли его лицом вверх, но потом говорит себе — нет, не надо. Тело окоченело, так просто его и не перевернешь... Да и зачем?

Дождь омывает тело. Звук странный, когда капли секут кожу. И что-то еще тут странное есть, что-то, чего Егор еще пока не понял.

— Привет, — говорит он мертвому.

— Ну привет.

— Что тут делаешь?

— Прилег. Полз-полз, шишку съел, притомился и прилег.

— Ясно. Ну ладно.

Хотя ничего не ясно. Жутковатый персонаж. Что он на самом деле тут забыл?

Егор решает даже носком сапога не притрагиваться к нему. Отходит от него на пару шагов вперед, и когда уже туман начинает разъедать тело, Егор резко оборачивается — не думал же он шевелиться? Нет, тихо лежит.

Солнце, кажется, забралось повыше — и из серо-зеленого туман становится просто зеленым, начинает чуть флюоресцировать. Мгла, непроглядная еще мгновение назад, обретает какие-то новые глубины.

И проявляется впереди еще одно тело.

Егор сбивается с шага. Подходит к мертвому осторожно. Это тоже мужчина, тоже крепкого сложения, хоть и не такой гигант, как первый. Он выглядит тоже нехорошо: лицо вздулось, губы обметаны, глаза вытаращены. Известные признаки: надышался испарениями.

На этом надета футболка, а порток нет. И порток нет, и под портками ничего. Светит причиндалами, зад голый. Руки изодраны, ладони как будто шкуркой шкурили. Голова рассечена — но не глубоко. Умер не от этого.

— Здорово.

— Доброе утро.

— Тебя как звать?

— Допустим, Анатолий. А тебя?

— Допустим, Егор. Слушай, Анатолий... Это не ты того вон парня на мост загнол? Я уж не спрашиваю, почему вы оба без штанов...

Анатолий молчит. Не хочет больше Егору подыгрывать. Таращит на Егора свои глаза — голубые, белки все в кровяных прожилках. Егор не может в эти глаза смотреть дольше секунды, боится, что потом сниться будут. Начинает тошнить.

— Ладно, Анатолий. Это я так... Это шутка. У меня дела, я пойду, ладно?

Двое выбежали на мост, один за другим. Что там между ними было, реально? Один другого убить хотел?

С этой историей уже можно было бы вернуться и удивить всех, но Егор дал себе слово, что дойдет до того берега.

Там уже немного, наверное, идти осталось. Добраться до туда и вернуться с чистой совестью.

Он глядит под ноги и снова начинает считать шаги, чтобы убедить себя, что действительно продвигается в этом мороке, а не перебирает ногами на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Шпалы исправно отъезжают ему за спину, марево откатывает с каждым шагом назад, Егор, ободренный, ускоряется. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать.

И видит впереди еще одного мертвого человека. Приглядывается.

Нет, он там не один. Двое... Трое... Пятеро...

Он с останавливающимся сердцем, на ватных ногах приближается к ним. Тут несколько десятков человек распластаны на шпалах, вокруг рельсов, везде. Сначала мужчины. Потом — вперемешку с ними женщины. За женщинами — мерт-

вые дети. Не об руку с матерями, а будто брошенные ими и бежавшие вдогонку за взрослыми, но сами по себе.

Кто одет, кто раздет; на одних только обувь, на других одна шапка. Есть тут кто-то при сумках и при рюкзаках, но у некоторых сумки открыты и пусты. Многие изранены, у кого-то только ссадины. Одни зажмурились, другие выкатили бельма. Все мертвы, и все умерли жуткой смертью.

И вот еще что, вдруг доходит до Егора.

Все они умерли совсем недавно — может, всего несколько дней назад.

Он переступает между вытянутыми руками, раскинутыми ногами; голова идет кругом. Случайно, приняв за рюкзак, наступает на мягкое — маленькая девочка в куртке лежит навзничь, поджала под себя ручки и ножки.

Дальше идти у него не получается.

— Остановись.

— Возвращайся.

— Не смей.

— Беги, пока не поздно.

Они теперь говорят с ним все вместе — хором, детские голоса и женские, старушечьи и мужские. Егор загнанно озирается по сторонам. Туман светится все ярче и ярче. Мертвые лежат впереди на путях так далеко, на сколько можно заглянуть во мглу. Но берега там не видно.

Он отворачивается, и глядя только вниз, только себе под ноги, чтобы ни на кого не наступить снова, спотыкаясь, спешит назад.

А потом застывает.

Отходит на шаг в сторону. Опускается на корточки у мертвой некрасивой женщины, на которой нет ничего из одежды, но вокруг шеи намотана цепочка от дамской сумочки. Сама сумочка валяется рядом, она открыта.

А из нее выполз наполовину черный зеркальный прямоугольник.

Егор, не спрашивая у женщины разрешения, притрагивается к нему.

Айфон.

## 5

За окном хлещет ливень.

Мишель сидит заплаканная, она все еще всхлипывает, пытается отдышаться. Слезы накатили приступом, и Саша не мог успокоить ее, как ни старался.

— Теперь ты будешь думать, что я истеричка.

Она улыбается и всхлипывает опять. Он улыбается ей тоже, по-доброму.

Вместо того, чтобы утешать ее словами, он целует ее в уголок губ. Этого хватает. Она оборачивается к нему так, чтобы перехватить поцелуй.

— А на сколько вы едете?

— Я пока не знаю. Недели две? Хорошо бы до Перми добраться, но можно и до Кирова на первый раз.

— Не понимаю, зачем вам туда. Там ничего нету.

— Ну... Как зачем. Государево задание. Земли за рекой обратно в империю вернуть.

— Вот прямо царь сам, лично дал тебе приказ! Вызвал в Кремль и говорит...

— Не в Кремль. В резиденцию, на Старой площади.

— Ну и какой он, император?

— Какой... Ну... Моложавый. С бородой. Невысокий. С виду вроде обычный...

Но, понимаешь, от него такая сила идет... И еще... Ну, убедительность просто невероятная. Потому что видно — он ни одного слова не произносит такого, в которое бы не верил сам. Вот. Понял, что в нем главное: правда. И за эту правду он сам готов умереть. Поэтому и других может на смерть посылать. И тебе не страшно.

— Мне страшно.

Он обнимает ее крепче. Ливень все шумит за окном. Страх отпускает Мишель. Необычайно тепло и спокойно делается ей в руках этого мужчины. Очень не хочется, чтобы он размыкал объятия. Она прижимается к нему, прячется подмышкой, чувствуя себя совсем маленькой девочкой. Спрашивает еще раз:

— А вы точно обратно через нас поедете?

Атаман усмехается.

— А других дорог до Москвы просто нет. Ваш мост через Волгу один остался. Так что да, поеду через вас.

— И тогда можно будет? — Мишель отстраняется, смотрит на него с расстояния. — Ты не подумай, я не навязываюсь. Ты просто до Москвы меня довези, а там я сама.

Кригов смеется в бороду.

— Я просто загадывать не люблю. Человек предполагает, а Бог располагает.

— А я вот загадаю, — говорит Мишель.

Атаман проводит пальцем по ее щеке, по мочке уха.

— Какая ты красивая...

— Нет, это ты красивый.

Он тянется к кيسету, выбивает табак на старую тысячерублевку; сворачивает самокрутку. Чиркает, прикуривает.

— С удовольствием подвезу тебя до Москвы. Если вернусь.

— Вернешься.

Мишель отнимает у него дымную папиросу, кладет ее в блюдце-пепельницу и сбрасывает с плеч покрывало.

## 6

Мобильник лежит у Егора в сухом внутреннем кармане. Прячется от дождя. Телефон работает — но требует от Егора чего-то неизвестного, в себя не пускает. И все равно — Егор чувствует себя так, как будто с ним чудо случилось. Оно и случилось, в принципе.

Туман ползет следом за ним, обратно прячет от Егора мертвых людей. Через минуту-другую ничего опять не видно, кроме рельсов и шпал, кроме ржавеющих ферм моста.

О том, кого он оставляет в тумане за своей спиной, Егору думать слишком страшно. И он мечтает о том, как вручит Мишель найденный айфон. Конечно, сначала надо будет зарядить его. Попросить Кольку Кольцова, чтобы он стер с него все, что там было. Зачем Мишель чужие фотографии? Тем более фотографии чужого мертвеца...

Потом ему приходит в голову: а вдруг там, на телефоне, есть снимки того, что произошло там, с этими людьми на мосту? Они ведь бежали с той стороны, бежали от какого-то беспредельного зла, их гнало оттуда нечто настолько жуткое, что мужчины бросали своих женщин, а женщины — своих детей, и каждый думал только о своей собственной шкуре.

Его начинает трясти — наверное, просто потому что он промок насквозь, и ветер теперь от этого стал пронзительней.

Может быть... Может быть, их надо сначала рассмотреть? Изучить, а потом уже стереть и подарить Мишель пустой телефон, свободный от чужих воспоминаний. Пускай перекачивает на него свою Москву, свою музыку, пускай и дальше любитесь всем этим на расстоянии, а живет пусть тут, с ними, на Посту.

Да, так точно правильной.

Хотя, если честно, смотреть фотографии в телефоне не хочется. Рука так и тянется зашвырнуть мобильник в реку. Но он перебарывает себя. Ему этот телефон достался не просто так. Он его заслужил, заработал. Это его единственный, может, шанс, перебить этого хлыща-атамана с его байками о том, как расцвела столица. Его единственный пропуск к сердцу Мишель. Другого не будет.

И тут мысли у него перескакивают на другое.

Ведь и Кригов, и все его эти казаки собираются — Когда? Сегодня-завтра? — отправляться в экспедицию. На мост. За мост. На тот берег... Туда.

Туда, откуда.

В никуда.

Впереди кажется, развиднелось... Уходящие к небу фермы моста теперь видны почти целиком, и марево становится жиже, прозрачнее. Егор заранее поднимает руки, чтобы дозорные с заставы, когда увидят его, не принялись по нему палить.

Он ждет оклика — и шагает вперед. Сейчас накинута, начнут расспрашивать его... Что там, что? А он им — что? Вот они охренеют, конечно.

И Мишель охренеет, конечно, тоже. Она — в первую очередь.

Егор ждет окрика, но никто не кричит ему. Может, барабанная дробь дождя по резиновой коже противогаза глушит голоса, отвлекает? Он щурится, всматривается — вроде бы уже виден бруствер, за которым должны отсиживаться дозорные. Но там ни души.

А вдруг он подойдет туда, а там все мертвы?

Точно так же, как люди на мосту — с раззявленными ртами, с выпученными глазами разбросаны в таких позах, будто пытались убежать от чего-то... Не хочется даже представлять себе, от чего.

Егор переходит на бег, потому что не может больше справиться с этой мыслью. Надо поскорей добежать до людей, до живых людей. Рассказать им.

Туман отпускает его нехотя, и Егор наконец выходит на воздух.

Застава пуста. Ни души. Ливень стеной — в тумане он казался, что ли, обессиленным.

Егор в панике смотрит направо, на Пост — там-то хоть есть кто живой? И выдыхает: над трубами курится дымок, окна горят; петух закукарекал.

Значит, просто не заступили еще на вахту.

Егор скатывается с насыпи и бежит к стене; думает постучаться в ворота, но потом решает забраться в крепость своим обычным способом — через тайный ход. В побеге он потом признается, успеет еще.

Когда он объявляется во внутреннем дворе, утренняя смена еще только строится перед воротами, готовясь выдвигаться на дежурство.

Как так можно вообще?! Егору хочется пойти, устроить им разнос: какого хера у вас на заставе никого нет? Вы что, думаете, оттуда никто выползти не может?

Но он не идет к ним, никому ничего не говорит. Ему не рассказывать хочется о том, что он увидел на мосту, а забыть об этом — навсегда и как можно скорее.

Его все еще знобит.

Ничего. Это все было не зря. Телефон зато нашел. Выспится — и сразу к Кольцову. А потом к Мишель. К Мишелечке.

Шагая мимо корпуса, где Полкан расквартировал казаков, Егор натывается на двух из них. Стоят под козырьком подъезда, прячутся от кислотного дождя, фуражки сдвинуты на затылок, лица помятые со сна, в зубах самокрутки из зеленых тысячных. Но оба веселые, похохатывают, пихаются, и что-то оглядываются на окна.

Егору мимо них идти. Один подмигивает ему:

— Здравия желаю.

— Взаимно.

И тут — странный звук. Вскрик. Тонкий. Женский.

Егор задерживается, озадаченно смотрит на часовых. Те, уловив его смущение, смеются приглушенно. Который желал Егору здоровья, прикладывает палец к губам: тише, мол, спугнешь.

– Что это?

Снова – вскрик, а потом – стон. Протяжный. Егор подходит к ним ближе.

– Это кто? Там плохо кому-то?

– Наоборот, пацан. Там кому-то хорошо.

Они снова принимаются ржать – придушенно, тайком. Егор думает, что ему этот голос знаком. Но совсем он узнает его только с третьего раза, с третьего крика.

Мишель?

– Это кто там? Это с кем там?

Он вспыхивает, кидается к подъезду, но часовые перехватывают его играючи. Отталкивают от дверей, оттесняют назад.

– Командование приказало держать оборону. Извиняй.

Егор теперь точно уверен, что за окнами – Мишель. Ее голос. Это ее сейчас...

– Пусти! Пусти, сука!

– Не боись. Он с ней аккуратно. Не ломает. Не впервой.

Они снова ржут. Егор хочет ударить хотя бы одного из них, какого угодно – но казакам лениво и несерьезно с ним драться, и они просто отталкивают его снова, он оскальзывается и падает в грязь.

Поднимается, орет в окна:

– Сука! Прошмандовка!

И, сунув руки в карманы, идет домой.

Чтоб они все сдохли!

## 7

Отправление назначено на полдень.

Казаки построились у своих дрезин, чистят оружие, проверяют противогазы. Полкан мнетя тут же, дожидается, пока подъесаул выйдет от себя. Наконец, не выдерживает, пересекает двор, идет к казацкому корпусу. У дверей двое часовых, один вызывается сбегать наверх за командиром.

Кригов спускается сверху довольный, словно налижавший сметаны кот. Полкан тянется для рукопожатия.

– Ваши говорят, через полчаса выезжаете? Монаха этого, значит, больше не теребим?

– А что он нам еще нового скажет? Рельсы дальше есть. Встречаются дикие звери. Люди разрозненными группами. Токсичные загрязнения главным обра-

зом вдоль Волги и ее притоков. До Вятки крупных населенных пунктов нет, хода войны с Москвой особенно никто не помнит. А нам бы Вятку присоединить — и ладно. Что вам еще нужно?

— А что же, проводником не хотите его с собой туда взять? — интересуется Полкан.

Кригов ухмыляется.

— Вот прямо не хочется вам его тут у себя держать, а? Куда нам его, такого проводника? На ладан дышит. Нет уж, вы его поддержите пока у себя. А на обратном пути мы его в Москву захватим.

— Ну что же. Тогда ладно, — кивает Полкан. — Ну а если кто-то из мятежников на пути встретится? Я не говорю про организованные силы, но... Тут-то мы Распад по-своему помним, а они-то там по-своему, небось...

— Государь настроен примирительно. Мы возьмем бунтовщикам высочайшее прощение, Сергей Петрович. Оружие приказано применять только в случае нападения. У вас больше ничего срочного ко мне? Я еще не собран.

Больше этот разговор откладывать нельзя. Из окон пищеблока — Полкан знает это наверняка — на него сейчас смотрит одним глазом Лев Сергеевич. Следит.

— Ну вот и насчет тушеночки осталось прояснить.

— Что еще за тушеночка?

— Ну как же... У вас ведь есть с собой, верно? Я видел, на дрезинах. Мясные консервы.

Подъесаул Кригов выгибает брови.

— Допустим.

— Разве это не для нас предназначается?

— С чего вы взяли? — Голос Кригова холодеет. — Это провиант, выданный нашей экспедиции в дорогу.

Полкан тоже собирается, перестает умильничать.

— Дело в том, Александр Евгеньевич, что нам Москва уже на два месяца задерживает довольствие. Ни мяса, ни круп.

— А я тут при чем? Был бы мне дан приказ доставить вам провизию — я бы доставил. А у меня приказ — разведать обстановку в Костромской области и вернуть эту самую область в родную гавань. У меня три десятка человек в подчинении. Мне их надо кормить. На подножном корму мы далеко не уедем.

Полкан начинает кипятиться.

— Подножный корм это еще ничего! У нас-то тут ничего и не растет из-за этой гребаной реки и дождей! Мы-то таким макарон скоро голый хер без соли жрать будем! Что нам, у китайцев собачатину закупать, что ли? Да было бы хоть еще на что!

Кригов глядит на него сурово. Глаза стали стальными.

— Господин полковник. Я с вами сейчас как должностное лицо с должностным лицом. Наше задание имеет чрезвычайную важность, вы же понимаете это?



Впервые после Распада наша страна накопила достаточно сил, чтобы потребовать у мятежников обратно наши исконные земли! И ваш долг, как любого солдата и офицера, нам в этом всячески содействовать.

– Да я понимаю это... Но у меня повар гарнизонный – сущий черт. Третий месяц пытается, что с поставками из Москвы. У нас ведь запасы на исходе... Говорит, служим Москве, служим, а они забыли про нас... Вы бы, может, хотя бы символически...

– Не могу. Все, что могу сказать вам – придется потерпеть. Такие экспедиции, как наша, будут рассылаться сейчас во все концы нашей родины... Да. А повара я бы на вашем месте вздернул.

Тон у казачка самый что ни на есть дружеский и доверительный. Полкан не верит своим ушам.

– То есть – вздернул?

И голос Кригова тут же меняется – на звенящий от злости.

– А вот так вот. За то, что он вас к мятежу толкает. И другим будет урок. Повар... Невелика потеря – повар. Готовить любая баба сможет. А в гарнизоне, да еще на самой границе, такие разговоры хорошим не кончатся.

Кригов ждет ответа.

– Ну уж... Вздернуть. У нас всего-то тут человек живет... Сто три, если младенцев не считая. Если так вздергивать...

Полкан мотает своей тяжелой башкой, лицо его багровеет. Кригов пожимает плечами.

– Ну, смотрите. Дело ваше. На данном этапе.

– Да уж. У каждого, так-сказать, свой пост, Александр Евгеньевич.

– У кого пост, а кому в поход. Пойду.

## 8

Толком Егор уснуть не мог – несмотря на бессонную ночь, проворочался еще и все утро. Маячили мертвяки перед глазами, раскинулись на мосту из этого мира в тот и лежали. Этот огромный голый, женщина с сумочкой, девочка в куртке...

От кого они бежали? Что там, с той стороны? Что оказалось страшнее, чем задохнуться ядовитыми испарениями от реки, чем бросить своих детей?

Надо было встать, дойти до Полкана и все ему рассказать. Надо было предупредить казаков. Пускай отменяют свой поход, или пускай хоть отложат его, вышлют пока что вперед разведку. Надо, надо, надо было.

Егор вставал, подходил к окну, смотрел на собирающихся у дрезин казаков, потом возвращался в койку, заворачивался в одеяло, закрывал глаза.

Нет.

Он хотел, чтобы все они со своим атаманом во главе построились ровненько, завели свои дрезины и по очереди въехали на проклятый мост, окунулись в зеленый туман, и чтобы никогда уже с той стороны не вернулись. Пускай сами разбираются, что там творится. Они же, бляха, герои. Погоны, сука, фуражки, пулеметы. Валяйте. Завоевывайте.

Вот он идиот. Притащил ей этот гребаный айфон, думал впечатлить ее.

А в этот самый момент, когда Егорка с айфоном вприпрыжку неся домой, казачок уже ее жарил вовсю. Это ей не плохо, это ей хорошо.

Нет. Пускай едут.

Он снова вскакивает с постели — ладони мокрые, подмышки мокрые. Снова подходит к окну. Смотрит на казаков. Не такие уж они и дядьки, лет по двадцать пять им, на крайняк — тридцать. Курят, смеются.

Ну и что? В конце концов — не слепые же они.

Сами увидят, что Егор увидел. Им, между прочим, нужно будет эти трупы с рельсов растаскивать, чтобы проехать. Точно! Так что ему и не надо ничего говорить. Сами разберутся.

Отлегло.

Сейчас с фанфарами уедут, а через час вернутся обратно, как миленькие. С мокрыми портками. И этот атаман, глядишь, не такой уже румяный будет. Проблется там на мосту как следует, вот тогда и поглядим на него, какой он бравый.

Егор распахивает окно пошире и усаживается на подоконник. Будет махать им. Жалко, Полкан так отцовскую гитару и не вернул. Можно было бы «Прощание славянки» зафигачить.

Выходит из своего корпуса Кригов. При полном параде: сапоги начищены, фуражка посажена ровно.

— Взвооод! Стрройсь!

Казачки миглом выстраиваются шеренгой, становятся из разных — одинаковыми. Трудно не залюбоваться. Хочется зачем-то тоже к ним, в строй.

Ничего, поглядим-поглядим.

Жители Поста бросают свои скучные дела, собираются на проводы. Отцы держат на закорках мальчишек, Кригов смотрит на них и подмигивает. Егор ищет глазами Мишель — выйдет провожать хахаля или нет?

Вышла. Стоит у подъезда, глаз не сводит с этого своего. Дура.

К Кригову подходит Полкан. Отдает честь — но как-то без страсти.

— Ну, удачи.

— Погодите, Сергей Петрович. Хотели бы перед отправлением испросить благословения у отца Даниила.

— Благословение? — Полкан морщит лоб.

А от лазарета уже какой-то казак ведет с почтением глухого бомжа с моста. Тот хоть и выглядит изможденно, но переступает сам. Опирается на палку.

Атаман делает к нему шаг, снимает фуражку. Опускается на колено. Берет худую и исцарапанную руку, прикладывает к ней губами.

– Благослови на дело, отец. Как православный православных, как русский человек русских людей – прошу, благослови.

Все казаки в строю тоже обнажают головы. Ветер ерошит им волосы.

Глухой сначала смотрит на Кригова как будто непонимающе, потом кивает. Берет в руки крест.

– Именем Отца, и Сына, и Святого духа...

Он крестит Кригова, потом идет нетвердо вдоль всего ряда, и гундосым голосом человека, который себя не может услышать, выговаривает это.

На лице его странное выражение. Судорога. Не такого, наверное, ждут от него сейчас казаки, которым отсюда ехать за мост. Которые не знают еще, с чем они там сейчас встретятся.

Егора опять подмывает слезть с подоконника и все им рассказать. И вдруг он соображает: а ведь этот самый отец Даниил знает про то, что ждет экспедицию за мостом, не в пример больше него. Трупы на мосту он наверняка видел. А может быть... У Егора на загривке подшерсток поднимается... А может быть, он видел, как все эти люди умирали. И знает, от чего они бежали.

– Именем Отца, и Сына, и Святого духа...

Идет себе, бубнит – и ничем не выдаст себя.

Сердце у Егора ускоряется. Что-то тут не то, не то творится. Нехорошее.

Глухой осеняет последнего в строю крестным знамением, но не отходит от людей. Атаман, который собирался уже командовать погрузку, с почтением ждет.

Отец Даниил, глядя в землю, говорит:

– Знайте, что праведные спасутся, а грешным туда и дорога. Несите крест впереди себя, молитесь денно и нощно. Молитесь священномученику Киприану, дабы оборонил вас от бесов. Молитесь своими словами, которые от сердца идут. Святой Киприане услышит вас, как меня услышал. Все. Езжайте. Помилуй нас всех Господь, коли не оставил он еще наш мир.

Казаки от такого благословения пытаются отшутиться – но потихоньку. Надевают фуражки, начинают рассаживаться по дрезинам. Раскашливаются моторы, закуривается вкусный сизый дымок.

Еще не поздно соскочить с подоконника.

Мишель делает шаг к атаману, тот шлет ей воздушный поцелуй, не таясь.

Караульные на воротах тянут створы в разные стороны, и дрезины трогаются с места.

Но тут вылетает на их пути высокая худая фигура, раскидывает руки и перегородивает казакам дорогу.

– Нет! Не поедете! Не пущу! Не пущу!

Мать.

# Дары

## 1

Рулевой первой дрезины, уже набравшей ход, еле успевает затормозить: Егорова мать стоит на рельсах твердо, не шелохнется. Кажется, ей неважно, собьют ее или нет.

Кригов оборачивается к Полкану.

— Это как понимать?

Полкан, красный как рак, идет к Тамаре, берет ее за руку. Она вырывается. На мужа даже слов не расходует, обращается сразу к Кригову:

— Вам нельзя туда! Разворачивайтесь. Езжайте к себе в Москву. Куда хотите, а туда нельзя!

— Вот так-так! — Кригов спешивается. — Это почему же?

— Зло там. На том берегу. Спит, ждет, чтобы его разбудили. Вам кажется, у нас тут мирная жизнь, да? Спокойная? Это потому что мы тише воды, ниже травы сидим. Оно не замечает нас, вот поэтому. Ему нас через реку не видно. А вы хотите к нему прямо в пасть.

Полкан снова берет жену под локоть. Святой отец наблюдает за Егоровой матерью, наморщив лоб, хочет понять, какого лешего тут творится.

— Пойдем, Тамара. Не позорь перед людьми. Нагадала она тут на кофейной гуще и будет еще...

— Уйди! Сам трусишь — дай, я скажу!

Она отталкивает его. Не глядит на него, не хочет на него глядеть. А смотрит на отца Даниила:

— Что вы их благословляете, батюшка? На что? На погибель! Вы, может, не знаете, потому что вам видеть не дано, хоть вы и праведник. А я, хоть и грешница, вижу! Тьму вижу. Вижу, что на том берегу не важно уже будет, кто грешен, а кто праведен. Никто там не спасется. Всех до единого сожрут и сюда поползут. Там как паук на паутине спит, ждет, откуда за ниточку потянут. Сами погибнете и на нас навлечете! Уезжайте в свою Москву, не трогайте его!

— Тамара! Прекрати!

Полкан в бешенстве, весь пунцовый. Отец Даниил тоже нахмурился, будто понял, когда к нему обращались. Кригов поднимает руку. Говорит насмешливо.

— А что, Тамара... Откуда разведданные-то? И что за зло?

Тамара смотрит в него исподлобья.

— Видела я. Показали мне. Не знаю, что... Чувствую беду.

— Здравсте-приехали. А вы и не говорили, Сергей Петрович, что у вас супруга — экстрасенс.

Казаки начинают пересмеиваться. Отец Даниил морщит лоб, пытается понять, о чем ругаются.

— Видения были.

— Сны, то есть. Черная собака, пауки... Так? Что там еще?

Егор глаз не сводит с матери. Он тоже привык потешаться на ее тревожными видениями. Но сейчас — он знает — мать чувствует правду. Не видит, но чувствует. Зло.

— А я расскажу.

— Тамара! Все, хватит. Пойдем. Хватит! — рычит Полкан.

— Нет, что уж. Давайте. Мы послушаем, — ухмыляется Кригов.

Люди вокруг шушукуются, но никто не вмешивается: дела семейные. К тому же, кое-кто тут, может, и за Тамару.

— Видела, туман над рекой развеялся! И через реку видела вас всех, атаман! Видела на части разорванных! Видела, как волки твоих солдатиков глодали! Видела себя — на костре! Видела своего сына! Голова вся в крови, из ушей идет!

Полкан своей кабаньей силищей перебарывает ее, тащит к дому.

— Хватит!!!

— Оставьте ее вы, Сергей Петрович.

Кригов забирается обратно на свою дрезину. Осматривает с нее собравшихся. Поправляет фуражку. Начинает так:

— Есть вера, а есть суеверия. Вера у меня в Христа и в то, что он нас от всех бед защитит. Дело наше правое, и на дело это нас благословили, и не только сейчас. А суеверий у меня нет. Мы раньше на югах стояли, в диких землях. Там у людей глаз злой, что ни старая карга, то ведьма. И пообломали они о нас там зубы, эти их ведьмы, я вам доложу. Вот мы, здесь, а их не видать что-то.

Тамара рвется из Полкановых объятий:

— Я не проклинала тебя, идиот ты несчастный! Я предупреждаю тебя!

— И предупреждать меня без надобности. Вы что, думаете, мы на курорт собрались? Я за дело, за Родину готов в любую секунду умереть. И каждый из моих бойцов готов — тут все добровольцы. Потому что, чтобы вернуть нашей Отчизне все ее земли, надо быть готовым на все. Сейчас — сейчас! — настало время собрать все по кусочкам. И это время скоро выйдет, потому что, если мы не подберем, другие подберут. Великая страна была, от одного края земли до другого! Потому что те, кто ее создавал, за реки и за мосты уходили без страха. Потому что те, кто ее оборонял, костями в землю ложились, чтобы сохранить ее для нас! Величайшая в мире была страна, потому что наши отцы думали о нас, а не о себе. О нас! Это

дело огромней, чем одна моя или ваша жизнь. Что, думаешь, мне сдохнуть страшно? По любому же умирать! А волками — вон, сосунка своего пугай.

Егор, прыгнувший уже с подоконника, делает шаг назад, от окна. Ему кажется, что сейчас каждый человек внизу — и в толпе, и на дрезинах — начнет искать его глазами. Но никто не ищет, все смотрят в рот Кригову. Людей его речь пришибла. Казаки на дрезинах вытянулись во фронт. А Кригов набрал воздуха и силы, кулаком небо молотит, заколачивает в него слова:

— Но мы еще, перед тем как погибнуть, увидим, как наша Родина встает с колен. И вы это увидите! За нашим отрядом придут новые! Мы что? Там такие силы собираются, которые любого врага сметут! Мы от вас границу отодвинем! Будет не по Волге проходить, а по Каме, а потом по Енисею, а потом и по Амуру. Это все — наше по праву. Нашими дедами и прадедами сполна оплаченное. И если мы не пойдем и не возьмем это, значит, они все — все, слышите? — все зря жили и зря погибали! Значит, нам и осталось, что только выродиться и сгинуть! Значит, бабские суеверия, да цыганский сглаз нам — самое то, самое правильное для нас пророчество! А не то, что нам Патриарх предрек! А предрек он, что еще на нашем веку быть Московии снова огромной, единой, грозной, и что зваться ей снова как раньше — великой Россией!

Тут кто-то из казаков как закричит, а другие за ним:

— Слава России! Слава России! Слава России!

И Кригов тоже, обедев всех таким взглядом, что до кишок прожигает, тоже за ними:

— Слава России! Открывай ворота! Братцы, запевай! Про-щай девчоооонка! Пройдут дожди! Солдат вернеееоотся! Ты только жди!

Мурашки по коже бегут, Егору их приходится с себя руками сгонять. Скрипят ворота — караульные послушались приказа. Казаки подхватывают песню, голоса сливаются в хор.

— Пускай вернееоотся! Твой верный друг! Лю-бо-вь на свете сильнееея рааааазлук!

Тамара стоит молча, скрестив худые длинные руки на груди. Смотрит отбывающему каравану в спину, и ее глаза тоже могут прожечь насквозь. Дрезины выкачиваются за ворота, едут к стрелке, откуда двинутся к мосту.

Местное население, не устояв во дворе Поста, высыпает за ворота, за стену — провожать дрезины. Женщины, мужики, дети — машут казакам, и у всех, наверное, сейчас, как и у Егора — мурашки бегут по коже.

Все смотрят только на казаков.

Песня их бравая колышется над их головами и тащится за ними, как красный воздушный змей.

Когда они проваливаются в туман, этот змей еще бьется недолго снаружи, но потом груженные дрезины перевешивают и увлакивают его за собой в бездну.

## 2

Мишель за ворота не выходит. Она делает шаг назад, в тень подъезда, взлетает на второй этаж, толкает дверь и прячется в пыли и скрипе своей квартиры.

В руках у нее полотняный сверток. Мишель сразу проходит в кухню, открывает верхний шкафчик и убирает сверток в него. Долго глядит на сверток, прежде чем закрыть дверцы. А закрыв, сразу отпирает их снова, достает сверток опять и перепрятывает в нижних шкафчиках, за пыльными трехлитровыми банками.

Подходит к окну: Полкан ведет под руки домой свою ведьму.

Тамара вырывается, отворачивается и размашисто шагает прочь. Люди во дворе шушукуются, провожая ее взглядами. Тетки нахохлились, мужики посмеиваются. Тетки знают Тамару лучше: многие ходят к ней с вопросами. Тамара иногда знает многое, чего знать не может — просто закроет глаза и скажет. Или на картах погадает — угадывает не всегда, но утешить умеет.

Не всегда угадывает, повторяет себе Мишель.

Не случится ничего из того, что накаркала эта ведьма. Ничего плохого с ним не произойдет. Ничего такого нет там за этим дебильным мостом. Он просто съездит и вернется. Съездит, посмотрит и вернется.

Волки съедят.

Вот сука! Вот стерва! Как такое можно человеку в лицо сказать?! При всех!

Слезы подступают сами. Закладывает нос, начинает щипать глаза, как будто лук резала. Мишель проходит в ванную, черпает ковшом колодезную воду из ведра, ополаскивает лицо.

Ржавая вода не может вымыть из глаз это: черный осенний лес, остановившиеся посреди пустоты дрезины, растерзанные тела. Волков, которые, как дворовые псы за кость, дерутся за ее Сашу. Мертвого.

Будь ты проклята, мразь. Будь ты проклята.

Мишель произносит это упрямо, зло — но самым неслышным шепотом, как будто боится, что Тамара может ее услышать — через кирпичные стены, через бетонные перегородки — из своей квартиры.

Вдруг может?

Мишель уходит в свою комнату, ложится. Садится. Ложится опять.

Пытается вспомнить эту ночь и это долгое утро: полоски желтого света от уличных фонарей, и в этих полосках — его лицо, его руки, волосы на его груди; он никак не складывается целиком. Она подносит свои пальцы к губам, касается. Пальцы пахнут им, волосы им пахнут, она вся пахнет Сашей — терпко, ясно и отчетливо пахнет им, колодезная вода этого запаха смыть не может.

Мишель хочет вспомнить их поцелуи, но сразу вспоминается только последний поцелуй. Тот поцелуй, под прикрытием которого он все-таки всучил ей тяжелый полотняный сверток. Она не хотела его брать, она совершенно точно не просила его и никак на него не намекала.

Нельзя было его принимать.

Зря, зря. Зря!

Провожая Сашу во дворе, вместо того, чтобы фантазировать о его возвращении, она думала о том, что ей не надо, нельзя было брать у него этот сверток. И только Тамара со своими волками отбила у нее эту липучую мысль.

Сверток принес ординарец, поставил, ухмыляясь, на порог, отдал честь и пропал. Кригов взял его в руки, сначала говорил, что это сюрприз для Мишель, но она не хотела сюрпризов.

Тогда он сказал, что внутри.

Она, конечно, отказалась, но он настаивал. Сверток производил перерасчет всего, что случилось между ними этой ночью. Мишель пока до конца не понимала, как именно все от него менялось, но точно знала, что брать его нельзя.

Но атаман всучил ей его все-таки на этом последнем поцелуе. И когда он сделал шаг назад, сверток остался у нее в руках — тяжелый, ребристый, неудобный. Мишель спрятала его под куртку. По лестнице они спустились вместе, но во двор вышли по очереди. Она смотрела на атамана из подъездной тени, а сверток оттягивал руки, тянул вниз. Рядом стоял Ванечка Виноградов, четырехлетний не нужный своим родителям вундеркинд, и сочувственно на Мишель смотрел. Потом сказал, не выговаривая «л»: «Влюбилась». Зараза.

Можно было выбросить сверток, можно было его закопать, но Мишель принесла его домой. Принесла сверток домой и спрятала его в кухонном шкафу.

Нет, там дед может найти.

Мишель разбирает пустые банки, пыльное стекло, достает сверток из шкафчика. На цыпочках ступает по скрипучему паркету, проходит в свою комнату, запирается в ней, встает на колени и, перед тем, как убрать сверток под кровать, разворачивает полотно.

Перед ней лежат десять продолговатых жестяных банок, похожие на снарядные гильзы. На каждой наклейка: «Мясо Тушеное. 1КГ»

### 3

— Сергей Петрович! Товарищ полковник!

Полкан вскидывается, оборачивается.

Смотрит — двое караульных, Сережа Шпала и Дягилев, ведут дергающегося и упирающегося попа. Ведут из-за ворот.

— Он это... Когда все за ворота-то вышли... Деру дал. На Москву.

— Ого! Это что это... Ну давайте сюда его.

Отец Даниил глядит ему в глаза без страха и без покорности — но тревога в них видна. Полкан кладет ему свою тяжелую лапу на плечо.



– Ты куда собрался, лапоть? Начинает дождик капать...

– Не понимаю я. Не слышу.

– Вот и я, брат, не понимаю. Подъесаул говорит, ты еле на ногах стоишь, на дрезинах-то тебя с собой брать не хотел, жалел, а ты на своих двоих от нас собрался!

– Не понимаю.

– Куда ты идешь, говорю? Куда собрался?

Полкан машет ручищей в направлении столицы. Монах кивает, как ни в чем не бывало:

– Мне в Москву же надо. Я говорил.

– Говорил-то говорил. Да для того ж, батюшка, наш Пост и поставлен, чтобы не шлялись люди туда-сюда без разрешения.

– Что? Не понимаю.

Полкан прикидывает что-то, трет свой потный ершик вокруг проплешины.

– Ну ничего, поймешь еще. Все ты у меня, родимый, поймешь. Пум-пурум-пум-пум... Слышь, Сереж, а что у нас, изолятор-то ведь свободный стоит, а?

– Так точно, Сергей Петрович.

– Вот давайте мы святого отца туда и упакуем пока что. Решетки там наварите на окна еще, ладно?

Тамара, которая все еще стоит тут, рядом, взрывается:

– Не смей! Он божий человек! Не вздумай его сажать!

Тут и Полкан уже принимается орать:

– Иди-ка ты, Тамарка, лесом! Хватит! Сказал, посидит, значит, посидит! У нас тут один комендант, ясно тебе или нет?! Пошла!

– Ты об этом еще пожалеешь!

Она срывается с места и бросается в подъезд.

Дягилев с непробиваемой физиономией уточняет, давая Полкану перевести дыхание:

– Арматурой решетки сделать?

– Да, ну Кольцова попроси, он сообразит. И вот туда батюшку нашего. Кровать, одеяло, все по-человечески. Мне так поспокойней будет. А то Вятка-не Вятка...

Отца Даниила, который читал-читал по полковничьим губам о своей судьбе, да так до конца и не дочитал, удивленного, уводят. Полкан смотрит ему вслед, и чувство у него однозначное: наконец поступил правильно.

#### 4

Егор ждет казачьего каравана назад с нетерпением. Сколько им надо времени, чтобы наткнуться на первые трупы на мосту? Они ведь едут под парами, минуты за три точно доберутся за того страшного огромного мужика, который лежал

крайним, вцепившись ободранными пальцами в шпалы. Объехать его нельзя, и по нему проехать тоже не выйдет — значит, надо высаживать разведчиков, обследовать пути — и дальше Кригов уже сам все поймет.

Поймет, что за мост ехать нельзя. Поймет и даст заднюю.

Егор глядит на часы: проходит десять минут; пятнадцать; двадцать.

Мать сейчас закрылась дома и исходит там желчью. Полкан торчит у себя в кабинете, обрывает телефонный провод. Никто не начнет на него орать, что он шляется... Егор не выдерживает, выбегает за ворота, выходит на рельсы и смотрит на мост. Ничего не видно и не слышно. Туман стоит ровно и глухо, ветер дует на него от Москвы, и, наверное, загоняет обратно в зеленую гущу и солдатские голоса, и тарактеные моторов.

От заставы ему кричат:

— Егор! Ты чего тут делаешь?!

Он пожимает плечами: так, ничего.

Пора уходить, но ему не уходится. Двадцать пять минут, полчаса. Неужели этот болван просто приказал своим людям расчистить пути от трупов и покатил себе дальше? Но ведь в какой-то момент должен же он испугаться? Должно же до него дойти, что на том берегу творится какая-то запредельная жуть, и что заступать туда нельзя — все, как говорила мать?

Егору хочется вернуться к себе прямо сейчас, немедленно. Вместо того, чтобы обходить репейник, он идет напролом, раздвигая колючие ветки — и раздирает себе ладони в кровь. Смотрит на них тупо; голова идет кругом.

Ну и что?

А если бы он их предупредил — что, они не поехали бы на мост? Все равно поехали бы. Не стали бы они слушать его, пацана, да еще и высмеяли бы при всех, как подняли на смех его мать.

И вообще — так им и надо, этим долдонам; совсем оборзели. Иди-ка мост один наш отвоюй-ка сначала, герой, а потом земли потерянные будешь возвращать. Права мамка, сидели себе и сидели, все спокойно было, куда ты полез-то, а?

Егор идет домой, оглядывается на ладони.

Так им и надо — это как?

Да ничего не будет с ними. Прокатятся и вернутся.

А если бы Егор все-таки сообщил им? Сказал Кригову: там весь мост в трупах. Там что-то творится прямо сейчас, тела свежие совсем. Послушайте ее, послушайте мою мать, она не сумасшедшая. Послушайте ее, а не этого обросшего типа с крестом, у которого вы испрашивали благословения. Который, как и Егор, был там и все сам видел. Который, как и Егор, никому ничего не сказал.

Во дворе все почти уже разбрелись по своим делам; отца Даниила уводят караульные. Полкан сказал его закрыть, пока суть да дело — это Егор слышал. Это Полкан правильно, хотя и сам не знает, насколько. Так Егору хоть чуть-чуть, да

спокойнее... Он-то почему не сказал ничего казакам, да и спровадил их туда еще? Пусть лучше взаперти побудет. Хотя бы его бояться не надо.

Отец Даниил чувствует на себе настойчивый Егоров взгляд, поднимает глаза и ласково Егору улыбается. От этой его улыбки у Егора по коже мурашки бегут.

## 5

Монаха ведут на дальний конец двора; Мишелькин дед не отстает от конвоиров, запыхавшись, шагает вровень.

— Куда вы его? Слышь, Дягилев?

— Дядь Никит, отвянь. Полкан сказал под замок его. Он свинтить от нас пытался.

— Ох ты, черт... А можно я его у вас на полчаса одолжу, а потом вы уж его куда хотите?

— Это ты с Полканом, дядь Никит. Тебе зачем?

Через пять минут тот же вопрос задает деду Никите уже сам Полкан: на Посту до начальства дотянуться нетрудно. Он смотрит на старика утомленно, уже настроившись отказать.

— Бабка достала, — объясняет Никита. — Надо ей непременно венчаться. Так ведь там наверняка же не готово еще ничего, в изоляторе, а? Пока кровать они затащат, замки еще чинить. А я бы его попользовал коротенечко. От него не будет, да и от тебя тоже, Сергей Петрович. А?

— И как тебя глухой венчать будет, дядь Никит?

— У бабки спроси. С божьей помощью, наверное.

Баба Маруся, как услышала о пришествии на Пост божьего человека, совсем потеряла покой. Сегодня вот собралась помирать как-то особенно всерьез, и очень спешила повенчаться с Никитой, пока этого не случилось. А тут такое.

Никита по-честному в бога не верует, но и полностью исключить его существования не может. Венчаться в текущем моменте кажется ему решением одновременно и бессмысленным, и рискованным. Дело в том, что он уже особенно и не помнит свою Марусю молодой и прекрасной: лежачая и ходящая под себя старуха затмила дерзкую и веселую девушку почти целиком, и тоненький сияющий серп ее прежней остается после этого затмения только в редких Никитиных снах.

Никита свою жизнь на земле скорее досиживает, а на вечную не рассчитывает. Но если бы вдруг оказалось, что права Маруся и его бытие в Ярославле было только прелюдией к царствию божьему, то ему хотелось бы там все-таки начать все заново, а не оказываться приговоренным небесным ЗАГСом к бессрочному браку с этой старухой. Кто, в конце концов, гарантирует, что в загробной жизни они непременно встретятся двадцатилетними?

А если там ничего нет, то к чему вообще весь этот балаган? Так Никита думает про себя. А вслух Никита говорит:

– Жалко ее очень.

Полкан прихлопывает снулую муху на обоях. И, довольный удачной охотой, дает разрешение:

– Ладно. Пока там стелют ему... Иди, если уговоришь.

Никита с этой нежеланной победой возвращается в карцер, где последний раз держали буйного Леньку Алконавта, когда тот «белку» словил.

Глухой поп лупает своими обветренными глазами, пытается по губам прочесть смысл, но губы у Никиты зачерствели от возраста, гнутся плохо, и буквы из них складываются нечеткие. Отец Даниил жмет плечами: не слышу.

Тут Никите бы сдаться и пойти домой, сказать Марусе, что бродяга с крестом им отказал, но Никита не может. Он снова теребит юродивого за рукав. Пальцами изображает обручальные кольца.

– Нужно повенчать. Повенчать нас с бабкой. Понимаешь?

Если там ничего нет, то надо дать ей какое-то утешение на то время, которое ей тут осталось. Это у Никиты есть работа в мастерских, дежурства на мосту, бражка с приятелями на скамеечке под вечер, самокрутки, воздух и солнце. А у нее что? Только воспоминания о том, как сладко было с ногами, унылый Есенин и Нюра, ну и, конечно, Мишель.

А если там есть вечная жизнь... Все равно слишком ее жалко. Марусю.

Он берет отца Даниила за руку и тянет за собой. Говорит ему и себе:

– Надо. Пойдем. Надо, понимаешь?

Тот то ли вздыхает, то ли мычит — как изможденная корова, в которой не осталось больше молока, но которую упрямо дергают за вымя голодные хозяева. И бредет за Никитой — так же нехотя и так же послушно. За ними шаркают конвоиры.

## 5

Егор стоит у двери в Полканов штаб.

Тишина такая, что слышно, как этажом ниже в школьном классе Татьяна Николаевна начитывает своим горе-ученичкам диктант. Кажется, «Филиппок». Тоска зеленая фонит из класса во все стороны, до мурашек.

Полкан отсиживается в кабинете один, телефон молчит. Надо просто войти... Или постучаться сначала.

Войти, пошутить как-нибудь, помолчать многозначительно, а потом признать-ся во всем: что сбежал на мост без спросу и в нарушение материнского запрета, что обнаружил на нем сотню с лишним мертвецов, что вернулся и ничего никому

не сказал, что не стал предупреждать казаков и не стал вмешиваться, когда мать вышла им наперекор.

Надо рассказать Полкану обо всем об этом.

Просто потому что это правильно. Так честно. И еще потому что дальше это уже будет ответственность Полкана, как коменданта Поста. Егору, конечно, прилетит по башке за самоволку, но зато камень с души. И главное — может, все эти мертвецы тогда отступят, оставят Егора в покое.

Может быть, Полкан такое уже видывал во время войны и имеет увиденному четкое и внятное объяснение. Найдется какая-нибудь разгадка, такая, что Егор сразу выдохнет: «А! Так вот оно что!» — и все.

А если он Егора спросит, почему тот не предупредил казаков сразу? Что тогда Егор ему ответит? Правду? Что не сказал атаману ничего, потому что и надеялся, что тот сгинет навсегда? И молча смотрел, как казачок при людях унижает его мать, потому что чувствовал, как с каждым новым выкрикнутым словом Кригов сам себе дорогу назад с моста отрезает?

Вот если было бы что-то, чем можно было искупить сделанное. На что можно было бы сразу перевести стрелки. Типа: да, накосячил, было. Зато вот что я тут выяснил...

Егор отпускает дверную ручку и сует руку в карман. Нащупывает пластиковый прямоугольник: найденный на мосту мобильник. Тот теплый: пригрелся у Егора в кармане, подпитался от его тепла. Телефон работает, его только надо разблокировать.

Надо все-таки пойти к Кольке Кольцову и разлочить мобилу. И тогда уже постучаться к Полкану со всей инфой. Если Егор сам, первый узнает, что случилось с теми людьми на мосту, сам принесет сведения — ему, может, и сойдет с рук, что признался не сразу. А дальше пускай Полкан взваливает весь этот ад на свою хребтину. У него, у кабана, хребет как раз подходящий.

И все же Егор медлит.

Только шаги по лестнице — кто-то поднимается бодро и чеканно — спугивают его и заставляют решиться окончательно.

По лестнице вниз Егор летит не оглядываясь. Навстречу ему, надев на себя решительное и хмурое лицо, идет гарнизонный повар — Лев Сергеевич. Хочет что-то спросить, но Егор якобы слишком спешит.

## 6

Полкану очень нужно, чтобы его сейчас просто оставили в покое. Но в дверь стучит именно тот человек, которого он хочет сейчас видеть меньше всего. Стучит, а потом открывает сам, без спросу.

Заходит, сверкает единственным глазом, усаживается в кресло для посетителей и принимается сворачивать самокрутку из сотки. У него сотка старая, засаленная, и Полкан обреченно думает, что и раскуриваться будет плохо, и куриться будет плохо, и будет коптить ему кабинет салом с пальцев давно сгинувших людей.

Полкан терпит. Лев Сергеевич закуривает и выдыхает ему в лицо едкий дым:

— Ну и что твои казаки?

Полкан жмет плечами, притворяется, что не понимает.

— А что мои казаки?

— Тушенку они нам везли, вроде. Крупы еще. Они просто как-то мимо меня отгрузили, понимаешь, вот я и спрашиваю. Хотел завтра людям гречки с тушенкой на ужин сварганить. Наша-то — все, тью-тью. Вся на торжественный прием ушла.

— Ну что ты как этот... Чего прилип, как банный лист...

— Погоди-погоди-погоди... Ты что глаза-то прячешь, а, Сергей Петрович?

— Слушай, Лева... Ты сам ведь понял все уже, что ты мне душу морочишь?

— Я еще ничего, Сергей Петрович, не понял. Я вот к тебе специально пришел, чтобы разобраться.

— Не было там нашей тушенки. У них только с собой провиант в экспедицию. Для нас будет другая поставка, потом.

— Потом будет суп с котом. Куда им такую прорвищу жратвы? Ты видел, сколько там?

— Видел я все. Видел! Ну а их вон — тридцать молодых здоровых мужиков. И хер знает, на сколько они едут, и куда! Чего они там жрать-то будут, за мостом? Может, там все отравлено... Надо и в их положение войти!

— В наше положение тебе входить надо, Сергей Петрович! В наше! Я говорил тебе, что у нас припасы на исходе? Говорил.

Полкан тоже делает себе курево из зеленой тысячной. Прикуривает у повара.

— Ты не слушал его, что ли? Лева! Это же дело государственной важности! Границы двигаем!

— Я-то все слышал. И не дай бог, они там еще кого-то присоединят, вот что.

— Это почему еще?

— Пока мы тут крайними на железке сидели, нам хоть довольствие человеческое полагалось — и то они его жият. А если границу далее двинут, на самообеспечение перейдем, понял? Друг друга то есть кушать будем.

Полкан цыкает зло, но одноглазого повара не прогоняет. Тот жмурит свой глаз, чтобы дымом не ело.

— Позвони им, Сергей Петрович. В Москву. При мне. Куда ты там обычно им... Вон в то управление.

— Не буду. С какой еще стати...

— Тогда сегодня иди и сам готовь. Не знаю, из чего, но готовь сам.

Полкан затягивает внутрь остаток самокрутки, швыряет в пепельницу обгорелую бумажку. Раздраженно хватает трубку с двуглавым орлом.

– Ладно, хер с тобой.

Нажимает кнопки. Пиликают они фальшиво. Он ставит на громкую связь. Гудок из динамика идет слабый, неровный, как будто звонят не в Москву, а по медным проводам куда-то в далекое прошлое. Ждать заставляют долго – минуту, наверное, но Полкан не сдается. Крутит себе еще одну папиросу, тратит время с пользой. Наконец, клацает что-то, и далекий голос шелестит:

– Центральная.

– Это Ярославский пост. Полковник Пирогов. Мне с тылом бы, восточное направление. Ярцева.

– Ярцева нет.

– Ну дайте, кто есть. Заместителя его или там... Ну?

Полкан смотрит на Льва Сергеевича в упор, раскуривается по новой. Ждет, как было сказано. Через две минуты отвечают:

– Управление тылового обеспечения.

– Полковник Пирогов, Ярославль. Я по поводу довольствия. Нам задерживают сильно.

– Ярославль? Запишу, разберемся.

Лев Сергеевич криво усмехается. Полкан разводит руками: вот, мол.

– Послушайте... Мне это уже третью неделю говорят. Каждый раз звоню и каждый раз это от вас слышу. У меня провизия на исходе.

– Я записал. В течение недели-двух отправим.

Лев Сергеевич кивает Полкану: ага, держи карман шире.

– Ярцева дайте мне!

– Ярцев... На совещании.

– Я с кем разговариваю?

– Капитан Морозов.

– Давай сюда старшего, Морозов, сукин ты сын! Это ты там в Москве жопу греешь, а мы тут дерьмом дышим, дерьмо вместо воды глотаем, а ты нам еще и жрать его предлагаешь?!

Повар показывает Полкану большой палец. Капитан Морозов пропадает, но гудки идут не рваные, как если бы он бросил трубку, а томительные: ожидайте. Ожидайте. Ожидайте.

Лев Сергеевич бычкует свою жирную сотенную.

– Оборзевшие! Дави их, Сережа, гнид штабных. У тебя вон сотня ртов, включая детей шестнадцать человек.

У Полкана от десятой за утро самокрутки уже голова идет кругом; или, может, не от табака, а от злости – на этих гребаных казаков, на москвичей, на жену, и на себя самого.

В трубке щелкает. И визгливый голос, как гвоздем по стеклу, вопит:

– Кто там?!

– Полковник Пирогов, Ярославский пост. С кем...

– Покровский! Слушай, Пирогов! Ты с моими офицерами так не разговаривай, усек?! Сказано тебе потерпеть? Сказано! Все терпят, и ты потерпишь! Как миленький потерпишь!

– У меня люди! Мне людей надо кормить, Константин Сергеевич...

– Вот и корми, если надо! А мне надо армию снаряжать! Ты один, думаешь, такой умный?! Чем ты лучше остальных-то?! Чем ты лучше Твери, Тулы, Чехова?! Ничем! Ты знаешь, Пирогов, что у нас тут затевается? Слышал?!

– Я... Что затевается?

– Если не слышал, то не твоего ума и дело!

Полкан запоздало выключает громкую связь, бровями приказывает Льву Сергеевичу убираться. Тот собирается неспешно, ухмыляется, отдает коменданту честь издевательски, по-пионерски: дескать, давай, салага, пускай они тебя без мыла дрючат, раз ты такой послушный.

Но в трубке орут так яростно, что слышно все и без громкой связи.

– Экспедиционные корпуса в приоритете у нас! Когда до вас, бездельников, дело дойдет, тогда и получите свои консервы! Чего вы там нагеройствовали в вашей дыре? Ни хера! Когда такие дела в стране делаются, всем приходится пояса потуже! Приходится всем, а ноет только один Ярославль! Полковник Пирогов, мля, ноет! Все, отрубай его к х-херам!

И Москва отключается.

Полкан роняет трубку. Перед глазами плывут красные круги. Череп ломит. Одноглазый повар, драный кот, все еще трется о косяк, дослушивает склоку. Полкан поднимает пепельницу — красную с золотом тарелочку — и швыряет ее о стену.

– Пшел отсюда! Вон! Отсюда! Пошел!

## 7

Бабка принялась проедать деду плешь, как только Нюрочка принесла благую весть: мол, пришлый с той стороны моста — самый настоящий православный бабтюшка; как минимум — монах. Когда отец Даниил вышел благословлять казаков на ратные подвиги, на всем Посту уже не было души, которая бы не знала, кто он такой. И были люди, которые смотрели на него ищуще и жадно.

Баба Маруся смотрела в потолок и ничего видеть не могла, но дожидалась появления священника с огромным нетерпением. Нюрочка рассказала сначала о хоругви и о «Господи, помилуй», потом о нательном кресте, потом о молитвах в бреду, потом о том, что очнулся, и о том, что казацкий атаман, верующий чело-



век, пришел к страннику на поклон. Все это время бабка капала по капле: иди, иди, иди. После того, как отец Даниил перекрестил казаков, отпираться дальше стало невозможно.

Мишель знает, кто сейчас войдет: она следила за дедом из окна. Непонятно только, зачем конвой.

Вся затея с венчанием кажется ей глупостью, бабкиной прихотью; а Мишель всегда была на дедовой стороне. Но это ее раздражение бабкиным упрямством, желанием пристегнуть покрепче к себе деда, прежде чем идти на дно, на изможденного монаха не распространяется, хотя именно ему сейчас надо будет исполнять бабкину волю.

Отперев, Мишель даже улыбается ему. Так она ему говорит «спасибо» за то, что застраховал своей божьей страховкой ее Сашу от всей этой бесовщины, которую пыталась навести на казаков Полканова ведьма. Мишель готова называть его так, как Кригов его называл:

– Здравствуйте, отец Даниил.

Отец Даниил кивает ей серьезно, улыбаться не спешит. Может, ему нельзя девушкам улыбаться? Кто знает, что ему там можно и чего нельзя?

И все равно, для Мишель он – как будто сообщник. Они заодно: за то, чтобы с Сашей и с его ребятами ничего не случилось.

Охрана остается при входе, а монах скидывает башмаки – ему выдали какие-то взамен изорванных кроссовок, в которых он явился. Дальше следует за дедом в комнату, кажется, и не замечая, что конвоиры его отпустили одного. Квартиру оглядывает без интереса.

Бабка румяная от волнения, пальцы на живой руке комкают простыню. Часто вздыхает. Вытягивает губы трубочкой, просит приложиться ими к запястью гостя. Получается плохо – половина рта ее не слушается. И половиной рта она тогда неразборчиво говорит:

– Господи Иисусе, дождалась. Дождалась. Молилась и дождалась. Послал Господь пастыря.

Отец Даниил руку давать ей не торопится. Смотрит на нее внимательно. Глаза у него проваленные, вместо человеческих щек торчат одни скулы, волосы ему отмыли, но без скреплявшей их грязи они сделались еще жиже.

– Здравствуйте.

Он говорит это своим ровным, без перепадов, голосом – голосом человека, который сам себя не может услышать и поправить.

– Святой отец. Батюшка. Прошу. Повенчайте меня с мужем.

Баба Маруся указывает на деда глазами, косит. Тот обреченно вздыхает, но улыбается Марусе беззлобно: ладно, давай уж.

Отец Даниил смотрит вокруг себя опять, словно забыл, куда попал и как тут очутился. Бабка растеряна: она, наверное, думала, что попов хлебом не корми –

дай кого-нибудь повенчать. На лбу у нее выступает испарина. Мишель подходит, чтобы промокнуть ее, но бабка отмахивается от нее ресницами.

Теперь просит уже дед.

– Повенчайте нас, батюшка.

Бабка, запыхавшись, лепечет:

– Не хотим жить во грехе. И по смерти желаемо соединиться на небеси.

Мишель морщится: эти дурацкие формы слов, которые бабка из своих молитвенников понадергала, кажутся ей сейчас ужасно фальшивыми.

Гость качает головой, как будто до него ничего из сказанного не доходит. Потом садится в ноги бабкиной кровати. И говорит своим бесстрастным голосом:

– Не будет нам царствия божьего. Кого Господь счел нужным на небесах, всех призвал. Врата небесные замкнулись. Отлетел небесный град от греховной земли, как душа от тела отлетает. Осталась земля теперь во власти Сатаны. Последние корчи ее зрим. Не могу тебя исповедовать и не могу причастить. Права не имею. Прости. Могу только одно сделать: перекрестить тебя, чтоб бесы тебя пожалели.

Он крестит ее бессильно, целует в лоб и поднимается на ноги.

У бабки от его слов кровь отливает от лица, и она становится восковая, будто уже преставилась. Отец Даниил только жмет плечами, крестит и остальных – и идет к выходу, где его ждет конвой. Дед спешит за ним, на ходу бормочет:

– Ну что же вам, трудно? Есть там или нет, какая разница? Вы просто сделайте, как она просит, а? А мы отблагодарим вас, чем можем, отблагодарим... Она так ждала, чтобы ее повенчали... Чтобы нас с ней повенчали...

Мишель слышит его из бабкиной комнаты, где осталась подержать старуху за руку; она слышит, а святой отец – нет.

Перед тем, как хлопнуть дверь, отец Даниил еще одно произносит – своей охране, бабке, всем:

– Сказано ведь было: спасутся только праведники. Остальных бесы одолеют. Когда шел сюда, думал тут праведников найти. А сейчас вижу: по ту сторону реки все пало, и по эту падет. Гниль. Труха. Изнутри сгнили, не выдержим бури. Ветер только поднимается, а уже сосны переломаны, как спички. Что тогда впереди? Все. Ведите в темницу.

## 8

Домой Полкан идти боится.

Оттягивает этот момент, сколько может, потому что знает, что будет. Знает, что Тамара будет ждать его у дверей, и знает, что разговора не избежать. Поэтому он начинает пить еще у себя в кабинете оставшуюся от разговора с подъяесаулом сливовую наливку.

Он с порога слышит, как она молится.

Проходит в комнату — она на коленях стоит перед иконой Богородицы в богатом золотом окладе и бьет ей поклоны.

— Мать Божья, Пресвятая Дева Мария, прости великое прегрешение. Прости за то, что духом слаба. Прости за то, что ворожила, что будущее хотела знать, что обряды творила. Истинно клянусь, делала это только во спасение, и потому надеюсь на прощение твое.

Полкан откашливается. Тамара отрывается от иконы. Смотрит на него.

— Послушай... Ты не права, ясно тебе?

— Уйди!

— Это не разговор, Тамара!

— Как ты смеешь?! Ты предал меня там, понимаешь ты это или нет?! Они выставили меня сумасшедшей, истеричкой — меня, твою жену!

— Тамара! Я же предупреждал тебя!

— Ты, когда звал меня жениться, клялся, что никогда не будешь меня стесняться! Клялся защищать всегда! Неважно, права я или неправа — я твоя жена, законная жена, ты сказал мне, что хочешь оставаться со мной всю жизнь! А сегодня ты меня предал!

— Я тебе же русским языком там сначала... Сначала говорил...

— Он меня унизил! И не тем, что цыганкой меня называл, как будто это что-то дурное! Не тем, что меня в глаза обвинил! А тем, что тебя заставил все это проглотить! А ты еще и при людях меня... При людях... Если тебе стыдно, что ты со мной, зачем ты вообще на мне женился?!

Она заходится в рыданиях.

Полкан пытается подойти и обнять ее, но она замахивается и ногтями раздирает ему щеку в кровь.

## 9

На заход солнца Егор смотрит с крыши. Солнце падает на западе, падает на Москву.

Конечно, он сюда не за закатом пришел. Пришел за тем, чтобы с верхней точки еще раз попытаться заглянуть за зеленую пелену, увидеть, что там на востоке, за мостом.

Казаки так и не вернулись, и теперь становится ясно, что они увиденного на мосту не испугались. Спешились, раскидали по сторонам мертвые тела и двинули дальше. Уехали и запропалились.

И сверху Егору видно их не лучше, чем снизу.

Раз до сих пор не вернулись, значит, далеко заехали. На дрезинах за день можно много проехать: до Москвы вон всего-то сутки.

Егор смотрит в солнце.

Я тебе ничего не должен.

Понял?

Так что мне ничего за это не будет.

Так что можешь со мной теперь построже

Хочешь — можешь орать на меня при людях

Ну? Огонь по мне, пали изо всех орудий!

Хочешь, приплети своего Христа? Жги, боже!

Жжешь? Мне пох. Я дышу и дырявой грудью.

Я тебя убил. А ты что, не понял?

Не почувствовал холодок на коже?

Ты мертвец. А мне ничего не будет.

Ты мертвец. И я ничего не должен.

Егор хоронит солнце, потом идет к себе. На улице больше делать нечего.

Дверь отпирает Полкан. Он уже дома. Рожа у него багровая, из прихожей видна банка браги, которая стоит на кухонном столе. В квартире тишина, матери не слышно. Полкан смотрит в Егора мутно, но во взгляде нет злобы. Говорит ему:

— Поди сюда.

Егор проходит в кухню неохотно. Полкан достает стакан, плещет самогона, ставит на стол.

— Давай выпьем.

— Мать не разрешает.

— Пей! Ты мужик или кто? Ссышь мамку, что ли?

Егор кривит рожу, потом берет стакан и отпивает жгучей тошнотворной дрянью. Закашливается. Из глаз брызжут слезы. Полкан одобрительно хлопает его по загривку.

— Все?

— Сядь. Во-первых. Гитару можешь свою забрать. В комнате у тебя лежит.

— Ого. Щедро.

— Во-вторых. Я с тобой вообще хотел нормально поговорить. Как мужик с мужиком.

— Окей.

— Выпей еще. На. Вот. Сколько я раз ей говорил не влезать? А тут такой момент! Эти архаровцы... У них же государственное дело! Экспедиция, бляха! А она меня позорит! Не просто меня, как мужика... А меня, как коменданта, как должностное лицо! И да, как мужика, сука, тоже! Ты-то понимаешь это?

– Ну да, типа.

Егор старается в красные Полкановы глаза не смотреть, а смотреть вместо этого в окно или в стакан.

– Ты знаешь, Егор, я человек такой, что телячьи нежности не люблю. Ты мне не сын, я тебе не отец, и не хера друг другу баки забивать.

– Согласен.

Полкан тяжело вздыхает.

– Тебя, бляха ты муха, и не примешь за моего сына-то... Сразу всем видать, что приемный... Ты прости, конечно... С этими зенками твоими...

– Все ок.

– Но... Но! Я хочу тебя правильно воспитать. Вырастить тебя таким... Ну, нормальным мужиком. Человеком. С понятиями. Долг там. Служба. Есть такое слово: надо. Не хочется, а надо. Понимаешь?

– Типа того.

– Вот. Потому что это вот все... Ну! Я ж не вечен. Черт его знает, сколько мне там... Кто-то должен будет потом вместо меня. Я бы не хотел, чтоб чужой человек был, понимаешь? А ты... Ты не сын, но ты не чужой человек. Вот я поэтому, за этим тебя гоняю тут... Учу... Было бы мне насрать на тебя, я бы отстал от тебя давно – вали куда хочешь, на мост там, в Москву, к китаезам... Я поэтому ведь только!

Его качает, и мутные свиные глаза ищут Егорова взглядом долго, срываясь. Полкан встает, распахивает окно, глотает сырой кислый воздух большими глотками. Егору нечего ответить, и он вместо этого пригубливает стакан. Полкан отворачивается от двора и просит:

– Мне одному это будет тяжело все тащить. Надо, чтоб ты помаленьку подключался, Егор. В делах разбирался. Понимаешь?

Егор кивает. Кивает. А потом вскакивает:

– А я не хочу к этому подключаться, к говну к этому ко всему! Не хочу этой шарашкой управлять! Не хочу я быть твоим наследником! Хочешь говно московское хлебать – давай, хлебай. А меня не надо втягивать. Да, может, к китаезам свалю! А может быть, за мост!

Он ждет, что Полкан сейчас, не разговаривая, залепит ему затрещину и даже прищуривается. Но Полкан только грустно срыгивает.

– Не хочешь. Не хочешь, бляха. Ну ясно. Никто не хочет.

Егор выходит из кухни, пока Полкан не успел еще передумать. Заглядывает в свою комнату: гитара, и правда, лежит на кровати. Надо быстрее перебраться к ней. В дверях он снова наталкивается на отчима.

Тот не сопротивляется, дает унести гитару из дома.

В след просит шепотом:

– Скажи ей, что я извиняюсь.

Колька Кольцов держит в руках телефон: черный прямоугольник, в котором видно только отражение его лица. Кольце двадцать пять, но в черном стекле его рыжий вихор видится седым, веснушки — серыми каплями. Если бы ему кровью брызнуло на лицо, в телефонном отражении было бы так же.

Воткнуть телефон в зарядник, так, чтобы тот вообще не сдох, Колька успевает в самый последний момент. Он залезает на застрявший в воздухе велосипед с единственным колесом — динамо-машину — и принимается крутить педали. Телефон понемножку начинает заряжаться. Значит, еще есть попытка. Главное теперь не ошибиться.

— Петь, покрути ты теперь, а?

Петька Цигаль, кольцовский корефан и оруженосец, вздыхает и садится на сиденье вместо Кольцова. Крутя педали, он спрашивает у Коли:

— Че, взломаешь?

— Пароль точно не подберу.

— Откуда он рабочий-то взял?

— Говорит, в городе нашел. Хотя тоже непонятно. Был бы старый телефон, до-распадный, или военных времен — мы б точно не открыли его. Но этот-то разряжен не до конца...

— Значит, им кто-то пользовался недавно.

— Вот и я о том же. Темнит пацан.

— Я вот думаю: странно, что их телефонами называли, нет? Там же и компас, и фонарик, и навигатор, и фотки делать можно... За такое блин, убить можно!

Цигаль смеется. И Коля Кольцов смеется тоже.

Кольцов берет телефон в руки — но держит его так, чтобы не посмотреть случайно во фронтальную камеру.

Экран вспыхивает, реагируя на движение.

Телефон хочет увидеть своего хозяина. Своего настоящего хозяина.

## Не видали креста

### 1

Колька Кольцов ждет Егора за гаражами. Переминается с ноги на ногу, почесывается, то присядет, то привстанет: утомился ждать.

— Ну че? — шепчет Егор.

Кольцов показывает ему мобильник:

— Зарядил.

Егор осторожно берет айфон в руки. Нажимает кнопку — экран загорается.

— Тут «фейс-айди», — объясняет Кольцов. — Распознавание по лицу. Телефон, чувачок, заблокирован.

— И что делать? — Егор сглатывает.

— Ну... Или код-пароль ввести — вон, шесть цифр — или поднести к лицу хозяина.

Кольцов изучает его, Егор кожей чувствует. Потом тот уточняет:

— Кода точно не знаешь?

Егор мотает головой. Кольцов типа шутит:

— Ну и хозяина ты же сейчас вряд ли сюда приведешь?

Егор хмыкает так, чтобы казалось, будто он смеется кольцовой шуточке. Потом осторожно спрашивает:

— Ну... А как оно лицо узнает?

— В смысле? Там камера, алгоритмы... Измеряет пропорции... Хер знает, как.

— Понятно. А... Ну, если там выражение лица какое-то не такое... Или цвет...

Кольцов сначала морщит лоб, потом догадывается.

— Ну, брат, если ты с мумии его снял, телефон этот... То она тебе уже не поможет. Если там кожа да кости... Тут, например, глаза для начала нужны.

Нужно, чтобы были открыты глаза, и чтобы смотрел человек прямо в камеру... То есть, зрачки чтоб по центру были.

— Ага. Ну че, ладно тогда.

— С мумией точно не сработает, короче. И если несколько раз чужое лицо подставить ему, он вообще только с пароля будет. Сам попадал так.

Егор старается изобразить, что ему все равно. А у самого такое чувство, словно полный рот набил щебнем с железнодорожной насыпи, и сейчас глотать будет нужно. Представил, как это — идти сейчас обратно на мост... Разблокировать.

— Да я понял, понял. Ладно, давай его обратно. Что-нибудь придумаю.

— Да че ты придумаешь-то? Потычешь в циферки, он у тебя залочится вообще, вот и все!

— Какая разница? Давай сюда его. Мой же телефон! Разберусь.

— А ты где его взял тепленький? Ты к кому его прикладывать собрался?

— Не твое дело!

Кольцов напрягается. Поднимает телефон повыше, так, чтобы Егор не достал — или чтобы ему пришлось за ним прыгать, как цирковой собачке.

— Ты не сечешь, что ли? Телефону капут. Оставь его мне.

— Че это? Тебе-то он зачем тогда?

— А тебе зачем?!

— Тебе-то какая разница? Я нашел, значит он мой. Не работает — ну и не работает.

— Ну я могу хоть все снести с него. И можно будет как новым пользоваться.

А ты сам хрен что сделаешь. Будешь смотреться в него, как в зеркальце.

— Ну и по хер. Сюда давай.

Кольцов смотрит на него свысока, и Егор прикидывает, как ему извернуться так, чтобы успеть выхватить мобильник и отступить с минимальными потерями. Шансов немного. И вдруг до него доходит кое-что. Он срывающимся голосом тычет в Кольцова вопросом:

— Ты че, Мишельке его дарить собрался, что ли?

Кольцов краснеет: на его прозрачной коже стыд и смущение проявляются сразу.

— А че... Ну и че! Ты сам, что ли...

Они расходятся на шаг и смотрят друг на друга с наклеывающейся ненавистью. Потом Кольцов взрывается хохотом.

— Ты-то куда лезешь! Ты мелкий же! Она, думаешь, за телефон тебе даст?

— В жопу иди! Думаешь, она тебе даст, дубина ты рыжая? Иди вон за сифами на Шанхае ухаживай! Самый твой уровень!

Кольцов от такой дерзости столбенеет, и Егор, воспользовавшись его замешательством, бьет его под руку снизу. Телефон летит в лужу, но Егор успевает его подхватить. Кольцов его подсекает, Егор падает в грязь, еле уворачивается от падающей на него туши, бьет наугад, получает зубодробительную обратку, пинает Кольцова в его рыжую харю, отползает... Кольцов утирает разбитый нос, глаза у него налились кровью, рука нашаривает булыжник. Но он успевает взять себя в руки.

— Сучонок... Вали отсюда. Если б ты не Полканов выкормыш был...



— В жопу иди! В задницу!  
Егор поднимается, пошатываясь, и дает ходу.  
Телефон у него. Это главное.

## 2

Ночью Егор телефон не трогал, а утром пару раз попробовал ввести наугад шестизначный пароль — от одного до шести по порядку, потом еще — шесть нулей. Аппарат при этом держал под углом, как Кольцов учил, чтобы тот случайно Егору не взглянул в глаза. Не сработало ни одно, ни другое.

Выход оставался один. Если Егор хотел вскрыть этот мобильник и явиться к Полкану с повинной только после этого — нужно было возвращаться на мост. Возвращаться, разыскивать среди мертвецов страшную хозяйку айфона — и уговаривать ее, чтобы она разлочила свой мобильный.

Но при одной мысли о том, что ему снова придется заступать на мост, у Егора ноги подкашиваются. А ведь, если идти, то идти надо как можно скорее: Кольцов же предупредил его о том, как для айфона важны пропорции. С каждым днем мертвецы на мосту будут менять свою геометрию: будут набухать, расплзаться. В тот день, когда Егор нашел телефон, лица у людей на мосту были еще людскими. Но теперь...

Сможет ли айфон узнать свою хозяйку теперь? Да и там ли она? Как знать, как поступили с телами казаки? А если сбросили в воду или сожгли?

Есть тысяча и одна причина не возвращаться на мост, не приставать к мертвым, не напоминать им о себе и не напоминать себе, что все это существует — и существует всего в нескольких сотнях метров от того места, где сейчас сидит Егор, сжав руками голову.

Назавтра Егор гонит себя на мост и отпирается. Не идет никуда.

Ночью он спит плохо: через приоткрытую форточку долетают с улицы какие-то странные звуки, просачиваются Егору во сны, превращаются в какую-то дрянь, в многоголового слепого змея, который вползает на мост с той стороны и тянется на эту — к мирно спящим и ничего не подозревающим людям. К людям, которых Егор не предупредил о смертельной опасности — хотя мог и хотя был должен.

На следующий день Егор просыпается, пытается заставить себя идти на мост, и, к своему огромному стыду, никуда не идет. И на следующий.

## 3

Люди в очереди шепчутся.

Шепот уже не особенно даже и тихий: тихий был в первые два дня, когда кончилось мясо. Теперь каждый стоящий с подносом бурчит заранее, зная, что

тушенки не будет, что будет только перловка — и всего только половина привычной порции. Вопросы задают как будто друг другу, но на самом деле Полкану.

— Хоть объяснили бы, в чем дело. Сказали бы, до какого...

— У меня вот вообще анемия, между прочим. Мне нельзя без мяса.

— Ребенку бы хотя б дали, что ли! Для детей неужели нет резерва?

Кухарка Тоня, стоящая на раздаче, каждому соболезнает, но мясом наделить никого не может. Она смотрит в лица людям — и видит, как у этих лиц меняется геометрия — они вытягиваются, округлость проходит в них и приходят вместо нее углы. Тоня накладывает по половине черпака в каждую протянутую тарелку и заклиняет эти тарелки:

— Скоро будет. Скоро уже будет. Потерпите. Через неделю точно придет.

Подходит Полкан, протягивает тарелку — такую же, как у всех. Смотрит на Тоню строго — просит справедливости. Вчера она пыталась положить ему побольше, не разрешил. И в очереди он стоит вместе со всеми, не возносится.

Жена его, Тамара, тоже тут, хотя и через несколько человек стоит. Что они друг с другом не разговаривают уже неделю — с тех самых пор, как казаки за мост уехали — весь Пост знает. Других новостей нет, будут эти, недельной давности, перемалывать. Ничего, пока казаки не возникли, некоторые сплетни и по месяцу мусолили. Деревня!

Полкан, нагрузившись, шагает к своему столу, на людей не глядит — но под их взглядами ежится. Садится и старается хлебать быстро: в столовой ему неуютно. Из-за спины прямо в затылок — как бы не ему, а на самом деле ему — шепчут:

— Ну и что вот эта Москва?

— Неужели Н.З. правда весь сожрали?

— Сам-то на спецпайке, небось, а мы лапу соси!

Полкан ждет-ждет, а потом поднимается — стул опрокидывается назад — и громогласно отвечает всем сразу:

— Значит, так! Москва нам обещала все на этой неделе, самое крайнее — на следующей. Я на них больше давить не могу. Все, что можно — это снарядить продотряд до Шанхая, а больше ничего. Н.З. у нас имелся, да весь вышел. Сам жру, как видите, то же самое, что и вы тут. А кто бросается обвинениями, тот пускай за них отвечает. Ясно?!

Люди бухтят потише, но совсем замолчать не хотят. Тоня знает: как только Полкан из столовой уйдет, ворчание разгорится по новой, и будут уже говорить по-другому. Это тушенка с перловкой склеивают разных людей в коллектив. А когда жратва кончается, каждый начинает думать в свою сторону.

Полуголодные люди начинают тянуться на выход, а Антонина подзывает шепотом измученную, похожую на сухую воблу мать с двумя мальчишками-близнецами.

— Ляль! Ляля!

Ляля вскидывает голову, нюхает воздух и потихоньку подходит к раздаточному окну.

– Задержись, пацанам твоим доложу еще. Осталось тут на донышке.

Ляля улыбается как может – по-рыбьи:

– Спасибо. А то что-то прижало совсем. Уезжать, наверное, надо.

– Да куда ты поедешь-то?

– В Москву. Куда еще, не за мост ведь.

– Так они тебя и ждут там. Не от хорошей жизни нам паек обрезали.

– Ну а что делать? Ждать тут ихней милости? С детьми на руках?

– Ну... Образуется еще все. Раньше выгребали как-то, и теперь, авось, выгребем.

#### 4

Дома Полкан дожидается возвращения всех своих, потом проходит в залу и тщательно зашторивает окна. Выдвигает стол на середину комнаты. Забирается в шифоньер и достает из него консервную банку. Говорит тихо:

– Греть нельзя, пахнуть будет. И на кухне нельзя зашторивать, люди подумают. Так что мы тут давайте, по-простому.

Тамара ничего не отвечает: за прошедшую неделю она так и не простила Полкана за его малодушие. Смотрит на консервы без выражения. Полкан пожимает плечами, шаркает на кухню за самогонкой. Наливает себе, глядя в глаза Тамаре, нацеживает и Егору. Тамарины глаза превращаются в щели, но она молчит.

Полкан берет консервный нож, вспарывает жестянку и вываливает на тарелку бурые кусочки в подливе. Подвигает пустую тарелку, накладывает Егору, потом в другую – Тамаре. Егор хочет отказаться, но тушенка гипнотизирует его, он не может оторвать от нее взгляда. В животе у него урчит. Полкан ухмыляется.

Тамара сглатывает, поднимает глаза к потолку. Полкан двигает тарелку поближе к ней, шепчет:

– Ешьте-ка давайте, не кобеньтесь. Потом, может, и не будет.

Егор смотрит в тушенку с ненавистью: она пахнет и без разогрева так, что скулы сводит и рот заливает слюной. Егор сидел в столовой во время выступления Полкана вместе со всеми, Егор слышал каждое сказанное им слово. Видел людей вокруг себя. При нем, при Полкановом выкормыше, шептались потише, но шептались все равно. Он разлепляет губы и спрашивает:

– Это откуда?

Полкан отправляет в рот шмат мяса в холодной подливе, и не дожидаясь, вскидывается:

– Что значит, откуда? Уж не у людей отнял, не переживай. Моя заначка, личная.

Тамара смотрит ему в рот, сидит ровно, к тарелке не притрагивается. Если бы она согласилась есть, Егору было бы проще.

– Вот вы чудак! Говорю же, наша это тушенка. Осталась банка-другая. Что мне, отдать ее надо было? Кому? Одним дам, другим захочется. Всех все равно не накормить. Я ж не Иисус, бляха-муха. Ну? Ладно, мать бастует. Но ты-то что, растущий организм? Жри давай.

Егор ждет от матери запрещающего взгляда, но она не обращает на него никакого внимания. Ни на него, ни на мужа. Теперь она внимательно изучает кусочек в своей тарелке.

И вдруг Егора разбирает злость на нее. За то, что она такая правильная, такая отчаянная, такая несговорчивая. За то, что вылезла перед казаками и дорогу им загородила. За то, что не прощает мужа и, может, никогда уже не простит.

Полкан подвигает стопку с горькой мутью к Егору поближе.

– Ну! Вздрогнули!

И Егор берет матери назло эту стопку, поднимает ее, чокается с Полканом и оба они опрокидывают в себя самогонку одновременно. Полкан воровато хохочет:

– Во! Нормально! Закусим теперь!

Он вилкой разрубает мягкую плоть в своей тарелке надвое и тащит в рот кусок, капая бурой подливой на белую скатерть.

Егору надо чем-то затушить жар в глотке, и он тоже накалывает на вилку шмат и быстрее, чем успевает себе напомнить про всех полуголодных людей в столовой, кладет себе его в рот. Мясо холодное и клейкое, но вкус у него неземной. Егор жует его не спеша, старательно, глотать не торопится.

Тамара никак не реагирует ни на то, что он при ней пьет, ни на то, что жрет тушенку. Она как будто не может отвести глаз от своей тарелки. Потом ее пере-дергивает. И еще раз. И еще. Егор спохватывается слишком поздно — когда она уже закатывает глаза, отталкивается ногами от пола и валится навзничь вместе со стулом на ковер.

– Мам! Ма!

Тамару корежит: ноги пляшут порознь, плечи ходят, как поршни — вперед и назад по очереди, из горла рвутся какие-то звуковые обрывки. Подвигание сменяется шипением и клекотом. На губах выступает белая пена.

Егор выскакивает в коридор, оскальзываясь на еловом паркете, бежит в кухню, рвет на себя ящик для столовых приборов, хватая искусанную алюминиевую ложку, с ней — назад, к матери, у которой уже стоит на коленях Полкан.

– Давай! Давай! Че ты копаешься там?!

Полкан раскрывает Тамаре рот: нажимает на челюсти по бокам, как вцепившейся в руку собаке, Егор вставляет ложку матери в зубы, чтобы та в припадке не откусила себе язык. Потом отгоняет Полкана от материнской головы, подкладывает ей подушку, гладит ее по лбу, отталкивает случившиеся рядом предметы, чтобы она не ударилась о них в конвульсии, и уговаривает ее, как плачущего младенца, как она самого его, наверное, когда-то уговаривала:

– Тщщщщ... Тщщщщ... Тихо, тихо...

Когда судороги, вроде бы, отступают, Егор все равно еще смотрит за матерью, и не зря, потому что ее начинает рвать. И надо придерживать ей голову снова, теперь так, чтобы она не захлебнулась.

Потом они вместе с Полканом перетаскивают мать в постель, укрывают ее, и Егор идет за водой и за тряпкой – замывать.

Он трет потемневший паркет и думает, что все равно не уверен, было ли это с ней сейчас по-настоящему, или она устроила это все для Полкана.

## 5

Мишель подпирает стену, спряталась в тень.

Училка Татьяна Николаевна пасет свой разномастный класс – с дошколят до десятилеток – во дворе. Большая перемена. Девочки расчертили грязь на классики, прыгают по старательно вырисованным цифрам. Манукяновская Алинка прыгает лучше всех, поэтому вся в грязюке. Будет ей потом. Сонечка Белоусова бережет колготки, хочет быть принцессой.

Татьяна Николаевна кричит:

– Манукян! Прекрати немедленно!

Сонечка смотрит на Мишель. Машет ей своей фарфоровой ручкой. Мишель отворачивается. Пытается понять: неужели она тоже когда-то была такой вот? Когда она жила в Москве – такой вот она была? Мелкой вообразулей? Не как Алинка, уж точно. Скорее, как Сонечка. Только вот в кого Соня принцесса, неясно: родители – работяги, папаша вообще алкоголик.

Татьяна Николаевна, перехватив взгляд Мишель, кивает ей. Подзывает к себе с учительской самоуверенностью, с убежденностью в том, что слушаться ее должны все. Мишель подчиняется ради прикола.

– Мишелечка. Ну посмотри, тебе ведь интересна работа с детьми. Помогла бы мне.

– Нет, спасибо.

– Очень зря упрямисься! Ты же видишь, девочки на тебя засматриваются. Ты могла бы стать им старшим товарищем, хорошим примером для подражания! Они сейчас формируются, как личности...

– Нет. Спасибо.

Татьяна Николаевна приглаживает кудрявые волосы.

– Почему?

– Боюсь, что они меня съедят!

И Мишель, послав Татьяне Николаевне воздушный поцелуй, ретируется на другой край двора.

## 6

Эти собираются под окнами изолятора.

Раньше они просились навещать попа прямо в камере, но Полкан это дело терпел недолго. Теперь вот кучкуются под окнами, кидают отцу Даниилу камушки в зарешеченные арматурой окна. Покидают-покидают — он не сразу заметит. Звуков он не принимает, только по вибрации может понять.

Открывает окно. Смотрит со своего этажа на пришедших к нему за добрым словом людей.

Мишель уже знает, кто тут будет.

Нюрочка первая, но не только она. И Сашка Коновалов, и хромая Серафима, и Ленька Алконавт, и еще бабки. Бабки ходят сюда исправно, бабки самые верные.

Каждый из них без веры как колченогий табурет — не может устоять, шатается. У каждого остается с жизнью непрояснённое, и, кроме отца Даниила, спрашивать и предъявлять оказалось им на Посту не у кого и некому. Вопросы Создателю они задают отцу Даниилу снизу вверх в окно, чтобы тот переадресовал далее. Но отец Даниил их не слышит и почти не понимает, так что вместо старушечьих вопросов отвечает на свои собственные.

Еще дед Никита ходит сюда. Когда поп бабе Марусе отказал и в венчании, и даже в исповеди, та пришла в такой ужас, что дед на все уже сделался готов, только бы ту привести в чувство. И вот она теперь гоняет его каждый день вместо себя под окна к арестованному попу. Дед Никита ходит, слушает, потом возвращается к бабке и пересказывает. А что он забудет, то Нюрочка дополнит, божий одуван.

Полканова Тамара тоже иногда тут маячит — как будто отдельно от всех, но слушает внимательно. Чего ей, ведьме, сдалось? Все же знают, что вся ее вера — маскарадная, что она именно потому так истово крестится, чтобы люди ей колдовство простили!

Полкану все это дело нравится не очень, но после того, как он Тамару прилюдно размазал, он все перед ней лебезит — а стерва его все не прощает. Вот,

увидел, что она ходит подслушивать выступления отца Даниила, и мигом передумал их запрещать. Важней, чтобы дома поедом не ели.

Отец Даниил подходит к решетке, когда все уже собрались и ждут его. Берет руками за прутья, смотрит вниз.

— Не знаю, зачем вы меня зовете. Что я вам могу сказать? В прежние времена, мне братья говорили, проще было. Деньги взял, молитву оттарабанил, крестным знаменем осенил — все, готово. И спасать-то не от чего было. А сейчас... Чуете ведь, что все обречены, и я чую то же. Все будет снесено. Ничего не останется. И поделом.

— А что ждет-то нас? Что, батюшка?

— Не понимаю тебя, прости... Одно утешение нам всем: те, кого вы потеряли в войну — они вот и спаслись. Их прибрал к себе Господь. Устал биться за землю с Сатаной и забрал к себе своих, а прочих тут оставил. Так что не горюйте по тем, кого потеряли. У кого сыночек, у кого дочка, у кого отец, у кого матушка — им там лучше, на небесах, чем здесь было. И уж точно лучше, чем вам тут будет.

Ленька Алконавт — вечно опухший, с красно-синим пористым носярой, с редкими волосенками, спрашивает испитым голосом:

— У меня вот жена была... И ребенок, как раз именно что дочка. Вернулся — а тут могилы... Дак вот... Как мне их еще раз увидеть? По дочке кабздец как скачу. Хотя бы во сне увидеть еще. И так, и сяк, е-мана — не снится.

— Не перебивай его, Ленька!

Но отца Даниила нельзя перебить: он и не слышал Леньку. Он продолжает себе говорить — негромко, ровно и гундосо. Он и себя-то самого не слышит.

— Я так считаю... Все те, кого забрал Господь в войну — все были праведными, все заслужили прощение, не делами, так помыслами. А мы, кто тут остался... Значит, не заслужили. Мы тут одни, сами по себе. Вот тот мир, в котором атеисты хотели жить — без смысла, без призвания, без обещания избавления — вот он. Такого зла, как случилось в мире, никогда еще не видывал человек. То, что я видел на своем коротком веку, иначе не разумеет.

— А что же нас-то теперь ждет? Когда нас не станет?

— Раньше было хорошее время. Раньше понятно было, зачем креститься, зачем молиться, зачем пост соблюдать, зачем заповеди. Это как: сделай все по правилам, и будет в конце тебе награда — вечная жизнь. Любимых своих увидишь снова, кого потерял и по ком тоскуешь, блаженство будет тебе, какое сам себе сможешь вообразить. И Сатане было сопротивляться проще. А теперь как?

— А что там, на той стороне-то, отец Даниил? Что вы там видели?

— Но если мы уже тут остались, если нас забыл Господь, то что уж? Обидеться на него и предаться Сатане? Или быть Господу верным, хотя нет уже надежды спастись?

Он не их спрашивает, а сам себя. И не спешит с ответом.

— А какой смысл тогда противиться Сатане, если мир уже целиком в его власти? Вот явился Князь мира сего и царит теперь единовластно. И будет царить, покада не настанет вечная тьма. Верных же Господу будет преследовать до последнего. Зачем соблюдать заповеди? Зачем хранить обеты? Кому молиться, если никто не слышит?

— Но вы-то же молились, батюшка! Все тут знают, что вы молились, когда с моста пришли! Вы-то тогда кому? А?

— Я вот молюсь, а ответа нет. Но где другие пали, я уцелел. Где прочих ратерзали, я выбрался. Вот, добрался до вас. Это случайно или по промыслу? А чей промысел, если земля Богом оставлена? Я говорю — помилуй, Господи, а говорю-то кому?

Он смотрит вдаль — как будто бы за мост.

— Но праведным нечего тьмы бояться. Так я и солдат тех благословил на их поход: кто из них праведен, у того внутри свой огонь, который тьму вокруг рассеивает.

Мишель тоже слушает, хотя и не собиралась — просто искала деда, но на словах о том, что сгинувшие в Распад все удостоились небесного царствия, застыла и осталась думать о папе и о маме.

— Я выбор сделал. Сколько останется сил, столько и буду отрицаться Сатане. Я спасения не жду и вам его обещать не могу. А может быть, надо просто вот так же... Для самих себя, а не ради Бога? Ну да, война кончилась, наши проиграли... Проще бы уж сдаться... А? А я вот не стану. Он не узнает, а я все равно своей клятвы Ему не нарушу. Он не слышит, а я все одно Ему помолюсь.

И отец Даниил поднимается, смотрит — не на людей, а в низкий потолок изолятора — и говорит монотонно.

— Отрицаюсь тебе, Сатана, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюсь тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Остальные пытаются повторять, пытаются говорить с ним хором, но получается только у Серафимы и у Нюрочки, остальные еще не доучили до конца и отстают. А отец Даниил уже молится дальше:

— Святой священномученик Киприане, во дни и ночи, в тот час, когда упражняется вся сила супротивная против славы Единого живого Бога, ты, святой Киприане, молись о нас грешных, глаголя Господу: «Господи Боже, сильный, святой, царствующий вечно, услышь ныне молитву заблудшего твоего раба Даниила, да простит его все небесное воинство: тысячи Ангелов и Архангелов, Серафимов и Херувимов, Ангелов-хранителей...

— Заблудшую твою рабу Тамару...

Егорова мать крестится отчаянней всех остальных, смотрит в зарешеченное окно, не отрываясь. Старается не пропустить ни звука, повторяет слово в слово — и от нее Мишель и слышит эти слова так четко.



Остальные больше не пытаются даже догнать отца Даниила, а только слушают и запоминают, еле успевая подставляя свои имена. Батюшка говорит быстрее, быстрее, неумолимо, не сбиваясь:

– Спаси нас, Господи, от всякого зла, дьявольского наваждения, чародейства и злых людей. Как воск тает от огня, так и растают все злые ухищрения рода человеческого. Во имя Святой Животворящей Троицы: Отца и Сына и Святого Духа да спасены будем...

Тут он прерывается, качает головой, проглатывает. А потом продолжает. Люди слушают, затаив дыхание.

## 7

Егор откидывает люк и выбирается на крышу. Сегодня сухой день, сухой и ясный — на западе видны осколки Ярославля, а на востоке — как обычно: дымящуюся реку и канувший в нее мост. В руках у Егора гитара, капюшон толстовки натянут чуть не на самые глаза. Как бы вышел сюда поупражняться — вдруг что и придумается? Но смотрит он только на мост.

Больше недели прошло, а он все медлит. Чего ждет? Может, дожидается, пока станет уже наверняка бессмысленно туда идти — тогда можно будет оставить себя в покое? Наверное. Но мост зовет его. Мертвые зовут. Та женщина с сумочкой на шее просит вернуть ее телефон. И живые толкают его туда тоже: живые, которых он не предупредил о том, что в любую из ночей сюда может явиться ужас с обратной стороны.

Егор поднимается на крышу, чтобы посмотреть на мост — просто посмотреть. Он берет в руки гитару и пробует струны.

Мы уходим в туман  
Мы идем в никуда  
Нам от дома сто лет  
До страны невозврата

Ноги стерты до ран  
Призраки-поезда  
Нам сигналият привет  
Веселее, ребята

– Это что за песня?

Егор вздергивается, оборачивается... Мишель. Что она тут делает? Как появилась тут... Егору становится жарко.

— Ну это моя, типа. Вот, сейчас... Ну, на днях написал, и вот музыку... Ну, пытаюсь.

Он суетится, заикается, но Мишель не смеется над ним. Смотрит на гитару.

— А что там дальше?

— Ты... Хочешь, чтобы я дальше спел?

— Ага.

— Дальше? Можно, я сначала сыграю... А то сбиваюсь еще.

Мы уходим в туман  
Мы идем в никуда  
Нам от дома сто лет  
До страны невозврата

Ноги стерты до ран  
Призраки-поезда  
Нам сигналият привет  
Веселее, ребята

Мы оставили тех  
Кто нас вроде любил  
Нас прождать целый век  
Взяли с них обещанье

Пусть запомнят наш смех  
Пусть намолят нам сил  
Мы за тысячей рек  
Мы в стране без названья

Мы простим им обман  
Пропадем — не беда  
Не видали креста — не  
Прощайтесь с солдатом

Мы уходим в туман  
Мы идем в никуда  
Нам от дома сто лет  
До страны невозврата

— Пока все. Там еще можно что-нибудь... Громовые раскаты... Не знаю, там... Аты-баты... Но пока так.

– Нет, не надо больше ничего. Так хорошо.

Егор кивает Мишель. Молчит, не знает, что еще сказать, боится ее спугнуть.

– Классно поешь.

– Да? – его бросает в жар. – Правда?

– Можешь еще раз сыграть?

И Егор играет еще раз. Ему кажется, что это все сон: не может же быть, чтобы все случилось именно так, как он себе сто раз представлял. Мишель слушает, вглядывается в даль, за реку. Когда он делает финальный аккорд, она вздыхает.

– Странно, что ты это написал. Такая взрослая песня.

Егор жмет плечами.

– Ну вот так как-то.

– Ну ладно. Спасибо. Я пойду.

Он хочет остановить ее, но она уже ныряет в люк.

А потом мост снова притягивает его взгляд и требует Егора к себе.

## 8

На десятый день, когда порция перловки полегчала еще больше, Полкан поднимается и стучит ложкой об миску. Разговоры в столовой стихают, люди прислушиваются к нудно-тревожному лягу.

– Кто думает, что я ничего не вижу и ничего не слышу, ошибаются. Знаю я, в каком вы положении. Сам в таком. Ну что поделать – вот, Москва нас ставит раком. Ну ничего, мы с голоду пухнуть не будем. Съездим до Шанхая, тряхнем желтопузых. Пора им напомнить, на чьей земле живут. Добровольцы есть?

Егор поднимает руку первым – быстрее, чем мать успеет ее перехватить – и сразу вскакивает.

– О, Егорка... Так, еще кто?

Тянутся еще руки: Ямщиков, Сережа Шпала, Ленька, Ринат-столяр, Кольцов. Потом еще, подумав, встает Никита, Мишелькин дед.

Егор чувствует, что мать сверлит его глазами, но знает, что при людях не станет запрещать ему идти в этот поход, что она там ни видела бы на его счет в своих припадках.

А он не может не пойти. Должен пойти, раз чужую тушенку жрет. Хоть что-то же он должен сделать. Не на мост, так хоть туда.

Полкан, наоборот, очень Егоровым решением доволен. Хлопает его тяжелой пятерней по спине.

– Молодцом. Не зыркай на него так, Тамара. Пускай.

Она, конечно, ничего не отвечает ему – и даже в его сторону не оборачивается.

Обычно китаезы сами отправляют на Пост караван — раз в месяц приходят лошадки со вспученными боками, тащат за собой рессорные телеги на резиновых колесах от корейских машин. Но раньше гарнизону было, что предложить в обмен на полудохлые совхозные овощи; а теперь, без московских поставок, стало предлагать нечего. Значит, нужно реквизировать. Чрезвычайное положение.

Такие страницы в истории отношений между Постом и Шанхаем тоже были. Ничего, китайцы раньше к такому повороту относились с пониманием: у них на подкорке записано, что люди с мотыгами должны делиться с людьми с ружьями. В конце концов, Пост ведь тут и есть законная власть, значит и поборы — не рэкет, а налогообложение. И если бандиты какие-нибудь наедут, китаезам больше не к кому будет бежать, кроме как на Пост за помощью.

Так что их семерых для этой экспедиции хватит вполне.

До Шанхая полдня пути, но последнее время лило и дороги развезло. Могли бы ведь китаезы поселиться где-нибудь на железнодорожной ветке, а выбрали себе старый совхоз без рельсового сообщения.

Накануне вечером мать заходит к Егору в комнату. Садится на его стул.

— Мне назло туда собрался?

— Вообще нет!

— Брось, Егор. Ты все делаешь мне назло. Только чтобы доказать, что ты взрослый.

— Неправда!

— Ты понимаешь, что я просто очень боюсь за тебя? За тебя и за всех нас.

Егор кивает.

— Ты теперь как он. Тоже думаешь, что я жажду вас контролировать. Что мне власть нужна. Что я свои сны придумываю. Что я карточный шулер.

— Да че ты, ну? Я такое говорил?

— Говорил.

— Ну говорил, может, пару раз, когда вообще не в тему было!

Они глядятся друг в друга.

— Ты так похож на своего отца.

— Это ведь не комплимент, да?

— Ты просто хочешь сбежать от меня поскорей, Егор. Ждешь-не дождешься, когда тебе можно будет уже свалить отсюда и поехать бренчать на его гитаре в турне по всяким дырам, чтобы портить там глупых девчонок.

— Мам!

— Ладно. Ладно, прости.

Она замолкает. И когда Егор совсем собирается уже сказать какую-то ерунду, просто чтобы переключить разговор на тему полегче, она произносит:

– Говорят, что по-настоящему отпустить от себя своего ребенка значит признать его право сделать все, что угодно. Даже умереть.

– Ма! Ну че ты опять начинаешь-то...

Она поднимается, целует его в макушку и выходит из комнаты. Он остается с этими ее словами: опять словно гравия наелся.

## 9

Тамара терпеливо дожидается, пока из-под окна изолятора разбредутся все богомольцы, вся коммунальная паства отца Даниила. Ждать приходится долго, Ленька Алконавт все гундит какие-то свои вопросы, кидает богу предьявы, не хочет понимать, что отец Даниил не хочет его понимать.

Тамара не прогоняет Леньку, дает ему дожечь все топливо; ей привлекать к себе внимание ни к чему. Но за силуэтом в зарешеченном стекле она следит внимательно – чтобы проповедник не нырнул в глубину, утомившись.

Наконец Ленька расходует все свои чувства и отваливает. Уже поздно, хлопают ставни, гаснут окна. Последние свидетели разошлись. И вот теперь на передний план выходит Тамара.

Он смотрит на нее сверху вниз. Ждет вопроса, хотя в дворовом полумраке ему не прочесть ее губ. Она тогда становится под пятно уличного фонаря.

– Прости меня, бабушка! Дай разрешения посмотреть, что будет. Согласись исповедовать, согласись причастить меня. Не отталкивай меня, умоляю, не прогоняй. Я за своего сына, за единственного сына, волнуюсь. Разреши разок посмотреть, один раз только. Знаю, что грех, знаю, что свою душу на кон ставлю. Прошу тебя.

Она крестится, тянется кверху, на цыпочки привстает. Все равно его глаз не видно – только черный силуэт за решеткой. Разбирает он ее просьбу или нет, неизвестно. Но ответ дает:

– Что видишь, и что знаешь, знаешь не от Господа, а от противника рода человеческого. Каждый раз, когда ворожишь, обнажаешься для Сатаны. Вера твоя не истинная, а языческая. Нет моего тебе благословения.

Тамарины глаза сужаются сами собой. Злость ей овладевает. Она пытается сбить ее с себя, затоптать, как сбивают огонь с кричащего погорельца.

– Не поверю, что Богоматерь оставила своих детей одних дьяволу. Не поверю. Не поверю, что мать не может получить прощения за то, что волнуется о сыне.

Отец Даниил поднимает руку. А пальцы сжаты в кулак.

– Я людей от чревоугодия отвадить пытаюсь, от блуда отучить, а ты с дьяволом разговариваешь, шепот его слушаешь. Кайся, если хочешь спасения, и больше не делай так никогда. Уходи.

Выгоняют дымный трактор, стыкуют с грузовым прицепом: по размокшей проселочной дороге только эта штукавина и проедет. Соляры на Посту сколько-то еще остается — стратегический запас.

Небо в сером, ливня не будет, наверное, но будет сочиться, проедающая облака, по капле едкая дрянь. Видно недалеко — туманно; не зеленый, конечно, речной туман, а обычный — просто облака сели на землю.

Ворота открываются, караульные дают отмашку. Мать смотрит на Егора в окно и крестит его суетливыми и обкорнанными какими-то движениями, как будто боится, что кто-нибудь это увидит. Он заставляет себя поднять голову и шлет ей шутовской воздушный поцелуй. Полкан с ними не едет — остается на хозяйстве; за старшего в продотряде назначен Ямщиков, Егору сказано слушаться его во всем.

Кольцов сидит за баранкой, его долговязая фигура сложена под острым, неестественным углом, иначе он не поместится на водительском сиденье. Егора он с самой их драки игнорирует, для развлечения с ним рядом идет женоподобный Петька Цигаль. И остальные пока шагают своим ходом — слишком уж трясет в прицепе.

Дорога тянется вдоль реки; саму Волгу не видно, но ее границы понятны по маячащей слева зеленой стене. Из тумана выступают черные коряги — обваренные кислым воздухом стволы деревьев, будто перекрученные судорогами.

Проплывают остовы других мостов, подорванных или разбомбленных во время войны: за их мост, железнодорожный, шла настоящая битва — и его удалось как-то уберечь. А остальные все обвалились в реку.

Дед Никита поясняет Ямщикову, какой из этих мостов он в войну минировал сам, а который бунтовщики разнесли ракетной артиллерией с того берега.

Егор шагает рядом с Ринатом. Тот болтает не переставая.

— Я вот вообще не догоняю, че мы там забыли, в этой империи. Давно надо было, короче, делать независимость. Че мы попрошайничаем у Москвы-то? С косых калым брать, уже норм. А если за проезд еще, кто по железке куда собрался, мимо нас едет — тоже, давай, иди-ка сюда. Ну ладно, сейчас никто не ездит. Но надо же вперед думать. Процентиков десять хотя бы брать. И с этих, и с тех. Слышь, ты-то че сам думаешь?

— Да мне вообще как-то это все по херу, — сплевывает Егор.

— А батька твой как на эту тему?

— Он мне не батька.

— Ой ты деловой! Нравишься мне, — скалится Ринат.

— Да я б вообще всю эту шарагу послал к едрене фене. Таможня... Империя... Херня какая-то. Я бы группу сделал и играл бы.

— Какую группу? Музыку, что ль? Гитару свою? — Ринат щербато и залиvisto смеется, пропускает заскорузлые пальцы через черный ершик волос. — Кому ты тут играть собрался, братанчик? Бабуськам нашим? Косорылым?

— Ну вот свалил бы куда-нибудь... Да, блин, хоть в Москву, и там бы играл. Вон, слышал, что казаки заливают? Типа, порядок у них, мир, красота и здоровье. И рестораны, и все дела.

— Рестораны, все дела! Там, наверное, телочки-то козырные, в Москве, а? У нас-то с этим делом так, на троечку! — Ринат оглядывается на деда Никиту, снижается на полтона. — У этого только, блин, сладкая растет... Но... Пацаны говорят, ее казачок расшевелил...

— Ну и по херу! Тебе-то какое дело?!

Ринат покатывается со смеху. Веселый человек.

— Втюрился, да, братанчик? Ну, жди! А я сейчас там китайночку себе выберу. У меня вон и курево с собой для них по бартеру. Долго ждал, думал, лопну! Уговору сегодня какую-нибудь шкурку желтенькую... Они, знаешь, так попискивают смешно...

— Да знаю я все!

— О! Точно знаешь? А я-то думал, ты скромный! Нрааавишься мне!

Егор оглядывается по сторонам. Микрорайоны с пустыми панельками, пустыми корбочками от людей, отъехали в туман. Теперь по одну руку лес, по другую пусто. Егор слушает вокруг: ничего странного не слышно? Но слышно только тархтение трактора, железный лязг подпрыгивающего на ухабах прицепа, пыхтение и матерок шагающих вразной мужиков.

Ничего. Отравленная река, километр шириной, надежно прикрывает этот берег от всего, что творится на том. Даже если бы трактор и заглушить сейчас, только и будет слышно, что какое-нибудь стрекотание из чащи, или тьяканье чье-нибудь... По эту сторону никогда не может произойти что-то вроде того... Что на мосту.

Ринат хлопает Егора по плечу.

— Хочешь, со мной пойдем. Познакомлю с одной безотказной. Молоденькая, свеженькая, а умеет все... Все, как надо.

Егор ничего не отвечает. Когда вызывался в этот поход, он, если по правде, и сам подумал о китайках. Эта мысль как бы на заднем плане была все время, звенела, как комар в темной комнате: приятное с полезным. Полезное с приятным, сука. Но теперь как-то... Расхотелось расчесывать комариный укус. Да еще и стыдно стало за то, что хотелось вообще.

А Ринат все болтает:

— Давай со мной держись! Я своих всегда выручу, понял? Так что там, на сохозе, давай не отставай, такую одну шкуру козырную покажу... Слышь?

— Слышу, слышу. Да слышу, бляха, отвали ты уже!

Мишель встает на колени. Поднимает край покрывала, заглядывает под кровать. Сверток с консервами лежит на месте. Она вытаскивает его, разворачивает, разглядывает блестящие банки. Ей кажется, что она чувствует запах тушенки прямо через металл и через вонь солидола, которым банка смазана сверху от ржавчины.

Она никогда не любила ее, вообще мясо ей для жизни нужно не особо — гречку ест, овсянку московскую обожает, ну и эти китайские яблоки... А тут вдруг... Накатило как-то. Жуть как хочется, и совершенно невозможно выкинуть из головы.

Наваждение. И какое, блин, идиотское наваждение!

Она берет одну банку, как сомнамбула идет в кухню и ищет открывашку в пахнущем лежалым чесноком и ржавчиной ящике с приборами. Напоминает себе, что не собиралась открывать ни единой баночки, а хотела все-все вернуть Кригову, чтобы он даже ни на секунды не подумал, будто бы купил ее за еду. И вот вместо этого она перебирает липкие вилки и ножи, а потом, теряя терпение и забыв об осторожности, вырывает наружу весь ящик: где эта чертова открывашка, мать ее?!

Не находит! Хватает обычный нож, упирает острием в круглую крышку банки, и ладонью с размаху вгоняет нож в жез — как дед делает. Но нож оскальзывается на солидоле и отскакивает ей в палец.

Сразу кровь!

Мишель кое-как унимает ее, лезет по ящикам, ищет спирт и бинт — у деда точно было.

— Мишель! Мишель! Что случилось? — бабка очнулась, из комнаты зовет.

— Все в порядке, ба! Спи!

— Упало что-то?

— Ничего не упало! Все супер!

Хорошо, хоть деда дома нет.

Находится и бинт, и спирт. Порез неглубокий, но длинный. Мишель сама себя бинтует, зубами рвет конец надвое, перевязывает. Садится к столу. Пытается отдышаться.

Бабка в комнате принимается бубнить:

Видно, так заведено на веки  
К тридцати годам перебесясь  
Все сильней, прожженные калеки  
С жизнью мы удерживаем связь



Милая, мне скоро стукнет тридцать  
И земля милей мне с каждым днем  
Оттого и сердцу стало сниться  
Что горю я розовым огнем

Коль гореть, так уж гореть сгорая...

Дальше она не помнит. Начинает снова эту строчку, снова. Потом принимается тихонько плакать — то ли от того, что растрогалась есенинскими строчками, то ли от своей беспомощности.

В кухне Мишель смотрит на эту проклятую банку. Хочет ее загипнотизировать.

Потом встает. Вытирает с банки солидол куском бинта. Снова берет нож, рассчитывает тщательней — и вгоняет нож в банку. Сначала на чуть-чуть, потом еще одним ударом — поглубже. Еще и еще. Потом гонит его по кругу и откупоривает крышку. Отгибает ее. Принюхивается.

А потом запускает туда вилку и кусок за куском съедает все до дна — за какие-то три минуты. Отставляет пустую банку от себя и с ужасом на нее смотрит.

У Мишель задержка. Уже неделя.

## 12

Егор слышит это первым, у него слух лучше и тоньше других.

Слышит, хотя идет почти сразу за трактором — пропуская его вперед, чтобы Кольцов не придумал что-нибудь учудить. Оборачивается к Ринату:

— Слышишь? Волки это, что ли? Вон, воют.

— Какие волки, братанчик? Китаезы, наверняка, и волков-то всех вокруг себя схавали.

Но Егор ясно слышит вой — впереди, из-за поворота, оттуда, где должен раступить лес и показаться вдалеке китайский совхоз. Волки — это потому что сразу всплывают в памяти материны слова, когда она казаков провожала. Сжимается что-то внутри, за солнечным сплетением.

— Коль! Кольцов! Приглуши мотор! Коль!

Кольцов обращает на него внимание не сразу — наверное, не хочет, но Цигаль ему передает — и тот все же соглашается. Когда двигатель стихает, сразу становится слышен вой — отчаянный, истошный. Ринат качает головой.

— Нет, не волки. Волки не так воют. Собаки это.

Егор напрягает слух и понимает, что Ринат прав: между завываниями слышно гавканье; точно, собаки. Наверное, шанхайские. Китайцы собак держат, только не для охраны, а чтобы их жрать.

Над Егором смеются: волки, волки. Заводят трактор заново, идут по грязи вперед, из-под колес летят жирные комья. Дорога не езжена, наверное, неделю: ни человеческих следов, ни копыт, ни насечки от покрышек. А что вот они воют, думает Егор. Не от хорошей жизни, наверное. Может, чувствуют тоже что-нибудь. Что их схарчить собрались.

Наконец вдалеке показываются постройки — луг залит белым туманом, как блюдо молоком, и в этом молоке плавают черные ломти: силосная башня, крыша теплицы, кирпичное здание сельсовета. Людей в поле нет — или, может, они где-то в тумане барахтаются.

Потом становится виден и частокол, и ворота. Округа почти вся бесцветная — солнце еле удерживается на скользком осеннем небе, того и гляди свалится за лес.

Вой становится отчетливо слышен и сквозь тракторный шум. Не одна собака воеет и не две — дюжина, не меньше.

Ямщиков уже отсюда громогласно орет:

— Эй! Нихао, товарищи! Открывайте!

Но ворота и так открыты нараспашку. Навстречу никто не выходит. Невидимые собаки, прислушавшись, затихают на миг, а потом принимаются выть с утренней силой.

Кольцов глушит трактор, спешивается.

— Эй! Нихао, кому говорят!

Из-за частоккола поднимаются черные вороны, хрипло каркая.

Ямщиков скидывает с плеча автомат, дает знак остальным тоже взять оружие на изготовку. Входят за ворота медленно.

На улице ни души. В жилых избах свет горит, хотя рано еще зажигать. На домах натянуты транспаранты с иероглифами, над сельсоветом полощется застиранный дождями розовый флаг.

— Ээээй!

Собаки срываются в иступленный, до хрипоты и визга, лай. Кольцов подходит к одному окну — привстает на цыпочки, заглядывает внутрь.

— Пусто.

Сереза Шпала поднимается на крыльцо сельсовета, колотит в дверь. Никто не отвечает. Собаки сходят с ума. Он толкает дверь — та не заперта. Сереза проходит внутрь, исчезает. Что-то говорит там... Потом все становится тихо.

Снова появляется на крыльце.

— Никого!

Никого. Идут мимо других домов — все брошено. Ни взрослых, ни детей. На столах посуда, на вешалках одежда. Следов борьбы никаких нет; мебель расставлена аккуратно, непохоже на то, чтобы кто-нибудь на Шанхай напал. Словно люди, сколько их тут было, просто взяли и растворились в воздухе.

За теплицей валяется дохлая лошадь со вспученным брюхом; поводья привязаны к столбу, глаза выклеваны вороньем.

Находят собак.

Собаки, страшно худые, оскаленные, сидят по клеткам. Клетки загажены, псы изранены, от некоторых только лохмотья остались — друг друга с голода жрали.

Живых людей нет, но мертвых нет тоже. Нет никого.

В теплицах двери настезь, помидоры и огурцы от холодных ноябрьских уже ночей все окочурились. Сережа Шпала начинает было собирать подгнившие плоды, но дед Никита его останавливает.

В одной из изб Егор сталкивается с Колькой Кольцовым. Кроме них в доме никого, и Егор думает, что Колька сейчас может воспользоваться ситуацией и довести их драку до конца; но Колька совсем бледный, на нем лица нет, и он только дергает своими прямоугольными плечами.

— Вообще жесь какая-то. Есть версии?

Егор мотает головой. А что он знает? Ничего он не знает!

Но весь гравий, который он сожрал в последние дни, тянет нутро вниз.

Ленька Алконавт шепчет, крестясь на заходящихся в лае собак:

— Отрицаю тебя, Сатана, гордыню твою и службу тебе, и сочетаю тебя, Христос, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Ямщиков собирает всех у сельсовета. Все молчат. Вороны кружат над головами, совсем низко, придавленные к людям вспухшим небом. Смотрят, улетать далеко не хотят.

Ямщиков потерянный.

— Пиздец, товарищи. Я лично не понимаю, что тут произошло. Трогать ничего не будем, от греха подальше. Вдруг у них тут чума или что. И слышь, Ринат? Пойди пристрели собак. Хер знает, почему они не сдохли, но бешеные они все явно. Я к себе домой таких точно не возьму.

## Наползает тьма

### 1

За сараями гремят выстрелы и слышен собачий смертный визг. Люди не смотрят друг на друга. А что делать? Делать нечего.

Стоят вполоборота, не поворачиваясь спинами к пустым избам в алых китайских лозунгах. Не отпускает ощущение, что совхоз не заброшен, а выпотрошен, что вместо исчезнувших бесследно хозяев тут сейчас присутствует кто-то другой... Что-то другое. И, может, именно поэтому собаки так выли, так лаяли.

Ленька Алконавт подбирается поближе к деду Никите и говорит:

– Прямо как это... Как из отца Данилы, а? Там про то, что мы Богом оставлены, вот это... Что такое происходит на земле, чего при Боге не могло происходить... Чертовщина всякая, мля...

Он вопросительно крестится, как бы предлагая деду Никите сделать то же. Дед Никита смотрит на него исподлобья, кривит свой засушенный рот в том смысле, что пока ничего не понятно. Выстрелы лупят по ушам: многовато выстрелов; наверное, живучие. Или Ринат попадает не с первого раза. Или не хочет с первого раза...

Наконец, последний стихает. Эхо выстрела шарится между домами, низкие облака впитывают его — и все. Собаки теперь молчат, и если кто-то продолжает еще наблюдать за незваными гостями из слепых окон, предупредить их об этом больше некому.

Документы изымать нет смысла — все на иероглифах; ничего не разобрать. Кольцов обходит дома, зачем-то тушит везде свет. Хочет стянуть динамо-машину, но Ленька Алконавт напоминает ему о запрете Ямщикова. Кольцов нерешительно спорит:

– Слушай... Ну если реально чума, то мы уже тут все полапали и так... Теперь то что?

– Дак а если не чума, а проклятие какое-нибудь? Зачем тебе такое добро к нам тащить? Жили без него как-то и дальше прокочуемаем...

Кольцов сначала строит рожу, потом все-таки отстает от динамо-машины. Не без сожаления, но с облегчением, что дал себя отговорить. Егору это хорошо видно.

Заводят трактор, чтобы он своим придурковатым жизнерадостным тараканьем заглушил громкую тишину. Отступают из совхоза тихо, и слепые окна плятятся им вслед, мозолят им загривки. Отъезжают с таким чувством, что дошли до скользкого края пропасти, посидели на нем, поболтали ножками, посмотрели в бездну, поднялись, чудом не сорвавшись, и пошли, присвистывая, домой.

Пошли домой, а бездна к ним прилипла.

— Дак вот то и говорит, что Бог землю оставил Сатане. И что Сатана теперь правит тут сам, как хочет. И кто не праведный, того Сатана загребает к себе в первую очередь. Понял?

Егор оборачивается — Ленька присел на уши Сереже Шпале, и бухтит, и бухтит. Ленька взъерошенный, красноглазый, явственно похмельный; что он такое загоняет-то? Шпала лекцию слушает вежливо, но вопрос к лектору у него пока только один:

— Слышь, Лень... А у тебя во фляжечке твоей, в заветной... Не осталось на доньшке для боевого товарища, ась? А то меня что-то знобит слегонца от этого местечка...

Ленька причмокивает синими губами.

— Нету, родной. Дома оставил.

— Как же ты — и вдруг дома оставил?

Ленька отвечает не сразу и отвечает через вздох:

— Дак вот... Бросить пытаюсь.

— Ты? Бросить? Самогонку? Это что такое стряслось-то?

— Дак так. Хреновое это дело потому что. Грешно потому что это.

Шпала все еще ничего не понимает, фыркает недоверчиво: как это Ленька собирается без этого дела прожить? А Ленька возвращается к своему:

— Говорю тебе, он все по существу. Я прямо стоял там и вспоминал слова его, отца-то Данилы. Думаю, вот реально... Начинается что-то такое, е-мана. Кто-то желтопузых схарчил ведь всех, а? Кто-то схарчил...

Егор слушает-слушает этот Ленькин бубнеж, не выдерживает и взрывается:

— Да че ты гонишь-то? Какой Сатана? Кто схарчил! Белочку свою уйми! Сам гонишь и других еще накручиваешь!

Ленька переводит на него свои воспаленные глаза, пучится удивленно:

— Слы, молодой. Чем тогда там китаез так нахлобучило? Сами они, что ль, свалили? Бросили все прям?

— Нет, бляха, Сатана их схряпал! Вот ведь дебилы, сука!

Сережа Шпала тоже оглядывается на Егора озадаченно: не потому, что поверил уже Алконавту, а потому что не видел еще Егора таким. Но Егору все равно: его разрывает от бешенства. И от страха.

Полкан барабанит пальцами по столу. Перед ним ерзает на стуле тщедушный косоглазый Сашка Коновалов, красный, как вареный рак. Двери и окна прикрыты плотно, но Полкан на всякий случай подходит к дверному глазку и глядит в него — нет ли кого на лестничной клетке?

— Так. Давай-ка еще раз. Значит, Бог землю оставил, а Сатана теперь тут все-мо командир. Правильно понимаю? Бог, значит, отлетел куда-то со всеми праведниками. А кто тут остался, включая нас с тобой, Александр, последние грешники. Так?

— Выходит, что так. Ну, это он так говорит.

— Пум-пурум. Пум-пурум-пум-пум. И что из этого следует? К чему он призывает?

— Ни к чему такому, Сергей Петрович.

— Слышь, Коновалов? Не юли-ка мне!

— Ну, говорит, что грешить нельзя. Что праведных еще могут пощадить...

— А кто? Кто пощадит-то? А?

Сашка Коновалов потеет, промокает лоб рукавом.

— Этого я не понял. Он ведь этого... Глухой. Мы ему один вопрос задаем, а он на другой отвечает.

— Глухой... Глухой он, бляха... Пум-пурум...

Полкан дырявит Коновалова взглядом, как шилом.

— Значит, так, Александр. Ты еще походи, походи на эти ваши собраньица. Но я эту всю мистерию у себя под боком только по одной причине терплю — что жена моя верующая. Но если он к чему противоправному там начнет призывать, ты мне сразу подавай сигнал, и мы эту шарашкину контору прикроем. А про казачков он ничего не говорил? Мол, поехали они туда, откуда он приперся... Это как, хорошо или плохо?

— Нет, Сергей Петрович. Ничего.

— А ты сам-то как считаешь?

Сашка пытается поразмыслить, чтобы угадать правильный ответ.

— Ну так, хорошо. Мы же это... Земли собираем, да? Делаем великую Россию. Поди, плохо?

— Ну да. Ладно. Иди, Коновалов. И не трепли там языком-то...

Коновалов выметается из кабинета, а Полкан, заперев за ним дверь, раздвигает шторы и изучает собравшихся в кучку под окном изолятора людишек. Смотрит и хмыкает себе под нос:

— Бабки, конечно, существа неопасные... С одной стороны. А с другой...

## 3

Мишель стоит под решетчатым окном тоже. Отца Даниила ей толком не видно, один только темный силуэт за прутьями. И все-таки ее не отпускает чувство, что сейчас он смотрит на нее — именно на нее.

— Ничего такого не прошу от вас, чего Господь от вас не попросил бы. Восемь греховных страстей не мной поименованы, они человеку известны со времен изгнания из райского сада. Чревоугодие. Блуд. Сребролюбие. Гнев. Печаль. Уныние. Тщеславие. Гордыня. От них-то происходят и все прочие прегрешения. Кто их не поборол, тот перед Сатаной уязвим.

Мишель слушает внимательно. Внутри скручивается что-то черное. Эту проповедь отец Даниил читает уже не в первый раз, и она знает, что последует за этими словами.

— Те, кто им предались, ослабляет оборону свою и открывает свою душу Сатане. Те, кто не покаяться в них, станут для Сатаны верной добычей. А кто ныне верит дьяволу душу свою, тот и тело ему свое предаст.

Знает, что будет дальше, и все равно не уходит. Словно надеется, что отец Даниил на этот раз передумает и расскажет все по-другому. Но он повторяет все слово в слово — для тех, кто раньше его еще не слышал.

— Чревоугодие балует плоть. Кто свое тело чрез меры кормит, тому кажется, что он только из мяса сам и сделан, а о душе он забывает. Но страшней чревоугодия блуд. Кто греховную свою сущность тешит, кто тело ублажает, тот предаст душу страсти, а душа в сладости и в страсти — для дьявола открытая дверь. И дети, которых понесете во блюде, обещаны будут не Господу, а Сатане. Потому прошу вас презреть плоть и вместо нее душу свою лелеять.

Мишель кладет руку на живот. Рука холодная. Ей страшно. Она потихоньку озирается, слушает шепотки столпившегося старичья вокруг. Ей кажется, что все вокруг на нее смотрят искоса. Что все знают ее секрет. Ей хочется скорей сбежать, но нельзя, но она приказывает себе стоять и слушать дальше. Сейчас уйти будет слишком палевно, шепчет себе она.

— Сребролюбие тем плохо, что заставляет человека все для одного себя делать, а в прочих искать лишь корысть для себя, а не видеть равных себе. Любовь, любовь должна быть основой отношения людей, а не деньги. Деньги — расчеловечивают. Чем больше их скопишь, тем больше людей предал, и тем больше предал Господа... Но страшнее сребролюбия — гнев.

Люди внимают, переспрашивают друг у друга, если не могут расслышать बातюшку. Тот не останавливается, говорит и говорит, вещает через решетку, и смотрит не вверх и не вниз, а вперед куда-то — как будто сквозь стену стоящего напротив здания, сквозь зашторенные окна Полканова кабинета — на бесконечно далекую Москву.

— Когда гневается человек, дьяволу себя вверяет. Ибо богоподобное существо, каким человек был создан, не должен испытывать ненависти к своим братьям, не должен желать им вреда, и пуще всего прочего — смерти. Тот же, кто гневается, уподобляет себя дикому зверю, в порыве ярости могущему дойти до смертоубийства. И грешен вдвойне тот, кто мстит, ибо обрекает себя на горение в адском пламени.

Отец Даниил взмахивает рукой — как будто сеет что-то, и люди подаются вперед, думая, что им удастся поймать то, что он бросает. Полканова ведьма тоже тут стоит, тоже ловит — хотя и дальше всех, в последнем ряду, так что ей, наверное, ничего не достанется. Зачем она вообще сюда таскается? На что надеется? Может, попытается сглазить проповедника?

В грязную жижу, которой залит двор, падает тяжелая пустота. Люди начинают совещаться громче, потому что последние слова проповедника мутнее прежних.

Вот теперь можно.

Мишель отходит назад, пересекает двор, ныряет в свой подъезд. Ей хочется забиться под одеяло, и одновременно — выбежать из дома, выбраться за ворота и идти куда-нибудь столько, сколько будет оставаться в ногах хоть капля сил. Она неслышно открывает дверь, на цыпочках прокрадывается в ванную комнату, зажигает свечу и смотрит на себя в зеркало.

На Посту у нее нет подруг, но ей совершенно необходимо обсудить с кем-то то, что с ней происходит. Услышать какой-нибудь добрый совет, услышать просто, что все не так страшно, что все как-нибудь образуется, что все женщины на свете проходят через это, и что она не станет исключением. Но только с кем ей поделиться этим секретом? С бабкой? С Ленкой Рыжей, утешительницей коммунаров?

Чему ее может научить Ленка? Как вытравить плод — чем она там это делает? Медным купоросом или крысиным ядом?

Мишель залезает с головой под одеяло и думает о Саше. Она не хочет избавляться от его ребенка. Да, никакого ребенка пока нет, там пока только зачаток, комочек из клеток — из ее клеток и Сашиных — которые срослись так, что не разорвать — и растут, растут, растут...

Это вот самое удивительное, говорит себе Мишель. Поцелуи, объятия, проникновение — это все равно какая-то игра. Приятная игра, головокружительная, опьяняющая. А то, что происходит потом — самое настоящее из всего, что может случиться с человеком. Самое бесповоротное. Самое важное в жизни. То, что скрепляет ее с Сашей — с этим случайным и таким долгожданным человеком — навсегда.

Нет, она не дурочка.

Она достаточно наслушалась здешних баб, она все понимает про то, что мужики до судорог боятся, что пьяная туманная игра как раз превратится в желез-



ную непоправимую жизнь. Если бы сейчас он был тут, ее Саша, и если бы он сказал ей — мне не нужен этот ребенок, то она, может быть, и пошла бы к рыжей Ленке за крысиным ядом, или что там у нее...

Но Шаши нет рядом, спросить не у кого. А ребенок — он ведь не только ее, он и Сашин, он сам по себе, он ничья не собственность, и у него есть такое же право на жизнь, как у всех, так что, как бы жутко сейчас ни было Мишель, нельзя его просто так... Взять и...

А ей жутко.

Пожалуйста, говорит Мишель себе. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пусть с тобой все будет хорошо. Пусть ты вернешься живым и здоровым. Пусть ты разрешишь ему жить. И пусть мы уедем с тобой навсегда из этого богом забытого места.

#### 4

Дозорный на воротах видит их первым.

— Едут! Едут!

Тут же двор заполняется людьми — как будто игрушечных солдатиков из коробки высыпали. Створы ворот открываются еще минут за десять до того, как чадающий трактор и облепившие его люди доберутся до них. Но, прежде чем на тракторный прицеп набросится оголодавшая ребяшня, дозорный на воротах бросает обескураженно:

— Кажись, порожные едут!

И точно: прицеп громыхает, как огромная пустая жестянка. Облаком окутало возвращающийся отряд ощущение беды, и каждый, кто подходит к ним близко, тоже окунается в знобливый холод. Лица у вернувшихся из похода вытянувшиеся, серые. Лица такие, как будто они потеряли кого-то, кто отправлялся с ними в этот поход.

Полкан, спустившийся во двор, потирая руки, натывается на их взгляды и начинает пересчитывать бойцов. Егор тут, все остальные вроде тоже. Тамара бросается к нему с объятиями, он выкручивается, но она тянет его домой — отогреть и кормить.

Полкан хмурит лоб.

— А где провизия-то, хлопцы? Вы куда вообще ездили?

Он выслушивает странные и ничего не объясняющие объяснения, Ямщикова затребует к себе, остальных распускает.

Ямщиков крутится у него в кабинете в гостевом кресле, как на раскаленной сковородке. Полкан слушает его недоверчиво, уточняет: неужели нет следов, не было ли гильз стреляных рассыпано, не выломаны ли ворота.

– А вокруг... Ну вокруг бы проверили... Могилы. Может, так вывели всех и в расход...

– Ну так... В поле если... Там, правда, дымка такая стояла... Или в лес, например, если... Но кто? Почему они им ворота-то открыли?

– Да. Да, бляха. И теплицы ты решил, значит, не того, да? Почему, говоришь?

– Там и сгнило все почти. Но... Я и так. От греха подальше.

Полкан хлопает ладонью по столу. Затылок у него багровеет.

– Что-то у нас тут все грехами озаботились! Жрать-то мы что будем? Я на тебя, Ямщиков, рассчитывал! Думал, ты взрослый мужик!

Ямщиков тоже багровеет, раздувает щеки, встает.

– А что я? Ну давай, поеду обратно. Привезу тебе этого их, хер знает, чего. Ты сам-то будешь это кушать, а, Сергей Петрович? Я вот лично нет.

– А я – буду! Буду! Потому что больше нам уже тут нечего почти кушать! Вот кур порежем – и все! Умник, бляха! Привереда, ептыть! Все, иди!

Когда Ямщиков выходит, Полкан расхаживает еще не одну минуту вокруг да около двуглавого московского телефона. Приноравливается к нему долго, мало-душничает сначала, потом все-таки снимает трубку и набирает номер.

Ждет. Ждет. Ждет.

Потом там щелкает, и кто-то резко отвечает ему, не дожидаясь вопроса:

– Вам перезвонят, когда будет, что сказать.

## 5

Егор, наверное, в двадцатый раз рассказывает, что случилось с их отрядом в Шанхае: да ничего, господи, такого не случилось! Но люди все равно щурятся недоверчиво, кое-кто крестится, все вздыхают и охают. Китайцы с этим своим красным совхозом были всегда для Поста чем-то вроде Луны при Земле: неотделимым спутником, который, может, и не всегда на виду, но всегда ощущается. Да к тому же, с этой луны на них падала еще манна, которую и собирать-то не нужно было – знай, рот разевай.

И вот, на тебе.

То ли Луну оторвало от Земли какой-то чудовищной силой, то ли это Землю, наоборот, зашвырнуло черт знает куда чьей-то невидимой рукой. Никто не верил, что китайцы могли уйти с насиженного места сами – они за свои жалкие плантации цеплялись так, будто им они были в Священных писаниях обещаны. Тогда, значит, кто-то их загубил – и взрослых, и детей. А кто?

Гарнизонный повар выходит к народу за ужином. Кается, что мало запас, говорит, что дети получают вареной курятины: сколько могли, кур берегли, но теперь будут пускать их под нож. Люди не рады – все знают, что птичник на Посту не

слишком-то богатый. Как начнешь резать кур, так сразу и кончишь. Настроения не просто уже тревожные; умы начинают бродить. Полкан хочет что-то людям объяснить, но они на него шикают.

Вечером Егор слоняется по двору с гитарой под мышкой в надежде встретить случайно Мишель: вот я, вот гитара — давай продолжим с того места, где остановились в прошлый раз? И находит ее среди людей, которые собрались под окнами изолятора.

Егор их, конечно, не в первый раз уже их всех тут видит. Но людей становится больше, и стоят они теперь дольше, не расходятся. Егор проталкивается к Мишель, трогает ее за плечо.

— Привет!

Она отдергивается от него, как будто он кочергой раскаленной ее задел. Смотрит на него испуганно, глаза у нее какие-то... Одичавшие, что ли.

— Ты че? Я просто... Прости, если это... Напугал.

Мишель не откликается, но и взгляда не отводит от него; думает о чем-то своем — кажется, тяжелом, неприятном. Егор пытается улыбнуться, отмахнуться, перезагрузить разговор. Но она вдруг ловит его за руку.

— Егор... А мать дома?

Он пожимает плечами: ну дома, наверное, где ей быть-то еще? Мишель держится — как будто собирается куда-то пойти, но потом все-таки остается на месте.

— Передать ей что-нибудь?

— Нет! Ничего. Я просто так спросила. Правда.

А лицо у нее такое, что желание играть на гитаре у Егора пропадает сразу. Он хочет еще что-то спросить, но она качает головой — не надо, пожалуйста. И Егор отстает от нее, так и не угадав, что случилось.

Мишель задирает подбородок, смотрит в окно изолятора.

Там, над головами у людей, зарешеченный приبلудный поп, откашлявшись, заводит свою гундосую песню:

— Знаю, что тяжело на душе у вас, братья. Чуете беду в воздухе, яко же и я ее чую. Желаете дознаться у меня, что грядет, и как спастись. Бо грядет буря, которая и столетние дубы с корнями будет вырывать, а мы только чувствуем, как предшествующий ей ветерок гладит нас по голове, волосы нам ерошит...

Егор морщится, фыркает:

— Херь какую-то порет, блин, скажи?

Но Мишель обхватила себя руками, как будто ей зябко, как будто холодный ветер и правда уже пришел откуда-то... Откуда-то из-за реки. Как будто уже перелетел через стены Поста и ощупывает всех, кто сгрудился во дворе. И все знают, что, когда придет шквал, эти стены тоже не смогут никого защитить.

— Не знаю, что вам делать, братья. А сам буду делать то, что сказал уже своим тюремщикам. Сегодня дайте мне половину от вчерашней еды, а завтра — поло-

вину от сегодняшней, бо намерен умерщвлять свою плоть и смирять ее голос. Среди восьми греховных страстей чревоугодие не просто так поименовано первой. Из всех них именно чревоугодие проще прочих усмирить, и над плотью высидеться. И голод да не будет карой мне, но будет моим постом, а когда придет час испытания, я буду слабей плотью, но крепче духом.

Люди в толпе шушукаются, смотрят на соседей. Кто-то бурчит невнятно:

– Реально, полпорции обратно сгрузил. Не жрет.

Какая-то бабуська, Серафима, кажется, кряхтит:

– Святой человек потому что, вот почему.

Егор плюет себе под ноги: да говно он на палке, а никакой не святой человек. Что он, рассказал вам всем, что на мосту видел? Хрена лысого. Только туману нагоняет, а об опасности по-человечески предупредить – не может. Не хочет!

А чего хочет?

Мишель уже растворилась в толпе, а Егор все еще стоит тут, вслушивается. И чем больше он слушает этого изможденного попа, тем больше подозревает его; все, что тот говорит по кругу – про заброшенный богом мир, про наступающего на людей Сатану – все сказки. То, что Егор видел на мосту, должно иметь понятное, разумное, человеческое объяснение. Мертвые люди, которых он там видел, задохнулись от речных испарений. А бежали они, может, просто от бандитов, вроде тех, которые разорили попову обитель.

Те из них, кто был крепче, здоровей – добежал дальше. Остальных ядовитый туман свалил с ног на самых подступах: детей – первыми. Мертвых не имело смысла тащить за собой, и их бросали. У живых еще была надежда спастись, добравшись до другого берега, никто же не знал, какой длины этот чертов мост. А если рисковали жизнями, если теряли своих и все равно бежали дальше, значит, на том берегу им грозило гарантированное истребление. Может быть, при них убивали их товарищей, их родных... Оставалось только бежать. Вот и все.

И с китайцами, разумеется, тоже все должно было объясниться так же – внятно, логично, разумно. Без всяких там происков дьявола.

А поп этот все врет.

Он врет, а Мишель, дурочка, слушает.

## 6

Сонечка Белоусова держит в руках перед собой большую щепку и сосредоточенно тычет в нее пальцем. Увидев, что Мишель на нее смотрит, не смущается, а принимается тыкать еще уверенней, и что-то шепчет себе под нос еще. Потом бросает на Мишель ответный взгляд – кокетливый. Очень отточенный кокетливый взгляд для Сонечкиных трех лет.

– Пывет!

Мишель вздыхает.

Колелеблется и делает шаг к Соне. Ей очень не хочется сблизжаться с девочкой, не хочется приручать ее. Но не пойти ей сейчас навстречу Мишель тоже не может почему-то. Она наклоняется к Сонечке.

– Что это у тебя за штука?

Та прямо рдеет от удовольствия: именно в штуке-то и было все дело.

– А ты никому не сказес?

Мишель картинно озирается по сторонам.

– Кому никому?

– Ну, напьемей Татьяне Николаевне.

Сонечка очень старается говорить как взрослая.

Училка отчитывает близнецов Рондиков, которые друг другу только что чуть глаза не выдавили.

– Нет. Не скажу.

– Это тейефон!

– Телефон?

– Да! Мобийный!

– Ого. Ничего себе.

Мишель смотрит на Сонечку сверху вниз, а та на нее – снизу вверх. Глаза горят. Мишель пока еще не понимает, почему. Соня показывает ей дощечку: на ней накалякана кошачья мордочка.

– Как у тебя!

– Что как у меня?

– Тейфон! Такой зе!

– В смысле?

И вот теперь до нее доходит, в каком это смысле. Соня манит ее к себе пальцем, просит нагнуться, хочет сообщить что-то на ухо. Мишель наклоняется.

– Я, когда выъасту, буду, как ты! Ты не пьотив?

– Я-то? Да я только за.

Я ничего не делала, внушает себе Мишель. Это оно само. Ну не отвечать же ей – сначала вырасти, а потом поговорим. Нутро ноет, глаза щиплет. Вот курица. Так, пора валить отсюда.

– Мишель! Постой секундочку!

Татьяна Николаевна шагает к ней решительными шагами, на ногах болотные сапоги.

– Не отведешь их в класс? Перемена кончилась, а мне до Фаины бы добежать, давление скачет.

Дурацкая какая хитрость, хочет сказать ей Мишель. Но вместо этого бросает училке «ладно».

Когда в соседних окнах гаснут огни, Полкан плотно зашторивает окна и достает из шкафа еще одну банку тушенки. Ставит ее на непокрытый стол в зале: уже привычный ритуал. Раскладывает пустые тарелки, лязгает приборами, наливает себе и Егору водки.

Тамара сидит молча, бледная, как восковая кукла. В доме установился этот странный порядок: жена объявила Полкану бессрочный бойкот, но активных боевых действий никто не ведет, и на этих их вторых ужинах она присутствует, хотя к тушенке никогда не притрагивается.

Полкану это, кажется, не мешает: довольно и того, что Тамара соглашается высидеть этот ритуал с ним. Значит, подчинилась. Значит, проиграла. А остальное — дело времени. Никуда не денется.

Полкан накладывает тушенки — и Егору, и Тамаре — не ест, ее дело, а его дело — предложить; крикает, опрокинув стакан самогона. Егор тоже выпивает, хоть и не так залихватски. Мать смотрит на него стекляшками. Полкан притворяется, что за столом — живой человек, а не кукла, и что ужин — обычный, а не подлый тайный.

Во дворе заканчивают молебен.

— Ты вообще на этот счет как? — Егор шмыгает носом. — Ничего, что у тебя тут секту забомбили под носом?

Тамара вспыхивает как порох из гильзы.

— Не смей так про него говорить! Он людям облегчение дает!

Но Егор тоже уже не может это терпеть.

— Ма! А ты-то... Что ты у него все клянчишь-то? За эти сны свои? За карты, что ли?! Ну ты такая и все! Отец у тебя тоже видел че-то, бабка гадала! Ты не перестанешь быть собой, а он тебя не простит! Забей уже, а?

— Помолчи, если не понимаешь! Не выставляй себя идиотом!

Полкан хмыкает, наворачивая тушеночку.

— Вот у меня жизнь, в банке с пауками. Семейка, бляха. А как меня спросите, поп полезное дело делает. Поститься призывает. В первый раз за две недели у нас как раз еды хватило, никто добавки не требовал. Пока, знаешь, от Москвы дождешься... Хотя бы так.

Егор заглатывает разом все, что оставалось в стакане. Хоть сто раз его идиотом назови, он при своем останется. У него на «идиота» с детства иммунитет выработался.

— А ничего, что он всю эту ересь порет? Что бога нет, что Сатана грядет?

Мать отодвигает от себя тарелку. Полкан усмехается, ерошит Егору волосы.

— Не учи ученого, поешь говна моченого. Думаешь, я не знаю? Все знаю, дорогой ты мой человек. Но пользы от него сейчас больше, чем вреда. Люди, по-

нимаешь, они такие: им либо жрать подавай, либо хоть сказочку какую расскажи, чтобы не слышно было, как в пузе урчит. Сам я, как ты знаешь, так себе сказочник. Я человек конкретный. А нам нужен был человек, так-сказать, обсрактный. И вот, гляди — бог послал. Хе-хе... Тамарочка, что ж ты, не будешь кушать?

Тамара качает головой и встает со своего места:

— Не хочу с вами. Не могу с вами больше.

Полкан начинает смеяться, но, прежде чем он успеваает разогнаться, в дверь стучат. От стука Полкан мигом затыкается, багровеет еще больше, вскакивает, хватая недоеденную тушенку, выдвигает ящики шифоньера, запихивает откупоренную банку куда-то к белью, тарелки задвигает под диван.

Тамара встает и идет открывать. Полкан шипит:

— Ты куда, дура! погоди! Егор! Егор! Окно! Окно открой, балда! А то навоняли, небось...

Егор приоткрывает ставню, в комнату вползает кислый уличный воздух. Мать уже в коридоре, уже дребезжит собачкой, скрежещет замком. Кто ее просил, реально?

— Здравствуйте.

Быть не может! Егор выскакивает в коридор, смотрит — Мишель!

— Это ко мне, ма!

Тамара даже к нему не оборачивается. Говорит спокойно:

— Нет, Егор. Это не к тебе.

## 8

У дома — сотня ушей; у всей коммуны — две сотни, не считая детских. Да и дети ведь тоже все слышат, к тому же еще и понимают все по-своему. Нужно найти укромное место, такое, чтобы никто-никто не подслушал, как Мишель будет произносить это вслух. Такое, чтобы даже она сама не могла себя услышать.

Тамара — вороные волосы убраны в косу, худая как скелет, черные глаза запали, ждет, пока Мишель начнет сама. Вроде улыбается она Мишель, но смотрит не на нее, а мимо. Никуда не смотрит, как будто чучельные глаза у нее, а не от живого человека. И улыбка чучельная.

Если она и впрямь все сразу видит насквозь, зачем ей тогда нужно, чтобы Мишель давилась своими словами? Чтобы унижить ее? Чтобы заставить признаться, что сама приползла сюда за помощью, давая ведьме власть над собой? И Мишель снова ненавидит ее, хотя целый вечер настраивала себя на то, чтобы изображать смирение и дружелюбие.

Наконец она набирается духу.

— Я хочу узнать про одного человека. Хочу узнать, где он. И как у него дела.

Тамара перекачивает свои стеклянные шарики на Мишель. Разлепляет ссохшиеся от молчанки губы, собирается что-то ими сказать, но только выдыхает застоявшийся в легких воздух — как будто в кожаных мехах ножом дырку проткнули.

— У какого человека?

Вот опять. Опять она. Мишель улыбается, стреляет глазами в сторону.

— Вы не знаете?

— Я не умею читать мысли.

— А что вы тогда умеете?

— О каком человеке ты хочешь спросить?

— О Саше. О казаке.

Тамара меняется в лице: улыбка, которой она хотела то ли подбодрить Мишель, то ли показать ей свое над ней превосходство, оползает, как будто на ее поддержание Тамаре требуется слишком много сил, а сил больше не осталось. Мишель чувствует, как внутри у нее схватывается что-то крошечное, отчаянное — от одного этого оползшего лица. Может, не надо было приходиться? Зачем ей знать?

— Подожди тут.

И Мишель остается одна на лестнице у прикрытой двери, из-за которой грохочет хохот Полкана, режется отчаянный Егоров басок, что-то двигают, чем-то хлопают. По лестнице тяжело поднимается Серафима, смотрит на Мишель неодобрительно: к ведьме пришла.

Наконец Тамара выходит с колодой огромных карт: Таро.

Садится прямо на ступени, кладет колоду перед Мишель.

— Возьми в руки и перемешай.

— Я сама должна?

— Ты ничего не должна. Но если хочешь знать...

Мишель притрагивается к картам с опаской. Они старые, засаленные, залапанные. Она берет их в руки — почему-то горизонтально. Перетасовывает. Кладет обратно.

— Спрашивай.

— С ним все в порядке?

Тамара кивает ей, раскладывает карты в форме шестиконечной звезды, седьмую карту кладет в середину.

Переворачивает их одну за другой. Шепчет что-то.

На левой нижней изображена обнаженная девушка под сияющей звездой.

На верхней по центру всадник с черепом вместо лица, почему-то головой вниз.

— Нет.

Мишель начинает потряхивать: колени, пальцы, зубы дрожат.

На правой нижней женщина на троне, тоже вверх тормашками.

— А что... Что случилось?



– Я не могу сказать.

Тамара продолжает открывать карты.

– Специально, да? Что значит – не можете?

– Не могу, потому что не понимаю.

Мишель медлит: верить или не верить?

– Но... Он жив хотя бы?

На верхней левой – перевернутый вниз головой мужчина в алой мантии.

На нижней посередине – ангел трубит в трубу, а под ним стоят, задрав головы вверх, голые человечки.

Тамара наклоняет голову нерешительно – вперед и вбок, как будто пытаюсь наставить свое заостренное ухо, навести его куда-то за тысячу километров – туда, где сейчас кричит Саша.

– Да.

– А я... Могу ему помочь?

Ведьма набирает сил на одну усталую грустную улыбку.

– Нет.

– А я смогу... Я увижу его еще раз?

Тамара выпускает из себя воздух: он не пахнет едой, у него нет запаха дыхания живого человека, у него вообще нет запаха.

На верхней правой – колесница, запряженная двумя сфинксами, черным и белым. И тоже вверх дном.

– Я не могу просто взять и вот так увидеть то, что ты просишь у меня узнать. Я вижу вещи случайно. Редко бывает так, что мне показывают то, о чем меня уже спрашивали или еще спросят люди. Просто разная ерунда.

– И что? Скажи мне просто, увижу я его еще или нет?

Тамара молчит. Мишель тогда решается:

– Если за это нужно заплатить, ты скажи мне!.. Вы скажите. У меня есть... То, что сейчас всем надо. Смотрите.

Она достает из-за пазухи похожую на снаряд банку. Тамару при ее виде передергивает.

– Не надо. Я не беру ничего за это. Убери, тяжело смотреть.

Мишель суетливо прячет банку под куртку. А спрятав, упрямо повторяет:

– Мы с ним еще увидимся? Ты ведь знаешь! Это ведь ты им все сказала... Про волков, которые их на части рвут... Про все. Скажи. Скажи!

Тамара поднимает руку – к лицу Мишель. Она не кажется страшной, не кажется злой, но Мишель хочется избежать прикосновения. И, тем не менее, она позволяет ведьме дотронуться до своей щеки. Она думала, пальцы у Тамары будут ледяными, но они оказываются такими горячими, будто у той жар.

– Я тебе отвечу. Отвечу так, как смогу. И ты больше у меня ничего не спрашивай. Договорились?

— Да. Хорошо.

Тамара собирается с мыслями, как будто повторяет про себя приговор перед оглашением. И отвечает:

— Не надо тебе его ждать.

Она переворачивает последнюю карту — ту, что в центре. На ней изображена каменная башня, в которую бьет из грозовых облаков яркая молния. Вскрикивает и махом смешивает все карты. Потом зло, как будто те были живыми и подстраивали ей козни нарочно, сгребает их и исчезает в своей квартире.

## 9

Егор валяется у себя, тренькает на гитаре. Подбирает музыку к новым словам.

Наползает тьма!  
Наползает тьма!  
Из-за речки на заставы наползает тьма!  
Гребаный Кузьма!  
Гребаный Кузьма!  
Избави нас, Боже правый, от всего дерьма!  
Свят, свят, свят, свят  
Сатане и шах, и мат!

Мать входит без стука. Садится на постель, выдергивает из руку гитару, выдергивает идиотскую песенку у Егора из горла на половине слова.

— Говори.

— Ты че, ма?! Чего «говори»?

Хотя половина баб коммуны к матери ходит за советами, сам Егор в ее способности никогда по-настоящему не верил. Про него, про Егора, она вечно видит одно тревожное, и эти видения раньше не раз становились причинами для самых странных и дурацких запретов: не купаться, не идти с мужиками в дежурство в третий от полнолуния день, не есть соленья, не подходить к девушкам. Егор терпел, сколько мог, а потом начал над матерью смеяться — и сила ее пророчеств от этого смеха стала ослабевать, пока Егор совсем от нее не освободился. И вот теперь...

— Зачем ты это сделал? Зачем ты его отправил туда?

— Кого? Куда?

— Егор! Прекрати себя вести как кретин. Зачем ты позволил этим болванам уехать за реку? Если ты знал, что я была права!

Егор хмыкает, собираясь придумать какую-нибудь отмазку, но вместо этого спрашивает:

– Что она тебе сказала? Это она так считает, да?

Тамара хватает его за руку, ее ногти врезаются ему в запястье.

– Больно!

– Ты знал, что он едет на свою погибель, ты знал, что я была права, и ты ничего не сказал.

– Да ничего я не знал!

– Теперь сошлось. Я просто думала, что это еще только случится, я перепутала прошлое и будущее. А оказывается, ты видел все.

– Бред! Ничего я не видел!

– Не знаю, что именно видел, но знаю, какое у тебя было лицо. Мне снился ты, ты на этом проклятом мосту. Твои глаза. Ты все знал и не поддержал меня. А теперь эта несчастная девчонка... Теперь мы все... Господи, Егор... Ты представляешь, что нас всех ждет?!

– Хватит бредить! Наползает тьма, бля! Давай, с этим бородатым в одну дудку будем дудеть! Хватит! Егор то, Егор се! Ничего там нет такого! Хорошо, мам! Поняла?! Утомила!

Егор соскакивает с кровати, хватается за рюкзак и вылетает в коридор, сдергивает куртку с крючка и бросается в лестничный колодезь. Достало! Реально достало!

Надо просто доказать им всем, что там ничего нет. Надо самому в этом убедиться. Пора уже, больше невозможно так. Пока этот гребаный телефон еще фурчит, нужно забраться на мост, разлочить его и узнать, что там такое случилось. Чтобы стало раз и навсегда понятно. И чтобы мамка перестала его стращать своими глупостями. Его и всех. И чтобы поп этот дебилый...

И чтобы страх отпустил.

Окно над головой распахивается. Мать, в одной ночной рубашке, высовывается по пояс, нависает над двором.

– Егooooор! Вернииииись! Живо домой! Егooooор!

Никогда.

## 10

Когда под утро стучат в дверь, Тамара вскакивает первой.

– Егор, ты?!

Но на пороге стоит заспанный штабной телефонист.

– Мне б Сергея Петровича. Простите, что рано... Что поздно... В общем, звонок ему.

Тамара проходит в спальню, где две их кровати раздвинуты по разным углам, хлопает сопящего Полкана по шее. Полкан ухает, подскакивает, крутит тяжелой башкой, трет волосатыми кулаками заклеенные сном глаза. Сует ноги в резино-

вые тапки, запахивается в стираный-перестираный халат, и плетется в прихожую.

— С Ростова, Сергей Петрович. По вашему запросу.

Ростов Великий, станция в шестидесяти километрах по железке к Москве — следующий обитаемый и обороняемый пост. Когда кто-то через него едет туда или сюда — они Полкану сообщают. Но среди ночи обычно не тревожат, уважают чужой покой.

— Что у них там?

— Не пойму что-то. Цыцки мнут, вас просят.

Полкан накидывает свой старый ментовской бушлат на плечи как генеральскую бурку, на ходу крутит папиросу, готовясь к любым скверным новостям. Звонок принимает у себя, отправив телефониста досыпать.

— Пирогов.

— Здравия желаю, Сергей Петрович. Рихтер на связи.

— О! Дядя Коля. И тебе не спится?

— Да не спится вот, Сергей Петрович. Ты нам про китайцев вот тут помнишь, рассказывал? Про пропащих.

— Так точно. И что, есть новости?

— Все тут твои китайцы. Семьдесят четыре человека. Включая стариков и малых детей. По дороге пришли пешком. Оборванные, чумазые, а глаз таких круглых я и на русском человеке-то не видал. Но так вроде живы-здоровы.

— А что ж они от нас-то убежали? Напал там на них кто-нибудь? Или холера какая-то? Что случилось-то, в принципе?

— Бес их разберет, Сергей Петрович. Лопочут что-то свое, с русским-то так себе у них. Старейшины решили что-то такое, если я правильно их разумею. Предчувствия там, пророчества... Хер их разберет, нехристей. Тебе просто набрал сказать, что нашлась твоя пропажа. Хочешь, вернем?

## 11

До пересменки дозорных Егор отсиживается в заводских бомбоубежищах, потом опять укрывается под насыпью. Можно было бы пойти в ночь, но Егор убеждает себя, что без утреннего света камера на телефоне не сработает, и разлочь его не удастся.

Дождя сегодня нет, дозорные медлят. Еще чуть-чуть — и из-за ворот покажется новая смена; тогда ему уже никак не забраться на мост незамеченным. Солнце набухает где-то за мостом, непроглядная зеленая пелена начинает золотиться изнутри.

На заставе, кажется, обсуждают бредни бродячего монаха: кто-то топит за него, остальные хохочут. Но хохот не совсем честный — в сотне шагов от завесы, закрывающей мост, можно поверить во что угодно.

Давайте, ну давайте же, шепотом подначивает их Егор. Чего вам тут ждать? Но дозорные сегодня никуда не торопятся, и Егор бесится — и на них, и на себя. Небо уже алеет, солнце красными спицами подтыкает наброшенный сверху грязный ватник облаков, приподнимает их, чтобы было чем дышать.

От Поста слышится железный лягз — отворяют ворота. Все, капец. Это значит, никакого зазора сегодня не будет: ночная смена дождетса утреннюю на насыпи, мост все время будет у них на виду. Или возвращаться в обход, или сдаваться и каяться, или...

Или так.

Егор набирается духу и тихо, стараясь не ступать на шумную гальку, а идти только по чуть чавкающей влажной земле, еле скрепленной травяными корнями, крадется вперед, к реке — по низу. План такой: зайти в туман у самой реки, и там попробовать взобраться наверх по бетонным опорам.

Ближе к берегу становится ясно, что затея была идиотская. Там, где почва напITYвается отравленной водой от реки, трава не выживает, и земля под ногами превращается в топкую грязь. Егору приходится прыгать по камням, по обломкам асфальта — тут когда-то была набережная, проходила дорога, но река подтачивает камни и разъедает асфальт.

По мере того, как река становится ближе, дышать делается все труднее: Егоров старый противогаз не справляется со свинцовым речным воздухом. Из-за надвигающегося тумана непонятно, где заканчивается суша и где начинаются воды. Все вокруг зеленое, туман сгущается в висащие в воздухе капли, стекает из воздуха в землю, земля сочится зеленым ядом, а река испаряется так обильно, как будто находится в состоянии невесомости и вся начинает отрываться от своего русла, поднимаясь в воздух.

Несколько раз Егор чуть не оступается и не падает в огромные едкие лужи неизвестной глубины. Из них идут всплесками пузыри, словно кого-то там топят, и он выпускает против своей воли из легких последний воздух.

К тому моменту, когда он в конце концов добирается до первой опоры, голова у него уже идет кругом, и его пошатывает. На мгновенье ему чудится, что он смог различить береговую линию... В туманной жиже впереди виднеются какие-то сгустки, приставшие к этой линии и слипшиеся друг с другом, какие-то бурые вспухшие бугры... Что-то, похожее на лягушачью икру — но огромного размера. Что-то, что река вынесла на этот берег, и что теперь вяло качается в густом речном прибое.

Егор вглядывается в них, пока глаза не начинают саднить — но так и не может понять, что это.

На бетонном быке есть металлическая скоба, за ней еще одна — остатки лестницы, по которой можно было раньше забраться на поддерживающие мост стальные опорные конструкции. Но от кислоты металл крошится, несколько скоб выпали из бетона, как зубы из стариковских десен.

Одна из них начинает вываливаться ровно в тот момент, когда Егор за нее схватился — на четырехметровой высоте — и ему приходится метнуться вверх, чтобы успеть ухватиться за следующую.

С высоты лягушачья икра видится иначе: ее ячейки-бакены оказываются не совсем круглыми, а скорее вытянутыми. Но еще три скобы вверх — и Егор вообще перестает различать, что там внизу.

Руки и ноги у него отяжелели, цепляются плохо, дыхание сбивается, голова едет — но он все-таки забирается на опору, пролезает по ней, балансируя над зеленой пропастью, к еще одной служебной лесенке — и выбирается все-таки на мост — там, где дозорные его уже не увидят.

Он с трудом ориентируется, решая, в какую сторону ему идти — и нетвердым шагом двигается вперед. Пути остаются пустыми долго, слишком долго — никаких следов тех тел, на которые он наткнулся в прошлый раз. Может, время сегодня так тянется?

Или казаки избавились от трупов, и тогда вся его затея напрасна? И так-то — велик ли шанс найти хозяйку телефона, шанс заставить аппарат узнать ее?.. Может, нет. Может, шанс ничтожный. Но Егор больше не может просто не может сидеть на жопе и ждать, что будет. Не может жрать тушенку, не может пить водку с Полканом, не может врать матери и не может смотреть, как поп опутывает людей своим враньем. Егор всю эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Просто надо что-то такое уже совершить. Что-нибудь, что перебило бы всю ту дрянь, которую он натворил. Ладно, не натворил, а которой позволил случиться... Да какая, блин, разница!

Первые тела обнаруживаются по левую и по правую руку от рельсов. Казаки просто оттащили их так, чтобы те не мешали проезду дрезин.

Нет, не просто.

Егор идет вдоль тел и понимает, что их сложили тут осторожно и чуть ли не любовно: одного к другому, ногами к рельсам, головой к реке. У кого могли, собрали на груди руки. Кому нашли, чем, накрыли лицо. Похоже, что казаки застряли тут на час-другой — и отдавали мертвым последний долг, старались сделать так, чтобы они выглядели людьми хотя бы после смерти, раз уж сама смерть была у них не человеческая.

Мост превращен в курган, в облачный курган, поднятый над рекой. Егор почему-то представляется, как подьесаул шагал мимо уложенных рядом погибших людей и крестил их, прощаясь.

Смотреть на мертвых трудно, но деваться некуда. Лица у многих правда уже распухли и почернели, хотя и не так, наверное, как было бы на обычном воздухе:

в ядовитом мареве и микробыдохнут. С каждым шагом у Егора убавляется уверенность в том, что он сможет узнать женщину, у которой забрал мобильник. Тут, залитые этим чертовым желе, люди стали похожи друг на друга — а Егор уже и не помнит особо, как она выглядела. Вроде бы среднего возраста, кажется, некрасивая. Сумочка была на цепочке — обмотана вокруг шеи. И все.

Окуляры противогаза запотели изнутри, хочется стащить его, плюнуть на стеклышки, растереть пальцем — известный способ; но снимать нельзя ни в коем случае. Резина и без того прилегает неплотно, Егор понимает это по головокружению. Долго тянуть нельзя, времени в обрез.

Он проходит по мосту столько, что и другой берег должен бы уже быть где-то совсем неподалеку — а той женщины все нет. Несколько раз Егор приподнимает куски ткани, куртки, шапки, положенные поверх глаз — нет, не она. Кажется, не она. Сумочки нет.

Тогда он решает дойти сразу до конца, оглядеть всех мертвых с наскока, а потом уже изучать их по отдельности — и поэтому мимо нужного ему тела пролетает. Пролетает, но застревает в нескольких метрах и возвращается.

Вот она.

Точно она.

Сумку сняли с нее и положили рядом, как будто в руки. Но след, там где перекрученная цепочка врезалась в шею, остался. Ее глаза закрыты, черты исказились — но по ним все еще можно угадать, как она выглядела при жизни.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, мальчик.

— Я вот по поводу вашего телефона.

— Да, я его потеряла. Ты не находил?

— Вот. Это ваш?

Играть в это жутко, но не играть в это еще жутче. Егор хочет остановиться, но язык сам молотит слова:

— Да, мой. Спасибо! Как хорошо, что ты его нашел. Только что-то я не могу его включить. Не можешь?

— Запросто. Вот... Просто надо посмотреть в камеру. И... Глаза можете открыть?

— Зачем это? Я тебя и так вижу.

— Я... Черт. Это чтобы телефон разлочить.

— А кому ты будешь по нему звонить? Это ведь мертвый телефон, он для мертвых людей... А ты, кажется, живой пока. Не боишься?

Пальцы оскальзываются на вздутом лице, веки опухли, и Егор не знает, как их поднять.

— А если я не хочу просыпаться? Разбудишь ты меня — и что?

— Ой, ну хорош, блин! Свят, свят, свят, свят! Сатане и шах, и мат!

Наконец, вроде бы, получилось. Глаза у нее голубого цвета, смотрит она ими сквозь Егора в небо. Так. Он переводит дыхание и наставляет телефон на женщину, ловит ее глаза в камеру осторожно, как Персей ловит зеркальным щитом взгляд Медузы Горгоны. Телефон молчит — и Егор осторожно, так чтобы самому не заглянуть в это зеркало, проверяет: сработало?

На экране надпись: не удается распознать Face ID. Попробуйте еще раз.

И Егор пробует еще раз — еще аккуратней, с еще большим почтением, затаив дыхание.

Не удастся распознать... Никак не удается.

Третий раз... Последний. Сосредоточиться.

— Это ведь твой телефон, да? Ну! Ну помоги мне. Тебе-то он зачем?

— А тебе зачем?

— У меня за спиной — вот там — мой дом. Куча народу. И я... Ну, я боюсь, как бы с ними не произошло того же самого, что с вами тут. И я надеюсь, что в твоём телефоне найдется что-то такое, чтобы я все понял. Вот зачем. Помогите, ну?!

От телефона исходит слабая вибрация.

Егор судорожно отдергивает его от ее лица, как будто боится, что клюнувшая удача сорвется с крючка... Переворачивает экраном к себе...

«Верификация с помощью Face ID не удалась. Введите код-пароль».

— Сука! Вот сука!

Егор не выдерживает и пинает лежащую перед ним женщину — огромную каучуковую куклу. Она закончела, окостеневшая плоть сопротивляется ему, и удар ощущается как-то неправильно, как-то леденяще неправильно. Он оглядывается — никто не видел?

— Бля... Прости. Реально.

— Ничего, ничего. Ничего, мальчик. Сначала ты меня, а потом я тебя. Это ты ведь спешишь. Я-то... Я подожду, сколько надо.

Егор хочется сбежать, но он заставляет себя сесть рядом. Берет ее сумку, выворачивает ее. В коде шесть цифр. Может же в ее сумке найтись какой-нибудь намек? Может, записала на бумажке... Или...

— Ха... Это тебе надо спешить. Вон, гляди, ты вся поехала уже... Чернеешь...

— А давай-ка поспорим с тобой, кто дольше протянет?

— Иди в жопу, тетя! Не буду я с тобой спорить!

Егор перебирает какую-то женскую чепуху: помаду, пудреницу, ключи. Паспорт.

— Тебе кто в сумку ко мне лезть разрешал? Ты соврал мне, так выходит?

— Мне для дела! Я объяснял же!

Кострова Надежда Павловна, 1986 года рождения. Не такая уж и старая, оказывается. День рождения 29 февраля... Вот это фокус. Повезло тебе, Надежда Павловна, ничего не скажешь.



Фокус.

Егор застывает на несколько секунд, потом осторожно набирает на телефоне: 29 02 86. Такие цифры, которые захочешь — не забудешь. Свой день рождения!

— Твой день рождения, да?

Неверный код-пароль. Ну а что тогда, что?!

Кроме паспорта, никаких бумажек в телефоне нет. Егор в ступоре принимает-ся листать странички — пальцы в толстой резине слушаются плохо, страницы склеились и разделяются нехотя. Прописана была в Екатеринбурге. Да, издаleка ты причапала.

— Гляди ж, и у вас там жизнь, оказывается, есть, да? А мы-то думали, за мостом конец света.

— Есть жизнь, да еще и какая. Получше вашей.

— Ну хорошо, что сказала, тетя Надя. Я к вам в гости приеду.

— А приезжай, приезжай. Мы тебя славно примем.

Егор налистывает графу «ДЕТИ».

Там значится: Костров Николай Станиславович, 15 января 2019 года. Это сколько ему лет, типа... Было бы.

— Коленька. В честь деда назвала его. Любимый мой. В честь его деда, моего отца. Коля. Красивый и такой смешной. Умница-разумница. Волосы рыжие, вихор причесать не могу. Глаза зеленущие, как у котенка. Все со своими трансформерами бегал. Господи... Я уж думала, все, не будет детей у меня. Поздний. Поздних, знаешь, как любишь? Поздних и единственных! А знаешь, как любишь детей, когда они умирают раньше тебя?

Егор смотрит на экран. Коля. В честь деда.

«15.01.19»

И вдруг все на экране разъезжается: пароль верен, телефон впускает Егора в себя. Все! Все?!

— Вооооу! Спасибо!

— Я тебе этого не разрешала.

— Ну и насрать на тебя!

Егор сует телефон в карман: все. Посмотреть можно уже и дома.

Он встает — ноги задеревенели.

Надо ими шагать теперь обратно, к Посту, но Егор медлит. Победа уже одержана, цель достигнута, он заработал себе и на прощение, и сверху. Еще час — и он этим телефоном уест их всех...

Но отсюда ведь, наверное, совсем чуть-чуть остается до другого берега. На него не обязательно сходить, достаточно просто глянуть.

Все, что Егор знал о нем до сих пор, все, что знали о нем на Посту, может оказаться неверно. Может быть, он и не заброшен вовсе, может, там идет себе обычная человеческая жизнь — вон, у Надежды Павловны Костровой из самого аж

## Дмитрий Глуховский

Екатеринбурга ведь и паспорт с собой был! А если есть паспорт, то какой же там Сатана?

Если есть паспорт, то бравый подъясаул со всем своим воинством, может, во-все и не сгнули. Может быть, ничего Егор его и не загубил. Ну, бандиты там... Неужели он не отобьется от бандитов своими-то пулеметами! Прокатится и вернется... Пускай уж лучше вернется, честное слово.

А может и вправду там — живые города? Города, в которых, как и в Москве, есть и клубы, и концертные залы, и целые стадионы... Города, по которым Егор может гастролировать со своей группой, которую создаст вместе со встреченными по пути людьми — с группой, которая будет исполнять его песни. Надо только обязательно встретить хорошего ударника... И было бы здорово, чтобы Мишель согласилась отправиться вместе с ним туда, к этим неизвестным городам, в обратную сторону от своей идиотской Москвы.

Егор переставляет тяжелые как тумбы ноги; нет, это не он ими двигает — это они двигают им, несут его в противоположном от Поста направлении.

Вереница мертвых тел никак не заканчивается — она простирается до того самого места, где зеленая пелена начинает истончаться. Солнце с того берега пробивается через нее, электризует туман, он переливается теперь волшебным светом, обволакивает им Егора, одевает его в кокон, который сделает его неуязвимым...

И вот наконец начинают проявляться очертания — лес, поломанные зубья многоэтажек, фермы моста... Береговая линия.

Над лесом поднимается солнце — большое, беспримесно красное.

Мост доходит до суши и превращается в железную дорогу, которая просекой внедряется в корявый иссушенный лес.

И тут Егор смотрит вправо. Голова сама повернулась в ту сторону.

Пологий, затянутый тиной берег шевелится.

По нему движутся человеческие фигуры. Они появляются из подлеска, подобравшегося к грязному пляжу, шагают к зеленой ядовитой воде, и, не пробуя ее ногой, не боясь и не смущаясь ее, не слыша ее запаха. Не чувствуя головокружения, они вступают в воду один за другим — и заходят все глубже, глубже — по пояс, по грудь, по шею — не делая никаких попыток плыть, никак не выказывая боли — хотя зеленая жижа должна жечь кожу уже с первого прикосновения. Они заходят в воду с головой и пропадают в ней... Один, еще один, еще... Десяток, другой; А через некоторое время... Всплывают... Неподвижные.

Разбухшие. Похожие на бакены. На лягушачью икру.

Мертвецы.

# Пробуждение

## 1

Он выходит из арки, устроенной внутри арены — выходит как гладиатор, которому предстоит смертный бой.

Целый стадион народу. Полные трибуны. Свет от прожекторов слепит глаза, лучи бродят по толпе, и куда бы ни упали разноцветные пятна — везде руки, к нему, к Егору протянутые руки.

Люди кричат ему: «Егор! Егор!»

Гитара болтается у него за спиной, будто автомат, ремень перехватывает грудь наискось. Он останавливается посередине арены, поднимает руку вверх — и трибуны принимаются визжать от восторга.

Егор опускает руку — и вопли смолкают: все знают, что это значит. Он просит тишины, потому что только в абсолютной тишине эта песня — его главная песня — прозвучит правильно.

Егор притрагивается к струнам, и они начинают петь многоголосием. А самому ему остается только подпевать:

Вы оставили нам распотрошенный мир  
Вы все мясо его закатали в консервы  
Жрать рога и копыта — последний наш пир  
У костра мы играем на струнах неверных

Вы оставили нам мир без лишних людей  
Мы наследники вашей огромной жилплощади  
Нам руины в дерьме вместо падших церквей  
Ваши мумии нам чудотворными мощами

Вы оставили нам мир без вечных проблем  
Кто мы, бля, и зачем, и куда мы отправимся  
Позади темнота. Впереди яркий свет.  
Мы летим на него. Разобьемся. И справимся.

Трибуны подпевают в тысячу глоток: «Разобьемся! Исправимся!», а потом снова начинают скандировать его имя: «Егор! Егор!». Проектор, описав круг по раскрытым ладоням, по тысяче светлячков — фонариков от мобильных телефонов, которыми люди машут в такт его музыке — выцеливает самого Егора, лупит ему миллионом свечей точно в глаза. Женские голоса просят его:

— Егор! Егор!

Стадион растворяется, тает, меркнет. Егор повторяет, не желая его отпустить.

— Разобьемся... И справимся...

— Говорит! Егор! Ты слышишь нас? Егор! Вон, у него глаза под веками ходят. Дай нашатыря еще!

Нашатырная вонь через ноздри хлещет Егора сразу куда-то по корке мозга, и стадион, полный фанатов, пропадает в никуда. Остается только проектор — склоненная над ним, направленная ему прямо в глаза яркая лампа, и два лица — его матери и лазаретной заведующей Фаины.

— Нет. Подожди, подожди... Надо запомнить...

Надо запомнить слова этой песни — гениальные слова, слова песни, которая навсегда станет его визитной карточкой, песни, с которой он будет колесить по просторам огромной страны, везде и всегда собирая целые стадионы, которые и будут приходить, чтобы услышать вживую гимн целого поколения, хотя бы раз...

— Бредит.

— Да слава богу, что хоть глаза открыл!

— Впереди яркий свет... Мы летим на него...

Егор лопочет последнее, что не выветрилось еще из его головы, цепляется за эти бессмысленные слова из последних сил, а все остальное в это время вымывает, уносит куда-то в никуда — и остаются только они, только эти голые бессвязные слова про свет. Стихают последние аккорды. Мелодия забыта тоже.

Больничная палата. Мать. Что случилось?

Егор закрывает глаза, старательно зажмуривается, потом снова открывает их.

— Егор! Ты узнаешь меня? Понимаешь, где ты?

— Да, мам. Все нормально. Отстань.

Она хмурится, но не возражает. А Егор, подумав, тянет руки — в вены воткнуты катетеры капельниц — к карманам. Карманов нет, куртки нет, портков нет, он лежит под колким казенным одеялом в одних семейниках. Он беспомощно спрашивает:

— А телефон где?

— Бредит, говорю же.

— Ладно, Фая. Дадим ему отдохнуть.

— Не надо мне отдыхать! У меня телефон был! Где он?

– Тсс... Шшшшш... Тихо-тихо...

И Егор сдаётся: силы кончились, палата и вся Земля, на которой палата находится, закатываются за горизонт.

## 2

– Мишка, Миш! Мы на улицу идем!

Мишель показывает левому Рондику кулак. Кто из них старший, а кто младший, запомнить невозможно: они за право быть старшим всегда соревнуются, дерутся и отчаянно о своем первородстве врут. Даже если они сами и знают, кто на самом деле на сорок минут раньше появился на свет, всех остальных они давно запутали. Поэтому Мишель их различает по родинкам: у одного – слева на щеке, у другого – на правом виске. Левый и правый. Левый – Женька.

– Я тебе дам – без взрослых на улицу!

– Пошли с нами!

– У меня к Татьяне Николаевне дело! А вы брысь под лавку!

Рондики делают вид, что приказов от Мишель принимать не собираются, но и на улицу из класса без учительницы не идут. Затевают драку.

Мишель отзывает Татьяну Николаевну в ванную комнату. Та вся изгибается в вопросительный знак. Закрываются на защелку, сделав мелким внушение – ничего не крушить. Конечно, из-за дверей тут же слышится визг и грохот: кажется, стул опрокинулся.

Мишель раскрывает черный полиэтиленовый пакет. Внутри – пять банок с тушенкой, капсулы в солидоле. Татьяна Николаевна не понимает:

– Это что?

– Это мясо. Тушенка. Я запас... Нашла. Забыла... О нем. А теперь случайно наткнулась, и... Ну, в общем. Это для детей. Домой, наверное, им не нужно с собой... Так что, я вам вот. Тут. Может быть, какой-то второй обед делать им... В классе.

Татьяна Николаевна так и смотрит в этот раскрытый черный пакет, не перебивает Мишель, дает ей проблеяться, не спешит никак выручить. Ну и правильно: сколько времени прошло, пока Мишель решилась. Теперь красней давай.

– Но они ведь, наверное, все равно расскажут родителям. А родители спросят, чем мы их тут...

Мишель поводит плечами.

– Ну я не знаю. Я просто... Ну, что они у меня зря лежат, эти банки, да?

Татьяна Николаевна ставит пакет на пол и берет Мишель за руку.

– Спасибо. Спасибо тебе. Видишь – я в тебе не ошибалась!

Мишель осторожно, но решительно высвобождает пальцы из этого мягкого капкана.

– Егор!

Над ним стоит Полкан. Егор вскидывается – мать сидит на стуле в ногах кровати. Глаза у нее заплаканные. Полкан выглядит невыспавшимся и потасканным, с него совсем сошло сало, которым он обычно блесит. От него разит перегаром.

– Ты за коим хером туда поперся? Чего ты забыл там?

– Сережа!

– А что «Сережа»? Пускай говорит, пока не соображает.

– Где «там»? – Егор обводит глазами палату, собирается с мыслями.

– На мосту, бляха!

Точно, на мосту. И Егор вспоминает:

– Пошел, чтоб телефон разлочить. Где он?

– Вот опять. Телефон какой-то ему привиделся там... Он не в себе еще, Сережа.

– Нет у тебя никакого телефона! Ох, ты бляха, ты муха! Ты нарочно, что ли, меня бесишь? – рычит Полкан.

– Там на мосту люди... Мертвые. У одной бабы был телефон.

Полкан смотрит на него недоверчиво.

– Брешешь! Какие люди еще? Откуда?! Казаки, что ли?

– Нет... Другие. С того берега. Из Екатеринбурга...

Мать вмешивается:

– Оставь его! Дай ему в себя прийти!

Но Полкан не отлипает.

– Значит, так. Тебя дозорные на заставе приняли. Чуть не положили. Ты еле полз. Был не в себе. Подошли, противогаз стацили – и в лазарет. Кроме этого чертова дырявого противогаса ничего у тебя не было!

Егор мотает головой – хочет вытрясти из нее морок. Значит, потерял? А как он мог его потерять? Когда он пытается вспомнить последнее, что с ним случилось на мосту, голова начинает болеть: сначала немного, но чем упорней он скребется в закрытые двери, тем дальше эта боль расходится.

Бетонные опоры и железные скобы-ступени в них – были. Люди, уложенные шеренгой, погребенные непогребенными. Были. Лица. Слова, которые они ему говорили. Были? Телефон точно был – он был у него с собой, так ведь? И, кажется, ему удалось его разблокировать – как-то. Телефон узнал женщину в лицо? Или... А потом... Потом Егор решил пойти дальше... И...

Он вздрагивает.

А это – это ведь могло ему привидеться? Потому что ночи с Мишель же не было? Или было? А концерты за Уралом... До куда он дошел на самом деле? Может быть, он провалился в бред, надышавшись испарений, пока карабкался на мост по опорам?

- А паспорт? Паспорт у меня был с собой!
- Какой еще паспорт, Егор? Ты с ума сошел? Нет у тебя паспорта никакого!
- Не мой! Женщины... Из Екатеринбурга... Надежды... И телефон ее был.

Полкан раздувает брыла. Смотрит на жену: точно, повредился парень головой. Но когда Егор моргает, оказывается, что лицо этой женщины — какой она была, когда фотографировалась для паспорта — отпечаталось на изнанке его век. Вот же она: Надежда... Надежда... Кострова. Но Полкан так глядит на него — с сочувствием и одновременно издевательски.

– Пум-пурум... Откуда ж в Екатеринбурге люди с паспортами, да еще и с телефонами! Да по нему в войну таким вдарили, что там сейчас если только дикари по пещерам щемятся ...

Егор закрывает глаза, и теперь кинотеатр на изнанке век показывает ему кадры с концерта, который он недавно играл где-то на Урале.

– Каким... вдарили?

– Секретным чем-то, — Полкан неловко как-то ухмыляется. — А я в чужие секреты не лезу.

– А что ж ты мне ничего об этом не говорил на своих сраных уроках истории?

– Егор...

Мать берет его руку в свою, разжимает его кулак. Он зло стряхивает ее.

Где паспорт?!

И тут ему чудится или вспоминается, что он выбросил его. Выбросил в реку. Почему он выбросил паспорт? Там же... Там же был код. Выбросил... Вот он стоит над зеленым варевом, с трудом удерживается от того, чтобы шагнуть в него. И швыряет бурю книжечку... Она расправляет страницы, летит как бабочка вниз, растворяется в едком воздухе, не долетев...

Выбросил, потому что хотел, чтобы женщина замолчала. Потому что не мог больше смотреть ей в глаза. Потому что она не прощала его за то, что он бил ее тело. Не прощала за то, что он взломал ее телефон, что влез ей в душу и допросил ее про умершего сына.

А телефон? Телефон не выбросил следом за паспортом?

Егор тужит память... Мог. Мог закинуть следом и телефон... Помнится, он нагрелся, слышно через резиновую перчатку было, как нагрелся... Хотелось избавиться от него...

А потом — это. То, что Егор увидел с моста... На берегу.

Нет. Это вот точно похоже на бред. Этого точно не может...

– Ты, может, сбежать хотел? — тормозит его Полкан. — За казаками?! Геройствуешь, бляха?!

– Я тебе все сказал, — хрипит Егор. — Не хочешь верить, иди в жопу!

– Ты ах-херел, что ли?! Мы тут чуть с ума не посходили!

– Отстань от него, Сергей, — просит мать. — Я еле отмолила его...

— А святой отец твой вон, говорит, это он его отмолил! — хмыкает Полкан.

— Он не мой! — резко отвечает мать.

И Егор — даром, что только очнулся — кривит губы и брови. Еще чего!

Он дергается всем телом — оно какое-то бессильное, как во снах бывает, когда вместо мышц руки и ноги наполнены, как полусдутые шины на велике, спертый воздухом. Катетеры присосались к его венам, как пиявки. Полкан перехватывает его:

— Куда?

— Пусти! Поссать можно мне?!

— Да ты на ногах не стоишь!

— Устою!

Егор подтягивает к себе палку, на которой болтается в мешках какая-то мутная байда — из мешков растекается ему по жилам; шикает на мать, опирается на палку — и поднимается с койки. Колени трясутся, но он выпрямляет их. Мать тянется ему помочь, но Полкан останавливает ее: пусть сам. Егор делает шаг, делает другой — находит дверь сортира, идет к ней упрямо и медленно, как первооткрыватель Северного полюса бредет к этому своего гребаному полюсу через ледяную пургу.

Добирается, толкает тяжелую дверь. Оказывается перед зеркалом.

В отражении кто-то другой: чудовищно тощий, с запавшими глазами и ввалившимися щеками, мертвенно-бледный. Когда это все успело с ним произойти?! Егор оглядывается на мать, еле удерживаясь на своем костыле:

— Это я... Сколько провалялся?

— Неделю.

#### 4

Мишель подставляет к шифоньеру табуретку, залезает на нее, нашаривает, не видя, тяжелую коробку из-под обуви, в которой лежат старые зеркальные фотоаппараты — дед коллекционирует. Начинает медленно подтягивать коробку к себе — тихо-тихо, так, чтобы не загремели в коробке детали и чтобы она не зашуршала по шифоньерной крышке слишком громко.

Протащит сантиметров пять — и оглядывается на бабку. Бабка вроде бы дремлет, как она всегда дремлет после обеда; это — единственное время, когда коробку можно ограбить. Отсюда, с двухметровой высоты, не понять, не подглядывает ли бабка за ней из-под опущенных век. Но сопит она ровно, на выдохе делает губами «тпру-у», как лошадь; под носом прозрачная капля.

Мишель думает о том, что не любит эту старуху; жалеет — да, но не любит.

Она опять тянет коробку на себя — та выезжает наконец, повисает у Мишель над головой. Теперь нужно совсем аккуратно.



Не слезая с табурета, Мишель переносит коробку к груди; поднимает крышку — та присохла, и детали внутри дребезжат. Мишель бросает на бабку испуганный взгляд — но та, кажется, ничего не слышала.

Крышка поддается. Ну? Там он?

Он там.

Под «Зенитом» и «Кэноном», которые дед добыл где-то в пустых ярославских квартирах — вот он, обернутый в промасленную тряпку. «Макаров». Дедов собственный, от всех утаенный.

Мишель вытаскивает его осторожно, умоляя дедовы фотики не греметь. Сбрасывает тряпицу, сует ствол за пояс джинсов. Начинает нахлобучивать крышку обратно — и вдруг ей кажется, что бабка смотрит на нее. Она вздрагивает — пистолет чуть не выпадает из-за пояса; Мишель еле успевает его поймать.

Нет; бабка спит — или продолжает притворяться, что спит.

И Мишель успевает водрузить коробку обратно на шифоньер до того, как в прихожей начинает проворачиваться ключ в дверном замке.

Деда она встречает раскрасневшаяся: лишь бы не посмотрел туда, где под толстовкой торчит рукоять «Макарова»! В глаза ему не глядит, боится дедова рентгеновского зрения, которым тот мог всегда определять, когда у нее паршивое настроение, когда она врет и когда влюбилась.

— Ну как у тебя там? Отыгрался за вчерашнее со стариками своими? Или все торчишь им? Сколько там было, по итогам прошлого матча? Пачка или две?

Дед смотрит на нее своими застиранными, бывшими васильковыми глазами. Обнимает за плечо.

— Пачка. Налей чайку мне, а? Осталось у нас еще?

Она не успевает придумать, под каким предлогом ей выскользнуть, чтобы спрятать пистолет — и ей приходится идти с дедом под ручку на кухню. Раздувая живот, чтобы ствол не болтался, она ставит чайник, моет кружки в раковине. Дед вздыхает, не спускает с нее взгляда.

Она глушит его вздохи болтовней:

— А с этими-то двумя что, так и не выяснили, да? Полкан обещал же за два дня все расследовать. Мужики на заставе ничего не говорили про это?

— Да что они скажут? Никто ничего не понимает...

— Жуть вообще, конечно. А отец Даниил говорит, что о таком именно и предупреждал, и что это только первая ласточка. Говорит, надо было плоть умерщвлять пожестче. Бабушка молится нон-стоп, уже скоро дырку в потолке промолит.

Дед одним изгибом бровей окорачивает ее; кивает на комнату, где начинает возиться и откашливаться, всплывая из своего полуденного сна, бабка.

— Тихо... Знаешь ведь, как она насчет этого... Ну, куда ты? Побудь чуть-чуть...

Мишель боится, что, если она сядет, тяжелый пистолет может выскользнуть и грохнуть на пол. Вместо того, чтобы присесть с дедом рядом, она подпирает дверной косяк, повернувшись к Никите порожним боком.

Он мешает в кружке московский рафинад, скребет ложкой по сколотому фарфору. Видит, что ей тут не сидится, но все же ее не отпускает. Вздыхает, и наконец просит:

— Можешь мне сказать.

Мишель вспыхивает:

— Что сказать?!

— Что хочешь. Про есаула про своего.

— Ничего не хочу! Какого еще есаула!

Она выскакивает в прихожую и наконец запирается у себя.

## 5

То, что за эту неделю на Посту что-то изменилось, Егор ощущает сразу. Будто не неделю его не было, а год — такие вот перемены. Во дворе — патруль при полной выкладке. Ворота на замке. На крышах коммунальных хрущевок — темные человеческие фигурки со спичками-ружьями. И гомон двора — женское кудахта-нье, детские вопли и сиплый матерок от мастерских — закручен в ноль. Люди переговариваются негромко, словно боясь что-то прослушать, или кого-нибудь своими голосами спугнуть... Или наоборот — кого-то привлечь.

Еле слышно переговариваются, и очень сосредоточенно... Ждут чего-то.

Егор спускается по ступеням, держась за перила, шагает по двору, держась за стенку. На Егорову слабую улыбку никто не откликается, хотя кивают ему одобрительно: молодец, что не помер. Но вот спрашивать его о приключениях на мосту никто не спешит — и оказывается, что ни героем он не стал, ни изгоем. Никому особо нет до него дела. Что-то тут происходило за эту неделю такое, что затмило его идиотский подвиг-пшик.

Окна изолятора закрыты и пусты, но под ними на скамеечке дежурят Серафима и Ленька Алконавт, а с ними еще и Ленка Рыжая. Ждут чего-то. Все выглядят шибко обтрепанными, исхудавшими — как будто тоже, как и Егор, ничего не жвав, неделю провалялись в коме.

Егор сначала думает допросить обо всем Леньку, но Ленька сейчас опять небось. Заведет свое про Сатану. И вместо этого Егор направляется к караулке на воротах. Там точно будет с кем перетереть за все дела.

В самой караулке, где мужики вечно резались в козла пожарного засаленными картами — тишина. Сидит за школьной партой, которая у них вместо стола, Антончик, читает какую-то карманную книжицу с прозрачными страничками из папиросной бумаги. Егор надевает улыбку.

— Здоров! Че читаем?

Улыбка ему велика и сваливается, плохо держится на изморенном лице. Антончик поднимает глаза, узнает Егора и здоровается:

– О! Ожил! Ну, слава Богу.

Он смотрит на свою книжку и убирает ее в карман. На кожаном переплете, вроде, вытиснен золотой крестик; а может, показалось.

– Да так... Повышаем грамотность.

Егор решает не домогаться; какая ему разница, в конце концов?

– Ну че, какие новости? Че я пропустил?

Антончик мнется, вопрос в его глазах сменяется напряжением.

– Про Цигалья знаешь? Про Цигалья и Кольку?

Егор склабится.

– Ого! Это че, Цигаль наконец из шкафа вышел, что ль? Когда свадьбу играем? Про Цигалья я всегда подозревал, слишком он сладкий! А Колька? Это какой Колька-то? Хромой или Кольцов?

– Кольцов.

– Так, и че они?

– Умерли.

Егор затыкается; но продолжает улыбаться, пока до него не доходит.

– В смысле? Это че значит, «умерли»? От чего «умерли»? Реально, что ли? Это как?

– Реально, сука. Хер знает, как. В гараже у Кольцова. Нашли их.

Антончик почему-то прячет глаза. Мнется. Подыскивает слова. Егор старается поверить в то, что Кольцов, с которым он только что вот дрался, с которым, вроде бы, помирился на Шанхае – каким-то образом взял и умер.

– Погоди... А... Похороны когда? Или ты гонишь?

– Были уже похороны. Все было. И отпевание, и похороны. Сразу. В тот же день. Отец Даниил сказал, надо поскорей. Не затягивать. И так неясно, сколько пролежали...

– В смысле, сколько пролежали?

– Ну так. Кольцов выходной был, а Цигаль – сам знаешь, он особо не тусовщик. Не было день, может, два. Ну и короче... Ни одного, ни другого. Потом кто-то пошел к Кольцову в мастерскую... Там закрыто. Изнутри. Дверь высаживали... Ну и внутри, в общем... Все в кровище... На отпевании, короче, оба с головой были замотаны. Шпала говорит, там месиво и вместо лица... И вообще... Хер знает, короче. Если б не изнутри было закрыто, мы б все, конечно, на измене были бы... Но вроде было именно, что изнутри.

Егор мотает отяжелевшей головой, всматривается в Антончика – точно не придуривается? Нет, таким разве шутят?

– И... Типа они убили друг друга? Или один убил другого и потом с собой покончил, что ли? А никто не слышал ничего?

Антончик достает газетный обрывок, наскребает по карманам табачных крошек на пару затяжек.

– Ну вот такого, чтобы два человека до смерти рубились – такого никто не слышал точно.

Егор никак не может этого переварить.

– Да они же дружбаны! Как они друг друга-то? Ты че!

– Ну изнутри же заперто было. Отец Даниил говорит, сдались Сатане. Были типа обуты... Обуяны Сатаной... Из-за каких-то греховных страстей. Что-то типа.

– Блин, реально? И вы все купились, что ль?

Антончик глядит на него исподлобья.

– А какие варианты-то?

## 6

Люди, которые неторопливо входят в ядовитую воду, шаг за шагом погружаются в нее, не чувствуя боли и не делая попыток плыть – просто идут по дну, пока вонючая жижа не нальется им в легкие, люди, тонущие и умирающие без призыва и без сопротивления, без мук и без судорог – он их видел?

Теперь Егору опять кажется, что да. Этого не могло быть, и это было.

Егор мог удивляться и не верить своим глазам, потому что не понимал, что видит. А вот этот святой, бляха, отец – наверняка бы не удивился. Сатаной обуты, как и было сказано.

Отмолил, сука. Мерси.

Но больше спрашивать не у кого.

Прежде, чем зайти в подъезд, где в квартире на третьем этаже устроен изолятор, Егор изо всех сил старается придумать, что ему сказать охране, чтобы его пустили к попу. Перебирает сто вариантов, но в конце концов просто поднимается к себе домой, влезает в известную ему Полканову заначку, и ворует одну из остающихся трех банок тушенки. Потом придумает, как отбрехаться.

Он идет по лестнице на третий, банка спрятана в рюкзаке, каждая ступень дается трудней предыдущей. Егор ни слову не верит из всего, что там разгоняет этот проклятый поп, он презирает всех, кому тот успел забить баки – а сам боится, боится разговора с ним.

У входа в изолятор один охранник – Ваня Воронцов. Точит гвоздем штукатурку, рисует на стене член с крылышками. При виде Егора он бросает работу, засовывает руки в карманы с самым независимым видом.

– О. Поздравляю с выздоровлением. Че надо?

В изолятор ведет обычная железная дверь, только навешана она наоборот – шпингалетами наружу и глазком навыверт, чтобы в квартиру смотреть, а не на лестничную клетку.

– Слышь, Вань... Мне к этому надо... К отцу этому. К Даниилу.

Воронцов кривит рожу.

– Ага. Канешн. Я тебя к этому отцу пущу, а мне потом тот пистона вставит. Иди прогуляйся.

– Реально, Вань. Ты че, дурак? Я не скажу тому ничего, мне же первому влепит! Пусти, а? Я по-бырому, минут десять пошептать.

– Пойди с писюном своим пошепчись.

Вот выправка, блин. Железная. Егор вздыхает, лезет в рюкзак. Достает банку. Воронцов приглядывается и сглатывает.

– Это че?

– Тебе, блин, че. Тушенка. Приз-сюрприз.

Воронцов хочет сказать «нет», но не может отвести глаз от банки. Он такой же несчастный и истасканный, как и все остальные на Посту. Щеки втянулись, скулы торчат.

– Аргумент. А как ты с ним собрался болтать, если он глухой?

– Ну... Как-нибудь. Просто послушаю, что он скажет.

– Скажет о чем?

Егор прикидывает. Изображает сомнение. Изображает решимость.

– Ну про Кольцова с Цигалем. Он же говорит вон, что Сатана и вот эта вся параша. А то я пропустил все...

Воронцов все смотрит на банку – с ней и разговаривает.

– А если он не захочет с тобой говорить? Если кипеж поднимет?

– Да че кипеж-то! – Егор делает усталую гримасу – ну что ты, мол, Вань, как целочка? – Спрошу просто и все!

Ваня жует щеку, дергает волос из короткой бороды. Потом спрашивает – уже у Егора, а не у тушенки:

– А ты сам вообще за кого? За батюшку или против?

Егор колеблется. За или против? Если за батюшку, то против кого это?

– Я сам за себя.

– Разумно. Вот и я сам за себя.

Ваня делает ему знак замолчать, слушает голоса во дворе – не в подъезд ли идут? Протягивает руку за тушенкой. Потом тихонько отодвигает шпингалеты, прокручивает ключ в замке и отводит дверь в сторону, чуть приподнимая ее на петлях, чтобы не скрипела.

– Это, Егор... А откуда тушенка-то? Кончилась же вроде...

– Ну, как видишь, не у всех...

Егор говорит уже, что попало – этот уровень уже пройден, голова занята тем, что дальше.

За открытой дверью виден полутемный коридор.

В проеме стоит человек. Лицом к Егору. Руки скрещены на груди. Ждет.

Воронцов прикрывает дверь за его спиной так тихо, что Егор даже не сразу осознает, что его заперли с этим человеком наедине. А когда до него это доходит, то идиотский его страх возвращается к нему.

– Крестник мой пришел.

Отец Даниил улыбается ему ободряюще, и Егор чувствует, как ненависть изжогой подкатывает откуда-то из глубины его потрохов к горлу и перебивает страх.

– Никакой я тебе не крестник!

– Не слышу тебя, но понимаю, что ты сейчас говоришь.

– Ага, не слышишь! Все ты слышишь, бя...

На лице у попа все то же выражение – кротости и одновременно с этим строгости.

– Как же ты мне не крестник, если я за тебя молился? Помолился – и вот ты, отпустили тебя сюда. Дела доделывать.

– Кому ты там молился-то? Сам же говоришь, боженька отчалил!

Отец Даниил всматривается в его лицо.

– Вижу, ты на меня злишься за что-то. Тут темно, по губам трудно прочесть. Повтори, будь добр.

Егор выбирает такое место, чтобы скудный свет от окна падал ему на лицо. Отец Даниил соглашается: да, вот так лучше.

– Что там, на том берегу? Кто эти мертвые люди на мосту?! Почему ты ничего никому тут об этом не говоришь? Зачем ты этих гребаных казаков благословил?! Тот качает головой.

– Неужели ты до той стороны дошел? Видел там что-то?

– Да! Да, блядь, видел! Видел, как люди за здорово живешь в речке топятся! Это не говоря об этих, на мосту!

– Видел и вернулся. Теперь нас тут двое с тобой таких – тех, кто бывал на том берегу и видел, что там. Только ты не понимаешь, что увидел, а я понимаю.

Егору трудно: очень режет слух, как отец Даниил говорит – без нормальных человеческих интонаций. Как пенопласт по стеклу возит – все уши Егору исцарапал. И царапает, царапает дальше:

– Как с детьми, так и с людьми: детям как объяснить о жизни и смерти, о смысле всего этого, если не сказкой? Как поймут, так и объясню. И я тебе все объясню еще, будет время. Ты для больших дел избран, поэтому и вернулся. Поэтому я и молился за тебя. Все впереди, Егор, раб божий.

– Да пошел ты! Я с самого начала, как увидел тебя, знал, что ты врешь! Врешь и дуришь народ! Матери моей все баки забил! Избранный, сука... Канеш! И не глухой ты ни хера, небось, а?

Егору хочется ударить этого враля по харе, но кулак отчего-то толком не сжимается. Отец Даниил вздыхает.

– Уши мои не слышат. Я людей сердцем слушаю.

На улице кричат что-то. Егор вскидывает подбородок, дергается – смотрит на окно. Отец Даниил засекает это его движение и тоже оборачивается к окну.

– Зовут, наверное. Время проповеди. Иди, Егор. Еще увидимся и еще поговорим. А мать... Пусть она выбирает сама, кому верить, и в кого. Да только она все выбрала уже, вот что.

Он шагает мимо Егора и пальцем стучит по железному полотну входной двери. Дверь тут же распахивается – Воронцов, весь издергавшийся, стоит там наготове.

Егору рано еще уходить, он так ничего и не узнал, но Воронцов выхватывает его из изолятора и тут же запирает за ним дверь. Поворачивает ключ, навешивает цепочки и сразу спихивает Егора вниз по лестнице.

– Ничего не было, понял? Все, вали давай!

Егор, огорошенный, выбредает во двор – и опять видит отца Даниила, теперь черным силуэтом в темном окне.

Под окном толпа, добрая половина гарнизона собралась, ловит открытыми ртами словесные грозди. Отец Даниил вещает из-за перекрученных арматурных прутьев – веско, уверенно:

– И то, о чем говорю, грядет. Укрепляют дух свой те, кто умерщвляет плоть свою. Голодом удержите себя от низости телесной. Воздержанием оградите себя от искушений и ум в трезвости сохраните. И скромностью от стяжательства сбережетесь. Но есть и другие греховные страсти, и о них буду говорить вам сегодня. Гнев. Печаль. Уныние...

Егор смотрит на фигуру в зарешеченном окне – и ему кажется, что в этот самый момент сверху смотрят именно на него, и именно ему это говорят.

– Тот, кто гневается, лишает себя подобия Создателю, ибо Бог есть любовь. Тот уподобляется Сатане! Печаль потому греховна, что предавшийся ей сомневается в великом замысле Творца. Кто отдал себя печали, тот возненавидел и созданный Господом нашим мир. Кто позволил печали собой обладать, тот уже и прошел половину пути к унынию. А уныние есть поражение в войне, на которой все мы сражаемся ныне, в войне с Сатаной. И пусть мы тут нашим Господом оставлены, не все ли равно? Я продолжаю служить Ему. Я забытый Им на страже часовой; но горестно ли мне оттого, что мой командир покинул меня? Нет. Ибо я верен не только командиру, но и своей присяге. А присяга моя – вера. Легко служить в теплой казарме и с ежемесячным довольствием, но героизма в том нет. Тяжко тем, кого забыли в окопах под вражеским огнем, но доблесть их не сравнима ни с чем... Ради наград ли мы сражаемся, ради званий ли?

Егор упрямо сплевывает в грязь.

Пистолет Мишель кладет с самого верху — на дождевик, в который замотаны консервы. Он убран в полиэтиленовый пакет — так, чтобы сразу не бросался в глаза, и так, чтобы можно было схватиться за него и выдернуть наружу прямо в пакете, и прямо через пакет стрелять. В кого стрелять? Мишель не знает. В кого придется. Она надеется, что ни в кого.

Рюкзак собран.

Мишель подходит к окну. Во дворе толпа, ворота заперты. После того, как Егора притащили полумертвого с моста, а Кольцов с Цигалем погибли, свободные шляния за ограду Полкан свернул. Надо как-то по-другому, значит.

Внизу, во дворе, кто-то ищет ее взгляда. Мишель прищуривается. Егор.

Вот как он, интересно, выбрался с Поста? Выбрался и ушел на мост незамеченным. Должно быть какое-то объяснение этому. Или охранников уболтал, и они прогнулись, потому что комендантский пасынок и ведьмин сын. Но тогда им досталось бы на орехи, когда вся история вскрылась... Или еще как-то.

Мишель делает шаг к стеклу. Поднимает руку и манит Егора к себе указательным пальцем. И Егорова голова качается безвольно в такт мановению ее пальца. Странно, но ее совсем не смущает, что он — Тамарин сын. Наоборот, ей льстит, что он в ее власти, как она была во власти его матери. С ним Мишель сама чувствует себя почти ведьмой.

Она встречает его на лестнице в своем подъезде. Егор ждет, что она заговорит первой, что скажет, зачем его позвала; она тянет время, собирается с духом. Тогда начинает он:

— Слышала, че с Кольцовым...

— Ага. Жуть полная. Главное, только с ним во дворе пересеклись... И тут такое. Вообще... Да, и с тобой еще эта тема... Когда тебя с моста притащили... Ты как там оказался-то, Егор?

Он мнется. Во дворе гундосит поп. У соседей плачут дети.

— Я... Ну... Пошел разведать. Думаю, этих че-то не было давно... Казаков. И... Ну я такой, надо позырить, че как. Ну и двинул...

— Ну ты вообще... И... Че как? Они... Понял что-нибудь?

— Я... Ну... Понял, что они уехали. Точно уехали, на ту сторону. И... Дело такое, что настоящая-то жесьь, по ходу, там. Там, а не тут. Так что... Ну, это... Хрен знает, короче.

Мишель раздумывает — унижаться и спрашивать еще раз, для верности, или притворяться до конца. Думает. Думает.

— Как считаешь... Они вернуться? Есть шанс?

Егор скребет ногтем перила.



– Я... Я-то что... Ну, может, нет. Или да. Там жесь, Мишель. Хоть этому верь, отцу Даниилу. Я, честно говоря, не очень вкуриваю, чего они там с таким раскладом будут присоединять.

Егор открывает рот и снова закрывает его. Выглядит он ужасно, как будто с того света вернулся. Но на Мишель поглядывает украдкой с надеждой, как приставшая к сапогу прохожего бесхозная дворняга, которой посвистели от нечего делать.

– А как ты попал-то туда? На мост? Мимо охраны. Прямо интересно.

– Ну как-как... Есть свои тропы... Секретные...

Он пытается нагнать на себя таинственности и гонору, но дает петуха; колени у него дрожат.

Мишель все-таки решается.

– Можешь вывести меня? Сегодня ночью. Только чтобы никто не знал.

– Тебя? Куда? – вскидывается Егор. – Ты что, на мост, что ли, тоже?! Тебе надо туда, это вот точно! И никому не надо. Мать правильно сказала, не хера туда соваться было...

Теперь он звучит действительно испуганно – когда боится не за себя, а за нее. Мишель обрывает его, подняв ладонь.

– Не на мост. В Москву.

Егор прислоняется к стене. Делает полшага назад. Смотрит мимо.

– Ты... Уехать хочешь? Прямо сегодня, что ли? К кому?

– Какая разница, Егор? У меня родственники там.

По его лицу можно все прочесть: надежда сменяется разочарованием, накрывает понимание того, зачем его позвали. Зачем с ним вообще разговаривали.

– Ну что, сможешь?

Он не отвечает. Внизу хлопает дверь – люди потянулись по домам, проповедь кончилась.

– А дед твой знает?

Мишель мотает головой. Поздно врать: она уже сделала его своим сообщником.

– Ого, – вздыхает Егор. – Понял.

– Ты мне поможешь или нет?

Егор пожимает плечами. По лестнице шаркают.

– Я все равно уйду, Егор, – горячо шепчет Мишель. – Я все решила. Я тут оставаться не буду.

– А я буду оставаться тут, – пытается ухмыльнуться он.

– Ну... Если хочешь, пойдём со мной.

Егор отрывается от перил, которые пытался оскоблить до дерева.

– Реально?

– Ну, да, – Мишель думает, как бы не наобещать лишнего. – Только я не знаю, что ты там будешь делать, в Москве. Меня-то там ждут, а тебя...

Егор снова гаснет. Тогда она пытается надавить на пацанское великодушие:

– Ладно, я поняла. Тогда пообещай хоть, что не спалишь меня деду с бабушкой... Просто тут стремно стало. После того, что с Кольцовым...

– Да уж.

– Он еще такой говорит мне, главное – я тут нашел для тебя кое-что, что тебе нужно. Вечером занесу. И все.

Мимо проходит Поля Свиридова, на губах блуждает улыбка, глаза скошены внутрь души. Егор пережидает Полю, дает ей подняться этажом выше, и только потом кричит шепотом:

– Что он нашел? Кольцов? Не телефон?!

– Не знаю я. Почему ты так думаешь? Какой телефон?

Разом слетела с него бледность, щеки залила краска.

– Он тебе точно не отдавал его? Телефон? Айфон... Нет?

– Ничего не отдавал, говорю же.

Егор разворачивается и принимается ковылять по лестнице вниз. Мишель кричит ему вслед:

– Егор! Слышишь? Ты проведешь меня или нет?!

Он останавливается в дверях подъезда, смотрит на нее в пролет и отвечает:

– Иди в жопу.

## 9

Телефон все-таки был: что еще мог пообещать Мишельке Кольцов? Только как он попал к Кольке?

Егор вплетается в караулку; Антончик задремал над своей книжечкой. Егор склоняется над ним: Священное писание. Он толкает Антончика в плечо. Тот раскрывает глаза с такой скоростью, как будто и не спал.

– Чего надо?

– Посмотри мне по графику, кто на заставе был, когда меня с моста притащили? Кому спасибо говорить?

Антончик шипит недовольно, но лезет в ящик, достает тетрадь в клетку и смотрит в нужном столбике фамилии.

– Тут это... Поздно вато кой-кому спасибо-то говорить.

Караулка идет волной, накатывает на Егора, сбивает его с ног.

– В смысле? Кольцов, что ли?

– Нет. Кольцов отдыхал тот день. Цигаль и Сережа Шпала. И еще Коц.

– Цигаль был? Цигаль меня нес?

– Я хрен его знает, кто тебя нес. Я тебе говорю, кто ту ночь на заставе стоял.

Цигаль, значит, вытащил у него телефон? Или Егор выронил его, а Цигаль подобрал и сказал своему корешу... А дальше черт поймет, что там у них случилось.

А телефон, может, и сейчас там лежит, в гараже! Затерявшись среди прочего Колькиного электронного барахла.

— Какой еще телефон? — пялится на него Антон.

Но Егор вываливается уже из караулки и ковыляет дальше — к Колькиному гаражу-мастерской, в котором того убили.

На дверях там навешана цепь с амбарным замком. Рядом шебуршат десятилетние пацаны, близняшки — Вовка и Женька Рондики.

— Эу, пацаны! В курсе, что тут стряслось?

— Каэшн! — отвечают они хором. — Это бабай их обоих схарчил, кароч.

— Какой еще бабай?

— Который души хавает. Ну тот, из пустого города. Который квартиры брошенные стережет. Если по чужим квартирам лазаешь, он тебя подстережет и личинку в тебя отложит. А потом чики-брики — и все. Вот такой вот расклад!

Егор тупо смотрит на мальчишек. Они стоят совершенно серьезные, сами напугались от своей истории больше, чем хотели его напугать. Егор хмурится-хмурится, потом не выдерживает и фыркает.

— Фигня какая-то! А ну, брысь отсюда!

Пытается дать одному из одинаковых Рондикиков пендала, тот уворачивается, и обоих сдувает куда-то.

Опечатано. Надо раздобыть ключ. А у кого? Только у Полкана.

Егор на своих чужих ногах бредет искать Полкана. Во дворе его нет — проповедь окончена, толпа разошлась — только мать сидит на скамеечке, смотрит на окно. Егору хочется подойти к ней, но очень не хочется к ней подходить.

Он взбирается, как на Эверест, к Полканову кабинету — там заперто. И только дома он находит отчима — уже на рогах, румяного яростным румянцем и воняющим самогоном за версту.

— Ты куда из лазарета сбег?! Тебя тоже, может, в изолятор закрыть?!

— Да мне нормально! Мне от кольцовского гаража ключ нужен! От Кольки Кольцова мастерской! Он у тебя?

Полкан хватая своей клешней его за шею, втаскивает с лестничной клетки в квартиру, шваркает дверь.

— За хера еще! Ты хоть знаешь, почему там заперто-то?

— Все я знаю! У кого ключ? У тебя?!

Тот, не отвечая, волочит его в залу, толкает на диван. На столе полбутылки и откупоренная банка с мясом, стол забрызган подливой. Пока мать у попа благодать клянчит, этот тут один бухает. Семейка, бляха. Свалить бы от них куда-нибудь уже раз и навсегда! Мишель вон валит — а Егору тут стареть идохнуть, что ли? Нет уж. Закончится вся эта байда — и привет. Заодно посмотрим, есть там Екатеринбург или нету.

— Это ты тушенку спер?!

– Я... Ну я, да. Жрать приперло адски... Не выдержал.

– Будешь по чужим вещам без спросу лазать!

Он замахивается на Егора своей ручищей, и Егор весь поджигается, потому что так ему прилетало уже не раз. Но на сей раз Полкан сдерживается.

– Ты за самоволку свою мне еще не ответил, балда!

– Давай, отвечу! Только ты мне не поверишь опять, не поверишь без телефона!

– Без какого телефона опять, бляха ты муха?!

Егор встает, чтобы не снизу вверх Полкану все это опять талдычить, а вровень. И рассказывает с нуля: про мост, про голых беглецов, про лягушачью икру из утопленников, про мертвую женщину с живым телефоном, про Цигалья с Кольцовым. Обвиняет их в краже, требует от гаража ключ. Обо всем говорит, кроме казачков.

Полкан щурит мутные глаза: не верит. Егор взрывается:

– Да отправь людей на мост! Сам все увидишь! Оттуда прет что-то, ты не вкуриваешь, что ли?! Нам так и так надо разобраться, что это!

– Поди вон в гараже этом гребаном для начала разберись, раз такой умный! Ты бы поглядел, какое там месиво было.

Полкан опрокидывает в себя стакан и неверной рукой плещет себе еще.

– Ну, трупы... Полежали недельку и еще полежат... Не уползут же... У нас тут с голодухи резня скоро начнется! А ты мне – на мост, на мост!

– Это ты комендант этого поста или кто?! И они там не недельку лежат! Они там до казаков еще были!

– Не понял?! Ты-то откуда...

Егор спохватывается – но уже поздно.

– Я и раньше ходил. До казаков еще ходил.

– А что ж раньше не сказал тогда?!

– Ну раньше... Раньше не было такого... Зассал я! Зассал сказать!

Он думает, что Полкан будет над ним ржать сейчас, будет ржать или влепит ему по шеем. Но Полкан без слов залпом допивает налитое и с сосредоточенным видом принимается тыкать вилкой в банку.

– Зассал он. Зассал он, видите ли.

Кусок ускользает от него: рука неверная. Полкан нажимает и как-то неловко опрокидывает банку себе на рубаху. Матерится, отряхивается. Нагибается, поднимает упавший кусок с пола и кладет себе в рот. Егора осеняет:

– Ты тоже, что ль, зассал?!

– На слабо меня берешь, щенок?! А давай! Давай прям сейчас вот!

Полкан хватает бушлат и прет через прихожую, опрокидывая стулья и руша материны цветы. Через минуту он уже во дворе, орет обалдевшим караульным:

– Открывай ворота, на хер! На мост пойдем!

## 10

С натужным скрипом распахиваются ворота и зажигаются прожекторы. Крик, собаки с ума сходят. Мишель выглядывает в окно: расхристанный Полкан, рядом часовые, Егор мечется тут же, кутерьма!

Полкан со свитой выходит за ворота, а створы так и остаются распахнутыми.

Вот! Сейчас!

Она крадет в прихожей свою куртку, закидывает на спину приготовленный рюкзак и на цыпочках выходит на лестницу. Притворяет за собой скрипучую дверь. Стоит там, считает секунды. Ворота все еще открыты настежь, ей это видно через окна на лестничных полуэтажах. В ворота выбредают оказавшиеся во дворе зеваки, свита бездельников и прихлебателей тянется за пьяным комендантом в поле, к насыпи.

Мишель делает шаг вниз и оборачивается на дверь. Отсчитывает еще несколько тягучих секунд. Потом чертыхается и возвращается в дом. Решительно проходит в комнату, шикает решающему кроссворд деду:

– Дедуль! Надо поговорить!

Тот откладывает газету из прошлого, удивленно смотрит на нее и с кряхтением отрывается от своего кресла. Тут же бабка дергается:

– Ты куда это собралась?

– Прогуляться!

Дед хмурится, но пока не спорит. Они выходят на лестничную клетку. Мишель сразу его предупреждает:

– Ты ничего не сделаешь. Я все решила. Сегодня иду. В Москву. Не хотела вообще говорить вам.

– Мишелька... Господи, на ночь глядя... Пойдем внутрь, поговорим хоть. Завтра утром можно будет, в крайнем случае...

Ей хочется послушаться его, но она мотает головой.

– Куда? К кому? Бабка с ума сойдет, на тот свет ее отправишь!

– К его родителям. А бабуле ты разъяснишь.

– К чьим родителям, деточка?

– К Сашиным. Саши Кригова. Казака. Он рассказывал, где живут. Они не выгонят.

Дед морщится, пытается уловить в том, что он бормочет, смысл.

– Почему это... Постой. Ты... Ты же не... – он кидает взгляд на ее живот, словно там что-то можно уже увидеть. – Еп-понский городской...

Мишель скрещивает руки на груди.

– Ну вот так. Извините.

– Тогда тем более... Тем более – не в ночь! Не сейчас!

– Нет. Сейчас. Пока, дедуль!

Она чмокает его в щетинистую, как будто солью обсыпанную, щеку и бросается вниз.

## 11

Полкан шагает размашисто, Егор еле за ним поспевает.

– Куда без противогаза-то?! Туда нельзя без противогаза!

– Да срал я на твой противогаз! Слышь, пацан? Екатеринбург, балда! Паспорта, бляха! Телефоны! Это кто еще зассал!

На заставе их встречают – выбирают обалдевшие дозорные из-за мешков, переглядываются и пересмеиваются, предвкушая концерт. А комендант им на полном серьезе орет:

– Так! Стр-ройся! Рразведка боем, бляха! На ту сторону идем! Фонари давай! Противогазы есть? Дайте вон пацану, а то он шибко волнуется! Табельное проверить!

Коц и Свиридов недоумевают – слушаться или не слушаться? Всем видно, что Полкан в дупель пьян; запятнанная рубаха воняет тушенкой. А Егор сейчас на том же кураже, что и Полкан: сейчас или никогда, и сам черт ему не брат. Все, что он копил, все, что утаивал – все прорывается наружу, и от этого прободения ему горячо, больно и сладко, как на исповеди.

Не надо на тот берег, достаточно дойти до середины моста, достаточно будет, чтобы Полкан сам увидел голые тела, которые казаки выложили шеренгой.

Они выходят на пути – кучка людей в ватниках и бушлатах. Лучики их фонарей тычутся в темноту, которая сгущается в осязаемую стену в нескольких сотнях шагов впереди.

– Сережа! Егор!

От Поста, размахивая руками, бежит женщина. Мать бежит.

– Пойдите! Вернитесь!

Полкан всхрапывает:

– Агась, щаз.

Мать оступается, падает, снова поднимается и опять бежит.

Полкан на нее не оглядывается, прет как танк, Егор рядом. Остальные шагают за ними – поспешно, как будто боясь передумать. Натягивают свои противогазы – у одного зеленый, у другого черный, у третьего промышленный респиратор со стеклянным забралом. Сбрасывают с плеч автоматы. Вступают на мост. Трогают руками туман.

Притормаживают. Полкан, который уже шагнул в омут, чувствует это спиной.

– Что встали, сукины дети? Айда за батькой!

– Сережа! Егооор!

Егор – Егор с его острым слухом – чувствует это первым. Там что-то... Оттуда идет что-то! Он опускается на колени, склоняется к рельсам и прикивает к ним ухом. Рельсы гудят. Земля стонет... Вокруг будто сам воздух вибрирует.

Но это не воздух – это мост, бесконечный ржавый мост напрягает всю оставшуюся под трухой сталь и беззвучно звенит ей, входя в резонанс с какой-то силой, которая рвется сюда с того берега.

– Там свет! Свет!

Столп света буравит плотную, как глина, темноту, вворачивается в него с огромной скоростью, приближаясь к людям с каждой секундой. Туман пытается придушить, рассеять его – но даже ему не хватает сил.

И тут раздается неслыханной силы рев.

Такого тут не слышали с тех пор, как отгудели последние сирены воздушной тревоги. Рев идет откуда-то с той стороны, но он сразу заполняет собой весь мир.

Коц произносит это вслух первым.

– Поезд! Там поезд, едрен батон! Поезд идет!

Не идет – летит.

Вот уже весь мост, на который они взошли, ходит ходуном, подвывает тепло-возному гудку; и железные сочленения моста поскрипывают в такт стучащим колесам. Туман загорается изнутри, и становится ясно, что это именно поезд, не отдельный локомотив, а длинный, неизвестно чем груженный состав.

Он мчится сейчас через зеленый туман вслепую; может быть, машинист в кабине заметил, как влетел на мост, а может, ничего и не понял – на такой-то скорости.

Егору хочется сделать шаг назад, сойти с моста, вернуться с неба на твердую землю. Мост расшатывается, многосоттонная громада поезда ввинчивается в него, пытаясь проскочить через всю эту ржавчину до того, как у той подкосятся опоры и она со смертным стоном завалится в пропасть.

Остальные дозорные думают то же – и отходят, отходят по шажочку назад, назад и в стороны.

А Полкан остается там, где стоял.

Он распахивает широко свои ручищи и упирает их в воздух, который уже начинает приходить в движение, вихриться – толкаемый вперед громадным поршнем.

Полкан остается на месте.

Он разевает свою пасть и орет – и воздуху, и летящему на него локомотиву:

– Не пуцу! Пошли на хер, с-суки! Не пуцууу!!

## Из ниоткуда в никуда

### 1

Кроме Полкана, на пути мчащегося состава, разумеется, не встает никто. Поняв, что остались какие-то секунды, люди бросаются врассыпную, и только Полкан застыл неподвижно. Он вскидывает автомат и выпускает целую очередь в столп света, который уже лижет его лицо. Грохот автоматной очереди тонет в реве тепловозного гудка.

Егор дергает, тянет Полкана за рукав бушлата, пытается спихнуть его с пути, но тот уперся и его не сдвинуть. Вышел один автоматный рожок — он начинает приделывать другой. Потом вдруг к ним выскакивает Коц, становится рядом и начинает моргать поезду своим фонарем.

Остальные бегут обратно к заставе.

Егор успевает подумать, что если поезд не остановится, то с железки он влепит прямо в их Пост — обычно стрелка на путях переключена так, чтобы с моста нельзя было напрямую пролететь к Москве: кроме этой стрелки, никакой особой защиты от налетчиков на Посту и нет.

Свет тепловозных фар гаснет, потом загорается снова — им мигают, их заметили, от них требуют немедленно очистить пути. Но Полкан стоит, Коц стоит, и Егор стоит рядом с ними, хотя по ногам течет горячее. И тут к реву гудка добавляется еще один звук — адский визг; поезд начинает тормозить. Но машина эта весит сотни тонн, ей непросто остановиться. Она не успеет остановиться до конца пролета. Их троих сейчас сметет. Егор в отчаянии орет Полкану в ухо:

— Он тормозит! Он останавливается! Ты победил! Ты победил!

Полкан пьяно ухмыляется.

Уже видны очертания локомотива; единый световой столп разделился уже на четыре сияющие иглы — головные фары. Гудит так, что можно оглохнуть. Скрежещет чудовищно. Остаются десяток-другой метров. Он не успеет.

Они не успеют.

Егор делает отчаянный знак Коцу — и вместе они еле сталкивают Полкана, который на миг ослабил оборону, с рельсов.



Их обдает плотным, как вода, кипящим воздухом, паровозной гарью, вонью жженого масла, горелой плоти, и еще какой-то сладкой дрянью. Локомотив пролетает десяток метров мимо них, прежде чем наконец замирает.

Стоит тишина.

Егор отрывает голову от земли и оглядывается по сторонам. Башка трещит, как будто он вылезает из окопа после вражеской бомбежки.

Поднимается, отряхиваясь, Полкан. Встает плешивый толстячок Коц, который единственный из всех их не предал. Ни на том, ни на другом противогозлов нет. Обалдело оглядывают остановленный ими поезд.

Настоящих поездов тут не видели с самого Распада; из Москвы давно уже ничего до Поста не ходило, а с той стороны — тем более. Но этот поезд ненастоящий какой-то... Какой-то странный.

Прямо над ними возвышается огромный, словно двухэтажный тепловоз с крохотными окошками где-то на самом верху. Из-под высоких блестящих колес валит дым, железные бока громады пышут жаром. Егор всматривается: следом за первым локомотивом идет второй, в сцепке. Первый успел заскочить на твердую землю, второй завис на мосту. И туда же, на мост над пропастью, в темноту и туман, уходит неизвестной длины состав.

Сцепленные локомотивы выше вагонов, и от этого они кажутся головой гигантского змея; головой со сложенным капюшоном. Вагоны, кажется, пассажирские, но света в окнах нет. Бойницы ведущего локомотива светятся, а пристяжной стоит как будто бы пустой.

Но это не все.

Этого не было видно сначала, но когда Егор и Коц подбирают оброненные фонарики и наставляют их на борта локомотива, пропустить это становится невозможно. Зеленый заклепанный металл бортов изрисован красными крестами. По пропорциям кажется, что это обычные медицинские кресты, как на ржавых остовах машин скорой помощи в заброшенных ярославских горбольницах. Но нет, кресты не обычные — они все испещрены каким-то орнаментом, какими-то крохотными буквами, бесконечными словами без пробелов, и крестиками, вырезанными на крестах, и малюсенькими крестиками, вырезанными на этих крестиках. А вдоль всего борта идет сделанная по трафарету кондовыми дырявыми буквами надпись: «Спаси и сохрани».

Полкан обходит тепловоз, карабкается по лесенке на второй этаж к двери, но дверь заперта и окно зашторено. Полкан дергает ручку, лупит по стеклу пятерней:

— Открывай! Слышь меня?! Граница Московской империи!

Егор все пытается упихнуть эту махину в свое поле зрения — и думает о том, что за рекой все же есть и жизнь, и цивилизация, так что пускай Полкан теперь уймется.

А что думает Полкан, неизвестно. Он все молотит по тепловозной броне и надрывается:

– Граница Московской империи! Проверка документов! Открывай, едрить тебя, вылазы!

Фары у тепловоза все горят – и в его свете хорошо видна расположенная в паре сотен метров застава: людишки выглядывают из-за мешков с песком, целятся в тепловоз из каких-то своих крошечных стручков, то ли автоматиков, то ли пулеметиков.

Поезд стоит на месте, хотя он с лету снес бы всю эту их заставу. Снес бы, съехал бы по перещелкнутой стрелке к Посту и половину Поста снес тоже. Но люди в поезде не могли знать о стрелке; выходит, остановились они по требованию.

Да где там люди? Наружу выходить никто не спешит; в чуть освещенных бойницах, кажется, перемещаются какие-то силуэты, но близко к стеклам не подходят. Дверцы в клепаных боках остаются плотно задраены. И двигатель продолжает глухо гудеть, как будто экипаж не решил еще окончательно, что ему дальше делать.

Полкан нагибается к насыпи, набирает в руку камешков и принимается швырять их в ветровое стекло тепловоза. Камешки бьются о стекло: тюк, тюк, тюк. Внутри терпят все это, не отпирают. Он стучится автоматным прикладом в борт – молчание.

– Открывай, сука!

Он набирает воздуху и идет ко второму, пристегнутому локомотиву. Егор шагает следом за ним, натягивая противогаз: от едкого пара у него уже слезятся глаза.

Подбегает Тамара. Хватает Полкана за ворот. Умоляет:

– Сережа! Давай уйдем! Не трогай это!

Он отгоняет ее прочь. Она смотрит на него и плачет, пока это видит только Егор. Потом раскашливается в зеленом смраде, закрывает рукой рот и говорит Полкану на прощание:

– Ну и пропадай тогда! Егор! Пошли со мной! Живо!

– Отвали, ма! Отвали от меня!

И она уходит, перхая.

Егор с Полканом шагают вдоль тепловозов, выискивая какую-нибудь лазейку. Впереди – утопленные в речном мареве пассажирские вагоны без пассажиров. Вагоны стоят смирно, и никто из них не вылезает, никто не интересуется, в чем причина остановки, никто не скандалит, требуя пропустить поезд дальше. И черт знает, что в них там за груз.

И тут Егор – Егор первым, потому что слух у него тоньше – улавливает это. Какой-то шум. Стон. Голос улья. Неразборчивый. Станный. Исходящий от поезда. Он одергивает Полкана:

– Погоди... Постой...

Но его глушат. Оба локомотива сразу, одновременно принимаются реветь – оглушительно, до контузии громко реветь, так что от них хочется скорей бежать прочь. Полкан, чертыхаясь, бросает осмотр и отступает, и Егор за ним.

В эту секунду в головном локомотиве открывается дверь.

## 2

Двор коммуны забит до отказа: вывалили все, кто может стоять на ногах. Люди вылезают на крыши, двигают рассаженных там Полканом стрелков, плятятся на мост. На небо подняли оранжевую каменную луну, света от нее немного, но людям хватает, чтобы видеть въехавший к ним из пустоты поезд. Хватает, чтобы понять, что большая его часть пока так и застряла в этой пустоте. Охрана на воротах впала в прострацию, народ выбредает за ограду и самовольно прет к заставе.

Мишель со своим рюкзаком выходит за ворота беспрепятственно, затеревшись в кучке зевак, которые изучают состав опасливо, с расстояния. Стоит, держа Сонечку Белоусову за руку, Сонин отец Аркашка, одутловатый и измызганный. Сонечка смотрит на Мишель, машет ей рукой. Кричит, смеясь:

– Завт'а ут'ом стобы бы'а в сколе как стык!

Мишель ей тоже машет. Завтра утром... Кто же знает, где она будет завтра утром.

Аркашка дергает Сою к себе, как разляявшуюся собаку на поводке, и продолжает спор с соседом:

– Пассажирский, точно говорю тебе!

– Какой пассажирский! Товарняк это. Глянь, какой длинный. В пассажирском сколько вагонов? Пятнадцать? А этот вон! В Москве нет поездов, а у них за рекой – вона, есть все. Может, с Перми, а может, из Ебурга... Или с Владика доехали! А мы все – дикие там, дикие... Нормалды, е-мана, ниче не дикие! Не дичей наших!

Мишель слушает их, а смотрит на Сонечку. Не хотела, а присохла к ней за эту неделю в школе. К ней и к Алинке. И к Ване Виноградову. Но это все здесь. А Мишель не отсюда.

Сейчас – самое время отвернуть от толпы, прижаться к теням и уйти по рельсам в темноту. Фонарь есть, пистолет украден, подаренной тушенки в рюкзаке еще полно – ранец оттягивает плечи, с этим горбом ей хватит еды на неделю; Мишель рассказывает себе о том, что Саша не зря и неспроста передал ей этот униженный подарок. Теперь она сможет добраться до его семьи и попроситься в нее – ведь, чтобы ни случилось с ним самим, в ней теперь живет его частичка.

А поверят ей?

Наверное, поверят. Отец у него доктор, значит, добрый человек и терпеливый. Через неделю и через две живот еще виден не будет; ну что ж, если выгонят, то она сможет где-нибудь перекантоваться, а потом вернется к ним уже с ребенком на руках. С ребенком, который будет до того похож на Сашу, что никаких сомнений ни у кого уже не останется.

А не рано ли она решила идти к ним?

Не рано ли поставила на Саше крест? И почему — только потому что ведьма запретила ей его ждать? Времени с их встречи не прошло еще и месяца. Экспедиция может затянуться еще на долгие недели. Какое право Мишель имеет отчаиваться так рано? Это не предательство?

Мишель дошла до насыпи; она в слепой зоне — все глаза обращены только на поезд. Иди, беги — никто не заметит. Но ноги не идут.

Может быть, те, кто приехал на поезде, что-нибудь знают о казацком отряде? Встретили его на пути — рельсы ведь тут одни — и обменялись новостями? Может, ведьма ошиблась — или нарочно запугала Мишель, чувствуя, что та ее ненавидит?

Рано.

Надо дать Саше еще один шанс — еще один шанс остаться в живых. Надо разузнать про него. И только если люди в поезде ничего не слышали про потерявшуюся экспедицию... Или если скажут, что она погибла... Тогда Мишель пойдет в Москву.

Завтра.

### 3

По лестнице спускается человек. На нем брезентовый плащ, рот забран в намордник респиратора, на ногах болотные сапоги. Ему светят в лицо, наставляют на него стволы — к Полкану наконец вернулась бросившая его гвардия — а человек приветственно поднимает руку в черной резиновой краге. Он просит:

— Не стреляйте.

Полкан подходит к нему вплотную, Егор изучает прибывшего из-за его кряжистой спины. Полкан радуется. Опускает автомат, принимается крутить самокрутку.

— О! По-нашему говоришь! Курить будешь?

Человек в крагах щурится в фонарных лучах, качает головой.

— Нельзя.

— Что ты будешь делать! Нам тоже, видишь, нельзя, а мы ничего, смолим потихоньку. Откуда прибыли, куда путь держите?

– Нам надо проехать. Нам надо дальше.

И Егор слышит в его голосе ошибку – не говор, не произношение, а что-то другое. Что-то как будто знакомое. Он слышит, а Полкан – нет. Полкан продолжает токовать:

– Надо им проехать! Вам проехать надо, а нам надо разобраться. Тут, друг ты мой любезный, граница государственная. Ты вот, так я тебе скажу, в шаге от нарушения затормозил свою машину. Документы давай сюда, рассказывай, с какой целью, чего везем...

Он так расспрашивает этого человека, словно это не межгалактический крейсер с далекой звезды сел у них посреди колхозного поля, а китайцы приперли на телеге какой-то свой китайский контрафакт и пытаются в стоге сена переправить его в столицу, не оплатив пошлины.

– Нам нельзя тут долго стоять. Нам надо в Москву.

Интонация не такая. Битая мелодика. В нотах разговора фальшь. Не акцент, а как будто поет неправильно.

– Господи боже, еб твою налево, ты не понимаешь меня, что ль, мил человек? Или оглох?

Полкан своим толстым пальцем стучит себя по уху, и как будто бы дружески ухмыляется. Но человек кивает ему:

– Глухой.

Вот. Он не слышит себя сам, от этого и ноты врет. Егора озноб пробирает. Он трогает Полкана за рукав, но тот уже и сам своим пьяным чутьем угадал, на кого это похоже:

– Это что ж у вас, с того берега все глухие, что ли?

Человек качает головой: не понимаю.

– А читать-то, читать умеешь? Буквы знаешь? Или тоже дикий? Эй! На заставе! Карандаш с бумагой есть у кого?!

Несут журнал дежурств и карандаш, и Полкан, поглядывая недоверчиво на гостя, пишет на свободной странице: «ОТКУДА?» Тот кивает: понял вопрос. Полкан улыбается:

– Во! Пошел разговор.

– С Кирова. С Кирова мы.

Полкан пишет ему: «СОСЕДИ!»

Человек вроде бы под своим респиратором улыбается, кивает. Полкан ему тогда – «ЗАЧЕМ В МОСКВУ?»

– За помощью.

Полкан вычерчивает непослушной, отвыкшей от письма рукой: «ЗА КАКОЙ ПОМОЩЬЮ?»

Человек прочитывает это и поднимает на Полкана взгляд. Он не молод, старше коменданта, лет шестьдесят ему, наверное. Лицо в глубоких морщинах, ис-

кусано оспой. Глаза сидят глубоко — почти бесцветные, как замыленное рекой битое стекло. Он изучает Полкана, изучает и Егора за Полкановой спиной. Качает головой. Молчит.

Полкан улыбается ему нехорошо и пишет, приговаривая:

— Значит так, мил человек. Для начала мы твой поезд досмотрим, что ты там везешь. А потом в Москву позвоним и спросим — ждут они там тебя, красавца, или нет.

Человек читает комендантские каракули.

— Не можем ждать. Надо сейчас проехать. Там люди, в поезде.

Полкан меняется в лице:

— Так что ж ты сразу-то не сказал, едрить твою! Не очень-то им там здорово, над речкой стоять... Там, знаешь, газы ядовитые... Откатывай-ка, брат, назад свой паровоз, и приходи к нам пешочком на разговор!

Но тот, не слушая и не читая, продолжает:

— К ним нельзя. Там запечатано все. У них туберкулез. Это мобильный госпиталь.

Полкан делает шаг назад — инстинктивно.

— Так ты что, хочешь, чтоб я вас, чумных, в Москву пустил? В столицу?! Отка-тывай поезд назад, живо!

— Нет. У нас другой надежды нет. Только на то, что там пролечат. Мне сказали, в Москве это лечат сейчас.

Полкан, зверея, малюет в тетрадке, ломая карандаш: «КТО СКАЗАЛ?!»

— Московские. Казаки.

— Мало ли что! Откатывай, кому сказано! Я без разрешения из Москвы тебя на сантиметр вперед не пущу, понял ты, Айболит ты херов?!

Человек кивает. А потом произносит не в тон:

— Мы вагоны задраили, как смогли. Но если мои больные из-за вас надышатся газов и умрут, это все на вашей совести будет. А назад я не поеду. Если я поеду назад, то это уже будет на мне.

Он отворачивается и тяжело забирается по лестнице обратно в тепловозную кабину. Полкан орет ему:

— Э! Эй, куда собрался?!

Но тот не слышит.

Полкан тогда с размаху лупит кулаком по борту — сука! И командует подбравшимся к нему Коцу и Свиридову:

— Р-разбирай пути к херам! Ни шагу они отсюда у меня дальше не проедут! И слышь? Чтобы к вагонам никто не приближался! Мало ли, в самом деле...

Он харкает поезду под колеса и уходит. Егор сипит вдогонку:

— Эу! А мост! А на мост?!

Полкан оборачивается наполовину и отмахивается от него, как от комара:

– Какое! Сам не видишь, че? Москве надо доложить! Потом!

Он удаляется, Свиридов бежит за инструментом, Коц остается глядеть на локомотивную громаду; внутри тихо, но в кварцевой толще запыленных окошек, бродят призраки. Он там не один, этот человек, который к ним спускался.

Егор делает шаг в запретном направлении — к вагонам. Но его начинает укачивать: ниппель, который держал в нем давление, пропускает воздух, и Егор сдувается. Сегодня нет больше сил. Завтра.

В любом случае, теперь этим всем занимаются взрослые.

#### 4

Всю ночь на заставе горят костры: в их свете копошатся дозорные, разбирают пути по приказу коменданта. Полкан боится, что поезд может пойти на прорыв, а других способов задержать его нет.

Время от времени Полкан вылезает на крышу проверить — стоит состав или все же дал задний ход? Состав застыл на месте, и то, что дороги вперед больше нету, кажется, там никого не тревожит.

В очередной раз спустившись к себе, Полкан опять снимает трубку и бурчит телефонисту:

– Москву давай! Да, Покровскому!

Но в Москве ночь, Покровский спит, дежурный не хочет его поднимать ради каких-то глупостей. Полкан — уже похмельный — без всякого добродушия внушает московскому офицеру:

– Тут дело срочное! Да! Поезд прибыл! Из Кирова! Ну вот что они мне сказали, то и я тебе говорю! Видать, есть! А я не с тобой до этого разве разговаривал? Тьфу, пропасть! Это мне по второму кругу, что ль, объяснять?! Да! Пассажирский. Говорит, лазарет на колесах. Очень просится. Я, само собой, только через мой труп! Ну вот доложи, доложи ему. Да, и пускай наберет мне первым делом. А то тут..

В Москве вешают трубку; когда к Посту пришел поп, там он всем был очень нужен; а прикатил целый поезд — и им плевать. Полкан барабанит пальцами по столу, крутит себе тысячную папиросу. Думает, наливать или не наливать — и наливает.

Опрокидывает и идет домой. В конце концов, это у них время выходит, у этих чертей чахоточных. А у него времени сколько угодно. Пускай они и парятся.

Полкан заходит к себе и сразу жалеет, что вернулся.

Тамара не спит. Сидит, ждет его.

– И что?

— Люди там, Тамарочка. Туберкулезники. Едут в Москву на лечение. А что, мы снова разговариваем?

— Ты не должен их пропустить. Слышишь меня? Ты не должен их пропустить.

— Разберусь как-нибудь без твоей интуиции, спасибо. Да я и не собирался...

— Обещай мне.

— А вот этого не могу сделать. Я, Тамарочка, человек военный, не знаю, в курсе ты или нет? Ах да, мы с тобой, бляха ты муха, обсуждали это уже раз-другой. Так вот, как мне скажут в Москве, так я и сделаю.

Она молчит. Глаза как бойницы на блиндаже — узкие, не подступишься. Зябко поеживается.

— Какие еще туберкулезники? Нам же говорили, там никого... Ты веришь им?

— Тамара. Я тебе еще раз: это не мое дело.

— Там же мятежники раньше были, во время Распада. Были или нет?

— Все кончилось уже тыщу лет назад! Там у них, небось, сто раз поменялось все уже. Была бы война — прислали бы бронепоезд, я не знаю там, штурмом бы взяли нас — ума много не нужно. Нет, остановились, просят по-человечески.

Тамара встает, подходит к окну. Просит:

— Налей мне.

— О! Вот это разговор!

Он трусцой бежит в кухню за своей бездонной бутылью, возвращается со стаканами. Наливает ей, себе, тянется, чтобы чокнуться, но она пьет одна — глотками, морщась, до дна.

— Послушай меня. Ты предал меня уже один раз, и не думай, что я забыла это. Не думай, что такое можно просто заболтать, захихикать, зажрать твоей гребаной тушенкой и залить этой дрянью.

Она с отвращением ставит пустой стакан на стол.

— Я знаю, что ты веришь только в то, что можешь своими вот этими лапами помазать и загрести. Я вижу больше твоего, хоть и не хочу. И я тебя прошу: если ты меня любишь хоть чуть-чуть, то просто послушай меня. Один раз ты ошибся, и то, о чем я предупреждала, случилось. Послушай меня хоть теперь и, пожалуйста, не спорь. Пойми, тебя судьба, может, сюда только для одного командовать поставила, для одного-единственного этого раза. Чтобы ты этот поезд никуда не пропустил.

— Тамара...

— Дай закончить. Я простила тебе одно предательство, Сережа. Потому что очень люблю тебя. Потому что боюсь тебя потерять. Потому что не сумела представить себе жизнь без тебя. Но еще одного предательства я тебе простить не смогу.



## 5

– Разве от того, что Господь оставил Землю, можем мы нарушать заповеди Его? Он сотворил нас из великой любви и нам завещал любить ближних своих, как самих себя, а прочих людей приравнять к ближним. Защищать сирых и убогих, быть великодушным к тем, кто страдает. Делиться последним с тем, кто нуждается. И тому, кто просит о помощи, не отказывать в ней.

Егор стоит в толпе и слушает утреннюю проповедь вместе со всеми. Отец Даниил, как обычно, фальшивит; но людям не важен мотив, им важны только слова. Изморенные голодом, измотанные бессонной ночью, люди кутаются в свои драные куртки, в безразмерные бушлаты – но лица у них такие, будто они сладкую водичку во рту полощут.

– Вам плохо сейчас, я знаю. Но тот, кто сам страдает, лучше поймет другого страдающего. Тот, кто сам голоден, знает, как мучится от голода другой. И если пожалеете другого, больше страдать не станете, а другому облегчите его долю. Что такое добро? Это когда ради других своего лишаешься. Что такое зло? Когда других лишаешь ради своей выгоды. Отдавая последнее, становитесь меньше зверем и больше – человеком.

Егор вздрагивает – рядом с ним стоит Мишель; и тоже слушает. Она подошла к нему со спины, встала тут. Но после того, что он сказал ей вчера, непонятно, как здороваться.

– Привет.

– Привет... – он улыбается ей по-идиотски. – Не злишься?

– Злюсь. Но спросить надо. Мне Шпала сказал, что ты с этими общался... В поезде.

– Ну... Да. Типа того.

– Они... Они там видели... Ну, наших казаков? По пути?

Егор отворачивается к окну изолятора, но краем глаза остается припавленным к Мишели. Видит, что она не отстает от него, что ждет ответа. Ждет от него, что он расскажет ей, что ее чертов казак жив-здоров. Не знает, что это он списал ее Сашу на тот берег, в никуда.

– Говорит, видели. Встретили.

– Правда?!

Надлом какой-то в ее голосе. Егор слышит: диссонанс.

Ну а что, может быть, он и жив еще. Никто ведь этого человека из поезда не тянул за язык, он сам припомнил казачью экспедицию из Москвы. А если так... Если Кригов добрался до самой этой Вятки-Кирова живым и здоровым... То, выходит, ничем Егор перед Мишелью и не виноват?

Выходит, ей он надежду возвращает, а у себя отнимает?

– Да. Правда. Честно. Но... Только это. Что встретили на пути. И все.

Мишель выдыхает.

– А их дальше пустят? На Москву?

– Полкан ждет разрешения.

– Поняла. Спасибо, Егор.

– Ага. Приходите еще.

Они стоят еще так рядом без слов. Отец Даниил продолжает вещать, увещевать собравшихся, но Егору его неслышно: слишком громко Мишель рядом дышит. Как будто она еще что-то собирается у него спросить, или попросить его о чем-то. Она вечно пытается как-то использовать его, вечно он ей оказывается нужен то для одного, то для другого... Но хотя бы он оказывается ей нужен.

– Ну а... А что с Кольцовым-то в итоге? Телефон там, не телефон? Я не поняла, он мой хотел починить? Или...

Егор трет виски. Телефон. Слишком много всего сразу.

– Да. Я... Не знаю еще. Поезд этот и... Ну, короче.

Люди вокруг вдруг приходят в движение, принимаются переговариваться, как будто очнувшись. Что, закончилась проповедь? Нет, наоборот.

– И когда постучались в ваши ворота и просят о милосердии, сможете ли отказать? Вам послано испытание: больные и убогие стоят у ваших ворот, и смиренно просят пропустить их, и нет у них другого пути к спасению. Я вот глухой, а слышу их мольбы о помощи, ибо слушаю сердцем. Господь забыл их, как и вас забыл. Вы тут все братья. Но разве битва заканчивается, когда генерала оставляет поле боя? Ради того бьетесь, чтоб остаться собою до конца, или ради жестяных медалек? Чтобы выполнить приказ, либо чтобы долг исполнить?! Ради жалованья или ради вечности?!

Мишель трогает Егора.

– Откуда он все уже про них знает?

Егор вздергивает плечи.

– Сердцем слушает.

А отец Даниил уже не нудит, а громыкает:

– Просите у начальников ваших, как просили бы за братьев своих: милости и милосердия! Я сам с той стороны пришел, я знаю – там такие же люди, как вы, с теми же бедами и теми же радостями. Что было между вами, то давно прошло. Просите, чтобы пропустили их! Спасите братьев своих!

## 6

Пиликает телефон.

Полкан срывает трубку: Москва?! Покровский так и не перезвонил ему, телефонисты мычат, что вопрос рассматривается, но генерал закопан в каких-то де-

лах государственной важности. Какие там такие важные дела, хрипит им Полкан, это задавленное бешенство в нем становится хрипом, а они обещают перевозить потом и отключаются.

Нет, не из Москвы. С заставы — и в переполохе.

— К вам идут, Сергей Петрович! К вам!

Полкан выглядывает: от поезда движется процессия. Их трое — все в плащах с капюшонами и в респираторах, как тот седой, с которым Полкан разговаривал ночью. Катят с собой груженую тележку на рессорах, тележка подсакивает на изухабленной тропе. Что-то на ней под брезентом.

У себя этих людей Полкан принимать точно не собирается. Накидывает бушлат, закрывает бутылку в шкаф и спускается во двор. Караульным командует в ворота этих не пускать.

Встречает их на подступах. Чумные или нет, нечего им делать внутри стен.

— Чего надо? Тьфу ты, бляха! Коновалов! За бумагой сбегай!

Но у этих все есть с собой. Не бумага, а электронный планшет: на, пиши.

Полкан пальцем рисует им на экране свой вопрос.

Главный в тройке приоткрывает брезент, показывает, что на тележке: схваченные ремнями деревянные ящики. Другие двое обернулись к толпе, смотрят во все стороны сразу, как будто боятся, что на них со спины набросятся. На прорезиненных плащах красные кресты во всю спину, лиц под намордниками не видно. Старший, тот самый седой, который спускался к Полкану из поезда ночью, говорит:

— Тут еда. Консервы. Все стерильно, заводское производство. Это плата за проезд. Таможенный сбор. Забирайте.

— Не понял!

Полкан показывает надпись на планшете не только начальнику поезда, но и всем собравшимся, слабится: это что ж, товарищи, при всем честном народе мне взятку тут предлагают?

— Мы не можем там бесконечно стоять. Большим становится хуже. У них и так поражены легкие. Это для них мучение. Мы отдаем вам часть наших запасов, чтобы вы нас пропустили без проволочек.

Полкан берется за бока. Натужно хохочет.

— Так дела не делаются, мил ты человек. Консервы там или нет, мне пока из столицы зеленый свет не дадут, никуда вы не поедете. Так что вы забирайте-ка свое добро, да проваливайте.

Вся тройка не движется; седой стоит лицом к нему, двое других боком. Люди шушукаются, и непонятно, на чьей они стороне. Ящики выглядывают из-под брезента, гипнотизируют народ. Тогда Полкан выдергивает из кобуры пистолет, наставляет его на небо и жмет спусковой крючок: бах!

Все трое не шелохнутся, не дрогнули даже. Полкан опускает дымящийся ствол, делает шаг к седому, еще шаг, еще. И прямо на ухо ему орет:

– Следующая твоя будет, ясно тебе?!

А тот отвечает ему негромко, но тоже на ухо:

– Я там больше больных держать не могу. Я немного подожду еще, а потом вагоны открою. Пускай к вам идут.

Он дает знак своим подручным, и те зачехляют ящики обратно. Строятся треугольником, как пришли, и бредут обратно к поезду.

## 7

Когда над гаражами гремит выстрел, Егор отчаянно ковыряет скрепкой скважину амбарного замка на дверях кольцевой мастерской. Когда-то он скрепкой орудовал неплохо, но этот замок какой-то хитрый, не поддается никак. Хорошо, у гаражей никого — все толкутся во дворе и за воротами.

Скрепка застревает в замке и ломается. Сука!

Теперь, даже если вернуться сюда вместе с Полканом и связкой ключей, толку будет ноль — а Полкана еще придется заново убеждать.

Внутри гаража стоит низкое жужжание. Так в уличных сортирах жужжит обычно.

Егор озирается вокруг. Соседский гараж открыт — на стене развешен инструмент. Ножовка по металлу — слишком долго. Кусачки — такую цепь не перекусишь. Егор проходит глубже... Кувалда.

Времени на размышления нет. Он хватает чужую кувалду, принаравливается к замку и с замаха, как будто колет дрова, сносит замок со звеньев цепи. Молот ударяет по листовому железу, из которого сварены гаражные двери; гараж гудит, словно огромный тревожный колокол — но никто не спешит на его набат, всем интересней то, что происходит за воротами.

А времени все равно не так много.

Егор тащит створку на себя — заржавленные петли скрежещут, дверь поддается с трудом. Он проскальзывает в щель и закрывается внутри, чтобы не привлекать к себе зевак-соседей.

Внутри стоит сладкая вонь — такая, что хочется немедленно распахнуть двери обратно. Десятка два жирных мух мечутся по темному гаражу; Егор зажигает фонарь, и они лезут к нему — садятся на руки, на шею, на лоб, пытаются заползти в уголки глаз. Он сгоняет их, шикает, убивает одну, но остальным все равно — за несколько дней взаперти они с ума посходили.

Егор машет фонарем, пятно света прыгает по стенкам. Какие-то старые журналы, деревянный стул, крючки на стенах, ящики... Все вверх дном. Все в буром,

все клейкое на ощупь. Местами разлитая тут кровь неотличима от ржавого железа, она и есть ведь просто ржавое железо, говорит себе Егор. На крючках для инструментов — присохший шматок чего-то, на валяющемся на полу ломике — пучок рыжих волос, склеившихся в бурую паклю. Сердце идет вскачь. И, кроме удушливого и не желающего выветриваться запаха, стоит в воздухе еще что-то... Осязаемое, как осязаем становится сам воздух, если загрести его быстро ладоною. Чувство противоестественности того, что тут случилось.

Егор вспоминает свою драку с долговязым Кольцовым — драку за телефон. Тогда Кольцов остановился за миг до того, чтобы швырнуть в Егора камнем; но одно дело — камень, а другое... Егор вспоминает слова Антончика, что обоих отпевали с покрытыми лицами, потому глядеть было на них страшно. Неужели могли так из-за телефона? Из-за Мишельки? Цигалю вон девки вообще всегда по барабану были... Вряд ли бы он...

Может, не из-за самого аппарата, а из-за чего-то, что было внутри телефона, в его памяти? Но как бы они его вскрыли, без пароля?

Егор шарит, стараясь не шуметь, по ящикам, отдирает какие-то прилипшие к полу рогожки, поднимает коврики. Телефона нигде нет. Мухи гудят невыносимо, словно внутри Егоровой головы.

Может, он придумал все это себе?

Придумал, что Цигаль обокрал его, придумал, что притащил мобильник своему товарищу, что это они именно из-за айфона подрались? Может быть, обычная какая-то бытовуха, или... Ну, может, Цигаль приставать к нему стал, а этот его... Вот отец Даниил про это и говорил — мол, овладел обоими Сатана. Блуд — греховная страсть номер два. И гнев.

А Мишель... Ну так, сболтнул просто, чтобы... Надо что-то было такое залепить ей загадочное, он и залепил. Вся жизнь был Кольцов ботаном и задротом... Только умер вот... Как-то...

Зря Егор влез к нему в гараж. Надо выбираться и идти каяться Полкану. Признавать, что телефона у Кольцова нет.

Егор отряхивается, открывает дверь — и в упавшем на пол клине света видит что-то маленькое, белое, изляпанное. Знакомое. Он нагибается... Осторожно тянет, отклеивая от изнанки резинового коврика. Его бросает в пот.

Кусочек бумаги. Страничка, выдранная из чьего-то паспорта. Страничка с графой «дети». И там в таблицу вписанное имя: Костров Николай Станиславович, 15.01.2019 года.

Все плывет. Коленька. В честь деда назвала его. Любимый мой.

Все плавится. Гараж, полки, жужжание. Переплавливаются в пот.

В честь его деда, моего отца. Коля. Красивый и такой смешной. Умница-разумница. Егор на мосту. Зеленый туман облепляет его. Трясутся колени. Он пинает

мертвую женщину. Поздних, знаешь, как любишь? Поздних и единственных! А знаешь, как любишь детей, когда они умирают раньше тебя?

Он же выбросил ее паспорт! Точно помнит, как паспорт летел в ядовитую воду, как порхал, расправив мотыльковые крылья. Как это? Егор подносит испачканную бурым страницу к глазам.

Цифры рождения обведены синей ручкой. Он не обводил! Откуда?

Он закрывает глаза, и там, в закрытых глазах, отыскивает еще кусочек памяти, который раньше был потерян, перемешан с воображаемыми концертами на воображаемых стадионах.

Егор не может смотреть на живую и улыбающуюся женщину, которую только что бил неживую, каучуковую. Слезы мешают смотреть на нее, голова раскалывается. Поэтому он вырывает страничку — там, где разгадан пароль от телефона, страничку про мальчика Колю — и ее прячет, а остальное бросает в реку. Засовывает страничку в телефонный кейс.

И потом идет вперед — на тот берег, где в воду входят, чтобы равнодушно умереть, заводные люди.

## 8

Когда чужие в крагах и бахилах убираются восвояси, Полкан ждет от своих одобрения, но народ смотрит на него волком. Толпа не рассасывается сама по себе, хотя пялиться, казалось бы, уже не на что. Кто-то бурчит, прячась у других за спинами:

— До хера ты честный, Сергей Петрович!

— Так! Это кто? Ты, что ль, Воронцов? Страх потерял, да?

Но Воронцова поддерживает какая-то баба:

— Чего тебе не пропустить людей?

— Что мне людей не пропустить? Ты своим куриным мозгом вообще соображаешь, что ты говоришь? Это как называется — пропустить людей? Не преступная ли халатность, не злоупотребление ли служебным положением, а, Полечка? И это в лучшем еще случае!

— Люди в нужде! Больные там у него на поезде! Туберкулезники! А ты их от реки газами тривишь!

— Ты почему знаешь, что они туберкулезники, и что там вообще не сто тонн тротила? Нас этот глухарь к себе на инспекцию-то, небось, не пускает!

— Был бы тротил, на прорыв бы пошли, е-мана! А то стоят, просят, жратву предлагают!

— Так, а ты что тут за жратву, Леонид? Ты-то что бузишь? Ты ж постишься! Или у тебя похмелье такое злое?

– У тебя похмелье! На зеркало он будет пенять... Людям жрать нечего, а он на принцип пошел!

– Да идите-ка на хер вы все! Я здесь комендант, и я буду решать! У нас не сельхозкооператив тут, а пограничный пункт! Развел, бляха, демократию себе на голову!

Он хочет идти обратно к себе, но его ловят за рукав. Полкан оглядывается – Ринат-столяр.

– А че нам, Сергей Петрович, эта Москва так сдалась, а? Ты ж видишь – не нужны мы ей. Жрать не шлют, интересу к нам никакого. Ты звонил им вообще про паровоз этот? Чего толкуют?

– Слушай, Ринатик, будь друг, отъебись от меня подальше, пока я тебе по сопатке не врезал! Вы мне уже поперек глотки с вашими мнениями!

Но Ринат не отступается.

– Короче, звонили тебе или нет, Сергей Петрович? Что говорят – пускать, не пускать?

– Не звонили! Тебе-то какое дело, свиное ты рыло?!

Ринат скалится, хрустит кулаками.

– Ох ты... Ну а что, если мы им не нужны? Были бы вольной таможней, короче, жили б не тужили... Взяли бы с паровоза процентик, и пускай ехал бы себе. А спохватятся – тогда и разберемся!

Полкан передумывает запикивать в кобуру свой «Стечкин», а оставляет его в руке.

– Мне про таких, как ты, знаешь, что казаки сказали? Что у них таких вешать положено, за призывы к измене Родине! А не как я тут с вами цацкаюсь!

Люди чуть дают заднюю. Ринат только стоит, лыбится.

– Вот и хорошо, что эти ублюдки сгинули, Сергей Петрович. Туда им и дорога.

Полкан харкает Ринату под ноги и уходит – а по пути смотрит людям в глаза; кто кивает ему с уважением, а кто отворачивает лицо. Поднимается к себе, запирается на ключ. Снимает трубку, жмет кнопки, просит у телефониста Москву. Телефонист спрашивает:

– Подождете?

А Полкану кажется, что он слышит в его голосе издевку.

– Это ты у меня дождешься! Давай соединяй живо, сучий потрох!

Гудки идут долгую минуту, наконец кто-то подходит.

– Алло! Это Ярославский пост, Пирогов! По поводу транзита поезда с туберкулезными! Генерала Покровского мне!

Там мнутса, кашляют, думают, потом говорят:

– Генерал Покровский арестован. Ваш вопрос находится на рассмотрении, но до назначения нового ответственного лица мы тут вряд ли что-нибудь сможем вам сказать. Вам сообщат, когда...

– Да идите вы на хер! На хер! К херам собачьим!

Полкан швыряет трубку об стену, поднимает и швыряет еще раз. От трубки сыплются пластмассовые осколки. Он поднимает ее еще раз — гудок все еще идет, хотя и гнусаво, как будто через сломанный нос кто-то ноет.

– Караулку дай мне. Ямщикова в кабинет ко мне, и Никиту тоже. Да, и Коца еще, если найдешь.

Все, кого он вызвал, собираются у него за полчаса. Полкан проверяет, плотно ли заперта дверь, глядит, как всегда, в глазок — что там на лестнице. Потом оборачивается к Никите.

– Ну что, Никит Артемьич. Не думали мы, не гадали, а твое время опять пришло.

Мишелькин дед моргает, крикает, но не спорит.

– Сейчас проведешь товарищей в арсенал, покажешь им свое хозяйство. Ночью сегодня будем мост минировать. Если эти суки назад не хотят, придется им тогда вверх.

## 9

Телефона Егор так и не находит, хотя и переворачивает напоследок в кольцовском гараже все вверх дном. Уходит, комкая в кармане перепачканную страничку из чужого паспорта. А в голове у себя комкает мысли о том, что могло случиться с Кольцовым.

Если они разлочили телефон... Включили его и вскрыли... Что могло после этого произойти? Из-за чего такая ссора? Нельзя поверить, что просто ради аппарата — не получается. Тогда — из-за того, что в нем?

Узнали что-то? Что-то поняли? Получили сообщение? Звонок? Карта сокровищ там, екарный бабай, сфоткана?! Что там такого может быть, чтобы один друг другого руками до смерти забил?

Или все — подстава? Оба узнали что-то, чего им знать нельзя было, и поэтому их убрали... А дверь изнутри... Ну, как-то подстроили тоже. Но кто? Поп заперт, больше некому...

Звонят обедать, и Егор заворачивает в столовую.

На обеде нет ни матери, ни Полкана. Гарнизонный повар с виноватым видом лично раскладывает по тарелкам чахлые корешки, клянется, что вываривал их, сколько мог, и что они пробованные-перепробованные.

Люди урчат зло.

– Хорошо ему, гниде, от консервов отказываться. Глядишь, сам-то не коренья жрет, а тушеночку...

– Брезгует нашим-то столом! Свой, небось, побогаче!



Лев Сергеевич пытается этих диссидентов миролюбиво разубедить:

– Ну, скажешь! С Москвой, наверное, просто разговаривает. Придет. Мы тут, братишка, в одной лодке все!

– Черта лысого, Сергеич! У нас своя лодка, у него своя! Наша ко дну идет, а он еще побарахтается! Ты не видал его вчера, а мы-то тут видали. Весь в подливе обрызган, так и несет этой тушенкой от него, с самогоном пополам!

– Да ну, брось ты! Он бы не стал! Егор! Ну ты-то что молчишь, скажи за батьку! За батьку. Егор съезживается.

Надо сейчас встать, защитить Полкана, но он втягивает голову в плечи.

Хочется сказать им, что Полкан не батька ему, и никогда не был им, и не будет никогда. Но нельзя — потому что по всему выходит так, что Егор барахтается в той же самой лодке, в которой отплывает от тонущих людишек Полкан. Жрал с ним тушенку — давай, отмазывай. За все платить надо.

Егор отрывает голову от тарелки, в которой валяется этот тошнотный корень, и произносит:

– Нет, конечно. Вы офонарели все, что ли?

И натывается прямо на ухмыляющегося Ваню Воронцова. На Ваню, которому только вчера сам всучил сворованный у Полкана мясной снаряд. Ваня улыбается:

– Давай, давай, потрынди.

– И ты потрынди давай.

Егор доедает, зажмурившись, эту мерзотную дрянь из своей миски, и, ссутулившись, выскальзывает из столовой. Люди голодно рычат ему вслед.

Вот, что ему нужно: один последний разговор с отцом Даниилом. Спросить про Кольцова с Цигалем, спросить про чертов поезд, спросить про свою избранность. Спросить и посмеяться ему в лицо, потому что в прошлый раз он за этот бред его высмеять не успел.

Егор вламывается к себе домой.

– Мааам! Ты дома?

Никто не отвечает. И все-таки он заглядывает в ее спальню. Мать лежит в постели, смотрит в потолок.

– Мам! Ты че?

– Голова очень болит.

– А! Ну ты это... Держись. Скажи, если будет плохо.

– Мне плохо, Егор.

– Ну, я имею в виду... Блин! — он застревает на ее пороге, хотя собирался разобраться с этим делом за минуту. — Тебе... Ну, помочь как-нибудь?

– Ты умеешь людей прощать, Егор? — она вздыхает. — Я вот — не очень.

– Ты про это, что ли... Про то, что я тебе сказал? — Егор цыкает языком от нетерпения. — У поезда? Ну прости. Погорячился. Там просто запара была!

– Понимаю.

– Мам! Ну че ты начинаешь... Ну можно сейчас не устраивать сцену?

– Какую сцену, Егор?

– Вот эту вот сцену с умирающим больным!

Она снова глядит на него – обиженно и изумленно.

– Ты думаешь, что я симулирую?

– Ничего я не думаю!

Он делает шаг из ее комнаты.

– Можешь сегодня никуда не ходить, Егор? Просто побыть тут, со мной?  
Я тебя очень прошу.

– Не... Нет, мам. Мне надо, правда, реально. Я сделаю кое-что и вернусь.

Он быстро, пока она не успела помешать ему, пробирается в залу, раскрывает сервант и лезет в отчимову заначку. И потрошит ее с облегчением: там осталась всего одна банка, последняя банка, которая отличает Егора от других, обычных людей в коммуналке. Надо отдать ее, откупиться ей от Воронцова или кто там сегодня вместо Воронцова охраняет проповедника, избавиться от нее и стать как все.

– Егор! Егор! Что ты там делаешь?

– Ничего! Все! Лежи, отдыхай!

– Егор!

Он несется через две ступеньки, словно боится, что она и вправду сейчас вскочит и погонится за ним.

## 10

Дед Никита курит в кухне. Мишель смотрит на него. Дед полностью собран – собирался тихо, просто на удивление тихо. И поэтому Мишель его шепотом, как заговорщица, спросила – куда?

На Кудыкину гору.

Он ждет чего-то, слушает, как бабка в комнате колобродит, читает молитвенным напевом своего унылого Есенина:

Дрогнули листочки, закачались клены,  
С золотистых веток полетела пыль...  
Зашумели ветры, охнул лес зеленый,  
Зашептался с эхом высохший ковыль...

Плачет у окошка пасмурная буря,  
Понагнулись... Понагнулись...

Дед жмурится от дыма. Гладит Мишель по руке своими заскорузлыми, желтыми от табака пальцами.

– Хорошо, что не пошла в Москву. Сегодня посиди с ней. А то я в ночь, может.

– Куда в ночь?

– На задание.

Он ей подмигивает озорно — морщинки вокруг глаз собираются. И прикуривает одну от другой. Бабка в комнате наконец находит потерянное слово, становится обратно в колею и едет дальше:

Понагнулись ветлы к мутному стеклу,  
И качают ветки, голову понуря,  
И с тоской угрюмой смотрят в полумглу..

А вдали, чернея, выползают тучи,  
И ревет сердито грозная река,  
Подымают брызги водяные кручи,  
Словно мечет землю сильная рука.

Дед глядит на часы.

– Так, ладно. Не уснет.

Поднимается со своего места. Проходит в комнату к бабке, и Мишель слышит, как он двигает там табурет, а потом, кряхтя, влезает на него. Неужели на шифоньере собирается что-то искать?

– Никита! Ты чего там?

– Да вот я... Посмотреть хотел тут. Ничего такого. Не волнуйся, Марусенька. Фотоаппарат. Обещал показать тут..

– Ты куда собрался?

– Мы с мужиками... В дежурство. Это что ж... Это где, интересно..

– До утра, что ли?

– До утра, Марусенька.

– Дай, перекрещу тебя.

– Ну, крести. Для подстраховочки!

Дед снова появляется в кухне — растерянный и сердитый.

– Слушай-ка... А ты там на шифоньере у меня... Не брала ничего?

Мишель чувствует, что краснеет: уши начинают гореть. Но соврать деду не может.

– Брала.

– Отдавай.

Он смотрит на нее недовольно; в детстве от такого его взгляда ей делалось страшно, но тогда дед был огромным, а она маленькой — и хоть он никогда

и пальцем ее не трогал, сведенные вместе кустистые брови означали, что она может впасть в немилость. Теперь — она как-то очень остро и внезапно это сейчас понимает — ей не страшно на него смотреть, а стыдно. Потому что теперь большая и сильная — она, а маленький тут он, как бы ни пыжился. Мишель без споров встает и идет в свою комнату, достает пакет с «Макаровым» и возвращается в кухню.

— Вот. Сорян.

Дед вынимает пистолет из пакета, крутит его в руках, достает обойму, проверяет патроны. Вздыхает.

— Ты хоть знаешь, как предохранитель-то переключить?

— Ты показывал.

— А, да? — он взвешивает пистолет в руке и вдруг протягивает его обратно Мишель рукоятку вперед. — Дарю.

— Реально? — она настороженно зыркает на него. — Чего это?

— Такое время. Пускай будет.

— Никита Артемьич! — кричат ему из двора. — Идешь?

Он целует Мишель в макушку и идет обуваться. Она встает проводить его до прихожей. Дед шлет ей еще один воздушный поцелуй, защелкивает дверь.

## 11

Больше он не даст себя задурить.

Этими своими словами, про то, что Егор, дескать, избранный, поп его здорово обескуражил. Ну конечно, говорит себе Егор — любому пацану это скажи, у него шарики за ролики заедут. Во всех его фантастических книжках герои непременно были для какой-то волшебной хрени избраны. Закон жанра. Знает поп, что хочет услышать человеческое сердце, и именно это ему заливает.

А спрашивать не про предназначение было, а про то, что случилось с Кольцовым и с Цигалем. Что значит — обуяны Сатаной? То же, что произошло с людьми, которые топились в реке? Пускай правду скажет. Пока он на этот раз правду не скажет, Егор его в покое не оставит. Это, может, единственный у него шанс докопаться до того, что все это значит. Сейчас или никогда.

Вчера взятка сработала. Егор не сомневается, что сработает и сегодня — таких голодных и таких обозленных глаз он на Посту не видел никогда.

Он поднимается к двери изолятора. На страже сегодня стоит Жора Бармалей.

— Тебе чего надо?

Егор с ходу достает консервы.

— Мне надо поговорить с ним. Полчасика. Пустишь — отдам. Тушенка это.

Жора усмехается. Такая усмешечка, что Егору делается не по себе.

— А мне не надо этого вашего. Я пощусь.

Егор глядит на него ошарашенно, судорожно изобретая, куда дальше повести разговор. А Жора подмигивает ему и успокаивает:

— Да все нормально. Иди, он тебя ждет. Иди-иди, не заперто.

## 12

Мишель показывает Антончику, который сегодня стоит на воротах, зеленый полотняный мешок.

— Дед противогаз забыл! Они ведь к поезду, да? Башка вообще не варит уже! Отдам и вернусь!

— Ну да... Там-то... Ладно... Ну ты только это... Не затягивай.

— Спасибо, Тох!

Она просто дотрагивается до его плеча, но ему хватает и этой ее благодарности. Ворота приоткрываются для нее — и Мишель выскальзывает наружу. Про поезд она знает из подслушанного разговора — разумеется, она не осталась сидеть дома, когда дед ушел. Дураку понятно, что уходил не на дежурство.

Одной итди к поезду было бы стремновато, да и дозорные на заставе наверняка бы не пропустили ее туда: Полкан запретил приближаться к составу. Но, прицепившись к деду, она могла попытаться.

Попытаться разузнать у людей в поезде, что им известно о казацкой экспедиции. И только после этого уже окончательно решить — верить Тамаре или не верить; уходить или ждать Сашу дальше.

С дедом в темноту уходят еще двое. Все навьючены тяжеленными рюкзаками. Фонари выключены. Дорогу ощупывают палками. Шагают медленно, так что для Мишель не составляет труда встроиться им в хвост. Главное, чтобы не заметили раньше времени. Сдаваться деду нужно уже у самого поезда, когда прогнать ее домой будет слишком поздно.

Идут не к заставе, которая освещена фарами застрявшего поезда, а срезают и напрямик движутся к мосту. Что они там собрались делать, Мишель не расслышала — но, что бы это ни было, такой шанс упускать нельзя.

На мосту Мишель раньше не бывала, и мысли такой ей не приходило в голову никогда — ведь мост уводил прямо в противоположную от Москвы сторону. Когда Мишель выходила на железную дорогу и смотрела на запад, ей казалось, что она подставляет лицо солнечным лучам. Когда смотрела на восток, как будто в яму заглядывала.

И вдруг — оттуда поезд.

Он похож на те поезда, которые она помнит с детства. Она в Ярославль вот таким же поездом приехала. В Москве тогда были беспорядки, и ее решили от

греха подальше отправить к бабушке. Отец довел их до вагона, сам закрыл в люк-се и долго целовал на прощание — в глаза, в лоб. А сказал, что она едет просто на каникулы. Мишель это прощание запомнила крепко. От отца, обычно благоухавшего одеколонами, в тот день пахло кисло и неприятно.

Высадив Мишель с бабушкой, поезд укатил дальше на восток, и больше поездов от Москвы мимо Ярославля не проходило.

И вот как будто бы он возвращается.

Туберкулезники, Мишель слышала это. А вдруг можно было бы хотя бы в тепловозе? Они же выходят к людям, разговаривают... Значит, не заразные. Не боятся заразить. Можно попроситься к ним, до Москвы? Если Полкан их пропустит?

Но, чем ближе поезд, тем меньше ей верится в то, что ее согласятся подбросить.

На берег успел выехать только локомотив, весь остальной поезд остановился на мосту — и, хотя он стоит в тумане, Мишель видит, что окна в пассажирских вагонах так и не зажглись.

Дед и другие двое притормаживают — натягивают противогазы. До реки остается сотня метров, но туман уже начинает щипать глаза. Мишель лезет в зеленый мешок и достает из него импортный промышленный респиратор с большим стеклом.

Они не собираются идти к людям в тепловозе — наоборот, кажется, что прячутся от них. Выбираются с берега сразу к мосту, из кустов — и спешат, перебегая между стальными фермами, как будто пытаясь слиться с ними, вдоль состава.

Мишель выходит к поезду следом за ними в том же месте, подглядывает — что они собираются делать дальше?

Они разделяются: дед, кажется, остается у поезда, кто-то другой спускается на веревке под мост, третий лезет под вагоны. Но, может быть, ей просто это чудится: силуэты уже наполовину растаяли в тумане, и лунный свет сегодня совсем бедный из-за жирных облаков.

Мишель подходит к нему все ближе, ближе.

Света в вагонах нет, но они не пустые. В них кто-то есть, это точно: изнутри доносится какой-то неясный шум. И... Когда Мишель подходит совсем близко, ей вдруг кажется, что вагоны словно вибрируют. Будто поезд идет и его качает на рельсовых стыках.

Она смотрит на окна.

В них не просто нет света. Они плотно зашторены изнутри, так чтобы вообще не было видно, что там происходит. Но за шторами происходит какое-то движение, это точно.

Завороженная, Мишель привстает на цыпочки и стучит пальцем в окно. Может, откроют?

Занавеска дергается, как будто ее пытаются отдернуть изнутри. Она стучит еще раз, и занавеска дергается сильнее. Мишель оглядывается на локомотив... Вроде бы, пока ее никто не заметил. Она собиралась идти туда и вызывать этих людей на разговор, но дед очевидно прячется от них, и ей нельзя его выдавать. Но просто посмотреть ведь можно...

Она пробегает вдоль вагона до лесенки, которая ведет к двери. Вскарabкивается по ней... Окно закрашено — кое-как, наспех замалевано снаружи краской.

Мишель достает из кармана ключ и начинает скрести краску, поминутно озираясь. Процарапывает линию, другую...

Изнутри бьет свет. Мишель проделывает себе глазок с монетку размером и приникает к нему.

Окна изнутри зарешечены. Стены забрызганы кровью.

Ей жутко до одури. Но она перемещается так, чтобы видеть немного в сторону.

В тамбуре на корточках, свесив руки, сидит голый человек с разодранным лицом. У него на плечах сидит в такой же позе еще один голый человек с разодранным лицом. У него на плечах сидит в такой же позе еще один голый человек с разодранным лицом. У него на плечах сидит еще один человек с разодранным лицом. Он смотрит вверх, на тускло горящую под потолком лампочку. А потом, как будто почувствовав на себе ее взгляд, дергается и начинает искать, шаривая вслепую источник сверящего его ощущения — пока не встречается глазами с Мишель.

Это Саша Кригов.

# Черная гать

## 1

Действительно, дверь не заперта. Жора открывает ее перед Егором — и прежде, чем тот успевает сообразить, что все это может означать, вталкивает его внутрь и запирает замок.

В изоляторе стоит полумрак. Никто не встречает тут Егора, как в прошлый раз, и ему приходится самому продвигаться вперед, чтобы найти отца Даниила. Тот сидит на кухоньке, смотрит в окно. Заметив Егора, указывает ему на второй табурет. Егор остается на ногах.

— Это че творится-то? Почему они тебя открытым держат?

— Видишь, как. Я вот знал, что ты придешь. Ты важные вопросы теперь задавай, не трать времени зря. Времени теперь мало осталось.

— Ты ему голову задурил, что ли? Как матери моей? Да?! — Егор бросается обратно к двери и кричит в нее. — Жорка, скотина! Ты оборзел, что ли?! Тебе трибунал будет, слышь?!

Там никто не отзывается. Как будто заперли и ушли. Егор — сердце колотится — возвращается к попу. Потом глядит — окно открыто. Если что, сможет позвать на помощь. А пока этот пускай думает, что все у него в кармане.

— Ладно. Вопросы. Ты говорил, что Кольцова и Цигалья Сатана обул?

— Медленнее говори, не понимаю тебя.

— Ты! Говорил! Что! Кольцова! И Цигалья! Которые в гараже... Которых убили в гараже! Что с ними?! Твои люди — их?! Ты подослал?!

Отец Даниил с прищуром читает по Егору слова. Качает головой:

— Я не посылал никого. Одержимы бесами стали. Проникла сюда бесовская молитва. Не знаю, как, но знаю точно.

— Какая молитва, что еще за бред?!

— Бесовская молитва. Та, которая за Волгой все выкосила. Кто-то занес к вам сюда ее. Какой-то одержимый. Принес и прочитал этим двоим.

— Что это значит? Ты что несешь?!

— Я тебе не вру, мальчик. Теперь уже смысла нет врать. Ты скоро сам все увидишь. Совсем скоро.



## 2

Мишель как ошпаренная шарахается от окна. Переводит дыхание. Показалось? Как это может быть? И что это все... Ее подмывает перекреститься, как будто это каким-то образом может тут ей помочь.

Она снова приникает к глазку, который проскребла в краске. Теперь в тамбуре никого нет. Ни одного из этих четверых жутких людей, которые сидели... Пирамидой, что ли, сидели друг на друге... Нет Саши.

Мишель принимается скрести краску снова — отчаянно, быстрее и быстрее, расширяя эту лунку; нет, ей не почудилось — она действительно видела его там. И то, в каком состоянии она его видела, сначала напугало ее, а теперь... Теперь она чувствует: ему очень плохо, очень больно — неважно, что с ним творится сейчас, он страдает и ему нужно помочь.

Когда лунка, которую она проскребла в краске, становится размером с ее кулак, она снова заглядывает в окно. Оглядывает окровавленный, изгаженный тамбур... Решетки на окнах. Наверное, всех этих людей, которых она видела, везут в концлагерь, везут на казнь, поэтому они и раздеты догола, поэтому избиты и изодраны, поэтому сидят в этой странной, чудовищно неудобной позе — там кто-то заставил их, какой-то надзиратель! Это никакой не туберкулез, люди из локомотива лгут, тут какой-то ужас творится, какая-то жуть...

Она стучит в это крохотное окошко в окошке — стучит ладонью, надеясь, что Саша услышит, что он вернется к ней, что узнает даже через стекло респиратора... И он возвращается.

Одним прыжком он возникает в тамбуре. Глаза у него бегают, не могут остановиться, на губах пена. Он что-то говорит, что-то повторяет — не ей, потому что он опять потерял ее, а самому себе. Вдруг в тамбур таким же точно прыжком влетает еще один человек, невозможно худой, с руками, висящими, как плети. И тут же — третий. Эти трое одновременно, будто кто-то ими тремя сразу, как марионетками, управляет, поворачиваются к окну — и теперь вот они находят Мишель.

Саша наклоняется, чтобы быть вровень глазами с лункой, через которую она пыталась его поймать, коротко размахивается и бьет кулаком ровно в ее лицо, в ее глаза — в то крохотное окошко, которое она проскребла, чтобы увидеть его. От неожиданности Мишель вскрикивает, чуть не падает навзничь с высоты вагонной приступки на пути, еле удерживается — на стекле трещины; и окровавленный кулак лупит тут же снова в стекло, разгоняя трещины дальше, дальше — и проклеываясь через стеклянную скорлупу наружу.

Прежде, чем она успевает понять, что надо спрыгнуть, стекло разлетается брызгами, чуть ли не ей в глаза, пальцы хватают ее за волосы, и с нечеловеческой силой дергают внутрь, в острые стеклянные зубцы.

Она визжит как резаная, упирается свободной рукой, а ее тянут и тянут; мелькает картинка — весь тамбур набился уже ободранными, исчесанными в кровь голыми людьми, и все они молотят в окна кулаками, повторяя один в один движения Саши. У некоторых руки сломаны, поэтому и висят, и они хлещут свисшими на коже и мышцах предплечьями, как плетками, зарешеченные вагонные стекла.

И — говорят, говорят, говорят что-то невразумительное, что-то дикое, что-то омерзительное и бессмысленное, нагромождают слова, давятся ими — от одних хочется вырвать, другие не значат ничего, третьи заставляют кулаки сжиматься помимо ее воли.

Мишель визжит истошно, чтобы перекричать это бормотание, но чувствует как руки как ноги как шигаон бурое видит как абадон кровь как томроб кишки штерб как осколки в глазу...

АХ!

Прямо над ухом, прямо над ухом — грохот! — как будто бомба упала прямо на ее дом, и звон-стоит-звон, голова взрывается болью, изнутри острая, пронзительная, Мишель лежит на мосту, смотрит вверх, в зеленое небо, вагон стеной, а там — дед ее, держится за поручень, сует автомат внутрь, садит еще выстрел, раз! Раз! Бах, бах, бах.

— Деда, деда!

Бегут еще люди, эти, которые там, которые там с ним были. Мишель пытается встать, но голова кружится, она прикладывает руки к ушам, чтобы не так звенело, они в красном, дед снова жмет курок, автомат прыгает, и вдруг он его бросает, стекло уже разлетелось совсем, осталась только решетка, Мишель пытается встать снова, дед берется двумя руками за решетку, с той стороны окровавленный человек тоже, дед начинает шептать что-то, шептать, и те, кто ему на помощь прибежал — тоже лезут, пихаясь, по лестнице, на закорки друг к другу, говорят что-то, пытаются друг друга перекричать, но Мишель не слышит из-за звона, что кричат, ей хочется, хочется как меда, страстно, сладкого как...

Дед, дедушка, дед Никита стаскивает с себя противогаз, раскачивает голову — и Мишель видит, что с той стороны решетки другой человек жуткий кошмарный голый человек, пена на губах, лицо как будто с него кожу спустили, одни белки белые, как отражение деда в этом зеркале, размахивается так же с ним в такт и оба с точностью до мгновения с размаху молотят лбами друг в друга через решетку и раз, и еще, и третий, и четвертый, и пятый, и потом оба отваливаются в разные стороны... Мишель подползает к деду — на нем нет лица, все сломано, осколки белые торчат, он мертвый, а вместо него забрался к окну Коц, уже без противогаза, и тоже так же, как будто ему завидно, что дед уже освободился, а он еще нет, находит себе с той стороны окна напарника и то же самое, то же самое, раз, раз, раз — с такой силой, с такой ненавистью, с такой страстью и спеш-

кой, как будто только ради этого и жил всю жизнь, чтобы тут сейчас, как будто изнутри него что-то рвется, чему тесно в черепе, в коже, что нужно выпустить, как будто душа сама, как пар в скороварке, разрывает это идиотское ненужное все мясо, кожу, кость — и потом Коц тоже отваливается, как насосавшаяся пивка, ленивый теперь, потому что неживой...

Мишель тормозит мертвого деда, вставай, вставай, просыпайся, но из него течет багровое желе, один глаз только смотрит в нее, но голова болтается, не хочет просыпаться, сладко спать, деда, дедушка, слышишь?!

Кто-то хватается за ворот и тащит от деда, звон в ушах, и потом — перекрывающий звон рев, локомотив ревет, ангел трубит, голые люди в поезде бормочут, вместе и порознь, и вместе, но ангел их громче... Пустите, я сама пойду, пустите, но ее держат, она мотает головой — двое людей в плащ-палатках, кресты на спинах, маски на лицах, утаскивают ее от деда, от смерти, локомотивы ревут, надрываются, небо складывается пополам, земля сотрясается и багровый ливень и саранча и чума, и бесы и бесы и бесы...

### 3

Егор подбегает к окну — от моста гремят выстрелы, поезд гудит не переставая, мигает своими фарами яркостью в миллион свечей. Отец Даниил тоже встает, подходит к окну. Во двор вываливают люди, кричат что-то, машут руками. Кто-то оглядывается на окно, в котором стоит монах. Он поднимает руку и внятно приказывает людям во дворе:

— Братья! Все готово теперь! Позволим убогим одолеть этот рубеж! Идите, верните на место пути, положите опять рельсы, пусть едет дальше этот поезд, пусть едет к тем, кто сможет помочь несчастным, пускай едет в Москву. Идите! И будете вознаграждены!

Внизу замешательство — не все слушаются отца Даниила, но те, кто ему непослушны, растеряны, а те, кто принимает его слова за приказ, действуют строго. Ворота распахиваются, кто-то уже льет из канистры соляру в стоящий во дворе трактор с рельсовыми отрезками в прицепе, заводит его и угоняет обратно к заставе.

Егор хватается за решетку.

— Э! Эу! Вы че! Вы охерели совсем?! Сергей Петрович! Мааааам!

И его слышат. Во двор выскакивает Полкан — ментовской бушлат на майку-алкоголичку, галифе на тапки.

— Охрана, кто на воротах там?! Вы че, зрение потеряли?! Встали все, говноеды! Слышь меня, нет?! Это что, бляха ты муха, тут такое?!

Кто-то из зашебуршавших людей и в самом деле застывает, некоторые продолжают переть за ворота, третьи окружают Полкана — вроде поддерживая его.

— Вы чего делаете? Вы кого слушаете?! А?!

Отец Даниил возвышает голос — и перекрывает зычный Полканов бас.

— Вы страдали. Вы терпели лишения. Вы знаете, что вам нечестивец приказывает! Тот, кто жрал вдоволь, пока вы голодали! Тот, кто лгал вам в ответ на ваши вопросы, отворачивался в ответ на ваши мольбы! Вы постились, а он жировал. Вы плоть умерщвляли, чтобы духом вознестись, а он потакал ей, потому что духом ничтожен. Сейчас я прошу вас о милосердии, а он о смертоубийстве. Кого слушаете?!

Полкан оборачивается на решетки.

— Заткнись! Заткните там его!

Егор обхватывает отца Даниила сзади и рывком отлепляет его от окна, но дело сделано. Люди, которые окружили Полкана, не подпускают его к чадающему трактору, они заталкивают его обратно во двор, пихают к подъезду, и толчки, того и гляди, превратятся в зуботычины.

— Хорош, Петрович. Докомандовался! Вали!

— Иди к цыганке своей! Все!

— У них там жратва есть в поезде! Они поделятся! Ты ж не делишься!

— А давайте к нему в гости зайдем, а, мужики?! Глянем, вдруг че осталось еще?!

Полкан гремит в ответ:

— Ты глянешь у меня! Слышь, паскуда?! Руки убрал! Убрал р-руки, тварь, а то пристрелю тебя на хер, как с-собаку!

Отец Даниил пытается вырваться; он, хотя и тощ, но жилист — и старше Егора чуть не вдвое. В полумраке они цепляются за что-то и валяются на пол. Отец Даниил смеется.

— Все равно оно уже с этой стороны! Все уже сделано!

#### 4

Он светит Мишель прямо в зрачки — как будто спицами прямо в дырочки пролезает и тычет куда-то в воспаленный нерв, в голый мозг. Разекает рот, шлепает губами, как рыба в аквариуме — не говорит, а издевается.

— Что?! Что?!

Мишель не слышит ничего. Ее сажают, дают воды, и она глотает большими глотками эту теплую воняющую пластиком воду, потом ей трут чем-то уши, она не понимает, зачем — отбрасывают в сторону ярко-красную марлю. Опять вхолостую двигают губами, и она кричит им:

— Не слышу! Я не слышу!

Мир перестает кружиться, останавливается, как карусель, в которой время катания подошло к концу, и Мишель пытается сесть прямо. Она привалена спиной к локомотиву, перед ней стоят двое в брезентовых плащ-палатках, один седой и один еще какой-то здоровяк. У обоих в руках автоматы, на плащах красные кресты.

— Кто вы? Что случилось?!

И тут она вспоминает, что. Все снова пролетает-прокручивается рваными размазанными кадрами перед ней, и она прячет голову в колени и начинает визжать. Она визжит и не слышит своего визга, горло раздирает.

Она оглохла! Почему? Почему?!

— Почему я ничего не слышу?!

Ей показывают кровь на марле. На уши. Потом снова кровь на марле. Потом на автомат. Что-то тщательно выговаривают, медленно, чтобы она поняла, но она совсем ничего не понимает.

Снова вспыхивает перед ней лицо Саши — жуткое, осатаневшее, не звериное даже, а какое-то... расчеловеченное. Она закрывает глаза руками, но на самом деле ей хочется выцарапать себе глаза, которые все это видели; и Сашу, и деда, и что с ними случилось.

— Что с ними случилось?! Что это было?! Почему?!

Они хлопают ее по плечу — спокойно, спокойно. Но она не может успокоиться. Смотрит в сторону моста — там третий человек в плащ-палатке, взобравшись на приступку, беззвучно лупит в окно поезда из автомата — вспышки, искры.

— Что с ними такое?! Что с Сашей?!

Мишель туго поворачивает голову, смотрит в сторону заставы — там, жмурясь в лучах могучих локомотивных фар, стоят люди, прикрывая лица руками. Дозорные и еще... Целая толпа. Многие зажимают руками уши. Они боятся подойти, не могут, как будто их отделяет от локомотива невидимая стена.

Мишель начинает чувствовать — шеей, кончиками пальцев — вибрацию, которая исходит от тепловоза за ее спиной. Наверное, локомотив все это время гудит, не переставая гудит в полную силу.

Она сидит, привалившись спиной к стальному колесу. Человек с красным крестом показывает ей большой палец: с тобой все в порядке? Она мотает головой, по лицу текут слезы. Нет, нет, ничего не в порядке.

Ее пытаются поднять на ноги, но она пока не может встать. Они не держат ее, хотят отпустить, показывают ей — иди, иди к своим. У нее нет сил.

— Что это было?! Что происходит?!

Из тепловоза появляются еще люди, открывают в бортах локомотива какие-то люки, вытаскивают из них деревянные ящики, по двое берутся за каждый и несут их столпившимся в слепящем свете оборванным людям. Те шарахаются от

них, они немо объясняются, размахивая руками. Потом люди с заставы кивают и забирают ящик, а эти в брезентовых плащах возвращаются за следующим.

Седой человек, который склонился над Мишель, останавливает их жестом, зовет к себе, показывает на ящик, указательным и средним пальцем показывает «два», его подручные снимают крышку, достают что-то, передают ему, а он всучивает это ничего не соображающей Мишель.

Она тупо смотрит на тяжелые блестящие предметы, которые лежат у нее на коленях. Это заводские консервные банки, два продолговатых жестяных цилиндра, обмазанные солидолом. На каждом стоит маркировка: «Мясо Тушеное. 1КГ»

Седой человек хлопает ее по плечу: теперь пора!

## 5

— Зачем тебе это?! Чего ты их накручиваешь?! Зачем тебе этот идиотский поезд?! Отец Даниил отбрасывает от себя Егора, ногами отпихивает его. Они сидят друг напротив друга на полу, тяжело дыша.

— Поезд? Поезд, мальчик, должен проехать в Москву.

— Почему?!

— А в нем вот такие же, как эти двое! Такие же, как те, которых ты на том берегу видел. Одержимые!

Егор вскакивает, отец Даниил поднимается тоже. Егор к нему шаг — он тоже шаг, от Егора. А потом бросается на Егора и плечом оттесняет его с прохода. Егор, оскальзываясь на паркете — таком же еловом паркете, как во всех коммунальных квартирах — бросается к двери, чтобы отрезать отцу Даниилу путь, но тот вместо этого одним скачком влетает в комнату — где в изоляторе устроена его спальня.

Егор колотит в дверь.

— Жорка! Открывай, сука!

На лестнице крики, беготня, но к двери никто не подходит. Тогда Егор делает шаг в комнату к попу. Тот стоит у окна, плечи ходят вверх-вниз — никак не может отдышаться.

— Зачем тебе поезд пропускать?! Что, они вылечат их там, в Москве?!

— Лечить?! Не-ет!

Отец Даниил качает пальцем.

— Они их там не будут лечить. Мы-то пытались одержимых лечить. В обители нашей. Пытались усмирять. И плоть умерщвлять, и заговаривать, изгонять бесов. И так просто... В тишине, в покое. Нет. Ничего. Затихнуть могут, сколько-то пробудут тихими, а потом опять. Все обратно сатанеют. Один раз до конца послушал молитву — все! Если человеком единожды бесы овладеют, то это навсегда. До самого конца.

Егора начинает знобить. Волосы на загривке поднимаются. Если бы он не видел сам тех людей в реке... Тех людей на мосту... Они ведь не от чего-то бежали, вдруг понимает он. Они бежали к чему-то. Не откуда, а куда. Сюда. На этот берег. На Пост. Мужчины. Женщины. Дети. И только река их не пустила. Отсекла их и уморила.

Он стоит как вкопанный.

– А что тогда? Зачем?! Зачем их – туда?!

Поп смотрит на Егора испытующе. Кивает. И выговаривает – ровно, глухо, не давя ни на какое слово и ни на какой слог:

– Зачем. Затем, чтобы они сожрали эту вашу Москву. Как сера огненная, которая пролилась на Содом и Гоморру за великие грехи городов этих. Чтобы не было никакой больше Москвы.

## 6

Маруся неохотно просыпается от протяжного гудка тепловоза. Просыпается не сразу – гудок зовет ее из топкого забытья, но сначала притворяется частью сна, который она смотрит. Сна, в котором она студентка и бежит на вокзал, чтобы встретить там приехавшего к ней из Перми Никиту. Поезд уже подошел – вот он, гудит, и скоро поедет дальше, в Ярославле стоит двадцать минут, но ей никак не получится за эти двадцать минут добежать до вокзала: гололед, тротуары и дороги скользкие, приходится ступать очень медленно и осторожно. Хорошо, что ноги хоть ходят, думает Маруся, слава богу.

Но поезд гудит и гудит – как будто именно ей, словно именно ее ждет – все остальные уже встретили своих жен и мужей, а ты, Маруся, все никак не забережь Никиту, задерживаешь нас, смотри, не станем тебя ждать и увезем его от тебя навсегда.

Гололед во всем виноват, гололед, плачет поезду Маруся, подождите, я бегу как могу, не увозите, не забирайте. Плохой сон, липкий, тревожный. Потом становится уже слишком все по-настоящему, чтобы можно было спать дальше, и она открывает глаза.

В комнате темно, в прихожей темно. Маруся хочет нащарить выключатель прикроватной лампы, но не может достать его.

– Никита! Никита! Включи свет!

Потом она вспоминает, что Никита сегодня ночью ушел в дежурство, так что с ней должна была остаться Мишель.

– Мишелька! Ты спишь? Слышишь меня?

Поезд продолжает гудеть. Во дворе гам, беготня. Люди кричат друг на друга. Маруся не может ничего. Мишель не просыпается, и Маруся, накричавшись ее, понимает, что той нет дома.

Чужие ноги и чужое тело валяются под байковым одеялом. Страшно быть одной. Маруся начинает, чтобы успокоить себя:

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твое. Да придет царствие твое...»

Но вместо этого в голову лезет Есенин, на беду затверженный пивочный Есенин:

Вечер, как сажа  
Льется в окно  
Белая пряжа  
Ткет полотно

Пляшет гасница  
Прыгает тень  
В окна стучится  
Старый плетень

Липнет к окошку  
Черная гать  
Девочку-крошку  
Байкает мать

Взрыкает зыбка  
Сонный тропарь  
Спи, моя рыбка  
Спи, не гутарь.

Маруся досказывает этот стих и сразу начинает его заново, потому что не получается никак от него отделаться.

## 7

Телефонист отвечает не сразу, Полкан успевает подумать — «Этот с кем? Со мной или против?» — но все-таки отзывается.

— Да, Сергей Петрович.

— Кто это? Цыпин? Привет. Привет, Санечка. Давай Москву скорей.

А сам боится: соединит его Цыпин с Москвой, или пошлет сейчас к едрене фене и отрубит? Сейчас только на Москву, только на гребаную эту Москву, которая и завела его в такое положеньице, только на нее, родимую, вся надежда.



– Так точно, Сергей Петрович. Соединяю.

Полкан смотрит в окно – во дворе почти никого не осталось. Кто-то попрыгался по квартирам и пережидает бунт, кто-то бежит в поле. У тепловоза какая-то возня: кажется, эти в плащах передают что-то дозорным, не стесняются света фар. Полкан прикладывает к полевому биноклю: ящики. Те самые ящики с консервами.

– Вот сукины дети!

Идут медленные гудки. В Москве ночь, там люди любят ночью спать, а днем вкусно кушать, там церкви с малиновым звоном, бляха, там рестораны с певичками, там Пироговская, мать ее за ногу, больница, там казачьи, сука, патрули, там все красочкой свеженькой покрашено, подойдите уже кто-нибудь к телефону, бляди вы бляди!

– Москва-Восток. Рубчик у телефона. Слушаю.

– Слышишь, Рубчик? Это Ярославль! Пирогов! Я звонил днем давеча! У меня тут ЧП! Насчет поезда. Пропускать или нет? Поезд с туберкулезными. Мне целый день решения не было. Теперь у меня тут люди с винта слетели!

– Поспокойнее. Поточнее. Что произошло?

– У тебя какое звание, Рубчик? Ты кто?!

– Лейтенант.

– Люди требуют пропустить этот состав к вам в Москву! Там постарше есть кто-нибудь? Майор, бляха, хотя бы?!

– Сейчас нет никого. Я передам утренней смене.

– Кто вместо Покровского?! Давай звони тому, кто вместо Покровского, и говори, что в Ярославле бунт будет, если срочно не будет решения!

– Я не уполномочен... Вместо Покровского никого не назначили. То есть, назначили, но сняли.

Полкан рукой стирает со лба пот. Затылок ломит безбожно. Телефон, который он уже швырял об стену, дышит на ладан. Динамик болтается на красном и синем проводках.

– Рубчик! Звони куда-нибудь, еб твою налево! Слышь меня?!

– Успокойтесь. Я слышу. Я попробую.

Он переключается. Гудок. Гудок. Гудок. Гудок. Гудок.

Полкан подходит к окну. Телефон продолжает сломанно пищать на столе. Открывает окно: слышит Тамирин голос.

– Егоооор! Где ты? Егооооор!!

Гудок. Гудок. Гудок. Подходят.

– Слушаю.

Полкан весь опять подбирается, с нуля объясняет: Ярославль, Пирогов, поезд, туберкулезники, решение по пропуску, угроза бунта.

– Я не очень понимаю, почему вы сюда звоните. Вам в санитарный контроль нужно звонить. А лучше бы и телеграмму. Но там вряд ли сейчас есть кто-то... Вы вообще в курсе, который час?

– Я в курсе, блядь! Мне нужно сейчас решение! Мне нужно сейчас, прямо сейчас, ебанный рот, решение!

– Не надо в таком тоне со мной разговаривать. Вам все объяснили! Ждите...

– Я не буду ничего ждать! Вы не можете там ничего решить! Ни хера там решить вы не способны!

– Тогда принимайте решение сами и под свою ответственность!

Полкан отрывает трубку. Дышит, считает до пяти. Возвращается.

– Я-то приму. Идите на хер, вот мое решение. Чтоб вам всех там пересажали на хер следом за Покровским, гнид штабных! С-скоты! Твари!

Он стискивает трубку так, что та трескается. И аккуратно укладывает ее на бежевое пластиковое ложе.

## 8

Мишель не сводит глаз с банок, которые ей вручили.

Перед тепловозом в свете фар копошатся люди. Спешат, сгружают с остановившегося рядом трактора рельсы, многоножкой тащат их к гравиевой насыпи, исчерченной пустыми шпалами, надрываются — и устанавливают на прежние места.

Работают быстро, не глядя в слепящие лучи, не задавая больше вопросов. Люди в плащах стоят перед локомотивом, отрезают рабочих муравьев от вагонов. Всем нужно, чтобы поезд проехал как можно быстрее, чтобы все это уже кончилось.

Седой отошел командовать своими.

Мишель поднимает за руку и ее тянет к людям другой человек — моложе первого, выше него. В руках у него планшет, при помощи которого он торговался с местными. Мишель не хочет уходить, цепляется глазами за затуманенный вагон.

– Там был Саша! Куда вы его везете? Куда вы везете Сашу?!

Человек пишет ей в планшете: «Иди домой». Мишель выхватывает у него стеклянный прямоугольник и дрожащим пальцем выводит на экране: «Куда вы едете?»

Он качает головой и карябает: «В Москву».

Мишель моргает, стирает его буквы и заменяет их своими: «Зачем?»

Тот отвечает: «Уходи! Тебе тут нельзя оставаться». И потом еще: «Надо быстрее. Пока ты тоже не стала одержимой». Стирает, спешит — «Это заразно!».

Мишель всматривается — кажется, молодой мужчина. Она тянется пальцами к его лицу, трогает его щеку — не знает, как попросить иначе. И просит в планшете: «Это болезнь? Их там вылечат?»

Человек отводит планшет в сторону, чтобы осветить сжавшуюся от ужаса Мишель планшетным экраном, и читает в синеватом экранном свете ее лицо. Потом отвечает: «Нет. Это не болезнь»

Мишель набирает: «Зачем тогда вы тут едете?»

«Москва нас этим заразила. Мы должны им это вернуть обратно».

До Мишель медленно доходит: они везут таких, каким стал ее Саша, каким стал ее дед, в Москву, не чтобы их там лечили. Они хотят передать этом кошмар в Москву. Заразить этим проклятием ее любимую Москву!

«Мы не хотим вам зла! Нам просто надо проехать!»

Она отталкивает от себя планшет со страшными словами и неслышно кричит:

— Нет! Нет, нет, нет, нет!

Впереди, наверное, уже уложили последний отрезок рельсов, люди стоят на четвереньках, колотят беззвучно кувалдами по стальным костылям, пришивают рельсы к шпалам; седой снова проходит мимо, приказывает своим возвращаться в тепловоз — рукой сгребает их с путей. Только молодой остается рядом с Мишель — может быть, никак не может перестать смотреть на ее лицо.

— Нет! Не смейте! Не смейте! Нельзя!

Нельзя ее Москву — Москву с Патриаршими прудами, с зимними катками и летними парками, с гудящими ресторанами и танцами на всю ночь, с Шашиныными родителями, умными и добрыми людьми, которые ждут, все-таки ждут ее с Шашиныным ребенком внутри, Москву, где живет еще дядя Миша с женой, где могли и ее, Мишель, мама с отцом где-то спрятаться и спастись, Москву, от которой у нее остались только черные картинки в сгоревшем телефоне, Москву, в которую Мишель собиралась вчера идти и всего через неделю до которой могла добраться — губить, нельзя чтобы в нее привезли это!

— Нет!

Мишель отшвыривает вымазанные в солидоле банки с тушенкой — точно такие же, как те, которые ей дарил ее Саша. Отпихивает их от себя, как ядовитых многоножек, как будто солидол жжется.

Человек вздергивает ее вверх — силой ставит на ноги.

— Дедушка! Саша! Нет! Не смейте!

Но он, потеряв терпение, тащит ее к заставе.

## 9

Егор краем глаза видит, как Полкан снова возникает во дворе. Он подскакивает к окну ближе и кричит, надрываясь, чтобы перекричать беспрестанно гудящий поезд:

— Их нельзя пускать! Нельзя их пускать!

Полкан вскидывается.

— Егор? Ты, что ли?! Ты где?!

— Они там все такие, как Кольцов! Они одержимые! В поезде! Их нельзя пускать!

— Тихо!

Егор оборачивается на монаха — и проглатывает язык. Тот стоит в трех шагах и держит его на мушке: в руке пистолет.

— Отойди от окна.

Егор слушается. Ладно, ладно. Полкана он предупредил — и тот услышал. Но стоит ему сойти с зарешеченной трибуны, как ее занимает поп. С Егора он ствола не сводит, а Полкану вниз говорит:

— Не пропустишь поезд — застрелю его. Поезд уедет — отдам его тебе. Иди к себе! Не принуждай меня!

Полкан в ответ ревет, как раненая зверюга:

— Не трожь пацана! Слышишь, ты? У меня пульт в кармане! Мост заминирован! Если что — жму на кнопку! И прощайся со своими туберкулезниками! Все в речку полетят!

Егор дергается — монах стреляет.

Вспышка, грохот, брызжет штукатурка, звон в ушах; сердце сжимается в точку; мимо. Отец Даниил говорит ровно:

— Не заставляй меня. Зла на тебя не имею, но еще раз — и все! — и во двор швыряет Полкану. — Он жив! Но еще раз... Еще только один раз! И все! Ясно?!

Егор трясет головой — вытряхивает из нее звон.

— Не надо! Понял! Егор! Живой?! — зовет во дворе Полкан.

— Живой! Да! Что там мост?! Не взрывается?

— Не работает! Хер знает, что они там напортачили! Надо идти разбираться!

Но монах кричит не ему, а застрявшему во дворе Полкану:

— Пропусти его! Тебе-то что?! Пускай катится их Москва в Преисподнюю! Пускай сгинет! Как вся Россия из-за этой чумы сгинула! Думали, всех вытравили? А мы их — их же бесовством!

Егор пытается понять:

— За что?!

Но монах ему не отвечает — он глазами там, у моста, где поезд. А поезд вдруг замолкает. И потом дает два коротких гудка. Кто-то кричит внизу:

— Отправляется! Отходит!

Егор поднимается — можно еще прыгнуть на этого безумного. И кричит Полкану, отворачивая лицо от попа:

— Слышь меня?! Иди! Иди, рвани их к херам! Я разгребусь тут как-нибудь!

Он делает шаг к отцу Даниилу — но тот по тени Егора засекает, оборачивается рывком и скалится:

– Сиди! Чуть-чуть осталось! Зачем тебе за них умирать?! Мы только справедливости хотим! За то, что нам Москва принесла. За все горе, за все мучения! Ты же сам видел, что там, с той стороны! Что с людьми стало! Это все из Москвы в войну пришло! Москва на нас бесовскую молитву наслала! Чтобы мы сами друга друга пережрали! Чтобы людей извести, а землю сберечь!

– Что ты врешь! У вас там города! Киров, Пермь! Ты же говорил!

Отец Даниил снимает в фонарном отблеске имена городов с Егоровых губ и кривится:

– Нет там никаких городов! Ничего нет! Одни одержимые шастают, и те скоро передохнут! Думали мы, пережили напасть, думали, можно их спасти, отомолить – а нельзя! Такое зло выпустить на людей! В мир! И ради чего? Чтоб они там дальше себе сидели в Москве своей, в Кремле своем, задницей окаянной своей на троне! Забыть?! Нет! Мы-то, дураки, думали, у вас там тоже передохли все, в вашей треклятой Москве! Мы думали, везде дьявол правит, как у нас. А вы тут вот – как у Христа за пазухой, за речкой за вашей. Богу молитесь! Креститесь! И к нам еще солдат шлете, завоевывать нас. Снова оголодали, а? Ну так вот вам, кушайте! Пусть тогда нигде не будет жизни. Если чума – то пускай везде чума!

Голова у Егора вспухла и лопается. Ему кажется, что он слышит материнский голос – откуда-то далеко, из-за ограды. Мать зовет его и чего-то от него требует.

Егор смотрит на попа. Что он несет?! Егор моргает, видит топящихся людей. Моргает, видит тела на мосту. Слышит мух в липком темном гараже.

– Какого вы там бога в своей Москве молитесь? Какой бог вас на это благословит?! Нашего большего нету!

Егор делает к нему еще один упрямый шаг:

– Ну а ты-то тогда кому служишь?! Это же грех! Сам говорил! Гнев – грех!

Отец Даниил отмахивается от него, а пистолет наставляет Егору прямо промеж глаз.

– Гнев? Грех! А самая страшная из греховных страстей – гордыня! И вот за нее, за нее надо вашу Москву покарать! За гордыню! Пусть горит!

Он выглядывает в окно.

– Куда он делся?! Куда делся твой отец?!

Ушел. Все-таки послушался его – и ушел. Все сделал, как надо было сделать.

## 10

К заставе Тамара выбегает в одном халате, босая – как была. Поезд жжет глаза всеми четырьмя фарами, гудит обоими тепловозами, люди морщатся и мечутся, хотят поскорей закончить работу и прогнать состав дальше в Москву. Тама-

ра машет руками, пытается перекричать тепловозный вой, но никто ее не слышит — ее отпихивают, отшвыривают, орут на нее так же беззвучно, как она орет на них. В надрывном реве двух локомотивов тонет все.

Тамара уже видела все это. Видела в картах, когда раскладывала их для девчонки, и видела снова и снова, когда переспрашивала у карт уже сама, пыталась спросить иначе в надежде на другой ответ.

Но получалось все то же.

Карты приходили перевернутыми, суля катастрофу, пророча гибель. Перевернутая колесница, перевернутый верховный жрец, перевернутый дьявол. И башня, поражаемая молнией — предзнаменование неизбежного, окончательного краха. Она видела в них то же, что видела сейчас — приползшего из-за реки громадного ядовитого змея со сложенным капюшоном. Змея, который уткнулся в преграду на этом берегу, но переполз ее и устремился дальше, чтобы сожрать весь мир.

Только перевернутого жреца-лжепророка она не так поняла. Думала, это карты о ней самой говорят. Мол, остановись, хватит каркать. Несешь чушь, путаешь людей, пугаешься сама — и все зря. А это карты об отце Данииле ее предупреждали, это его пророчества называли ложью и его веру — фальшью.

Но может ведь быть и так, что через карты с ней дьявол говорил, все это время с ней говорил Сатана, которому она открылась, потому на отца Даниила и поклеп был? Чтобы на святого человека ее, дуру, науськать? Как разобраться?

— Прости, Господи, великое прегрешение... Прости, Господи, великое прегрешение...

Тамара смотрит, как люди суетятся: докладывают последние рельсины, доколачивают в землю последние костыли — Жора Бармалей, Сережа Шпала, Свиридовы оба, Кацнельсон, Ленька; тащат от поезда проклятую тушенку, которую Тамара видела в припадке — тушенку, которой дьявол людей за службу рассчитывает.

Ведь она хочет спасти, спасти — свой дом, своего сына, глупых этих, несчастных, голодных людей... Неужели она ошибается? Где же тут грех?! В чем?!

Нет, она права.

Тамара не знает, какое в этом поезде зло, но зло пышет от него как жар от домны, расплзается, клубясь, в стороны, как чернила от каракатицы в густой морской воде; его нельзя оставлять тут, потому что оно отравит и землю, и людей, но ни в коем случае его нельзя и пропустить дальше на запад — туда, где стоят живые большие города.

Тепловоз умолкает на секунду — и тогда у поезда появляется новый голос, жуткий какой-то шепот, невнятный шелест, который идет из чрева вагонов; но этот голос хотя бы не так громок, и Тамара может его перекричать:

— Не делайте! Не надо! Я видела, что будет! Беда будет! Ленька! Полечка!

– Уйди, ведьма!

– Не надо! Сережа! Останови их! Где ты?!

Но тут локомотив гудит-глушит этот шепот снова, потом состав вздрагивает, в судороге или в пробуждении – дрожь от него пробегает вперед по рельсам, как ток по проводам – и сдвигается с места.

Тамара видит, что дальше к заставе еще не все собрано, но змею не терпит, он хочет заглотив еще кусочек земли, который глупые люди кладут ему в пасть. А как его остановить?

Рядом стоит трактор, но Тамара не умеет его водить, она не сможет выкатить его на пути, да трактор и не помешает этой машине; та сметет его в мгновение ока.

Тащатся уже с последней стальной пластиной, устилают ей дорогу поезду.

И тут Тамара видит Мишель, которую волокут люди в плащах. Та упирается, пытается бить их кулачками – и вдруг вырывается, бежит вперед, и бросается наземь прямо перед ползущим на нее тепловозом.

Кидается на рельсы, обнимает шпалы, голову кладет под круглые ножи. Люди в плащах – к ней, поезд притормаживает, кажется, она вцепилась мертвой хваткой – и готова сейчас умереть по-настоящему.

Тамара бежит босыми ногами по острому гравию к трактору – и в прицепе вдруг видит канистру, из которой его заправливали. Больше ничего нельзя. Хватает канистру – в ней плещется что-то. В кармане зажигалка есть. Все, больше другого ничего не успеть.

Она с этой канистрой, с зажигалкой – к людям, которые ровняют тот самый предпоследний-последний рельс.

– Уйдите! Уйдите!

Люди отшатываются. Не слышат ее, но понимают.

Она видит – подбегает ее Сережа, измазанный чем-то, орет как рыба на остолбеневших людей. Потом – на нее.

И тут – Ленька Алконавт с плеча сдергивает автомат и на обоих наводит. И Свиридов тоже целится из своего.

Полкан хватается Тамару за руку.

– Пускай едет! Насрать на Москву! Гикнется, и хер с ней! Мы не будем тут ради этих скотовдохнуть!

– Пусти! Нет!

– Тамара! Не сходи с ума!

– Нет! Не смей! Ты обещал мне! Обещал поверить!

Ленька замахивается на нее прикладом, и Тамара чиркает зажигалкой – потому что не может больше угрожать пустыми словами. Все отскакивают от нее – кроме Полкана.

– Зажгу!

Мишель наконец сдирают с путей, оглушив ударом — и отбрасывают вон. Поезд съедает еще метр и еще метр.

— Тамара!

— Нет!

— Ведьма черножопая!

Ленька вскидывает еще раз автомат и стреляет — в нее; пули жгут живот; Тамара успевает поднести огонь к горлышку; успевает сказать «Прости, господи»; и все. Потом — свет.

## 11

Полкан трет голову — пахнет паленым волосом, горелым мясом; визг еще стоит в ушах, но это уже эхо. Он встает на четвереньки — видит факел. Факел недвижим, лежит на земле. На бушлате пляшут синие язычки пламени. Полкан бьет их отупело. Поводит башкой — видит свет. Поезд катится на него, катится и гудит, сгоняет его с рельсов, требует пропустить.

Полкан оступается, выпрямляется, выравнивается.

Вспоминает, что это за поезд... Вспоминает, что это за факел.

И — на непослушных кривых ногах, веселя синие язычки, бежит вперед — впереди набирающего ход локомотива. Последние рельсы перед поездом уложены, и теперь ему больше нечего ждать.

За Полканом никто не гонится — люди раскиданы взрывом, те, кого не посекает железом — сидят на земле, шарят вокруг себя, ищут, за что им на этой земле зацепиться.

Полкан медленный, ноги хилые, голова пустая — и в ней, как в железной бочке, только одно болтается в ржавой темной воде: Тамарины слова. Что он обещал поверить. И что не может снова предать.

Люди в поезде смотрят на него из своих окон-бойниц свысока и не понимают, куда он хочет от них убежать и почему ему не сойти с путей. Они догоняют его и подгоняют, рев не стихает, лучи лупят ему прямо в спину.

А Полкан знает, куда и знает, зачем.

По рельсам — чтобы задержать их хоть чуть-чуть.

Он собирается с силами и делает последний рывок.

Чтобы оказаться у стрелки хотя бы за несколько секунд до уже набравшего ход поезда. За несколько секунд до того, как люди в локомотиве, устав жалеть чудака, просто смахнут его с дороги.

Он успевает. Успевает добежать и рвануть тяжелый железный рычаг. Переключить стрелку.



Поезд проносится мимо; люди в кабине еще не успели понять, что Полкан только что сделал, и вместо того, чтобы заклинить тормоз, наддают пару. Перестукивая колесами, пролетает мимо один вагон за другим. Черные страшные вагоны с замазанными окнами, с бортами, изрисованными крестами, увешанные какими-то оберегами, исписанные трафаретными заклинаниями, украшенные изорванными знаменами и безликими хоругвями. Локомотивы ревут, а вагоны шепчутся и раскачиваются не в такт.

Поезд теряется, путает дорогу — и вместо прямого тракта до Москвы несется на всех парах по короткой боковой ветке к воротам Поста — на таран. Полкан провожает его пьяным взглядом и орет ему вслед:

— Ну... Ну! Теперь ты довольна? Теперь ты довольна, бляха ты муха?!

# Все ОК

## 1

Подступы к воротам скрыты коммунальными хрущевками, поэтому кажется, что поезд — громадный, палящий четырьмя слитыми в одну фарам, скрежещущий тормозами и оглушительно гудящий — появляется на Посту из ниоткуда.

Ворота все еще распахнуты, и он влетает в них враз, за секунды, влетает и сразу заполняет собой двор, проносится по стрелке к заводу, сломя голову рвется дальше — и там сходит с рельсов, потому что их не хватает на всю его огромную длину.

Он наполняет собой Пост — инородный, жуткий до тошноты. Грохот, рев, лязг, вой, грохот взрываются сразу, в одно мгновение — под окнами и у Егора в голове.

Головной локомотив заваливается набок, следом за ним спиралью начинают закручиваться вагоны. И через какие-то несколько секунды громыхает взрыв — искореженный, начинает полыхать один из первых вагонов.

И все это время тепловоз, даже подсеченный уже, продолжает истошно гудеть.

Отец Даниил стоит у окна, парализованный его появлением и его крушением. Егор успевает — подскочить, вцепиться в повисшую руку, выкрутить из нее пистолет. Монах взвизгивает, хватается Егора за волосы, пытается выцарапать ему глаза — но уже поздно. Егор отпихивает его, отпрыгивает — и тычет в попа трясущимся пистолетным стволом. Кричит:

— Отвали! Отвали! Убью!

Тот мечется, будто от дула идут связанные в жгучий пучок лучи, пытается извернуться, чтобы выскользнуть из-под него, но потом замирает. Тяжело дышит, впалая грудь вздымается так, будто в ней каркаса нет. Замахивается на Егора рукой — либо чтобы ударить, либо чтобы проклясть — но потом бросает ее бессильно.

Он возвращается к окну, берется руками за решетку.

— Теперь все равно. Они уже здесь, так что все равно. Делай, что хочешь.

– Скажи своим, чтобы выпустили меня!

Но отец Даниил не смотрит на него – а значит, и не слышит. Приближаться к нему Егор опасается – это все может быть уловкой, нельзя дать ему снова завладеть пистолетом. Егор отходит к запертой входной двери и колотит в нее кулаком.

– Эй! Кто там?! Отоприте! Слышите? Але!

На лестнице кто-то кричит, гроыхает дверь подъезда – но до изолятора никому нет дела; а ведь нужны еще и ключи!

– Лезут!

Отец Даниил, на лице багровые отсветы, показывает пальцем на что-то во дворе, смеется и бормочет:

– Лезут. Что посеяли, то и пожнете. Гибель граду сему. Буря. Буря.

Егор, не спуская его с неверного прицела, тоже подходит к окну – и видит. Один из вагонов разошелся, вывернулся наружу неровно рваным железом, как ножом открытая консервная банка, из провала дышит огонь, и что-то там внутри копошится, черное и живое – копошится молча и бесстрастно, хотя в тысячеградусном аду должно бы было корчиться от боли.

– Это они там? Там эти?! Одержимые твои?!

Они там, и они сейчас выберутся наружу.

– Останови их! Останови их, слышишь?!

Егор хватает его за ворот, трясет, орет ему в его смеющуюся рожу:

– Их надо остановить! Прикажи им! Давай, гад! Ну?!

Монах болтает головой:

– Остановить?.. Их нельзя остановить, в том-то и дело. Это нельзя остановить. Думаешь, они кого-то слушаются? Только сами себя, только друг друга! Ты смотри, смотри! Не отворачивайся! Смотри, что вы выпустили в мир! Вы! Выпустили! А теперь оно вас же и сожрет!

Из пламени вываливается обугленный человек – руки копыт черным, лицо как будто дегтем измазано. Но вместо того, чтобы верещать от дикой боли, он что-то мерно говорит – еле слышно сквозь гудение перевернувшегося тепловоза. Егор отталкивает отца Даниила, подходит к решетку ближе, вслушивается...

– Что он говорит?

Тот снова заливается смехом, и вдруг давится им. Смотрит на Егора, на пистолет в его руках. На запертую снаружи дверь. Снова на Егора.

– Закрой окно! Не слушай его!

– Что?!

– Пока до конца не слышал! Это молитва! Бесовская молитва! Услышишь – и...

Этот обугленный, этот живой труп стоит на своих черных культах, поводит головой из стороны в сторону, ищет, кому сказать, кто услышит – что-то бессвяз-

ное, что-то бессмысленное — до Егора сквозь рев тепловоза долетают только обрывки, но он чувствует, что это не просто бред. Чувствует кожей, что у этих рваных слов есть какая-то своя сила, какая-то своя воля, что они — как чумные бактерии, которые требуют от своего носителя шагать, бежать на пределе сил, искать других людей, чтобы потереться о них, поговорить с ними, чтобы впитаться в них — чтобы передать эти бактерии им; и только после этого носителю будет дозволено сдохнуть.

Егор догадывается об этом — и в то же время не может свести с обугленного глаз.

— Не слушай! Не слушай!

Егор переводит на него свой взгляд — отец Даниил кричит как будто из-под воды, смысл за его звуками просматривается трудно, как будто тоже — сквозь мутную озерную воду.

Беда в том, что отца Даниила Егору слушать больше не хочется, а хочется прислушаться к словам обугленного человека во дворе, к словам, которые обладают такой силой: что это может быть за молитва, что за заклинание?

Он отталкивает безумного попа и снова утыкается в открытое окно.

— Что? Что ты говоришь?!

Но тут обугленный отворачивается от него — чтобы говорить к кому-то другому, и Егор чувствует почти ревность. Кто там его отвлек?

Полкан.

Он входит, шатаясь, во двор; в руке отнятый у кого-то калаш, взгляд ошалелый, лицо опалено и измазано в саже — как будто он тоже горел. Разошедшийся вагон он замечает сразу — и жуткого человека, который вылез из пламени. Идет к нему, что-то спрашивает, машет рукой.

Егору хочется, чтобы обугленный говорил только с ним, чтобы он успел досказать ему свою правду до того, как умрет — видно же, что ему остались какие-то минуты, если не секунды, а Полкан тянет, сволота, одеяло на себя! Ему тоже хочется — неужели Егор позволит ему... Он хватается за прутья и вопит:

— Эу! Эээй! Ну-ка отвали от него! Он мой! Мой! Эй!

Полкан поднимает к Егору свою тяжелую плешивую башку, хмурится, не сразу узнавая Егора, не сразу понимая, чего тот хочет.

А потом забывает о Егоре и тупо шагает дальше к обугленному, пока не останавливается, вперив в него свой взгляд почти в упор, с расстояния в десяток шагов. Трясет головой.

Отец Даниил смотрит на него тоже, умоляя Егора:

— Конец ему! Заговорят его! Отойди ты! Сам свихнешься и меня погубишь!

Но Полкан заговорам не поддается. Поднимает пудовый автомат, и криво, внахлест, стегает обугленного дымными пулями. Тот замолкает и обваливается сразу, как расколдованное чучело, никогда и не бывшее по-настоящему живым.

Егора сразу отпускает — и ревность, и ненависть, и жажда слушать.

Полкан машет ему непослушной рукой. Разворачивается и идет к их подъезду. Егор пихает отца Даниила и торжествующе хохочет:

— И чего?! Конец ему, ага? Вон он как! Видал?! Погнали наши городских!

Тот мотает бороденкой: нет, нет, нет.

— Ничего не поможет!

— Но ты-то! С тобой-то ничего! И с тобой, и с этими со всеми, в поезде!

Егор показывает отцу Даниилу большой палец: вот он ты, нормальный! Тычет в него пистолетом, как палкой в загнанного зверя, чтобы позлить, позлить эту лживую тварь. Тот кривится опять:

— Я глухой! И они глухие! Глухие, понимаешь ты, болван? Думаешь, от природы? А? Нет, по своей воле! Только, чтобы не заразиться этим! Только чтобы не слышать этих! Другого пути нет!

— Врешь!

— Иглой! Проволокой раскаленной! Перепонки — насквозь! Проткнуть! Вот так! Слуха себя лишить! Хочешь собой остаться? Только так! Ты — хочешь?!

Егор бьет его по протянутым рукам и пятится назад в страхе, хотя заряженный пистолет в руках у него, а не у сумасшедшего попа.

## 2

Поезд, набирая ход, втягивается в точку. Мишель поднимается с острого гравия и бежит за ним, стучит ободранными кулаками в черные исчерканные безглазые вагоны, стучит и ничего не слышит: ни своих ударов, ни стука колес, ни гудка локомотива. Из-за этой ватной тишины ничто не кажется ей реальным: все как во сне. Во сне проще поверить во все, что она увидела. В деда, в Сашу, в то, что кто-то скоро сотрет с лица земли ее Москву.

Она умоляет поезд остановиться, угрожает ему — и все больше от него отстает. Вагоны беззвучно проскальзывают мимо нее один за другим, пока не уходят все. И только, когда она уже понимает, что у нее ничего не вышло — что-то случается. Вместо того, чтобы катить дальше на Москву, состав сбивается с пути и на полной скорости заворачивает к Посту.

Но Мишель, едва остановившись, снова переходит на бег — опять за составом, опять к нему. Она должна помешать людям в поезде любой ценой. Если не остановить, то задержать их — на столько, на сколько это возможно.

Змей свивается в полукольцо и несется к открытым воротам, из-под его колес брызжут искры, он понял, что его заманили в западню и хочет затормозить, но не успевает. Мишель улыбается, кивает сама себе. Пусть лучше он сожрет Пост, чем спохватится и вырулит обратно на Москву!

Колени сбиты, лодыжки жгутся при каждом шаге, но Мишель упрямей своих ног, она заставляет их двигаться, как страшные люди в поезде заставляли свои переломанные руки бить зарешеченные окна.

Сил нет; это бег со скоростью ползущего; она вбегает в ворота, когда черный поезд уже давно ворвался на Пост. Когда уже полыхнуло, вспыхнуло над стеной короткое зарево.

Мишель вбегает в ворота и видит Полкана, и видит обгоревшего человека, который выбирается из распавшегося вагона. Мишель бредет к коменданту, хочет объяснить ему, кто, что это там, в вагонах — но замечает, что обгоревший уже первый рассказывает тому что-то.

Она вспоминает, как это было с ее дедом и как будет сейчас. Опрометью бросается назад — к воротам. Там стоит обалдевший Антончик, забытый часовой, смена которого так и не кончилась. Закрыть ворота перед поездом он не успел, что делать теперь, не понимает. Спрашивает по-рыбьи что-то у Мишель, но она не может ничего объяснить.

Она просто хватается обеими руками за створу железных ворот и со всех своих муравьиных сил толкает ее от себя, потом перехватывает и тащит — ногти ломаются, кровь сочится из царапин на ладонях, но боли не слышно, как не слышно тут вообще ничего. Она загоняет одну створу до конца и вцепляется в другую — тут уже Антон приходит ей на помощь, так и не дождавшись от нее ответов на свои рыбьи вопросы.

Они навешивают засовы, а когда все кончено, Мишель обнимает Антона благодарно — и оборачивается назад.

От порванного горящего вагона ей навстречу бредет Полкан. Улыбается, отклоняется, уходит куда-то, не видит, что провал в поезде за его спиной снова набухает.

Локомотивы сорвались с рельсовой резьбы и опрокинулись на бок, за ними повалились некоторые вагоны. У локомотивов кто-то копошится, пытается выбраться. А когда они выберутся, что будет?

Ей не страшно за себя, не страшно, что она заперла себя с ними внутри: ее дело еще не доделано. А потом... В беззвучном мире и смерть, наверное, незаметней.

Из окон коммунальных домов пляшут немые люди — показывают друг другу поезд. Воронцов, Шпала, Дуня Сом, оба Морозовых. Из подъезда выглядывают чьи-то дети, Мишель щурится, чтобы узнать — Манукянов дочка, Алинка, и Аркашка Белоусов с маленькой Соней — держит детскую руку с заглавременно вывертом, так, чтобы сразу можно было больно сделать, если Соня попробует хоть шаг в сторону сделать.

Сонечка смотрит на Мишель так, как всегда на нее смотрит — с тихим восторгом и по-заговорщически. Что-то складывает своими губками — неслышно. Показывает на поезд, а потом большой палец кверху.

Мишель мучительно соображает: это что значит? Это значит, она Сонечку тоже тут заперла? С этими, в поезде? На себя плевать, но они... Как она не подумала... А сейчас... Их тоже сейчас... Их тоже?

– Уведите! Уведите детей!

Она бросается к еле стоящему на ногах Аркашке, задирает голову, ищет Манукьяновские окна — где там Карина, мать Алинки — и ей, и им всем — кричит из всех сил:

– Прячьте детей! Уводите! Слышите?!

Но даже сама себя не слышит. Кричит так, что голова раздувается, разрывается, ломит, а уши мертвые: боль чувствуют, а звук нет.

Подбегает к Аркашке, спрашивает его, хватая за руку Сонечку — Аркашка пляснет на нее, как на полоумную, отпихивает от своей дочки, тянется еще пинка Мишель отвесить, заграбастывает своего ребенка — не отдам! — и тянет за собой, смотреть на поезд поближе. Соня оглядывается на Мишель через плечо, отец одергивает ее, как строгачом: рядом!

Надо к училке! Ей поверят.

Мишель взлетает по ступеням, колотит кулаками в дверь квартиры Татьяны Николаевны. Колотит, потом хватается за дверную ручку, дергает ее вверх-вниз, кричит:

– Татьяна Николавна! Откройте! Это Мишель!

Какие-то люди стоят у нее за спиной на лестничной клетке — низкорослые Никишины: на нем резиновые шлепки и дырявый свитер, а Шурка в мужниной футболке, теребят Мишель — что случилось? Но ей не они нужны, а учительница.

– Татьяна Николавна!

Наконец, та открывает. Спрашивает что-то — но Мишель не понимает ничего.

– Соберите детей! Надо детей спрятать! Надо их убрать от этого поезда! Там заразные!

Она хватается учительницу за рукав, за руку, тянет за собой, та гладит ей щеки, пальцем проводит по мочкам ушей — пальцы становятся мокрыми и красными. Глаза жжет и застит, бесполезные уши сочатся горячим.

– Вы же их учитель! Вас послушают! Пожалуйста! Это прямо сейчас нужно! Как ее убедить? Как?!

### 3

Дверь распахивается. В прихожей изолятора расплескивается свет с лестницы. Егор выглядывает из комнаты — и тут же мимо него туда прорывается, оскальзываясь со спешки, монах. Егор выбрасывает руку, хватая его за черные лохмо-

тя, но те трещат, оставляя обрывок у Егора в разодранных пальцах — а отец Даниил выпутывается и одним скачком оказывается в дверях.

И — падает навзничь. Ползет по полу, утираясь: нос разбит, кровь в пригоршнях не помещается. Смотрит загнанно: выход перекрыт. На пороге стоит Полкан, кулак отряхивает. Егор подскакивает к нему.

— О! Живой! — улыбается ему Полкан. — Ну, жив — и слава богу.

— Ты видал? — орет Егор. — Это как так вышло?! С поездом?

— Ну как-как... Пришлось вот. Ничего. Там разобрались — и с этим разберемся!

— Ты видел этих, внутри? Которые одержимые! Я видел, ты...

— Да уж... Познакомились. Что, пойдём? Тут еще дел... Людей надо спрятать... Куда бы их... А то сейчас месиво начнется...

Егор кивает.

— А если в бомбоубежища? Заводские? Ну, которые ты мне тогда...

— Пум-пурум... Точно. Молоток!

— А с этим что?

Егор показывает на съжившегося в углу монаха.

— Не знаю. Кончить его? По законам военного времени. Пушку дай-ка сюда.

Егор протягивает пистолет Полкану — с сомнением. Тот берет за рукоятку, подкидывает пистолет в воздухе, примериваясь к весу, наводит на монаха. Отец Даниил весь подбирается, но лицо не прячет. Сидит, смеется.

— Чего скалишься, чмо? А?!

— Стреляй, не стреляй. Через мост не могли только пробраться. А как проехали, тут все. Получайте обратно, что нам отправили.

— А вам поделом досталось! В аду вам там всем гореть, мятежникам!

Егор трогает Полкана:

— Это... Это правда, что ль? Мы на них? Это вот — навели?

Полкан делает к монаху шаг.

— Не веришь, что кончу тебя? Думаешь, безоружного не стану?

— Харя у тебя, как у палача. А сдохнуть не страшно. Теперь, когда дело сделано — не страшно. Тут ад, там ад — нет разницы.

Егор снова дергает Полкана:

— Он говорит, надо уши выткнуть, чтобы с катушек не съехать, как те в поезде... Совсем оглохнуть. Это правда?

Он сейчас вот что понимает: ведь оглохнуть это значит... Это ведь не только перестать слышать просто мир. Это ведь еще значит музыку больше не слышать никогда. Не слышать — и не играть. Это значит...

— Это правда?!

— Да откуда я-то знаю?! — смахивает его руку Полкан.



– Но если это наши с ними так... Во время войны. Ты-то должен знать! Ты ж воевал тогда! Ты же, бя, комендант!

– Ну воевал и воевал! Больно мы лезли в эти дела! Ну, херанули они чем-то из Москвы по регионам – и херанули! Дерьмо! А бомбами там, холерой или гипнозом – какая мне-то тут разница? Они там схавали, эти, умылись кровякой, отъеблись от нас – и все, и ладненько! Кровякой красной! Аля гер ком аля гер, и пошли они все на хер!

Монах щурится, старается вглухую понять, о чем Полкан бесится. И каркает:

– Так разве? Разве сначала мы, а потом вы? Разве не наоборот было?

Полкан тогда шагает к монаху и его пихает сапогом – в живот. Егор цепляется к нему снова:

– Нет! Постой! Это что... Это кто первый-то? Это мы их? Москва их сначала? Вот этим вот? И обычных людей тоже? Там, на мосту, и бабы... И мелкие совсем... Всех? А за что?

Монах выкашливает:

– Помутить... Бесов выпустить... Бешенство выпустить... Чтобы мы пережрали сами себя, чтобы только вас не замечали там, да? За что? Не «за что», а «зачем»!

Полкан уже орет:

– Откуда я знаю?! Значит, было за что! У меня, шигаон, свой пост, а них там свой! Политику пусть политики делают! У меня допуска нету! Я сам в залупу никогда не лез, и тебе не советую, понял ты?! Все! Пошли отсюда! Много чести для этого говноеда! Как бельмо на глазу!

Егор дергает его на себя:

– А то, что мы даже не знаем, как с ними быть! Этот вон говорит, это все не лечится никак! Уши, ты понимаешь? Барабанные перепонки выткнуть!

Полкан становится против него, наклоняет к нему свою низколобую башку, кладет тяжеленную ручищу на плечо Егору, вдавливая его в пол.

– Я ничего не собираюсь. Брешет эта мразь. Надо идти сейчас и не тут стоять, не жалеть, не хныкать, надо идти и резать их, надо не дырки колоть, а молотить, надо этих уродов, надо этих нелюдей, которые младенцев рвут, фррюкт, которые на кол, на кол людей, их вот так же – на кол, другого нет пути, потому что они как язва на ладони, как бельмо на глазу, они как опарыши на мертвых, ясно тебе это или нет?!

Он вдавливая Егора все глубже, глаза у него пучатся и делаются все бессмысленней, на губах выступает белое, толстые пальцы вцепляются Егору в плечи – но не так, как если бы Полкан хотел сделать ему, Егору, больно – а как если бы он оступился на болоте и стал тонуть в трясине, а за Егора схватился и пытался удержаться.

— А мы должны их, мы их всех до последнего, от уха до уха ножичком, мшу-уугаа, глаза пальцами, церштор, мы их понимаешь ты, или они нас, мы их сладко на кол, слышишь ты, у каждого свой, морддром, и это значит...

Егор дергается раз, другой — видит, как отец Даниил отползает, а Полкан не замечает побега, Егор расстегивает пуговицы на куртке, а Полкан смотрит только ему, Егору в глаза — и у Егора начинает что-то опять смещаться, сдвигаться — а поп, змеясь мимо, ухмыляется — вот оно, вот оно, то самое, церштор, шигаон, мухи жужжат, липкая кровь, на кол сажать, красное желе...

— Надо мать, надо маму предупредить, слышишь?! Маму мою! Твою Тамару! Надо сказать ей, надо ее спасти, понимаешь?! Где она, где?! Эй! Батя! Бать!

— Как паленая шкура, как мааавет, как мясо горелое, как абадон...

В глазах Полкана затмение, одно закатывается, другое поднимается, и когда у них случается смена караула, Полкан чуть ослабляет хватку, а Егор сбрасывает куртку, тоже как змея кожу — и вперед отца Даниила, вперед качающегося Полкана — в открытую еще дверь, на пустую еще лестницу — и вон!

Отец Даниил на секунду только отстает, но успевает просунуть руку — пальцы — когда Егор с маху захлопывает железную дверь.

— Пусти! Не оставляяаа! ПУСТИИИИ!

Но Егор только сильнее, только злее — со всего бешенства, со всего страху — лупит, рубит железной дверью по этим торчащим пальцам, как будто это отец Даниил пытается из изолятора вырваться, чтобы его схарчить, а не звереющий невнятный Полкан, потом коротко дергает ручку на себя, чтобы поп смог забрать свои обрубки, и снова шваркает-громыкает дверью, звонит ей, как колоколом — БОММ!

Изнутри еще давят, еще сопротивляются, но Егор быстро-быстро, перекивая набирающего мощь Полкана, задвигает один засов, другой, крутит забытый в замке ключ — а отец Даниил изнутри колотит слабыми своими кулаками — тук тук тук... Ключ в кармане, пистолет тоже, Егор бросается по лестнице вниз.

#### 4

Татьяна Николаевна кивает Мишель — да, да, ладно, успокойся — но Мишель не может успокоиться. Она кричит ей — надо всем сказать, надо их собрать и спрятать, увести отсюда, потому что сейчас тут будет ад, дети ни при чем, но открыть ворота нельзя тоже, потому что тогда эти разбредутся... Эти — как дед, как Саша — люди в поезде, что делать, что делать — скажите вы, вы должны знать, это же ваши, ваши дети!

Она тянет учительницу к окну — вот поезд, вот вагоны, смотрите! Они смотрят: Татьяна Николаевна, Никишины, еще кто-то — сгрудились у окна, смотрят вниз вместе с ней.

Из разорванного вагона появился человек — раненый, но держащийся на ногах. Из огня он выходит как из воды, не чувствуя боли. Делает шаг к Белоусову, который стоит в десятке-другом шагов, тычет рукой в горелый воздух, пьяно удивляется, дает какой-то урок своей маленькой дочке — которая чувствует опасность, хочет убежать, но отец не пускает.

И сразу из провала выбирается еще один голый, ободранный до крови — такой же, каких Мишель видела в вагоне на мосту.

И еще один — толстяк, волосы клочками, как будто рвал их на себе, на ногах кроссовки на липучках, а больше ничего на нем нет, брюхо косыми полосами вниз висит.

У всех рты сходятся-расходятся, что-то вываливают из себя невидимое — какие-то слова; такие, как Мишель слышала на мосту — мерзко-сладкие, которые не хочешь слушать и оторваться не можешь. Такие? Она оборачивается на Татьяну Николаевну — слышите? Не слушайте!

Кроме Аркашки Белоусова еще к ним подходят — Шпала, Серафима, другие — кто-то хочет потерпевшим помочь, тянет руку, кто-то просто поглазеть. Никто не верит Мишель, никто не понимает, что сейчас тут будет. Серафима крестится, молится без звука — а все равно идет.

— Детей! Детей хотя бы!

Человек от поезда подходит к Аркаше все ближе и ближе, а тот берет и делает ему навстречу шаг — и подтаскивает за собой Соню.

Мишель распахивает окно наружу, хоть бы и руками голыми стекло выбить — и кричит Сонечке:

— Соня! Соня! Беги! Убегай!!

Соня вскидывается — услышала! Находит Мишель — машет ей.

— Беги! Беги от них! Они злые!

Аркаше это не интересно. Он на Мишель, на ее окно не оглядывается, прет упрямо к разбившимся людям, к горячей пробоине, как будто сам в нее хочет погрузиться, как будто это братья его в поезде приехали.

Те, кто вылез — потягиваются. Обычное движение, но делают его вместе, как один: и брюхатый с проплешинами, и горящая женщина, и первый раненый. Как танец. А потом — разворачиваются — к тем, кто собрался посмотреть на них, к тем, кто собрался помочь — лицом. И шажок, шажок — подбираются. Тоже — как в танце, одними и теми же движениями. Как те, которые молотили сломанными руками по решеткам. Как дед и Саша — друг о друга лбами.

— Нет! Не надо! Отпусти ее!

Аркаша еще шагает — а Сонечка вдруг отдергивается, выкручивается — слушается Мишель и отбегает чуть-чуть назад. Чуть-чуть — а дальше боится, боится совсем послушаться отца, и за ним в пекло не решается тоже. Смотрит беспомощно на Мишель.

Мишель тогда — в последний раз — кричит кровью Татьяне Николаевне:

— Соберите детей! Спрячьте!

И скорей во двор — к Соньке — маленькой, глупой, забрать, отнять ее у отца, не дать ему отвести ее в поезд, не дать загинуть.

Выскакивает в лужу, бежит по грязи, обгоняет сползающих намагниченных идиотов — Свиридову, Жору, Иванцовых — пытается их отговорить, но Соню, Сонечку ей жалче, за нее страшней.

Кто-то подходит к устоявшим на рельсах вагонам, взбирается по лесенкам к дверям; окна покрашены и зашторены, одних это пугает, других нет — вот уже какой-то пацан, Леонидовых, что ли, берется за ручку — но там, слава богу, заперто. Хозяева поезда заперли, чтобы их стадо не разбежалось.

А все равно оно разбредается.

Брюхатый равняется с Серафимой, раненый равняется с Аркашкой, горящая женщина становится напротив Шпалы — трогают их, а те не бегут никуда, те стоят и ждут чего-то. Трогают этих, с поезда. Брюхатый рвет одежду со старухи Серафимы, раненый раздевает Аркашку, женщина в тлеющей одежде раздирает свитер на высоченном Серее Шпале — и все говорят-говорят что-то, заговаривают друг друга, только Мишель этого не слышит. Ей надо быстрее, надо Соню-Сонечку украсть, утащить и спасти.

Она манит девочку к себе, но Соня боится идти — наверное, Мишель в крови, наверное, лицо у нее перекошило — и Соня начинает отнекиваться, все больше отворачивается от Мишель и все больше к отцу отклоняется, туда смотрит..

Тогда Мишель просто бросается на нее, хватая ее за руку и тащит ее за собой прочь — только бы отец не услышал, не спохватился, не обернулся.. Но нет. Он не чувствует уже, что у него воруют ребенка: ниточка порвалась.

Эти шестеро теперь, зубцы шестеренки — разом разворачиваются к другим, ко всем другим — лицом, и так же, танцем, шажок за шажком, лопоча что-то, начинают подбираться — к Жоре, к Иванцовым, к Поле Свиридовой.

Те еще не поддались, может, поезд еще гудит, перебивает голоса, и они шарахаются — не узнавая своих, отползают спиной, переглядываются напуганно — но на сколько их еще хватит?

А эти шестеро — из поезда трое и голая Серафима с пустыми дряблыми грудями, и Шпала в застрявшей на голове рубахе, и Аркаша с торчащей елдой — разом как будто просыпаются — и срываются с места, и бегут за замывшимися

людьми — прыжками, звериными скачками какими-то — а добежав, валят на-земь и колотят их головами обо что попало. Аркаша убивает Полю Свиридову, Сережа Шпала — вслепую забивает Наталью, Серафима...

Мишель хватает Алинку Манукян, которая стоит на месте и визжит, наверное.  
— Не смотри! Не смотри на них! Не слушай! Идите за мной!

А сама оглядывается.

Видит краем глаза — Аркаша падает, взмахнув руками, на неподвижную Полю. Шпала крутится, будто его стегают. А от завалившегося набок локомотива бредут, прикладываясь к ружьям, люди в брезентовых плащах.

Мишель еще успевает обоих мальчишек Рондигов за собой заманить с лестницы, говорит им, что родители зовут, что отведет их к ним — а что Рондики ей отвечают, она не знает, ей и не важно.

Надо спрятать их всех, надо их всех куда-то укрыть, пока это побоище не кончилось — потому что они-то тут точно ни при чем, им жить еще нужно, жить!

А куда их вести?!

## 5

Егор сидит в подъезде, обняв колени руками. Его бьет дрожь. В ушах стоит дикий вопль, верещание — через железную дверь насквозь просверлилось — отца Даниила. Его там убивали, и он кричал так, что весь дом слышал, весь двор слышал — потому что поезд своим гудением поперхнулся и замолчал.

Стреляют!

Егор вздрагивает, пружиной подскакивает, выглядывает из подъезда. Видит, как в соседнем прячется Мишель, с ней вместе дворовая мелюзга — Рондики и еще кто-то; кричит ей, но она не слышит его. Шаг во двор — и словно током удар. Краем глаза успевает увидеть, как на него бежит, вращая длинными, как у гориллы, руками, Сережа Шпала. Голый! Глаза выкачены, в груди и в животе красные выемки, из них толчками льется медленная кровь. Сережа видит Егора — видит его, тянет к нему руки и начинает нести ему с того места, где Полкан остановился — эту дикую их безмозглую скороговорку, ему непременно нужно Егора ей замарать, забрызгать до того, как в нем израсходуется вся кровь.

Егор бросается от него — за дом, за гаражи, и Шпала скачками несется следом, не замечая забившейся в другой подъезд Мишель. Зачем за гаражи? Почему-то туда, Егор не успевает подумать, не успевает составить план. Только одно пульсирует: надо его сманить, увести подальше от Мишель, от детей. Дети, наверное, еще быстрее слетят с катушек, чем Полкан.

Он забегает за дом — двумя рядами гаражи, из ржавых листов сваренные, крыши треугольные. Все закрыты; но Егор знает, что многие только навешивают засовы, а на замок не запирают... Раньше не запирали.

Подлетает к одной двери — висит замок. К другой — висит. Сзади плюхают тяжелые шаги, слышно, как хрипит дырявыми легкими огромный Шпала. Хрип — бормотание... Слова непонятные... Егор поворачивает на второй гаражный ряд — тупик!

И — щель! Одна дверь открыта! На себя ее, мышкой в нору — внутрь! Есть тут чем запереться? Есть?!

Один только шпингалет — с мизинец толщиной. Егор наваливается на приотставшую дверь, с силой задвигает штырек шпингалета во втулку — тот крошится рыжей трухой.

И тут же — шаги. Шаги и тяжелое дыхание. Догнал.

Егор прислоняется ухом к железу — тут он? Иди дальше пошел?

Хрипит. Стоит. Тут. Догнал и остановился. Тоже прислушивается...

За домами гремит стрельба, кто-то истошно вопит, поезд пробует снова гу- деть — теперь Егор понимает, зачем: глушить бормотание — но затыкается опять. Стрельба тоже обрывистая... Как будто тех, кто отстреливается, мало — а те, в кого они палят, наваливаются на них и давят массой.

**БОММ!**

Прямо в ухо — удар кулаком, снаружи. Удар такой силы, что ясно — он там, оно там — не знает своей силы, не чувствует своего мяса. Лупит так, как будто железо можно пробить сжатыми пальцами. И железо прогибается.

Потом хватается за дверь — неловко, и рвет ее на себя с нечеловеческой силой, так что шпингалет стонет — и гнется. Егор всхлипывает, а потом принимается орать, чтобы перебить свой страх:

— Вон пошел! На хуй пошел! Вали отсюда, гондон! Слышишь меня?!

Шпала с той стороны застывает на миг. А потом отвечает Егору: своим нелепым высоким голосом, над которым все всегда на Посту смеялись:

— Жерб мор руб вырву ахзав нчеловееех шигаон тод кшшшшк рва смерр гнии...

Голова распухает, ноги делаются ватными, слова-неслова эти в уши втекают ртутью змеиным ядом расплавленным оловом сочатся, и никуда от них, никуда не деться, Егор сам заперся тут. Он пытается перекричать Шпалу, но звуки путаются, вяжут рот, скулы сводит.

— Наххх... Ухоооо... Ухооодь... Слышшшш...

Тогда Егор, качаясь, подергиваясь, бросается на карачки, отползает на другой конец гаража, расшвыривает в углу — молоток, пилу, долото — находит коробок от длинных охотничьих спичек — набитый мебельными гвоздиками с широкими латунными шляпками.

Уже не соображая, что делает, приставляет себе по гвоздику с каждой стороны к ушам — вкладывает в раковину.

— Мор тоооод чеееерн чууууу абаааадоон жоооо ххуууум гнииии!!

Приказывает рукам подняться — разводит в стороны ладони — и схлопывает их так, чтобы разом забить себе гвоздики в оба уха.

Молния — гром — взрыв — смерть!

## 6

— Всем взяться за руки! Женя! Возьми Алину! Соня! Дай мне ручку!

Дети таращатся на нее своими глазницами, что-то лепечут ей — но она не может понять, что. Соня ревет, Алина что-то говорит без остановки, Рондики молчат, держатся друг за друга.

За ту неделю, которую Мишель провела с ними в классе, помогая учительнице, они хотя бы стали ее признавать. Раньше бы они разбежались тут же... А теперь вот стоят. Ждут. Ждут от нее, что она объяснит им, что происходит и что им делать.

— Я не слышу.

Мишель обращается к Алине, показывает ей на свои уши.

— Я оглохла. У меня над ухом выстрелили, и... Ничего не слышу. Поэтому вы просто делайте так, как я вам скажу, ладно? Покивайте, если понимаете!

Они кивают. А что она им скажет?

— Нам надо спрятаться. Во двор нельзя выходить. Там злые люди. Все поняли?

Кивают. Соня вцепилась в ее руку так, что пальцы побелели. Соня все видела. Забыла, что Мишель глухая, что-то спрашивает у нее.

— Я не слышу. Нет, совсем ничего. Пойдемте... В класс?

У класса окна на другую сторону. Куда еще, как не туда? И она тянет их за собой цепочкой наверх. Кто-то навстречу — Юля Виноградова. Мишель говорит ей, притворяясь спокойной — но не ощущая своего голоса, поэтому неизвестно, как:

— Там стреляют. Во дворе. Я прячу детей в классе. Приводите Ваню. У нас окна в другую сторону. Хорошо?

Юля тоже шамкает ртом, но Мишель не может опять объяснять, что потеряла слух, она просто тянет за собой эту гирлянду зареванных глазастых детей — чужих детей, которыми она никогда не хотела заниматься, в которых просто случайно влипла и от которых теперь не может отлепиться.

Юля Виноградова догоняет ее через два пролета — отдает ей своего Ванечку, доверяет... Неужели так легко? Мишель четырехлетнего серьезного Ваню берет за запястье, тому неудобно, но ей спокойней так — чтобы он не выскользнул из ее потных пальцев, если вдруг испугается чего-то.

Класс заперт.

Мишель оглядывается на детей — растерянно. Они ждут от нее чего-то... Всего. Господи, да есть же ключ! Татьяна Николаевна дала. Чтобы Мишель могла запереть сама, когда с уборкой закончит. Находит. Вставляет скачущий ключ в замок, раз, два, с третьего попадает — проворачивает криво, он не идет. Соня держит за руку нетерпеливо.

— Подожди! Подожди чуть-чуть!

Мишель не слышит себя, и Соня, кажется, тоже не слышит, настаивает, дергается, выкручивается. Да сколько можно! И так жарко! Мишель вся взмокла, хочется зашвырнуть этот ключ чертов!

— Я сейчас ключ из-за тебя сломаю, тогда мы вообще в этот класс не попадем! Да что такое-то?!

Оборачивается... Пролетом ниже стоит Татьяна Николаевна и держит за руку одного из Рондиков. Челюсть у нее шевелится, как будто она Рондика за что-то отчитывает, но глаза стеклянные, а губы обметаны. Рондик суетится, хочет вроде высвободиться, но вяло — и никнет, никнет.

Мишель этот бессмысленный взгляд узнает сразу — один раз увидишь, больше не забудешь. Она бросает Соню, по ступенькам спускается ниже на пролет... Хватает Татьяну Николаевну за курчавые волосы — и об угол подоконника лицом. И еще. Из той каплет кровь, но Рондика она не отпускает — или Рондик уже не отпускает ее? Мишель тянет мальчика на себя, но этих невозможно перетянуть, это как трактор сдвинуть, такая тяжесть.

Захваченный Рондик что-то тоже там лопочет, смотрит на своего брата, Татьяна Николаевна смотрит через красное, которое льется из ее рассеченного лба, не пытается стереть, хотя оно и по глазам ей течет и все в красный красит. Тогда Мишель одного за другим очарованных почти уже детей толкает вверх, вверх — и разлучает близнецов.

Запикивает в класс всех, кого смогла пока что спасти — Соню, Ваню Виноградова, Алину, одного Рондика, бьющегося в истерике без брата, запирает дверь, придвигает к двери парту, и еще одну, и еще. А потом кричит так, что снова ломают и мокнут уши.

## 7

Стадион.

Прожектора все сгоревшие — и тут черно. Егор стоит один посреди поля. Кажется, что трибуны полны народа — но никто не хлопает ему, никто не кричит его



имя. Люди смотрят на него из затененных лож в гробовой тишине, пожирают его глазами, но не издают ни звука.

Егор берет в руки гитару — свою, любимую. Единственное его наследство, прощальный ему подарок сбежавшего отца. Трогает струны: они поют. Поют! А он-то боялся, что в этом мире вообще ничто не звучит.

Тогда почему трибуны молчат? Кто там вообще на них засел, почему так смотрят на него, чего от него ждут?

Ладно. У Егора есть песня для них. Он повторяет слова про себя:

Все разрушено. Все разобцено.  
 Вешай вещего! В мире трещина.  
 Беспросветщина. Безразборщина.  
 Беспонтовщина. Беспризорщина.

Бездорожщина, позабыльщина.  
 И безбожщина, и бескрыльщина.  
 Недоженщина, немужчинщина.  
 Безотцовщина. Нелюбимщина.

Егор открывает рот — и понимает, чего его лишили. Голос вынули из него, вырвали голос при помощи какой-то хитрой операции, и теперь он может только разевать рот вхолостую — все силы из глотки ушли. Вот эти сычи, эти стервятники и расселись там, на своих насестах, ждут, пока он начнет сипеть — и тогда расхочутся. Не петь тебе, Егорка, не петь — ну да это и ничего! Ведь и гастролировать тебе тоже теперь негде, мы же твой Екатеринбург смяли-сожрали, и Вятку схряпали, и Пермь, и все, что за ними — все, что за рекой, там теперь только тени-тени, тишина-тишина, вот что за ним, за мостом за твоим, спрашивали — отвечаем!

Беспризорщина. Безотцовщина.

Надо, надо выговорить это — если это получится, то и остальное получится тоже! Егор надсаживается, но выговаривает — и открывает глаза.

Чудовищно болит голова. Он пытается подняться — она кружится так, что ему приходится схватиться за землю. Дышит медленно, считает до десяти, до двадцати, до ста. Успокаивает себя, вспоминает, что с ним случилось. Трогает уши — в них уже загустело. Сколько он пролежал?

Звенит. Звенит голова. А еще?

Прислушивается... Ничего. Пусто там, пусто и ничего больше нет, кроме звона.  
 — Безотцовщина. Беспризорщина.

Говорит это — и только горлом ощущает звук, а уши железом пробиты, сгублены. Вот. Вот тебе музыка, Егорка. Только звон один теперь навсегда. Он не хотел, чтоб ты занимался, чтобы ты играл — и переиграл тебя.

У каждого свой пост. Я не вечен, Егор. Ты продолжишь.

Егор нашаривает на полу молоток, присматривается к теням через щель: что там? Тени стоят смиренно. Он тогда дергает дверь... С той стороны никто не отвечает. Шпингалет искривился и застрял, когда Шпала рвал дверь на себя. Егор примеряется, шваркает по нему молотком — и не с первого раза вбивает его на место. Толкает осторожно дверь... Дверь упирается в мягкое.

Шпала лежит издохший, шары закачены, белое наружу. Раны у него ужасные — непонятно, как он с такими вообще держался на ногах. Стоял тут до конца, все хотел Егора переждать, перешептать.

Егор протискивается в щель, и с молотком в руках крадется в этом онемевшем мире обратно — вокруг домов — во двор коммуны. Валяется человек без головы, в руках автомат. В воздухе гарь плавает. Головы нигде нет. Егору надо подобрать автомат, но страшно человека трогать. Потом заставляет себя все-таки.

Куда идти?

В тот подъезд, где была Мишель. Ей надо помочь.

Приходится то и дело оглядываться — без слуха страшно. За спиной все клубится что-то, скапливается, тени мечутся. Вспыхивают выстрелы где-то далеко. Шесть или семь человек, встав друг другу на руки, суставчатым тростником, на-секомой конечностью поднимаются к окну третьего этажа — к окну изолятора. Тростник из людей качается, но держится. Верхний обеими руками молотит по стеклу, не боится сорваться вниз, хочет освободить... Освободить человека в изоляторе. Полкана.

Выпархивает фигура с брезентовыми крыльями — режет нижний сустав этой конечности автоматной очередью, та стоит сколько-то, потом все заваливается в грязь. Егор ныряет в подъезд, поднимается наверх, толкает двери чужих квартир — не тут она? Не тут?

Кто-то мелькает, беззвучно бросается на него, он в упор садит, автомат корчится и кипит в руках, навстречу ему мякнет и валится — одно, другое... Кажется, училка школьная — и Юлька Виноградова, обе истыканные свинцом и какие-то сейчас, в наступающей смерти, до слез жалкие — и Егор не может в них выстрелить еще раз, так, чтобы прикончить.

Смотрит во двор — кто-то прыгает из окна, с четвертого вниз головой, и тут же другой повторяет за ним, и еще, и еще — цепочкой, семьей. Искрятся выстрелы вокруг поезда, но только в двух или трех местах.

Где еще не был? У Полкана в кабинете — это самый верх, и в школьном классе. Стучит в дверь класса: тук, тук. Кричит немым голосом:

— Мишель! Ты там? Это я, Егор!

Никто не открывает. Стучит еще — зря.

Тогда он поднимается все-таки этажом выше и заходит в пустой Полканов кабинет. Телефон оборван, бумаги расшвыряны, окна распахнуты. Он берет Полканову любимую пепельницу — красное с золотой каемкой блюдечко — и топчет его ногами. Ступни чувствуют: хруп, хруп.

— Ну и что вот ты? А?! Где вот ты, когда ты нужен, бляха?!

Нет его. А есть — не он.

Спускается обратно — дверь в школьный класс приоткрыта. Глаза блестят. Мишель?

— Это я!

Она не понимает его, кажется. Смотрит, смотрит — недоверчиво. Потом все же оттягивает неподатливую дверь, машет рукой — давай сюда.

Егор влезает к ней... Дети тут. Сонечка Белоусова, Рондик какой-то из них, Виноградовых мелкий умник, и еще Алинка Манукян. Горит фонарик, светит на доску. На доске мелом написано кое-как: «СТУЧАТСЯ!» и рядом: «ГОВОРЯТ ЧТО ЕГОР». И еще — «НЕ ОТКРЫВАЙ».

Мишель — измазанная, на бурых щеках дорожки от слез — что-то говорит ему. Он качает головой: не слышу, показывает на свои уши. Она хмурится, будто не верит — и вдруг начинает хохотать. Хохочет и ревет, беззвучно ревет и беззвучно хохочет. Тоже показывает на свои уши.

Берет мелок и пишет на доске: «НЕ СЛЫШУ НИЧЕГО», «ОГЛОХЛА»

Он берет другой и отвечает ей: «Я ТОЖЕ». «САМ СДЕЛАЛ». «ТОЛЬКО ТАК МОЖНО НЕ СТАТЬ ТАКИМИ».

Мишель сомневается, но кивает. Смотрит на детей. Переводит взгляд на Егора.

Егора передергивает. Он мелом по грифелью ей говорит: «НАДО ИХ ОТСЮДА ЗАБРАТЬ», «Я ЗНАЮ, ГДЕ БЕЗОПАСНО». «БОМБОУБЕЖИЩЕ». «ТАМ ТОЧНО НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО»

Она кивает. Сгребает с доски все остатки мела — разговаривать. Строит заплаканных детей. Убеждает Алину. Поднимает на руки Сонечку. Приструнивает Рондика. Что-то говорит им — неслышное, каждому свое.

Егор показывается на лестнице первым. Светит вниз. Пишет мелком на стене для Мишель: «УЧИЛКА ДОХЛАЯ». Проводят Ваню Виноградова мимо его мамы, прикрыв ему глаза. В подъезде карябает: «СЕЙЧАС НАДО ДОБЕЖАТЬ ДО ЗАВОДА»

Надо добежать до завода — в полумраке, в вакууме, в звоне, в глухой озерной воде добежать-доплыть до темных заводских корпусов. Если они окажутся в них первыми... Там можно будет запереться, и за вентильными чугунными створами их никто не достанет. А оттуда уже можно будет куда угодно.

И они бегут, у каждого в руке — детская рука — бегут медленно, детскими шажками — к расхристанным заводским корпусам, с просевшими стенами, с об-

рушившимися крышами, бегут, надеясь, что это — то, что направляет танец одержимых — не пошлет туда своих кукол им наперерез.

Но в цехах пусто.

Все тени стоят смиренно, лежат неподвижно. Они спускаются в подвал, еще на этаж ниже, еще... Дети жмутся, руки их вибрируют тихонько, как догорающая спиральная лампочка: что-то они там просят, о чем-то плачут; наверное, хотят к мамам и папам. Но утешать и уговаривать уже нет сил — надо просто тянуть их за собой — вниз, глубже, в убежище.

И вот дверь.

Егор сует автомат в руки Мишель, берется за вентиль, надсаживается — и сдвигает его по резьбе, по кругу. Сам влезает в темноту первый, расшевеливает ее фонарным лучом. Страшно до жути, но делать нечего. Дети боятся ступить в черное жерло, их приходится вталкивать.

Потом запираются. Садятся кучкой. Детям запрещают отходить.

Смотрят друг на друга. Егор пишет на чугуне: «ЗАВТРА СБЕЖИМ КОГДА БУДЕТ СВЕТЛО». Мишель спрашивает буквами: «ЧТО С ТВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ?» Егор отвечает: «НЕ ЗНАЮ»

Потом они снова берут детские руки в свои — только так можно почувствовать, если что-то будет не так. Тушат свет, чтобы сберечь батарейку. Становится так темно, будто зажмурился. Закрываешь глаза — никакой разницы.

## 8

Ручонка в его руке сжимается отчаянно. Егор вскидывается — и видит свет. Слабый белый свет, бликом на детском лице.

Лицо странное. Холодное, парализованное. Губы шевелятся.

Егор не может понять — как?!

Ваня Виноградов трясется, Егор его одергивает, утихомиривает, а сам встает — и вглядывается. Это Рондик.

Бормочет что-то... Откуда свет? Куда он смотрит?

Егор поднимается... Придвигается к нему ближе... Ближе.

Мальчик смотрит в телефон. В тот самый телефон, в его, в Егоров, найденный на мосту, отобранный у женщины с сумочкой, и кем-то у Кольцова из гаража украденный. Вот, может, кем. Егор склоняется над экраном — там видео. Квартира. Люди за столом со стеклянными глазами, с пеной на губах — смотрят в камеру, произносят что-то синхронно, мелят, мелят, мелят...

И Рондик повторяет своими губами все в такт. Егор протягивает руку, чтобы забрать телефон — и тут Рондик вцепляется ему в волосы, впивается в глаза,

хватает зубами за руки, телефон падает, рядом оказывается Мишель — она пытается Рондика от Егора оторвать, но в том сил, как во взрослом. Они вдвоем наваливаются на него, Егор смотрит — а дети-то остальные подбираются к ним поближе, вместо того, чтобы испугаться и бежать! К нему, к вещающему телефону...

Тогда он хватается за телефон и колотит его экраном о торчащий штырь — раз, раз! — вдребезги.

А потом — набивает Рондику куртку в рот, чтобы заткнуть его, набрасывает непродуваемую ткань на лицо, Мишель сидит у него на ногах, Егор прижимает руки — и не пускают его, а он ходит весь ходуном так, как мать у Егора трясется в падучей; куртка на лице надувается и сдувается, как пузырь от жвачки — Рондик изо всех сил дышит ничем, напоследок. Дети расползаются по темным углам, а Егор с Мишель ждут, пока судороги ослабеют и Рондик затихнет насовсем.

После этого они баюкают детей, утешают их, обещают им, что все будет хорошо. Рондика оттаскивают в дальний угол — коченеть. Дети через сколько-то времени засыпают. Вроде бы, они не успели перемениться. Егор светит им в спящие лица фонарем — дети как дети.

Тогда он берет мел и царапает на стене: «НАДО ИХ ОГЛУШИТЬ». «ВСЕХ». «СЕЙЧАС». «ПО-ДРУГОМУ МЫ ИХ НЕ СПАСЕМ». Мишель на каждое слово только мотает головой. Нет, нет, нет. Хватает мел и тоже карябает: «Я НЕ БУДУ!». «НИ ЗА ЧТО!». «ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА?»

Егор отвечает мелом: «НУ А КТО ЕЩЕ?». «Я ТОЖЕ НЕ ХОЧУ». «НАДО». «НАДО ВМЕСТЕ». «ОДИН НЕ СМОГУ».

Потом лезет в карман — там кстати колется острое.

Гвоздики.

## 9

Внизу ночь не кончается никогда, но наверху-то она должна уже закончиться. Теперь никто из них ничего не слышит.

Хорошо, потому что не слышно детские рыдания. Плохо, потому что не слышно приближающихся шагов.

Егор телеграфирует Мишель мелом: «Я ПОЙДУ ПРОВЕРЮ». «СИДИТЕ ЗДЕСЬ». «АВТОМАТ У ТЕБЯ». «ФОНАРЬ ТОЖЕ».

Мишель отчаянно царапает: «Я ОДНА НЕ ОСТАНУСЬ С НИМИ!», «КУДА ТЫ?!».

Егор ей: «ДЕТЕЙ ТУДА ТАЩИТЬ НЕЛЬЗЯ». «ТАК НЕЛЬЗЯ УЙТИ». «НАДО ТОЧНО ЗНАТЬ, ЧТО ОНИ НЕ ВЫБЕРУТСЯ». «ПОНИМАЕШЬ?»

Мишель тяжело дышит, берется что-то писать, но мелок крошится в пальцах — она слишком сильно на него давит.

Он царапает: «НЕ ПРИДУ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА — УХОДИТЕ! ПО КОРИДОРУ ПРЯМО». Она мотает головой. И так плохо, и сяк плохо.

Но ему нужно. Нужно подняться и проверить. Узнать, чем все кончилось. Удостовериться, что одержимые не сбежали за стену. Найти мать.

Егор не смотрит на ее возражения, отворачивает вентиль, отодвигает заслон, выходит в черный подвальный коридор, как слепоглухонемой, одними пальцами ищет себе дорогу. Он тут сто раз бывал, и все равно не с первого раза находит, и падает, и падает, и поднимается, и бредет дальше. Наконец в черном появляется сероватое, какие-то очертания начинают вырисовываться, падает в этот ад лучик сверху, и Егор за него цепляется, как рыба за наживку.

И выплывает на поверхность.

Там, и правда, день.

Солнце подсвечивает стоящую в воздухе гарь. Сажа висит в воздухе, не падает.

Егор идет по стеночке, перемещается короткими перебежками, выглядывает из-за углов, открытое пространство переползает. Доходит до двора.

Все завалено телами. Голыми, истерзанными, изъязвленными пулями, с разбитыми головами. Тут и там валяются брезентовые люди. Как будто волки их грызли. И местные, с Поста — некоторые тоже с оружием в руках погибли, а другие голые и в пене.

Движения, вроде бы, никакого. Вороны только кружатся. Кружатся молча. Все вокруг молчат. Егор нагибается к одному, поднимает автомат.

Вдруг — под вагоном, через него — видит чьи-то ноги. Там стоит человек. Услышал он его? Или тоже глухой?

Егор щелкает предохранителем, падает на землю. Смотрит под дном. Ноги в брюках, брезент висит. Егор прокатывается под вагоном — вскакивает.

Нет, не одержимый. Раненый брезентовый, с поезда. Идет, хромает. Идет — от открытых ворот. Открытых! Это он только что их?! Он их открыл? Зачем?!

Замечает Егора. Машет ему рукой. Егор ему тоже.

А тот забирается на приступку стоящего ровно вагона и начинает открывать вагонную дверь. Открывает дверь вагона, в котором заперты одержимые.

Егора холодный пот прошибает.

— Ты чего делаешь?!

Но голос же у Егора отняли. И брезентовый его не слышит. Знай себе, ковыряет замок.

— Они ж выйдут! Там же еще есть! Они тебя же первого разорвут!

Но тот не отстает от двери. С таким упорством курочит ее, как будто тоже одержим. А он и одержим ведь, говорит себе Егор. Он сейчас и умрет, лишь бы выпустить этих.

Может, сначала они хотели так проскочить... Мимо Поста. И людей, которые ни при чем, пощадить. Или просто не тратиться на них. Они же до Москвы хотели добраться, они Москву хотели отравить. Пытались уговорить Полкана, ждали...

А теперь уже им все равно, как. Этому точно все равно. Он тут один уже, видно. Последний.

Егор вскидывает калаш, наводит — и лепит раз, другой, третий. Мимо. Человек тоже перекидывает свой автомат из руки в руку, поднимает, и — облачка голубой гари из дула пых-пых, и облачка пыли вокруг Егора пляшут. Все тихо, все понарошку.

Человек лучше целится. Ближе, ближе... И вдруг он складывается пополам, садится в высохшую грязь и автомат свой роняет. Хватается за живот, держится за него обеими руками. Задумался, сник. И сидит смирнехонько.

Это не Егор его так.

Егор смотрит — откуда это? От подъезда идет Ринат. В руке винтовка с оптикой, идет и улыбается. Жив, курилка! Пересидел!

Егор ему улыбается тоже. Сухожилия сами тянут губы кверху.

Ринат спрашивает что-то, Егор на уши показывает. Чертит ему буквы в грязи: что тут было?

Ринат ему тоже, кое-как: «ВРОДЕ ВСЕХ ЗАГАСИЛИ. НИКТО НЕ УШЕЛ».

Егор ему — «КРОМЕ ТЕХ, КТО В ПОЕЗДЕ».

Ринат скалится: «ЗНАЧИТ, НАДО И ПО ПОЕЗДУ ПРОЙТИСЬ!»

Егора мутит при одной мысли об этом, и он отчаянно мотает головой: «НЕТ», «Я НЕ МОГУ».

Ринат пожимает плечами: «НУ ДАВАЙ, Я СХОЖУ».

Егор пишет ему «СПАСИБО».

Спасибо Ринату за то, что тот с такой вот легкостью готов взять на себя стрельбу в упор по сотням этих несчастных бешеных загнанных в вагоны людей, за то, что он готов избавить от этого дела Егора. У каждого свой пост, свой — у каждого, и вот этот — палача, это не его пост, не Егора! Это ведь надо в упор, каждого, одного за другим, неважно — мужчина он там, или женщина, или... Егор вспоминает, как душил Рондика, как своей учительнице в лицо стрелял. С него хватит! Его теперь надо отпустить, дать ему забрать Мишель, найти мать и уйти...

Но Ринат не читает его благодарности, отвлекается.

Задирает голову, смотрит тревожно куда-то, кого-то ищет в окнах. Егор окликает его, но Ринат больше не обращает на него внимания. Поводит подбородком, ухом оборачивается... Настраивается. Настраивается на голос...

Егор тоже — за ним — куда ты глядишь, что там?

Понимает.

Изолятор. Откуда отец Даниил проповедовал. И там — за гнутой решеткой, за битыми острыми стеклами — кряжистая кабанья фигура.

Ринат вскидывается, будто передергивает его от услышанного. А потом расправляет плечи.

Егор обходит его осторожно вокруг — чтобы увидеть лицо. Губы.

Ринат шепчет. Шепчет сначала, а потом начинает говорить, все более уверенно, все более яростно, не затыкаясь... Егор подходит к нему в упор и сразу в голову ему стреляет. Из Рината брызжет назад красная гуща, Егор опускается на колени и его выворачивает наизнанку — едким, кислым.

Потом ходит между тел, ищет мать.

Потом идет, труся страшно, в квартиру. Нет ее там. Все кругом пусто.

Может, сбежала? Тогда потом найдется! Сердце говорит — сбежала.

Потом он сидит на земле.

Сидит под окнами изолятора и смотрит вверх.

Там, наверху, человек с кабаньим силуэтом беснуется, мечется, запертый, говорит, говорит, говорит не переставая, но Егор ничего этого не слышит. Он смотрит на Полкана за решеткой, и оглядывается на поезд: двадцать один вагон, не считая сгоревшего. Двадцать один вагон. От вагонов по земле идет вибрация. В них тоже мечутся и тоже беснуются.

Их выпустить нельзя никого. И нельзя их тут оставить так. Вдруг они... Вырвутся как-нибудь. Или из Москвы все-таки приедет караван... Из этой их сучьей Москвы.

Почему он, почему Егор должен? Почему?!

Глазам горячо. Егор трет их кулаками. Горло дерет.

Егор ему орет тоже:

— Почему я?! Почему делали вы, а разгребать — мне?! А?!

Всем все равно: одни сдохли, другие с винта слетели.

Это ты, это вы выпустили это изобрели эту отраву, применили ее по людям — и забыли про это, как будто ничего и не было! Вы выbleвали в мир это зло, это при вас, это ваши хозяйева, ваши командиры, а вы или помогали, или — даже если и не помогали, то в сторонку отошли, или отвернулись — думали, если не увидите, если не услышите — то оно как будто само собой случилось и само собой кончится! А я, Мишель, мое поколение, мы вообще не в курсе, потому что вы нам не сказали даже!

И ничего тут не кончится само по себе — вот оно, выплеснулось и висит в воздухе, загадило землю, и никуда оно не денется само, вы думаете, вы сдохнете — и привет, и вас больше не ебет, но оно от этого не рассосется само, оно тут останется, оно тут всегда будет, его мне, его нам хлебать-расхлебывать, мне и моим ровесникам, а если мы не расхлебаем, не вылижем до конца — то тогда нашим детям. Это нам за вас, за сук, за мразей отвечать, а почему?! А с какой стати?!



Егор не будет это, он не пойдет по вагонам, не станет их убивать, нет, нет и нет!

– Я не собираюсь! Слышь ты меня?! Я не хочу! Ты меня зачем в это вмазываешь?! А?! Меня – зачем! Это вы, это ваш ебанный старый мир! Я не буду этого делать! Сволочь! Сука ты! Вы все! Вы все! Урод!

А больше некому: одни с винта слетели, других сдохли. И то, чем Егор мечтал жить – гитарой и песнями – он не сможет уже жить все равно. Победил Полкан. Запретил Егору дурака валять, передал ему свой пост.

Егор машет на отчима рукой.

Бредет, собирает по двору чужие автоматы, еще в караулке находит. Возвращается к воротам, выглядывает – никого. Запирает обратно. Вдруг что не получится?

Ринат хорошо бы справился. Ринат был подходящий для этого человек. Он и с собаками бешеными тогда... В клетках. А тут, считай, то же самое.

Надо просто подумать. Надо подумать, как – чтобы через решетки, чтобы всегда с расстояния. Голосов он их не услышит, бормотания их. Просто надо так, чтобы всегда через решетку. Все время в голову. Из вагона в вагон. Двадцать один вагон так, или сколько там... За два часа, может, и не уложится. Дождется его Мишель или нет?

Он снова садится и плачет. Потом встает.

– Прости, Господи, великое прегрешение. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого...

Дальше не помнит.

Начинает он с последнего вагона.

## 10

Сонечка теревит Мишель за руку. Показывает на дверь.

Ваня Виноградов берет мел, выводит: «СТУЧАТ».

Мишель наваливается на вентиль, отворачивает его...

Егор вваливается внутрь. Воняет паленым, порохом; и еще сладким, как лежалое мясо. Руки у него висят вдоль тела. Хребет будто выдернули из спины – так согнут. Глаза выгорели и потухли.

Мишель пишет ему: «КАК ТЫ ДОЛГО!» – смотрит в пустые глаза и добавляет неуверенно: «ТАМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ?»

Он поднимает мелок с таким трудом, как будто тот весит тонну.

Подносит к стене. Царапает на ней еле заметными штрихами: «ВСЕ ОК». «ПОШЛИ ОТСЮДА».

– Пляшет гасница... Пляшет гасница. Пляшет...

Пляшет гасница  
Прыгает тень  
В окна стучится  
Старый плетень

Липнет к окошку  
Черная гать  
Девочку-крошку  
Байкает мать

Взрыкает зыбко  
Сонный тропарь  
Спи, моя рыбка  
Спи, не гутарь.

## Часть II







# Кресты

## 1

— Вы ведь были друзьями с сотником Криговым? А, Юрий Евгеньевич?

Полковник Сурганов смотрит Лисицыну в глаза добродушно, тепло, но Лисицын этому взгляду цену знает.

Что значит — «был другом»? Почему «был»? Не означает ли вопрос вкрадчивого предложения отречься от дружбы?

Когда вопросы задает начальник армейской контрразведки, над ответами надо думать тщательно — и быстро. На ум приходит главное: правильный ответ полковнику известен и самому, а сейчас он проверяет Лисицына на честность.

— Так точно. Почему ж «были», господин полковник? Мы ж и сейчас дружим.

Он старается не отводить взгляда от сургановских рыжих глаз, от его паленых изогнутых бровей, от приподнятых уголков губ. И самому вот так же глядеть на него в ответ — приветливо и вежливо. Как будто он не слышал ничего про чистки в армии, которыми Сурганов как раз и дирижирует.

— И сейчас дружите. Ну что же.

## 2

Георгиевская зала Большого Кремлевского дворца была наполнена кожаным скрипом и сиплым шепотком, резким как нашатырь офицерским одеколоном и душистой махоркой.

Ждали Государя.

На белом мраморе стен выделялись только золотые солдатские кресты. С потолка светили сотнями свечей огромные бронзовые люстры, под сапогами сиял скользкий расписной паркет. Вдоль стен расставлены были бархатные красные скамьи, но садиться на них, конечно, было нельзя; воспрещалось и разгуливать по залу. Дозволено было переминаться с ноги на ногу.

Ждали уже полтора часа, но готовы были ждать еще вечность: казаки держать строй умели.

— Короче, прикинь, оказалась целочкой! — восторженно шептал Юре Лисицыну в ухо Сашка Кригов. — Везет мне на целочек, сам не знаю, почему!

— Та ты ж умеешь дать романтики, — отзывался Лисицын. — Чувствуют же ж, что могут такому довериться. А когда доходит, что влипли — все, поздняк метаться.

Лисицын волновался очень, несколько раз просыпался посреди ночи. А вот Кригову было как будто и все равно.

— На форму они ведутся. На фуражку особенно, — делился Кригов. — Увидят в кафе на столе фуражку и прямо текут. Сами подходят.

— Ты везунчик просто. Я, сколько раз фуражку ни выкладывал, только полицаи одни подкатывают, бумаги на увольнительную проверять. А бабы что-то тусуются.

— Да ты деревня потому что, Юр. Станица. Ты их семечками, поди, сразу угощаешь?

— Так а что?

— Та ни шо. Вечером поучу тебя, как в Москве действовать нужно. Рыбные места покажу тебе. На свежачка ловить будем.

Тут хлопнула дверь — в зал бегом вбежал седоусый войсковой старшина.

— Равняйсь! Смир-р-рнааа!

Шепотки оборвались в один миг. Хрустнули портупей, натягиваясь на расправленных плечах. Вдали эхом защелкали мелко каблуки по полированному дереву...

Император летел со свитой.

Гвардейцы в дверях вытянулись во фронт, набрали впрок воздуху, и — распахнули двери в бравую и торжественную Георгиевскую залу, как до этого — в золотую Александровскую, а до нее — в тронную гербовую Андреевскую, а до той — в уютную ковровую Кавалергардскую.

— Его Императорское величество, Государь император и самодержец Московский, Аркадий Михайлович!

Лисицын не дышал. Кригов не дышал. Сорок восемь прочих сотников, есаулов и подъесаулов, которых по всему войску, по всей державе отбирали для той церемонии, не решались выдохнуть. Каждому хотелось больше всего хотя бы на миллиметр высунуть нос из строя, чтобы увидеть Государя первым, и никто не смел.

И вот — вошел.

Невысокий, сутулый, неожиданно моложавый. Парадные портреты делали его старше и солидней, распрямляли царя и добавляли ему стати, но на то ведь и нужны портреты.

За Государем — адъютанты, ординарцы, двое казачьих генералов — однорукий Буря и Стерлигов, и не поспевающий за кавалькадой пузатый командую-



щий — атаман Войска московского, Полуяров. Звон медалей, звяканье шпор, сабельный перестук.

Встали.

Не смотреть на Государя было нельзя. Говорил войсковой старшина — не паяться! — но украдкой, как бы себе на нос, смотрели все.

Да — невысокий, сутулый. Не плешивый, но с залысинами. А все же с первого мгновенья делалось ясно, почему все беспрекословно ему подчинялись. От первого же его слова — негромко, но очень внятно произнесенного — по коже бежали мураши.

— Здорово, орлы!

— Здравия желаем, Ваше императорское величество! — громохнул строй в одну глотку.

Государь отошел чуть подальше — так, чтобы обнять взором сразу всех тут. Мундир на нем был самый простой, полевой полковничий, на боку кобура, сапоги на ногах — истертые, выдавшие виды.

Лисицын чувствовал, что потеет — как в окопах под «Градами» не потел, как в зачистках в абречьих аулах не потел, поворачиваясь к пустоглазым домам спиной.

— Я Владимира Витальича, атамана вашего, просил лучших из лучших мне к сегодня отобрать, — начал Государь. — Всех, кто отличился в боях. Кто себя не жалел, чтобы товарища спасти. Кто на передовую добровольцем вызывался. Кто из лазаретов просился на фронт. Сказал — дай мне, Владимир Витальич, полсотни таких бойцов, я с ними мир переверну. И вот вы, тут. Как на подбор.

Лисицын слышал, как его собственное сердце колотилось.

— Наша Отчизна пережила суровые, лихие времена. Тысячелетние завоевания наших великих предков были враз врагами расклеваны. Не ваша в том вина, и не моя. Но мой покойный отец, светлая ему память, сумел это воровство пресечь, а мне выпало дело — собирать разворованное обратно. Мне — и вам со мной вместе, коли не откажете мне в верности. А? Не откажете?!

— Никак нет! — взволнованно гаркнул строй.

— Нашу империю казаки строили. Без казаков не были бы с Россией ни Сибирь, ни Камчатка, ни Чукотка, да и Кавказ не был бы нашим. Без Ермака, без Петра Бекетова, без Семена Дежнева — нет истории России. И теперь, когда мы из Московии снова хотим целую Россию поднять — без казачества не обойтись! Любо ли вам это?

— Любо!

— И мне любо. Полсотни вас тут, ни одним меньше и ни одним больше. Скрывать не стану — у меня на вас виды. Время ваше близится. Знайте, что Государь и Отчизна не забывают тех, кто служит нам верой и правдой. Но самое главное — народ вас не забудет.

Он обернулся к своему ординарцу — у того на руках покоился алый бархатный ларь с золотой окантовкой.

— За мной.

Зашел в голову шеренги.

Извлек из ларя золотой Георгиевский крест и сам первому в строю, высоченному есаулу Морозову, приколол. Руку потряс. Спросил, как служится. Тот, счастливый, просто закивал.

Государь двинулся мимо задравших кверху подбородки казаков. Вокруг него — невидимый шар статического электричества — катился вперед, заряжал волнением тех, к кому подступал Государь, поднимал дыбом подшерсток на казачьих загривках.

Дошла очередь до Лисицына.

Император ростом был ему по подбородок, переносица его несла следы перелома, в ушах виднелись волоски, а пахнул Государь хорошим импортным табаком и чуть-чуть коньячно. Но эти все человеческие характеристики Лисицын запомнил скорее с удивлением: странно было, что у помазанника Божьего вообще могут быть какие-то приметы, будто для полицейской ориентировки. Лисицын запомнил их и тут же постарался забыть. Внукам рассказывать он будет про другое. Про отчетливое ощущение счастья и ни с чем не сравнимой гордости от того, что он в этот день оказался тут.

— Как служится? — спросил его Государь, накалывая Лисицына на орденскую булавку.

— Рад стараться! — гаркнул Юра.

Император похлопал его отечески по плечу и перешел к Кригову. Лисицын старался унять разошедшееся сердце и только жалел, что это мгновение оказалось таким коротким. «Как служится, спрашивает меня Государь император... А я, балда...»

— Нет жалоб? — улыбнулся царь Кригову. — Всем ли доволен?

Лисицын краем глаза продолжал следить за ним, не мог оторваться.

— Честно нужно отвечать, Всемилостивейший Государь? — вдруг сказал Кригов.

Юра вздрогнул. Это ты что делаешь, Сашка, придурок ты этакий, сволочь? Как смеешь с царем так...

— Государю всегда нужно отвечать честно, — с усмешкой ответил император.

— Допущена несправедливость.

Государь поднял на него глаза.

— Так.

— Вместо меня тут другой человек должен стоять.

— Кто же?

Атаман Полуяров и однорукий генерал Буря подались было вперед, вслушиваясь, но удержали себя.

– Баласанян Вазген. Вместе служили. В одном бою были ранены. Дагестан. Он меня вытащил из-под пуль.

У Лисицына опять в ушах кровь забарабанила.

– И что же твой Вазген? – император глянул на Кригова серьезно. – Не дожил?

– Не прошел отбор.

– Какой такой отбор, братец?

Лисицын не сумел сдержаться, чуть-чуть повернулся к Кригову, к императору. Зачем он это тут? Зачем Государю – об этом? Разве он не понимает?!

– В последний момент был отсеян. Как армянин.

– Как это так?

– Чтобы картины не портить. Славянской. Торжественной. На награждении. Я бы, если Государь позволит, свой крест ему бы отдал.

Атаман Полуяров расслышал все, старый хрыч. Свел брови, утер губы кулачищем.

– Кто же это так решил?

– Не могу знать.

Атаман Войска московского таким глазом на Кригова глядел, будто удар шашкой намечал. Кригов не видел этого, а Лисицын видел все.

– Как это – не можешь?

– Не могу знать, Всемилостивейший Государь.

Государь прищурился, изучая Кригова, его широко распахнутые честные серые зенки, его пшеничную бороду и брови бесцветные, изучая, как рот выгнут, как дышит. И так перехватил взгляд, которым Кригов по ошибке ткнулся в атамана. Обернулся на него сразу – и заметил, что Полуяров потупился.

– А что, есть тут кто-то еще из сослуживцев этого вот Баласаняна? – спросил император. – Кто-то еще понимает, о чем речь?

Полуяров шагнул сразу к ним, пыхтя.

– Позвольте мне, Всемилостивейший Государь...

– Погодите, Владимир Витальевич, погодите. Ну? Кто-нибудь может тут твои слова подтвердить, а?

Кригов смотрел в точку, и Лисицын смотрел в точку.

Баласанян тебя об этом не просил, идиота ты кусок, мысленно орал Кригову Юра. На кой шайтан тебе такая справедливость? Царь покивает и обо всем тут же забудет, мало ли у царя царских дел, а вот Полуяров не простит – ни тебе, ни Баласаняну не спустит этого. Обоим каюк.

– Коли мы армян можем в казаки принимать, коли мы можем просить их за нашу Отчизну кровь проливать – да важно ли, армянин он, или татарин, или,

прости Господи, еврей — значит, они во всем нам равны. Не тот правильный казак, кто от казачки родился, а тот, кто мундира не опозорил. Кто-то, выходит, из командиров твоих иначе считает? Серьезные обвинения, серьезные... А, Владимир Витальевич? На равенство казацкое, на братство посягнуть?

— Пускай еще кто-нибудь подтвердит, Всемилостивейший Государь... Пускай еще хоть одна паскуда тут решится поддержать эту клевету! — запыхтел атаман Полуяров.

Кригов закосил своим глазом в сторону Лисицына. Оба знали, почему Баласаняну, который с ними вместе за Георгиевским крестом был послан в столицу, пришлось с утра отправляться по кабакам — в горестный запой.

Потому что Полуярову места не хватало своего племянника вписать в наградной лист. А может, и не племянника вовсе — про молодого подъесаула всякие ходили слухи, как и про пристрастия Полуярова. Седина в бороду, бес в ребро.

Во рту у Лисицына обмелело, язык к небу присох.

Полуяров командовал Московским казачеством с самой Реставрации, он был глыба, поколебать его было немислимо. А врагов сживал со свету легко, потому что любого мог командировать на смерть.

— Ладно. Разберетесь, Владимир Витальевич?

Конечно, он разберется.

Уедет Кригов на следующий же день обратно на Кавказ, где будет брошен в самую мясорубку, и через пару дней представят его к третьему уже Георгиевскому кресту — на сей раз, посмертному. Сашка, Сашка. Долбоеб.

Лисицын изучал носки своих сапог. Начищенные до блеска.

Сколько радостной тревоги было сегодня, пока к смотру готовились. Великий день! Баласанян, конечно, как узнал, что его не берут, шваркнул дверь, на улице горланил, но он человек южный, буйный... Поорал бы — да и проорался бы. А теперь и его упакут.

Кригов стерпел Юркино предательство. Не стал призывать его на помощь, даже локтем не пихнул. Не захотел тащить за собой в яму. Хороший ты, Кригов, человек. И товарищ надежный. Прости-прощай.

Государь уже переступил дальше — к какому-то архаровцу из чужого полка.

— Всемилостивейший Государь...

Это вдруг Лисицын услышал свой собственный голос. Но будто и чужой — хриплый, каркающий. Слова еле выговаривает высохшей глоткой, неповоротливым языком.

Император вроде бы не понял, зато понял сразу Полуяров. Двинулся к Лисицыну, давая ему знать, что сожрет его без жалости.

— Всемилостивый Государь!

Теперь вот его, Лисицына голос. Звонче, крепче.

– Да? – император обернулся.

– Сотник Лисицын! – гаркнул Юра. – Я подтверждаю все, сказанное сотником Криговым относительно Баласаняна. В представлении к награде отказано командованием в последний момент именно под тем предлогом, как сказано было Криговым. При мне-с.

– Кем же из командования? – вкрадчиво уточнил Государь.

Лисицын молчал. Знал: не простят. Спаси товарища одно дело, а указать на виновного – другое. Государь насмешливо вперился ему в лицо, кажется, и сам уже догадавшись, кого покрывают офицеры. Сердце ухало. Храбрость прошла, накатило предвкушение беды и сознание бездарности того, как загубили они с Криговым свои жизни.

Полуяров прокашлялся.

– Мной, Всемилостивый Государь. Готов объяснить лично.

– Пожалуй, что придется. Потому что такому мы наших офицеров и солдат, Владимир Витальевич, учить не можем. Потому что великая Россия была и будет снова страной для всех народов, которые жили в ней и пожелают снова в нее войти. Общим домом, общим делом – иначе никогда нам не собрать ее по осколкам. Я тут деру глотку, Владимир Витальевич, обещаю прощение бунтовщикам, которые раскаются и вернуться, а у нас, оказывается, прямо тут такое... Под боком.

– Позвольте лично, без свидетелей, Всемилостивый Государь...

Атаман Полуяров побагровел, стал заикаться.

– Я, Владимир Витальевич, просил у тебя полсотни бойцов, с которыми можно было бы мир перевернуть. Поверил тебе. А за тобой, оказывается, пересчитывать все надо. Сдай шашку, прошу тебя, вон хоть Буре.

– Государь... Аркадий Михайлович...

– Не смей.

Император обернулся к однорукому генералу Буре.

– Александр Степанович. Прими временно командование. А там поглядим.

Генерал Буря – сухой, жесткий, – моргнул и резко шагнул к Полуярову, протянул единственную руку за атаманской шашкой.

– Пожалуйте сдать-с, Владимир Витальевич.

И все это – прямо перед Лисицыным, прямо перед Криговым, прямо на глазах у всей полусотни, в гробовой тишине, в белом мраморе и бледном золоте Георгиевской залы. Казаки все глядели куда-то вдаль, на Полуярова не отважился смотреть никто.

Полуяров неловко, через жирный свой бок, через огромные как взлетные полосы погоны принялся сдергивать ремень с шашкой, зацепился, потом стал отстегивать от шашки ремень, и все это время строй молчал; и Государь молчал. Наконец Полуяров справился, Буря принял бесполезную шашку, все затаились.

– Казачество это братство, которому полтысячи лет. Не кровь делала казака казаком, а доблесть и верность Отчизне, воинской традиции. Не возродим мы Отчизны, если не будем лелеять наши традиции! Не воспрянем из пепла, если предадим предков. Не поднимемся с колен, если не будем помнить своей историей! Эта форма, которую вам пошили, ее ваши прапрадеды носили. Не убогий кургузый камуфляж той армии, которая Россию не уберегла. Не зеленое сукно безбожников. А те мундиры, на погонах которых было написано: совесть и честь, доблесть и верность! Совесть, Владимир Витальевич, и честь. Ступайте.

Разжалованный атаман сделал разворот на месте, чтобы выйти из залы маршем, хотел положить правую руку на шашечную рукоять, но рука провалилась в пустоту. В дверях запнулся о палас. Строй молчал.

Генерал Буря ни Кригова, ни Лисицына не замечал.

Государь кивком позвал ординарца, открыл ларь и продолжил награждение.

– Как служится?

### 3

Вечером того дня Лисицын с Криговым и Баласанян вышли на Патриаршие – через Кольцо от бывшей гостиницы «Пекин», где теперь располагался штаб казачьего войска.

Москва была великолепна. Такая огромная, будто ее не люди строили, а какие-то древние циклопы, она для циклопов словно была и сделана: слишком для маленьких людей широкие улицы, слишком высокие дома, слишком торжественно для обычной жизни: и гранит, и мрамор, и золото. Шагал по ней маршем и такая гордость надувалась в груди за то, что ты частичка этого, что ты московский гражданин, что к этой древней мощи, к той силище, которая такое смогла воздвигнуть, относишься! Достаточно было просто по Садовому кольцу пройти, чтобы самому почувствовать: и мы не сор какой-нибудь, не дрянь безродная, мы стоим на плечах у титанов из прошлого, и титаны эти смотрят на нас из полумрака ласково – и требовательно.

Вечер стоял еще теплый нежным июньским теплом, а не июльским тяжелым жаром. Медленный ветер мел вдоль тротуаров пух от молодых тополей, высаженных недавно вместо обугленных коряг. Дома терпко, как лекарством, пахли свежей краской, перезвон от ста московских храмов мешался с голосами кафешантанов и смехом, который падал вниз, как пух легко, из открытых настезь окон.

На Патриарших горели все фонари, на уличных углах дежурили городовые, пытавшиеся хмуриться, но на деле порядком размякшие от несерьезных бед и вопросов здешних обитателей. Девушки в свободно дышащих платьях

стайками курили у ресторанных дверей, обсуждая своих кавалеров и постреливая глазами в прохожих. Кавалеры, все сплошь штатские в костюмах, сидели вальяжно за столиками, уже несколько расплавившись от вечернего тепла и игристых вин, и на троих казаков в парадной форме глядели иронично. Да и казаки себя тут чувствовали неудобно — кроме, конечно, урожденного москвича Кригова.

Отец у Кригова был хирургом, мать — в архиве работала, квартира у них, куда Лисицына позвали ордена обмыть, располагалась прямо на Садовом, но внутри кольца, поэтому относилась к серебряному поясу — и была своя, отдельная; сыном родители гордились до беспамятства, и так же до беспамятства за него боялись. Под Дербентом Кригов — был барчуком, москвичонком, и вечно поэтому лез в самое пекло: лишь бы всем доказать, что ростовских стоит. Зато тут, в столице, он был как рыба в воде.

А Лисицыну ни точно под размер сшитый мундир, ни первый его Георгиевский крест, самим Государем приколотый, ни еще при выходе из штаба принятые сто грамм никак не могли придать нужного для вечерней Москвы куража. Для него, как и для Баласаняна, внутри московского серебряного пояса начиналась какая-то слишком удивительная жизнь, ни на что знакомое не похожая, и кажущаяся поэтому сном.

Настоящее было там, под Дербентом, в боях с чернобородыми абреками, в штурмах их каменных сел, в обходах их дырявых осыпающихся городищ, где каждую секунду все могло оборваться: там так колотилось сердце, так шаршил адреналин, таким ярким был от него мир — и серый бетон, и черные горы, и молочный туман! А это... Это было как кино про старый довоенный мир, про несбыточную параллельную реальность, которое он смотрел на древнем планшете с исцарапанным и колотым стеклом. Хотелось в него поверить, но не получалось.

А вот почему еще не получалось раствориться в этом вечере: день не отпускал.

Кригов смеялся, нес какую-то возмутительно-восхитительную чушь, Баласанян ему кислотовато подыгрывал, а Лисицын только натягивал лицо. На душе было темно. Юра вспоминал то, что Кригов не видел: глаза бывшего атамана Полуярова, когда Государь ему сказал шашку сдать.

Полуяров славился своей злопамятностью.

«Есть такие змеи, которым отрубишь голову, а эта голова еще и мертвой может укусить и яд впрыснуть», — сказал Лисицын Сашке Кригову за обедом у криговских родителей. Но Кригов только отмахнулся.

Ввалились в какой-то подземный кабак, Кригов потребовал всем шампанского — купать Георгиевские кресты. Баласанян, от которого дневную историю

договорено было пока держать в тайне, тут совсем заскучнел. Достали кресты, полюбовались на них — Лисицын уныло, Баласанян завистливо, Кригов шаловливо — а потом Кригов потребовал у Баласаняна поменяться бокалами.

Отдал ему свой, с крестом, а у него забрал пустой. И осушил раньше, чем Баласанян успел уразуметь, что происходит. Потом рассказали Вазгену всю историю — про награждение, про царя, про разжалованного атамана, запинаящегося о ковровую дорожку. Кригов, дурья башка, хохотал, Лисицын говорил, как есть.

— Прррямо самому лично Государрю так? — раскатывая по-армянски «р», восхитился Баласанян.

— Полуяров нам так этого не оставит, — предупредил их Лисицын, черпая из внутреннего кармана жареные семечки, которых привез с собой целую прорву.

Но заказали водку, потом еще одну, еще — и Вазген наконец согласился повесить золотой крест себе на грудь — в шутку, примерить.

— Верю в мудрость и милость Государя! — заявил он.

За это и выпили. Закусывали семечками. Баласанян хохотал. Эх, дурак Баласанян, думает, что золотой крест и вправду можно от Сашки Кригова получить, а не только от самого самодержца! Надо было эту горечь засластить скорее — Лисицын пошел на бар за следующим водочным залпом, и там встретил Катю.

То есть, тогда он не знал еще, что это Катя, а просто увидел на барной стойке руку с удивительно тонким запястьем, детским почти, и пальцами — длинными и очень красивыми, но совершенно бесплотными — обнимающими черенок винного бокала. Бокал был наполнен вином цвета стылой венозной крови, а рука была совсем бескровная. Юре это показалось дурным знаком, и он уставился на Катину руку и на ее бокал тяжело, исподлобья.

Эта рука не была предназначена что-либо хватать и удерживать. Разыгрывать на фортепиано сонаты — возможно. Но вцепиться во что-нибудь или что-то куда-то тащить — совершенно точно, нет.

Тогда девушка освободила бокал, побарабанила пальцами по стойке, наблюдая за тугой Юриной реакцией, а потом сложила их буквой V. Увидев знак виктории, Юра вздохнул с облегчением, и только потом стал искать туманным взглядом обладательницу этих фортепианных пальцев. Золотого кольца на ее указательном пальце он даже и не заметил сразу.

— Только победа! — сказал Лисицын будущей Кате.

— Аминь! — ответила она.

Она и вся оказалась такой же скверно приспособленной к жизни за пределами Садового, как ее запястья и кисти. Плечи были слишком худыми, шея слишком лебединой, ключицы, скулы, грудная клетка — все кости казались такими тонкими, словно были сделаны из сложенной в пару слоев белой бумаги. Глаза



были болезненно большими — как будто, взрослея, будущая Катя с детства сохранила их удивленными и распахнутыми.

Ни одна казачка не рассмотрела бы в этой чахоточной балеринке соперницу; там, по границам Московии, жили другие женщины — с волосами и нервами жесткими как проволока. Запястья и бедра у них были как у московских мужчин, а мужество — вдвое крепче. Любая казачка могла бы эту Катю, эту прозрачную музу, только пожалеть.

Именно поэтому Лисицын, сам пограничный житель, поскобленный наждачной тамошней любовью, в будущую Катю не влюбиться не мог. В переливающимся барными огнями пьяном тумане он рассматривал ее прямую челку, ее волосы по плечи, ее зеленые глаза — и не мог отвести взгляд.

— Ты что, казак? — спросила она и засмеялась.

— Так точно, — сказал он. — А вы?

А она была действительно балериной. Служила в Большом, в кордебалете. То, что балерины тоже служат, Лисицына, военного человека, рассмешило и подкупило.

— Рядовым служишь, значит.

— Каждый рядовой носит в своем ранце маршалский жезл, — сообщила ему Катя. — А в твоём, кажется, семки?

И только тогда Лисицын перестал их лузгать.

— Ну так же ж... Они зато экологические, с Ростова привез. Ой, я тут все шкорками засыпал...

— Неужели даме не предложите, есаул?

— Сотник я, не есаул... Будешь, что ли, семечку? — растерялся Лисицын.

— Ну мы давай тебе место в ранце освободим, жезл может и влезет.

Она подставила свою неподходящую для этого руку. Он насыпал ей горсть пахучего подсолнуха.

— Свое производство? — поинтересовалась Катя.

— Та не... Своего у нас мед. У бати пасека.

— А медку-то нет с собой?

— Зря смеешься. Сейчас же ж каштановый идет, знаешь, какой? А потом акации сезон будет, вообще с пальцами проглотишь. Я тебе в следующий раз привезу.

Катя улыбнулась.

— А говорят, что мужчины не любят строить далеко идущие планы.

Подкатил Кригов. Снял у Лисицына с губы прилипшую шелуху.

— Э, ну как так-то? Там у товарищей боеприпасы кончились, а ты тут... Ой. Здрассте. Простите. У сотника Лисицына самоволка. Военно-полевой трибунал ждет.

— Лисицын это я, — объяснил Юра.

— А я Катя.

Так Катя из будущей сделалась настоящей.

Когда они с Криговым вышли курить, тот хлопнул Юру по спине со всей дури.

— Ничего такая. Катюша. В самый раз тебе, а?

— Ты с меня прикальываешься, что ли?

— В смысле?

— Она ж москвичка. Еще и с золотым кольцом. Это ж ты, брат, с московской пропиской родился. А у меня через три дня командировка кончится, и мне обратно до станицы кочумать.

— А вот ты женись на ней, к тебе как раз прописка и прилипнет! — посоветовал Кригов.

— Ты что? Я так не смогу, — сказал Лисицын. — Что ты, не знаешь меня что ли?

— Шо, шо. Знаю тебя: дурак. Не сможешь.

— Та и на хрен я ей сдался. Балерина. Из Императорского балета! И я, лох.

— Тебе не надо, я тогда заберу! — предупредил Кригов.

— Ну слышь! — предупредил Лисицын.

Тут дверь снова хлопнула, и на пороге возникла Катя с папироской.

— Сотник Лисицын! — произнесла она. — Есть предложение. Предложение-челлендж.

Кригов прикурил ей. И Кригов же спросил:

— Какое?

— Завтра бал. Бла-бла-благотворительный. Бал завтра, а у меня нет партнера. Кавалера, то есть.

Лисицын посмотрел на Кригова беспомощно.

— Как же у такой звезды может не быть кавалера? — спросил Кригов.

— Слетел, — ответила Катя. — Но я говорила не с вами. Сотник Лисицын! Вы выручите даму в беде?

— Я... Я не умею? — спросил у Кригова Юра.

— Я умею, — заявил тот.

— Я научу, — пообещала Катя.

— А где этот бал? — проямлил Лисицын.

— В «Метрополе».

— Это... Внутри Бульварного?

— Это рядом с Кремлем.

— Меня не пустят.

— Меня пустят! — вставил Кригов.

— Это я беру на себя, — сказала Катя.

Лисицын смотрел на нее растерянно, обескураженный ее веселым натиском.

Катя была хороша собой невероятно. Не «хороша собой» даже, а действительно прямо красива. Лисицын смотрел на нее испуганно, боясь глупым словом

или неосторожным движением ее спугнуть. И зыркал грозно на Кригова, который не собирался оставлять их наедине, а рыскал вокруг, выжидая, пока Юрка оступится.

— Ты как бабочка, — заявил он Кате неуверенно. — Красивая. Боюсь тебя спугнуть.

— Романтично. Спасибо, что не пчела. Так какой ответ?

Она была пьяна, но и Лисицын тоже был пьян. Это уравновешивало их — пока они оба были пьяны. Пока они оба были пьяны, он мог воображать, что пойдет завтра с ней на бал, что она может заинтересоваться им не только из баловства и любопытства, что будет отвечать ему на письма, и когда-то — может быть, ведь может же такое быть?.. — она будет с ним.

Зачем она тебе, Сашка? Ну что ты, балерин на своем веку не видал, и еще сто раз не увидишь?! Уйди, брат! Третий должен уйти! — зверски мигал Кригову Юра, но тот словно ослеп и никаких лисицынских семафоров не замечал.

— О! Наши!

Баласанян, покинутый товарищами, тоже выбрался дышать, и первым увидел этих. Через гомонящую толпу, раздвигая штатских в стороны, двигался прямо на них казачий патруль.

Лисицын сразу протрезвел, подобрался, усталился вдаль, поверх голов.

— Не за нами?

— Мания преследования? — хохотнул Кригов. — Мания величия?

Но Лисицын уже знал, что нет — не мания: он сцепился глазами с командиром патруля, и расцепиться уже не мог. Тот, заметив Кригова с Лисицыным, ускорила шаг, и шел теперь не просто вперед, а именно к ним. Есаул, и с ним два сотника. Никакой это был не патруль. Это их арестовывать шли.

Теперь даже Кригов это понял. Забрал растрепанные волосы. Посерьезнел.

Бежать? Прятаться? Оружия при них не было: в увольнительные в Москве табельное, даже шашки, брать не позволялось. Лисицын, собравшись, успел решить, что главное — сохранить достоинство. Он оглянулся на Катю.

— Тебе сейчас лучше уйти.

Поздно. Есаул, держа руку на рукояти шашки, остановился напротив Лисицына. Шаркнул ногой. Насупился.

— Сотник Лисицын, сотник Кригов?

— Так точно, Ваше Высокоблагородие.

— Извольте пройти с нами.

Лисицын этого ждал с самого того момента, когда атаман Полуяров запнулся о палас в Георгиевской зале. Теперь вот отрубленная змеиная голова жалила их обоих — и он не сомневался, что укус будет смертельный.

Кригов посмотрел на есаула.

– Нас задерживают, что ли, Ваше Высокоблагородие?  
Катя упрямо стояла тут, не уходила. Хмурилась, не хотела прощаться с Лисицыным.

– Задерживать? Нет.

Есаул посмотрел на Катю с сомнением.

– Не хотелось бы при штатских... Вас генерал Буря... Атаман вызывает. Новый. Прежний... Полуяров... Только что застрелился.

#### 4

На следующий день Лисицын неуклюже вел Катю через парадную залу «Метрополя», где давали тот самый бал. На нем была опять парадная форма, сотни чьи погоны прочно сидели на своих местах. На Кате – белое платье: бальное, но как будто подвенечное.

К отелю гостей свозили «майбахами» – лакированными лимузинами, доведенных, конечно, моделей, но безупречно выправленных у таджиков в их подпольных мастерских. Встречали прибывших вышколенные привратники в камзолах и цилиндрах, в белых перчатках, одетые неизвестно по какой моде, но весьма впечатляюще. Потом передавали прибывших официантам, которые угощали тех канapé с икрой и шампанское крымское вручали им в хрустальных фужерах. От резных дубовых дверей громыхали духовые и литавры разгоняющегося оркестра.

Лисицын старался подавить дрожь.

Он до этого только на дискотеках в микрорайоне плясал; ну, в офицерском клубе разучивали что-то классическое, подходящее к белогвардейским кокардам – по будням курсы правильной речи и истории Российской империи, по выходным – вот, кадрили. Но кадрили, не вальс.

Катя ему приказала не трусить. Взяла его решительно и, притворяясь фарфоровой статуэткой у него в руках, повела по залу. Катя была ему по грудь, невесомая – она сказала, в балете и надо быть такой, чтобы партнеру легко было носить тебя на руках.

Вальса Лисицын боялся очень, несмотря на приказ.

Чтобы ему совсем не упасть в грязь лицом, они договорились с Катей встретиться сначала с утра и репетировали три часа в каком-то разбомбленном дворе за Садовым. За это время он успел влюбиться в нее бесповоротно, но двигаться лучше не стал. Однако она поставила ему железное условие: вечером быть в «Метрополе».

Зачем ей это потребовалось, он никак не мог понять. В тених и с драматическими ресницами, с обнаженными плечами и с какой-то совсем детской талией,

в этом странном платье, она явно была предназначена одному из жирных пожилых щеголей во фраках, одному из лоснящихся молодых хлыщей, которых подвозили ко входу угольно-черные «майбахи», но никак не Юре — солдафону и лаптю.

Юра это знал и поэтому потел, спотыкался и не мог произвести ни одной складной шутки. А Катя парила над землей, оделяла присутствующих улыбками и зря представляла Лисицына каким-то своим богемным приятелям со заковыристыми и незапоминающимися именами.

Миг позора близился: вышел распорядитель, позвонил в колокольчик, попросил поскорее расправиться с шампанским и вернуть хрусталь лакеям, потому что до собственно бала оставались уже минуты. Юра один фужер вернул, а другой тут же подхватил и опрокинул в себя.

И тут к ним приблизился какой-то неприятный с первого же взгляда человек, бывший бы высоким, если б не был весь скрючен, казавшийся бы моложавым, если бы так не молодился, и дребезжащим голосом с Катей поздоровался. Лисицын почувствовал, что она и рада его видеть, и не рада. С Юрой человек здороваться не стал, вообще сквозь него глядел, будто на сотнике Лисицыне форма не офицерская была, а официантская.

— Я гляжу, замену ты быстро нашла, — сказал он.

— Я и не искала. Позвала первого из очереди, — Катя наклонила голову. — Очередь стоит отсюда и как раз до Большого.

— Ну да. Первого из очереди. Разборчивой ты никогда ведь у нас не была.

Катя сделала реверанс.

— И ты тому живое свидетельство.

— Шлюшка. Жалкая, — выдавил желчную улыбочку скрюченный человек.

И тут же Лисицын, отпустив наконец сжимавшуюся с каждым дребезжащим словом пружину, опрокинул этого дерьмоеда отлаженной боксерской двойкой, вторым точно в челюсть. Нокаут.

Налетела охрана, скрутили его под локти, выпихнули из «Метрополя», пригрозили вызвать полицию — и только из уважения к форме не стали.

Он зажмурился, закурил. Постоял минуту-другую — Катя не появлялась. На душе был какой-то винегрет. Теперь хотя бы с вальсом этим гребаным позориться не надо, сказал он себе. И то облегчение.

А Катя все не выходила и не выходила. Может, упала перед этим упырем на колени, брызжет ему на лицо водичкой.

Ведь она за этим сюда Лисицына и потащила — ткнуть им в лицо своему этому папику, отомстить. Ну простите, не рассчитал. Ткнули так ткнули. Теперь извиняется перед ним за дикаря.

Да пошла она!

Нет, как? Нельзя ее никуда отпускать... Она хорошая девчонка, и умеет быть простой, когда захочет: когда в этом разрушенном дворе Катя учила его шагам, наспех учила считать вальс — была нетерпеливая, но незлая, не заносчивая, смеялась его дурацким шуткам... Неужели все ради этого вот дефиле, ради того, чтобы с Юрой на поводке пройтись перед этим гадом?

Вот: только Катя его и волновала. Катя для него была теперь — жизнь, она была будущее.

## 5

Генерал Буря, теперь уже полноправный атаман, достал из ящичка чужого стола коробочку, оттуда вытащил неловко, одной своей рукой, Георгиевский крест и воткнул булавку Баласаняну в грудь. Застегнуть не мог.

— Дальше сам как-нибудь. Все, ступай, больно разит от тебя, братец.

Баласанян, счастливый, фыркнул и вылетел вон.

— Ты, Лисицын, можешь тоже идти.

Юра посмотрел на Сашку Кригова. Тот ждал. Буря кивнул ему:

— Кригов. С полковником Сургановым знакомы?

Похожий на торговца мясом полковник, при атамане позволявший себе развалиться в кресле, приподнялся.

Саша обернулся к Юре, кивнул ему, отпуская его. Лисицын отдал честь, но в дверях чуть замешкался, надеясь подслушать начало разговора.

— Государь император после сегодняшнего инцидента вас приметил... Хочет повидаться с вами еще раз. У него для вас особое поручение. Ты что-то забыл, Лисицын?

Юра притворил за собой тяжелую дверь.

Что за особое поручение, Кригов ему так и не рассказал; через пару дней он пришел в штаб в подъесаульях погонах. Этого обмыть не успели — Лисицыну было приказано возвращаться на Кавказ, а Кригову — оставаться в Москве. Больше они не виделись.

Юре показалось, что Государь приметил не того, не тому доверился. Что такого Кригов сделал? Про Баласаняна рассказал, и только. А почему? А потому что у него и так все было, он и москвич, и докторский сын, и образование у него настоящее было. А Лисицын отчего смолчал? Оттого что тяжело в сотники выбивался, и обратно в рядовые страшно было слететь. И вот опять все — Сашке: и звание, и особое поручение, и императорская личная ласка...

Приревновал, в общем, и зря. Потому что кесарю кесарево, а свинье — свиньяче.

И на Катю посягнул зря.

## 6

Катя выскочила на улицу минут через пять. За эти пять минут Лисицын успел уже с ней навсегда попрощаться и с разбитым сердцем вернуться к прохождению службы на Кавказе, зарекся влюбляться и принял твердое решение если и не уйти после отставки в монастырь, то хотя бы точно не связываться ни с кем, кроме проституток, с которыми все, по крайней мере, заранее ясно.

Катя его решимость мигом уничтожила.

Поцеловала сразу в губы и сказала, что такого чудесного подарка ей никто давно не делал. Что сраженный Лисицыным мерзавец — видный меценат, важный жертвователь Императорского балета, который в обмен на свои пожертвования выбирает себе жертв среди танцовщиц, ухаживаниями себя не утруждает, кордебалет называет своим курятником, и растерзав репутацию одной балерины, принимается сразу за другую. Но вот — коса нашла на камень в лице именно Кати, сказала Катя. Меценат такого простить не мог и принялся уничтожать Катину карьеру, и пусть ей теперь конец в любом случае, но, по крайней мере, это было красиво.

Она поцеловала его снова, и он ей безоговорочно поверил.

До возвращения на Кавказ оставались еще два дня.

Мало времени, очень мало. Чтобы не терять его зря, из постели они не вылезали вообще. На перроне Киевского вокзала, который, конечно, ни к какому Киеву давно уже поездов не отправлял, Катя не плакала. Она шутила бесконечно — жестко и смешно — и на прощание попросила у Лисицына руки и сердца.

## 7

Полковник Сурганов, по виду — мясник, а по должности — начальник контрразведки, печально кивает.

— А ты знаешь что-нибудь о задании, которое должен был выполнить сотник Кригов?

— Никак нет! — отвечает по правде Лисицын.

Мясник смотрит на него внимательно и добродушно.

— Сотник Кригов возглавлял экспедицию, которую Государь отрядил к нашим восточным рубежам. За Волгу.

— К мятежникам?

— Ну... Мы-то считали, что никаких мятежников там уже давно нет. Или переродили, или перебесились... Столько лет прошло. Ни слуху, ни духу.

— Так точно.

## Дмитрий Глуховский

— Но экспедиция Кригова пропала без вести. А бойцы там были отборные, из девятнадцатой отдельной бригады.

Сурганов выбивает из пачки дорогую импортную сигарету, неизвестно как добытую и неизвестно как доставленную в Москву с враждебного Запада. Лисицын думает, что Сашка Кригов точно должен быть жив. Сурганов поджигает табак. Казаку курить не предлагает.

— Хуже того, есть сведения, что взбунтовался крайний на этом направлении пограничный пост. Ярославский.

— Бунт? Из-за чего?

— Вот так. Мы тут... Проворонили. Из-за пертурбаций... Не решили вовремя проблемы со снабжением... А они оказались... Мда. Хотя я лично допускаю и другое. Кое-что похуже. Проникновение провокаторов с другого берега Волги. Так или иначе... Мы хотели бы поручить тебе, братец, это дело.

Он смотрит на Лисицына многозначительно. Лисицын стоит, выпучив глаза. Полковник ждет.

— Навести там порядок? — озвучивает Лисицын.

— Да хотя бы выяснить, — Сурганов пыхает дымом, — какого дьявола там творится. Ну и да, навести порядок, если выйдет. И совсем хорошо, если ты разберешься, куда там запропастился твой друг Кригов.

— Так точно.

Мясник кивает.

— А ты, брат, прямо-таки ничего и не слышал о том, что там за мостом делается? И что там во время войны было?

— Никак нет, господин полковник! — по правде отвечает Лисицын.

— Понятно. Ну, мы тебя введем в курс. И вот еще. На завтра ничего не планируй. Завтра, брат, тебя примет сам Государь император.

— Меня? Лично? — у Лисицына голова кругом от такого.

— Тебя, братец, тебя. Так что ты уж будь любезен, сегодня шибко не гуляй.

Выспись.

— Я... Я обязательно, Ваше Высокоблагородие...

— А ты, Лисицын, хочешь, зови меня Иваном Олеговичем. По-домашнему как-то.

Да, и колечко у тебя какое? Серебряное? Дай сюда, вот тебе от меня золотое, поноси до отъезда.



## Предложение

### 1

Весь спектакль он то и дело глядит на часы и громким шепотом осведомляется у соседей, когда все кончится. На него шикают. Какой-то франт, чтобы впечатлить свою чахоточную даму, через ряд грозит вывести Лисицына из зала, если тот немедленно не прекратит.

Но Юре точно надо знать, когда будет конец — он сидит на самой галерке, а ему прорываться к сцене с огромным букетом, который своими шипами наверняка будет цепляться за все эти их шелка и кружева. От нервов он лузгает семечки, и весь пол под его сапогами уже замусорен шелухой.

Дают «Спящую красавицу», «орус магnum Владимира Варнавы, ныне несомненного классика, в юности слывшего хулиганом», как Юра узнал из программы. На представление Катя его не звала — он хотел непременно сделать ей сюрприз и вообще не сказал, что будет в Москве. Билет в Большой доставал сам, и досталось вот такое — в самом тылу.

Катю ему среди ее товаров удастся найти не сразу и только при помощи полевого бинокля, который ему в штабе в шутку предложили взять с собой вместо театрального, а он согласился. Все эти шикающие люди вокруг смотрят на него, конечно, как на кретина — он сидит, прямой как палка, при полном казачьем параде, жрет семечки и пялится в свой громадный бинокль так, будто сцена — передовая, а оркестровая яма — траншея, из которой выбрался и двинул в штыковую враг.

Зато в этот бинокль видно Катю. Что там в целом за балет, он так толком и не понимает, потому что не отрывает взгляда от нее. Злится, когда ее заслоняют от него другие танцовщики, радуется, когда они расходятся в стороны, позволяя ей показать себя. Ревнует ее к партнерам, ревнует к приме. Партия у Кати незначительная. Ей часто, почти всегда, приходится делать то же, что и остальным — синхронно, как в строевой, как будто ей нельзя было доверить что-нибудь поважней, что-то, с чем она могла бы блистать!

Лисицын принюхивается к букету — пахнут ли розы? Когда брал, вроде бы пахли, но сейчас весь аромат словно выветрился; или, может, это он просто привык?

Они полгода как будто вместе, хотя служба у него по прежнему на Кавказе — но посреди этих длинных месяцев была трехнедельная побывка в столице, приглашение для которой Юре выправила Катя.

Три недели они гуляли по бульварам и набережным, ужинали в лучших ресторациях и завтракали с шампанским — и все это время он ревновал ее к москвичам — сытым, безбедным — из которых каждый, конечно, станет на Катю посягать, как только Лисицын уедет от нее за Трешку. Он понимал, что выглядит со своей ревностью глупо, но, когда вечерами они уносились в угар, Юра свое сомнение в том, что Кати достоин, в секрете держать больше не мог — и рвался в драку со всеми, кто на нее пялился чересчур уж липко. Дважды его вязала военная полиция, и только Катины чары (да и то чудом!) заставляли полицейских Лисицына отпускать без заведения дела. Катя его за безобразия бранила и прощала; но уверенности в себе и в ней у него не прибавлялось.

Вот он и спрашивает себя: а ждет ли она его?

Пойдет он сейчас к ней с этими розами — а другой никто не выйдет ли из партера, и пока он будет со своего балкона спускаться, уже и свой букет подарит, попышней, и руку поцелует, и щеку?

Не глупо ли и не самонадеянно ли было с его стороны хотеть ее удивить? Нет ли у нее на этот вечер других планов? В прошлый-то раз она была им оповещена заранее — и успела организовать так, чтобы вписать в свое любовное расписание лисицынскую побывку. Но так ли была скучна столичная жизнь, что никаких претендентов на Катину время и ее душу не было совсем?

В антракте он обводит биноклярным взглядом первые ряды, ища кого-нибудь похожего на того хрыча, которому Катя дала отставку на благотворительном балу. Хотя — соперник может выглядеть как угодно. Всех, кто сидит с букетами, как и он сам, Лисицын изучает особенно придирчиво.

Вон тот лощеный усач, например — приняла ли бы она его ухаживания? А этот мальчишка? Не так уж и юн, собственно... Кате двадцать девять, а этому... Ну, двадцать с чем-то. Мелкому засранцу.

Надо было сказать ей заранее!

Может, уйти? Уйти, набрать ей после спектакля — сказать, что приезжает завтра, дать ей время на подготовку...

Но очень не хочется терять этот вечер. Потому что экспедиция отправляется в Ярославль уже послезавтра, и вечеров осталось всего два. Шайтан с ним.

Он все же поднимается с места заранее, расталкивает возмущенных театралов и расцарапывает букетными шипами их мегер, пригибаясь, как под обстрелом, бежит к сцене и там еще пятнадцать минут ждет, пока балет кончится, чтобы метнуть в Катю цветы — первым, до того, как какой-то седогривый лев с Андреем Первозванным на шее — не министр ли? — вручит свой строгий букет рдеющей приме.

Катя ахает.

Громким шепотом велит ему ждать ее тут же, у сцены. Через десять минут, когда зал почти уже пуст, выбегает к нему, разгоряченная, и ведет Юру в закулисы пить шампанское с другими танцовщицами – невесомыми как школьницы-женщинками с изуродованными ступнями. Все они воркуют, окружив Юру, как голуби старика, который крошит им наземь хлеб, но Лисицына интересуется только Катя.

Потом, конечно, ресторан, и вино, и смех, и танцы до трех ночи. Страх и сомнение отступают с каждой Катиной улыбкой, а слова, которые он собирался точно сегодня вечером произнести, все никак у него не произносятся. Не находится для них подходящего момента, как-то все он их откладывает на потом.

А потом она тащит его к себе, они на цыпочках входят, чтобы не разбудить Катину компаньонку, тоже танцовщицу, запираются в комнате на шпингалетик, и дальше их намерение секретничать и щадить соседку само как-то забывается; все забывается вообще до боя заутренней – и только тогда, куря в постели, Лисицын признается Кате, что осталась у них всего одна еще ночь, после которой ему нужно будет вслед за Сашкой Криговым уехать к шайтану на рога.

Его страшно подмывает рассказать ей про то, что завтра его примет сам Государь, но он удерживается и не пробалтывается даже в послелюбовном изнурении, деля с Катей в постели ее сигарету с мундштуком.

## 2

Когда начинают бить Куранты, народ уже ждет: снимал шапки и потупился.

Снег падает тихо и торжественно: хотя в ноябре можно было бы ждать злого ветра, но в этот день он присмирел. Снег мягкий, но идет густо – и Спасская башня уже за полверсты сквозь белый тюль почти не видна.

Снежинки ложатся на непокрытые головы и взрослым, и сидящим у них на закорках ребятишкам, и таять не спешат – так что к тому мигу, когда бьет двенадцатый удар и Иерусалимские ворота раскрываются под всеобщий восторженный вздох, собравшаяся на Красной площади толпа вся уже кажется седой.

Сначала по двое неспешно выезжают на гарцующих конях кавалеристы в папах – его Императорского величества личный эскорт. У третьего и четвертого всадника в руках знамена: черно-желто-белый имперский триколор и белая хоругвь с багряным крестом.

Жеребцы могучие, обычных извозчиных лошадей крупней чуть не в полтора раза, и седоки им под стать. Масти кони светло-серой, серебристой, и, если б не черные их глаза, они казались бы в снегопаде прозрачными, призрачными, и кавалеристы с шашками наголо ехали бы словно по воздуху.

Первая пара, вторая, третья — и тут в полумраке башни зажигается бледный пламень: плошки фар царского ландолета. Диковинное авто окрашено в белый цвет. Водительское место крытое, а над задними сиденьями крыша сложена, убрана. На длинном капоте флажки — императорский штандарт.

Толпа подается вперед, городовые, которые цепью держат ее, схватившись за руки в парадных белых перчатках, стискивают зубы и с кряхтением давят обратно. И вот — на свет является вся машина.

Государь император стоит, держась одной рукой — на другой он держит мальчика, который одет ровно, как и он сам — в перетянутую портупеей полевую шинель, в папаху с армейской кокардой.

Юра напряженно всматривается в его фигуру. Не получается поверить, что сегодня вечером ему — ему, сотнику Лисицыну — будет оказана великая честь созерцать и слушать Государя лично. За что ему эта честь? Что скажет император?

— Ай! — жалуется Катя. — Что ты так вцепился?

— Прости, прости... — он ослабляет тиски, в которых зажата ее ручка.

В башне пробуждается голос. Над Красной площадью разлетается:

— Его Императорское величество, самодержец Московский, Аркадий Михайлович, и Его Императорское высочество, великий князь Михаил Аркадьевич!

Громкоговорители вторят ему от Исторического музея, от ГУМа, от Софийской набережной, от Манежной площади, с Ильинки, с Лубянки, с Тверской, с Варварки — отовсюду, где сейчас собрались в честь светлого праздника люди.

За лимузином следом идет в ногу еще дюжина всадников — попарно, все с шашками наголо, окутанные паром из конских ноздрей, мягко ступают по снегу.

— Слава Государю императору! Долгая лета!

Кто там первый прокричал это — неизвестно; но через несколько мгновений восторг волнами расходится уже от расчищенного городовыми прохода, от первых рядов, которые могут лицезреть царя лично — к тем, кому не повезло, кого зажали в глубине толпы.

— Долгая лета! Долгая лета!

Тут, кажется, собрались все вообще, кто может ходить, все, у кого есть золотое кольцо. Император на людях появляется нечасто, а наследника и вовсе показывает народу только в год раз — в большой православный праздник, день Михаила Архистратига и Всех сил бесплотных. Архангел покровительствует великому князю, как покровительствовал его деду Михаилу Первому, основателю династии.

Лисицын думает — вот он, правильный момент!

— Катя, я...

Предложение руки и сердца, которое она шутя сделала ему полгода назад на вокзале, осталось подвешенным в воздухе — Лисицын как будто бы принял его, но в прошлый свой приезд ни один из них об этой как будто бы помолвке не вспо-

минал. Надо теперь ему переделать это предложение заново, по-настоящему — и всерьез. Но слишком боязно, что откажет. И вот он всю ночь думал, как выстроить разговор. Сначала сообщить ей о том, что его, сотника Лисицына, сына старичного пасечника, вызывает к себе сам Государь — и срочно, сегодня же. И потом уж только, когда Катя ахнет, воспользовавшись ее замешательством, достать кольцо. Потом понял: удивительным и счастливым образом это приходится на День Михаила Архистратига и на царский выезд. Сцена подходила для действия как нельзя лучше; больше откладывать было нельзя!

— Государь император меня сегодня вызывают, — сообщает Лисицын Кате. — Личная аудиенция.

Катя бросает на него настороженный взгляд. А может, восхищенный.

— Ого!

Наверное, восхищенный.

— И о чем разговор пойдет?

— Не могу тебе сказать. Гостайна.

Она привстает на цыпочки, треплет его по гладко выбритой щеке.

— Ты такой милый.

И больше попыток выведать у Лисицына государственную тайну Катя не делает; а он гадает, почему это еще.

— Это по поводу экспедиции, — говорит Юра.

— В которую лучше бы ты не ездил.

— Ну брось.

— Я своих не бросаю.

— Ты не рада за меня, что ли?

Катя пожимает плечами.

— Рада, конечно! Но... Ты не думал, что с твоим другом там?

— Думал. Та Сашка нигде не пропадет. Все с ним нормально будет.

— Почему мне тогда страшно?

Юра хмурится и отмахивается.

— Это ж просто экспедиция. Просто задание.

— Было бы это просто задание, — возражает Катя, — вряд ли бы тебя лично Государь у себя принимали. Всех сотников принимать — принималка отвалится.

На них оборачиваются и шикают. Кригов медлит, крутя в кармане купленное второпях обручальное кольцо и никак не решаясь достать его оттуда.

Белый императорский ландолет с горящими огнями медленно катит мимо тысяч протянутых за благодатью рук, а царь взмахами затянутой в черную кожу кисти одаривает их этой благодатью — и лица людей озаряются, и снег начинает таять на их головах. Цесаревич Михаил Аркадьевич сидит у отца на руках крепко, надежно, не вертится — и смотрит на подданных серьезно, в свои-то пять лет.

— Такой странный мальчик, — говорит Катя Лисицыну.

— Как будто святой, — отвечает Юра.

— Как будто крепко поротый.

Ближайший к ним городовой, перехватив, кажется, их разговор, вслушивается теперь с подозрением и осуждением. Да Юра и сам чувствует себя за Государя обиженным.

— Та знает, что народ в нем царя видит.

— Он и когда у нас сидит в Большом, в своей ложе, такой же надутый.

Кортеж минует их и отправляется вдоль ГУМа к Манежу, Юра провожает его глазами, Катя смеется, толпа сплескивается за лошадиными хвостами, воздух звенит от ощущения только что случившегося чуда, свидетелями которому были все тут собравшиеся.

— Кать...

Он сжимает в кармане обручальное колечко. Но Катя своими шутками-шуточками спугнула его, и вот уже кортеж проехал, и конские хвосты замели этот миг, вот его пышным медленным снегом засыпало — не успел.

— А?

А когда он еще сюда попадет? Это сегодня у него в золотой пояс от полковника Сурганова пропуск — завтра обратно сдавать. Катя-то на Красную площадь хоть каждый день по своей червонной печатке ходить может: она в Большом служит, а живет в Леонтьевском переулке, ей положено и так, и этак. И все эти тысячи человек, которые облепят императорский кортеж на его пути от Иерусалимских ворот к Сретенскому монастырю — все с такими печатками на указательном пальце. А Лисицын тут лишний. Не заслуживает он ее.

Ну, скотина ты трусливая, решайся!

— Я другое хотел сказать...

— Какое?

Он переводит дыхание, и в конце концов предлагает:

— Пойдем, может, по коньячку?

Лучше вечером. Лучше за ужином. В ресторане. После аудиенции.

### 3

От Манежа императорское ландо с сопровождением следует вниз к Пушкинской. Кавалеристы не опускают руки с шашками, Государь не опускает руки, на которой держит наследника. «Долгая лета!» катится вместе с кортежем снежным комом по запруженной людьми Тверской, все больше и больше восторженных голосов и улыбающихся лиц налипает на него — и к Пушкинской городовым уже еле удастся сдерживать натиск гальванизированной толпы.

— Долгая лета!

К заиндевевающим окнам липнут лбами дети: внутри Бульварного, в золотом поясе, не осталось ни единого не застекленного дома, да и отопление тут работает у всех. Люди из теплых домов глядят на Государя благодарно, и все, кто высыпал на улицу, вышли по своей воле. Шашки в руках у кавалеристов в праздничной иллюминации отблескивают как елочные игрушки, растянутой поперек Тверской; от них и толку, как от игрушек — для нарядности только. Но никто тут и не желает Государю зла, и он знает это — поэтому едет в народ с этой бутафорской охраной, поэтому безбоязненно показывает народу маленького Великого князя — хрупкий сосуд, в котором мерцает так легко угасимый священный огонь данной Богом власти. И люди смотрят на этот огонек с нежностью и обожанием. Когда настанет время, когда цесаревич будет готов стать цесарем, будут готовы и они.

— Долгая лета!

Знаменосцы подъезжают к Пушкинской, к бульварам — к невидимой границе. Тут золотой пояс оканчивается, начинается пояс серебряный. И толпа по этой границе стоит куда более плотная и внимательная: к серебряному поясу относится все, что между бульварами и Садовым, народу в нем густо — в домах немало коммуналок, все жмутся к Кремлю поближе. Все, кто золотой печатки на палец не заслужил, стремятся получить хотя бы серебряную. И сейчас тут, вдоль бульваров, кажется, выстроились все, у кого серебряное кольцо, кому можно.

На Пушкинской кортеж поворачивает направо и едет степенно вдоль тонких молодых деревьев, по преобразившимся бульварам — сначала до Дмитровки, потом до Петровки. Белые флаги с багряными крестами в честь дня Михаила-Архангела украшают и их. Городовые в зимних шинелях с блестящими пуговицами стоят лицом к скопившемуся народищу, как положено — но и тут среди тысяч лиц нет ни злых, ни сердитых. Все стоят без шапок. Все, что им нужно — просто посмотреть на Государя или хотя бы вслед ему, на вихрящийся за белым лимузином, за конскими хвостами снег, который в отсветах разноцветных лампочек кажется рассыпаемым из машины конфетти, божественной манной, искрами счастья.

Люди, которые тут стоят, знают, что за бульвары им нельзя — дальше, в золотой пояс, ход только тем, у кого на пальце кольцо червонного золота с царским гербом. И никто не пытается нарушить порядок, прорвать прозрачную мембрану. Каждый знает свое место, и именно в благодарность за послушание Государь доезжает в архангельский день до тех, кто стоит терпеливо вдоль бульваров.

Мальчик у царя на руках начинает мерзнуть, мелко дрожит, но позиций не сдает; и сам император держит его неутомимо. Налетевший порыв ветра рас-

правляет знамена, шашки с присвистом нарезают ставший густым воздух, лошади фыркают, люди рукоплещут.

— Слава Государю императору! Слава Великому князю!

Но вдоль всех бульваров кортеж не поедет — на Петровке он сворачивает опять направо и по ней катит к Большому, вдоль построившихся для приветствия солдат Михайловского и Аркадьевского гвардейских полков. Народ рукоплещет еще снежному вихрю и конским хвостам, а потом разбредается по ярмарочным лоткам, устроенным вдоль бульвара — пить глинтвейн и делиться радостью с теми, кто не успел на проезд кортежа.

А император, поднявшись по Петровке вдоль застывших гвардейцев, у Большого вновь окунается в тепло — на Театральной площади его ждут с бумажными цветами, которые будут бросать под копыта белых коней и под влажные черные колеса ландолета.

— Неужели не боится, что бомбу кинут? — спрашивает в толпе кто-то нездешний, оказавшийся внутри бульваров по гостевому золоту.

— Да кого ему бояться! — отвечают ему. — Он по совести правит, а наследника Михаил-Архангел сбережет.

Площадь заклеена афишами «Бориса Годунова» и «Щелкунчика», мимо них император едет далее, к зданиям Охранного отделения, жандармерии и примкнувшего к ним «Детского мира», ничем, кроме вывески, по виду друг от друга не отличающихся. Там, выстроившись вдоль «Детского мира», желтой глыбы Охранки и белой глыбы Жандармского корпуса, Императора приветствуют курсанты Охранной академии — белая кость, сплошь дворянские дети; ландолет наконец вкатывает на Большую Лубянку. Его путь скоро кончится.

Сретенский монастырь — с золотыми луковицами бетонного Храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской — выступает в просвете между охранными разными зданиями — казармами, приемными, каталажками, офицерскими жилыми квартирами, которые все перемешаны так, что только причастный разберет.

Ворота монастыря уже для Государя и Михаила Аркадьевича распахнуты, и у ступеней Храма Новомучеников и исповедников встречает сам Патриарх в подобающем случае облачении: зеленой мантии поверх монашеской рясы. Золотые серафимы строго глядят с белого куколя. Прочие иерархи стоят за спиной владыки, шепчутся: они императора видят редко, заждались.

Всадники, въехав в ворота, спешиваются, расходятся полукругом. Белый ландолет останавливается, адъютант выскакивает первым, раскрывает дверь, и Государь сходит, ставит продрогшего мальчика наземь, сбивает снег с каракуля, отряхивает припорошенные погоны, шагает навстречу Патриарху, и вместо поклонов они тепло обнимаются. Патриарху, сутулому старику, Государь годится



в сыновья, но отеческой снисходительности он к императору не выказывает: уважение их обоюдно и очевидно.

Цесаревича Владыка гладит по голове и зовет скорей греться. В храме уже все готово для праздничной службы. По пути Великому князю вручают горячий чай в стакане с серебряным подстаканником и к нему баранку; остальное угощение — уже после богослужения.

#### 4

Перед тем, как по Москве разольется от Храма Новомучеников бронзовый звон, сутулый старик в белом куколе опускается на плохо сгибающееся колено перед серьезным сероглазым мальчиком с красными с мороза щеками. Смотрит, улыбаясь, как тот прихлебывает чай, как торопится с баранкой под насмешливым взглядом отца.

— Я тебе уже про Михаила Архангела рассказывал в том году. Но у вас, у детворы, каждый год память обнуляется. Расскажу еще раз, от меня не убудет.

Мальчик кивает. Старик подводит его к расколотой иконе, с которой облетает золотая чешуя. На иконе — красивый человек с крыльями, нерусскими печальными глазами и длинными кудрями. Глаза у него печальные, но в руке меч. По золоту человек нарисован черным.

— Михаила потому Архистратигом зовут, что он всем святым войском ангельским командует. Это под его командованием Воинство света, которое мы силами бесплотными зовем, разбило войско демонов, войско тьмы, наголову. В одной руке, гляди, у него копье, а на нем флаг, видишь? Это хоругвь, не просто флаг. Хоругвь белая, это цвет Бога, а на ней крест красный, а правильной — червлёный. Знаешь, почему крест на хоругви нарисован?

— Потому что он в Христа верит!

— Эх! Забыл все-таки. Ладно, подскажу. Копьем этим он разил Змея, Сатану. Помнишь ли эту историю? Среди ангелов Господних был один, по имени Денница — самый к нему близкий, наипрекраснейший из всего ангельского сонма, наисильнейший... И вот именно он-то и решил Господа предать, свергнуть, и стать вместо него. Гордыня! Стал он остальных ангелов подстрекать к бунту. И треть ангелов пошла за ним. Предатели. Но один вышел и сказал: «Кто с Богом сравнится?», «Кто как Бог?» а на древнееврейском — «Ми ка эль?» Кто с Богом сравнится, а, Михаил Аркадьевич?

Владыка смотрит на цесаревича лукаво.

— Не знаю, — пожимает плечами мальчик.

— Никто. Никто с Господом не сравнится. Никто на свете. Так его и прозвали, Михаэль, Михаил по-нашему. И остальные ангелы, две трети, послушались Ми-

хаила, стали его армией, а он стал их главнокомандующим — по-гречески это и есть «Архистратиг». А Денницу стали называть Сатаной, что значит — «враг». Враг и Господа, и рода человеческого. Была на небесах жестокая битва, и Михаил копьем этим нанес рану Сатане, который принял образ змея. А есть, кстати, у него еще и огненный меч, и щит с крестом, и доспех, потом покажу тебе. Вот так он Сатану и поверг, ангелы-предатели стали демонами и бесами, а наши ангелы, хорошие, их победили и сбросили с неба на землю. Вот в честь той великой победы у Михаила Архистратига на хоругви-то червлёный крест и нарисован. Вот какой у тебя святой защитник, твое императорское Высочество, — ласково говорит мальчику Владыка. — Тот же, что и самого Господа Бога смог защитить. А пойдем-ка, к той вон еще иконе пройдем.

Он с кряхтением встает, отгоняя взмахом помощника, который пытался было подставить ему для опоры локоть.

Мальчик оглядывается на своего отца, тот кивает: иди, не бойся.

Патриарх берет в свою морщинистую руку ладошку цесаревича, и они переходят чуть дальше. Там висит икона иная, не из трухлявого дерева — чистая, новая, писаная по блестящему металлу — на века. На ней крылатый воин хмурится, трубит в рог, а вокруг него людишек помельче без числа, и все перепуганы.

— Вот опять он, Михаил Архангел. Трубит в рог, мертвых на Страшный суд призывает. А в другой руке у него что?

— Сумка? Пакетик?

— Нет, твое Высочество, не сумка. Весы. Так весы выглядели раньше. На весах он будет души человеческие взвешивать. У грешников они тяжелые, им в ад, на муки вечные. А у праведников легче перышка — их в рай можно пускать. Но весы весами, а Михаил перед Христом за человека заступается. Просит быть к ним милостивым. Помогает решать, кому в рай попасть можно, кого простить следует. Вот такой вот покровитель у тебя, Михаил Аркадьевич.

Государь стоит за их спинами, слушает тоже, улыбается.

— Вот в чью честь назвали тебя, — говорит Владыка. — Так что...

— Меня в честь дедушки назвали! — перебивает цесаревич. — Дедушка был Михаил Первый, а я буду Михаил Второй. Когда вырасту.

— Всех Михайлов в честь архангела зовут, — смеется Патриарх. — В честь того, кто первым сказал «Кто как Бог?». А кто как Бог, а? Кто его главней?

— Никто, — мотает головой великий князь.

— Вот! Главное помнишь! Никто.

Старик целует мальчика в макушку.

— Ну! Согрелся? Идем теперь, службу постоим.

Он кивает своему помощнику, и через минуту по всей Москве начинают звонить колокола.

## 5

Черная машина с черными армейскими номерами прибывает к казачьему штабу ровно по времени. Стекла у нее непроницаемые, что ждет пассажира внутри, сказать нельзя.

Лисицын спускается вниз в парадной своей офицерской форме, рубашка выглажена и накрахмалена. В лицо метель — к вечеру поднялся ветер. Весь день Юра старался сдерживать волнение, осаживал и высмеивал себя — но сейчас, когда пора садиться в авто, которое повезет его навстречу судьбе — великой? ужасной? — его начинает потряхивать.

Часовой в клубке, козырнув, открывает ему дверь, Лисицын сгибается, чтобы сесть — и понимает, что ехать он будет не один. На заднем сиденье развалился полковник Сурганов. Дверь чавкает, машина сыто урчит, снимаясь с места.

— Как день прошел? — Сурганов любезен.

— Та... В приготовлениях. Ваше Высоко...

— Ну так, давай, и я тебя подготовлю немного.

От Лисицына пахнет одеколоном, Сурганов — несвеж и небрит, под глазами мешки. Впереди сидят двое, водитель и сопровождающий, оба в той же форме, что и полковник — военная контрразведка. Шофер включает мигалку, крикает сигналом. Постовой останавливает ради черной машины Тверскую, и авто вырывается мимо застывшего потока на специальную полосу. Дальше к Кремлю оно летит по прямой.

— Все, что Государь будет тебе говорить, слушать внимательно. На вопросы отвечать честно. Своих вопросов не задавать.

— А вам позвольте? Вопрос. Вам неизвестно, о чем... Разговор?

Сурганов забывается, достает на свет свои кулаки, начинает разглядывать их. Костяшки распухли и потрескались. Вряд ли это была драка — лицо у полковника нетронуто.

— Разговор? Эта экспедиция, криговская, за Волгу... Была у Государя на личном контроле. О том, что на Ярославском посту случилось... Нечто... Ему донесли с запозданием. И то, что там вот уже несколько дней никто не выходит на связь, это весьма и весьма тревожно. Учитывая, кхм, историю.

— Вы ж про бунт, Иван Олегович?

Сурганов мешкает с ответом.

— Учитывая историю. Войны. Мятежа. Того, как мы его подавляли.

Он отвлекается от своих рук, чтобы изучить лисицынскую физиономию. Окунает кулаки в темноту, словно отмачивает их в ней. Лисицын ждет продолжения — про войну на восточных границах он знает только из уроков политинформации в учебке.

— Помнишь, что там было?

— Я? Ну... Когда наша наступательная операция захлебнулась... Федеральная, то есть... Мятежники ж собирались идти на столицу... И потом... Мне ж тогда само-му было десять только. И там было это чудо с иконой Михаила Архангела... Которую вынесли на тот берег Волги. И потом... После молебна... У них там же ж междоусобица началась, кажется?

Лисицын заикается, сбивается — чувствует себя снова школяром у доски. Полковник кривится. За окном мелькают рекламы: водка, платье, набор в добровольческий корпус. Там, где начинается золотой пояс, машина притормаживает на секунду, чтобы постовой мог прочесть номер и отдать честь.

— И они, в общем, отступили. Мятежники. Стали грызть друг другу глотки. За мост же ж так и не перешли, откатились назад. Все. В чудо можно не верить, в икону... Но факт фактом. Хотя я сам, как человек православный... Да. И восточных границ больше никто не беспокоил с тех пор. Правда, и федеральный экспедиционный корпус же ж... Не вернулся. Вот. Все, вроде. Я больше про юга понимаю, господин полковник. Я ведь там служил.

— Да знаю я, где ты служил, знаю, Лисицын. Только ты рот раскроешь, а это уже ж понятно, — передразнивает его Сурганов. — Про икону ты, видишь, братец, помнишь. А про спасителя Отечества не помнишь? Про Михаила Первого, про батюшку Аркадия Михайловича? Кто мятеж-то остановил?

— Ну это... Это само собой же как-то... Про Государя императора-то ведь каждый...

— Ну конечно. Само собой. Ты только про это на аудиенции не забывай.

— Та как можно! Я вас не подведу! — старается отчеканить Лисицын.

Машина, домчав до Манежа, принимает влево, на Охотный ряд. Лисицын ерзает: Кремль отступает, заметенный ледяной крупой, авто проходит между бывшей Думой и бывшей гостиницей «Москва», как между Харибдой и Сцилою. Подмывает спросить, почему едут не в Кремль. Если не в Кремль, то куда?

— Друга твоего Кригова Государь тоже принимал, перед тем, как отправить туда, за мост, — говорит Сурганов. — Он вот тоже обещал не подводить. Эх... Слушай. Пойдешь с полусотней. Если вы что-то странное там встретите... Что-нибудь... Непонятное. То ты, братец, лучше назад сразу вертайся.

— Вы же сказали, там бунт? — пытается сообразить Лисицын. — На Ярославском посту?

— Жрать мы им не посылали, потому что командование тыла поставки разво-ровывало, а сигналы с постов все в ящик к себе убирало. Пока мы разобрались... — Сурганов трет подбородок. — Ну бунт как бы, вроде да. Но ты послушай еще, что тебе Государь скажет. И если в Ярославле хоть что-то странное увидишь... Такое, чего не сможешь понять... То возвращайся немедленно.

— Так точно.

— Хоть кто-то должен добраться назад из вас, понял?

– Понял.

Машина прибывает на Старую площадь, останавливается перед высоченными чугунными воротами с решетками и шипами. Окна опускаются, в салон заглядывают бойцы в кевларе. Шофер предъявляет путевой лист, удостоверение. Светят фонариками всем в лица без всякого почтения, слепят. Через плечо у них пистолет-пулеметы на ремне. Гости из прошлого. Одни ворота раскрываются, впереди другие. За ними – третьи, и между каждым – проверка.

– Где это мы? – шепчет Лисицын.

– Это личная Его Императорского величества резиденция. В гости тебя соизволили пригласить. На чай.

– Я... Великая честь... Я...

– Да брось, не тушуйся.

– Я все же ж... Я-то почему?

– Ты-то? Ну вот так. Понравился ему тогда Кригов. И тебя он запомнил, что ты за друга головой рискнуть был готов. И вот-с: подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Так что Кригову скажи спасибо.

– Когда найду его, Иван Олегович, обязательно скажу!

Двери открывают караульные в синих шинелях с каракулевыми отворотами. Сурганов передает Лисицына капитану античной стати и внешности.

– Дальше сам.

– Так точно.

Сердце колотится так, будто Лисицыну сейчас на Олимпийских играх выступать.

## 6

За тремя рубежами личной охраны открывается наконец апартамент: вроде старомосковской квартиры с высокими потолками. Анфилада комнат уходит в уютный полумрак – дворцовые люстры погашены, мягкий свет идет от торшеров в тканевых домашних абажурах. Из глубины играет тихо фортепиано – ученически, заново и заново пытаюсь с разбегу взять трудную музыкальную дробь.

Лисицын стоит на пороге по стойке «смирно» и замороженно слушает, не смея ступить шагу дальше. Тренькает где-то телефон – слышится неразборчивый мужской голос... Государя известили о прибытии гостя. И вот шаги.

Он появляется в самом конце анфилады, которая из-за порталов в каждой из комнат кажется цепью отражений в двух поставленных друг против друга зеркалах. На нем офицерский китель, штаны с лампасами, и вдруг – Лисицын с удивлением замечает это – войлочные мягкие тапки.

Юра не вытягивается — выгибается, щелкает каблуками; фуражка сидит у него на руке.

— Сотник Лисицын?

— Ваше императорское величество!

— Пойдем, братец, пойдем.

Он, полуулыбнувшись, разворачивается и идет первым, указывая Лисицыну путь через порталы в зазеркалье. Комнаты наполнены резной мебелью оранжевого сучковатого дерева, похожими на водопад хрустальными люстрами, масляными портретами в золотых окладах — по левую руку лица прежней династии, Романовской, по правую — нынешней, Стояновской: глаза в глаза.

Охраны и прислуги больше не видно. Музыка становится четче и настойчивей. Наконец приходят в большую гостиную — ковры, диваны, стол на шесть персон с тяжелыми деревянными стульями, подушки с бахромой, зеркала. Фортепиано, за которым сидит девочка десяти лет, Великая княжна Мария Аркадьевна. От стола, обложенный учебниками и тетрадями, поднимает глаза на гостя мальчик — сам цесаревич.

— Здравствуйте, — здороваётся он первым.

— Ваше императорское высочество, — опять стучит каблуками Лисицын.

— Ты похож знаешь на кого? — смеется из-за фортепиано девочка и принимается наигрывать что-то другое, бравурное.

— Маня, прекрати! — делает ей замечание мальчик. — Она «Марш оловянных солдатиков» из «Щелкунчика» играет! — объясняет он вытянувшемуся во фронт Лисицыну.

— Садись, братец, за стол, не стой, — Государь отодвигает для сотника стул, но тот продолжает стоять.

Во рту сохнет.

— Садись же, ну? В ногах правды нет.

Наконец Лисицын садится. Великая княжна, достучав по клавишам оловянный маршик, возвращается к своим экзерсисам, цесаревич погружается в уроки, отец треплет его по затылку, и наконец смотрит на Лисицына — пристально.

— Чай будешь?

— Так точно.

Государь усмешается, звонит в серебряный колокольчик. Появляется опрятная пожилая женщина в фартуке и чепце, ловит Государев взгляд, читает жесты. Кивает и испаряется.

— Супруге нездоровится, — говорит император. — Просила извинить.

Лисицын только таращит глаза — хоть бы вышло сочувственно! — и кивает.

Чай приносят на серебряном подносе — в фарфоровом чайнике, с хрустальной вазой, полной сушек — цесаревич немедленно ворует несколько и набивает

себе рот, отец ему замечаний не делает – и пиалой с янтарным медом. Лисицын глядит на мед, улыбается.

Как только кипяток разлит, Лисицын делает большой глоток – и ошпаривает себе язык. Мальчик это замечает, расстраивается за казака.

– Осторожнее! Я так обжегся!

– Уже, – ворочает Лисицын шершавым бесчувственным языком.

Девочка хихикает. Упражнение теперь у нее идет сбивчиво, потому что она то и дело оглядывается через плечо на оловянного солдата в казацкой форме.

– Ну расскажи, братец, о себе, – просит Государь.

Надо собраться, говорит себе Лисицын. Не шокать, не гзкать, слов-паразитов иностранных не допускать, говорить, как в учебке в голову ему пытались вбить: как достойно русского офицера.

– Ростовский я, Ваше величество. У родителей четверо нас, меня отдали в военное училище. Потом служба, потом офицерское высшее. Опять служба, Чечня, Кабарда, Осетия, теперь Дагестан. Дважды ранен. Имею награды, в том числе от Вашего императорского величества лично Георгиевский крест.

– Да уж помню, помню.

Помнит! Лисицын замирает в ожидании того, что император скажет ему о его будущей жизни. Тот прихлебывает чай.

– А ты-то что пустой чай хлебаешь? Я же вижу, ты вон от меда глаз не отводишь! Голодный?

– Никак нет, Ваше императорское величество... Не голоден. Просто пытаюсь понять, что за мед. Кориандровый или каштановый.

– Ничего себе! Разбираешься? А ты попробуй.

Лисицын подчиняется, скованно тянет серебряную ложечку к пиале, черпает тягучий, похожий на смолу, мед. Принюхивается.

– Кориандр.

– Видишь ты! Такой и такой бывает, оказывается. А мне что на стол поставят, то я и ем.

– Так у отца же ж пасека, Ваше императорское... Каштан другой, у него запах особый. Для настоящих гурманов... То есть... Прощу прощения, Ваше величество. Бывает, что и разнотравье такой вкус дает, шо... Ш-то...

– Помню, мальчиком еще алтайский мед покупали, как раз полевые цветы и травы, – кивает задумчиво Император. – Где теперь этот Алтай...

– Так точно. Но каштан вот именно, когда он только свежий, с-под пчелы... Вот он – ни с чем не сравнить! Из-под пчелы, то есть.

Государь смотрит на него с усмешкой, но в усмешке этой больше ласки, чем небрежения.

– Ничего, ничего, брось. Хорошо говоришь, чисто. Учат вас, в офицерском. Приятно слушать. Речь не засорена.

— Рад стараться!

— Это хорошо, хорошо, что рад, братец. А скажи вот, только честно... Когда учились там с товарищами — смеялся у вас кто над тем, что боевых офицеров заставляют родную речь заново учить, от заимствований чистить?

Лисицын торопливо пригубливает фарфор: Сурганов приказал Государю не врать, но надо собраться с духом.

— Так точно, — сокрушенно признается он.

— А насчет истории? Что историю Российской империи заново учить, что Соловьева читать требуют? На это есть жалобы?

— С этим меньше, но...

— Эх. Ну да ничего, потерпите. Дворянство, офицерство и говорить правильно должны, и историю точно знать. С простого человека спроса нет, он легковверен, пойдет, куда позовут. А вот пастыри, пастыри его должны быть учеными. Вон, — Государь кивает на мальчика, — Михаил Аркадьевич учит, и вы поучите.

— Скучно! — протестует за Лисицына наследник.

Император ухмыляется. Потом напускает на себя строгость.

— Без прошлого нет будущего. Дуб корнями силен, потому так и крепок, потому дольше других деревьев живет и ветви широкие имеет. Если бы за почву он так не держался своими корнями, не вынес бы его ствол такого веса, любой ветерок бы его повалил. Понятно объясняю?

Лисицын кивает, хотя вопрос задан цесаревичу — тот бурчит, не отрываясь от учебников:

— Да понятно, понятно!

— Это не притворство и не игра! — говорит Государь. — «Реставрация» что значит? Восстановление. История только кажется руинами. Она не руины, она фундамент, без которого мы нашу крепость не восстановим. Этот фундамент надо очистить от грязи, от сора, который сверху нанесло, укрепить — вспомнить все, затвердить. Он тысячу лет простоял и еще простоит столько же, и только на него можно великую русскую цивилизацию заново поставить. Понимаешь, сотник?

— Понимаю.

— Ничего он не понимает! — хихикает великая княжна.

— Все он понимает! — вступает за казака наследник. — Даже я понимаю!

— Ну-ка! — хмурится на детей Государь. — С уважением к офицеру! На его плечах, на плечах его товарищей стоим! Эх... Построже бы надо с ними, а?

Лисицын осторожно пожимает плечами.

— Бог его знает, как царей правильно воспитывать, — вздыхает Государь. — Какими вот их делать лучше? Добрыми или справедливыми? Хитрыми или честными? К какой жизни готовить? К какому царствованию?



– Я за справедливость, – выдавливает из себя Лисицын.

– Да уж я помню, – смеется Государь. – Взять тебя, что ли, справедливости вон его поучить?

– Не заслуживаю такой чести! – шершавым языком ворочает Лисицын.

– Ну, дай Бог, заслужишь еще! Справедливость... Нужное качество. А что еще, Михал Аркадьич? Каким Государь должен быть?

– Честным! И храбрым! – звонко говорит великий князь.

– Так, так. Все верно. И честным, и храбрым. Но все же главное – памятьливость. Надо помнить, кто тебе добро делал, и никогда не забывать. Надо помнить свои ошибки и никогда не повторять. Надо помнить, кто до тебя державу и скипетр в руках держал, сколько они для Отечества сделали. И стараться быть их достойным, понимаешь? Ты ведь не из воздуха взялся, а от меня, как и я от своего отца. Твой дед мятеж остановил, столицу спас, а я по обломкам страну собираю – для тебя, для народа. Ты будешь должен мое дело продолжить, чтобы своим детям ее еще больше передать, еще крепче... Романовы триста лет простояли, столько и мы должны продержаться.

– Мы дольше должны! – заявляет мальчик. – Например, пятьсот сорок три!

– Вот это разговор! – смеется Государь. – Ты пей чай, сотник, пей, твое благородие.

Лисицын отпивает.

– Так-то. Зря, так что, у вас в училище... Говорят. Это не кривляние, не подражание. Это возврат к истокам. В почве сила. Соки жизненные. Тот, кто каждое утро просыпается с амнезией, будет на месте топтаться, потому что все, что знал и умел, забывает. В настоящем поэтому только одно настоящее и есть, а вот в прошлом – будущее.

– Так точно.

– Это, брат, и есть наш особый путь. И пусть нас за него хоть еще сто лет в блокаде держат, пусть хоть тысячу. Эта блокада нам во благо. Мы тут, да, за стеклом, но у них там холод, а у нас тут тепло. Мы в нашей теплице лучше приедемся и быстрее окрепнем. Они нас технологий лишают, думают, это наказание. Что же – эти-то технологии их и развалят, растлят и разрушат. Мы-то хоть знаем, что тот мир, в котором мы живем, надежен – как предки наши жили, так и мы. А они там... Нравственное созревание у них за техническим прогрессом не поспевает. Растут, растут, а сами изнутри гниют заживо. Сгниют и лопнут, не дозрев.

Государь мешает сахар, стучит серебром о фарфор – нервно, спешно.

– Блокада... Еб вашу мать. Это кто тут еще кого наказывать должен!

– Папа! – протестует великая княжна. – Это было прямо фу!

– А ты не подслушивай! – сердится Государь. – Распустил... Вот дед бы ваш был жив, не стал бы с вами лимонничать! Как вам державу буду передавать?

Они молчат, Лицисын ждет, что еще скажет император, думает, стоит ли сейчас заговорить самому — о Кригове, о том, что благодарен Государю за то, что тот спас их тогда от полярювской расправы. Но вспоминает слова Сурганова и решает сдержаться.

Государь опускает ложку в мед, крутит ей задумчиво в янтарной густоте.

— Алтай... Как думаешь, подьесаул, будет ли Алтай снова нашим? Урал хотя бы будет нашим снова?

— Я... Сотник... Ваше императорское...

— Будет либо нет?

— Будет, конечно же!

— Будет. Непременно будет, во что бы то ни стало, будет. И если казаки мне не вернут Урал с Сибирью, то никто уже не вернет.

Он встает, хлопает Юру по плечу.

— Скажи, Лисицын. А если надо будет за меня голову сложить, сложишь?

— Так точно!

Лисицын с грохотом вскакивает.

— Ладно, ладно.

Государь вздыхает, отходит к окну.

— Ну, пойдем провожу. Детям ложиться уж пора.

Но в середине анфилады, оглядевшись вокруг и удостоверившись, что никто их не слушает, Аркадий Михайлович кладет руку Лисицыну на погон.

— Послушай меня. Я хочу, чтобы ты съездил туда, чтобы ты сам своими глазами все увидел, вернулся оттуда невредимым и сам мне все лично рассказал. Правду рассказал, понимаешь? Что там такое. Потому что вокруг меня много людей, которые мне брешут. И я именно тебя потому дернул, что ты с ними всеми никак не связан. Мне надо точно знать. Усек?

Лисицын только тарашится и кивает, даже слов не может найти.

— И никому про эту мою отдельную просьбу ты не говори.

В дверях император дает казаку руку — по-мужски, с размаху, жмет ее коротко и крепко, и выставляет Лисицына на лестницу, где его ждет уже сопровождающий.

## 7

— Что сказал? — спрашивает первым делом Сурганов.

Черная машина выезжает за чугунные ворота.

— Про историю говорил. Про корни. Про память. Детей поучал. Там были великий князь и великая княжна... Про блокаду.

— А про поручение твое ничего?

– Никак нет. Только готов ли я отдать за него жизнь. За Государя.

Сурганов отворачивается, смотрит в окно. Лисицын разрешает себе подумать о том, в какой ресторан сегодня пригласить Катю, чтобы вручить ей купленное впопыхах (не по размеру, наугад!) обручальное кольцо.

– Значит, так. Обстоятельства у нас поменялись. Выдвигаться вы будете не завтра, а сегодня же, по возвращению в штаб. Вещи собраны?

– Так точно, – обомлело произносит Лисицын.

– Ну вот и ладно. Бойцов твоих уже собрали, пока ты чай пил. Сотня у тебя будет, а то полусотней дело может и не обойтись. Два сотника в подчинении, Жилин и Задорожный.

– А как ими командовать? Я ведь и сам...

– А ты, братец, теперь подъесаул. В штабе получишь погоны, пойдешь сразу нашей.

– Как же ж? Иван Олегович... Спасибо!

– Не мне спасибо, балда. Такое время, все наспех. Ладно. Ты только мне чтобы без головокружений, понял? Обстановка там может быть не ахти. Ты вот что. Ты там никого не слушай, на месте.

– Я... Я понял...

– Что ты понял?

– Что обстановка трудная там, что надо внимательно... Ваше Высокоблагородие.

Полковник кривит рот.

– Ни хера ты не понял. Не слушай никого. Запомни, и все тут. И насчет Кригова, кстати. Ты учти просто, что тебе там всякое может встретиться, в этом Ярославле. И если вдруг тебе твой товарищ Кригов найдется, и будет жив, и тебе его вдруг придется убить, так ты его убивай без размышлений. Как бешеную собаку. Это хоть понял?

– За что?

Лисицын чувствует, как затылок у него стискивает, как по рукам мураши бегут.

– Да ни за что. Просто запомни, что я тебе сказал, на месте разберешься. Запомнишь?

– Так точно.

## 8

– Здравствуйте! Мне Катю! Это Юра. Ее Юра.

Он стоит посреди прокуренного помещения офицерского клуба, вокруг орут и хохочут, щелкают громко, как пистолетные выстрелы, бьющиеся друг о друга бильярдные шары. Телефон один на весь клуб, к нему хвост – сотники и есаулы

## Дмитрий Глуховский

переминаются с ноги на ногу и перебрасываются шутками, пока наступит их черед назначить какой-нибудь московской красотке на вечер или прокричать далеким детям «Спокойной ночи!» сквозь шорох изношенных проводов.

Она подходит.

– Привет, Кать. Это Юра.

– Какой Юра?

Она выдерживает паузу, потом начинает хихикать.

– Ну как Государь? Расскажешь за ужином?

– Я не могу. Мы прямо сейчас отправляемся, Кать. Прости. Я хотел нормально.

– И когда обратно?

– Не знаю. Может, скоро. Типа, через пару дней. Я правда не знал...

– Да ничего страшного. Я подожду. Ну ладно, удачи тогда?

– Погоди, Кать. Погоди секунду.

Лисицын озирается вокруг — на мнующихся вокруг скучающих солдафонов, которым лень даже притвориться, что они не греют сейчас уши. Не хочется, чтобы лишние люди сейчас слышали это...

– Кать. Прости, что так... Что сейчас. В общем, да.

– Что — «да»?

– Ну ты тогда мне предложение сделала. Я тебе говорю — «да». Руки и сердца.

– А! Отличнейше.

– Ну или, то есть, ты выйдешь за меня?

– О! — принимается орать кто-то рядом. — Лисицын женится! Качать Лисицына!

– Качать сукиного сына! — восторженно и пьяно поддерживает кто-то другой.

– Вернешься — поговорим, — смеется в трубке Катя. — Я подождала — и ты подождешь.

## Живой

### 1

До Ярославского вокзала их везут черными зарешеченными «Уралами» жандармерии: командование выхлопотало, чтобы не тратить силы личного состава на мотания по Москве. Пять ухоженных грузовиков на огромных колесах вмещают в себя целую казацкую сотню.

Под Лисицыным два сотника — Задорожный и Жилин, каждый командует своей полусотней. Жилина Кригов взял к себе в кабину Задорожного, который кажется ему посмекалистей.

— Что у тебя за хлопцы? — спрашивает у него Лисицын, сплевывая шелуху в кулак.

— Туляки.

— Воевали?

— По западной границе стояли, у Великих Лук. Там бывало всякое, конечно, но воевать прям — нет, не воевали, ваше благородие.

— А другая полусотня что? Семечку будешь?

— Спасибо, — Задорожный подставляет ладонь. — Жилинская? Это рязанские, на базе бывшего десантного училища. И он сам из десантуры. Лобешником кирпич разбивает, вот это вот все. Поэтому и задержался в сотниках.

— С опытом хоть?

— С татарами воевал, которые по нашу сторону Волги остались. В Волгу их как раз сбрасывал. А что, ваш-бродие, придется нам пострелять, да?

— Там бунт, — сообщает Лисицын. — Местный комендант передал, что теперь они там сами за себя и связь обрубил. Такой там у них командовал Пирогов, бывший ментовской полковник. Сколько лет тихонечко себе сидел, и вот на тебе, сюрприз.

— А что там за войско у них?

— Гарнизончик вшивый. Человек, что ли, двадцать. Граница спокойная.

— А для чего нас тогда целую сотню отправили?

Лисицын вместо объяснений сплевывает шелуху.

За Садовым кольцом красивая Москва заканчивается и начинается Москва обычная: обитаемые подлатанные здания соседствуют с щербатыми заброшенными, в некоторых свет горит только в одной квартире на последнем этаже — старуха, наверное, какая-то не хочет бросать дом, где прожила всю жизнь, и упрямо продолжает таскать себе воду бидонами по лестнице мимо покинутых и дырявых чужих жилищ. Россия сильна инерцией.

Дороги тут похуже, чем внутри серебряного пояса, но грузовик проедет за просто. А вот за бронзовым поясом, за Трешкой, по которой проходит столичная граница, все уже совсем иначе. Фонари горят редко, по темным улицам ветер носит мусор, мирные жители жмутся к блокпостам.

— Кригов-то ваш друг, говорят, был? — спрашивает Задорожный.

— Был и есть, — твердо отвечает Лисицын.

— А про него ничего не слышно, ваш-бродие?

— Та ты брось меня благородием звать, Задорожный, ты ж знаешь, я сегодня только вон погоны надел. Юра.

— Вадим тогда, — улыбается тот и сразу борзеет. — Вообще, конечно, рискованная затея была — с полусотней за Волгу...

— Государева затея, — строго говорит ему Лисицын. — Разведка.

— Ну ясно. Но мы-то ведь за Волгу не собираемся? А то огорошат в последний момент!

— Нет такой информации, — говорит Лисицын еще строже.

— Ясно-понятно. Ну, я так спросил. На всякий случай.

По Садовому подъезжают к проспекту Реставрации, поворачивают к площади трех вокзалов.

— Быстро докатили, — вздыхает Задорожный; оглядывает кабину, похлопывает торпеду. — Нам бы такие вездеходы, а?

— На всех не напасешься. Жандармерии нужней, видать.

Водитель — сам из жандармов, в синем мундире — не смотрит на них, но все внимательно слушает.

— Времени мало прошло еще, — отвечает Лисицын на позапрошлый вопрос Задорожного. — У Кригова бессрочная экспедиция была. Вернется, никуда не денется.

## 2

Пока бойцы прыгают из жандармских «Уралов» и строятся в двойную шеренгу, вытаскивают пулеметы и цинки с патронами, Лисицын оглядывает площадь. Тут затеяна великая стройка, и работы идут даже теперь, ночью, при дорогом электрическом свете. Машут стрелами автокраны, матерятся оранжевые рабо-

чие, катая в тачках вязкий цемент, брызжут искрами сварщики в забралах, пищат, сдавая назад, самосвалы с бурой стылой землей.

— Что строите, братцы? — спрашивает чубатый казак, раскуривая вонючей самокруткой заморенного таджика.

— Вам строим базу. Не знаешь, что ль?

А Лисицын в курсе: на площади сооружают укрепрайон. По восстановленным железным дорогам пойдут бронепоезда и теплушки с казаками: с Казанского вокзала — на Казань, с Ленинградского — на Питер, с Ярославского — на тот край земли.

Он хлопает чубатого по плечу, тот прячет бычок в ладони и козыряет.

— Кругом на месте! Шагом! Арш! — кричит Лисицын, проходя мимо.

Сто человек как один поворачиваются, шеренга становится колонной. Бойцы — что тульские, что рязанские — подобраны славные. Крепкие, сытые, хорошо вымуштрованные. Следом за ним они громыхают слаженно, в ногу, как на параде, и дробный, с танковым подлязгиванием, стук кованых каблучков наполняет Лисицына спокойствием и решимостью. За ним — сила, на которую можно опереться, и сам он — часть этой силы.

Проходят через Ярославский вокзал. Свет внутри уже горит, но это маляры белят залы — будущие казармы и склады, чертят на стенах казацкие гербы. Скоро сюда заселятся истомившиеся в офицерских курилках «Пекина» есаулы и сотники, перроны наполнятся бойцами, ожидающими погрузки на свой поезд. Пускай пока доучивают азы рукопашного боя и стрельбы — в Туле, в Рязани, в Ростове, в Твери. Пускай пока офицеры дослушивают духоподъемные речи политруков и докуривают сладкую столичную махорку. Скоро разосланная из Московии во все концы разведка вернется, и тогда их время настанет. И тогда возродившийся из пепла двуглавый орел расправит над страной свои крылья. А пока — завидуйте подъесаулу Лисицыну, бездельники. Завидуйте тем, кому выпало действовать уже сейчас.

Сейчас перроны еще пусты, пусты пути. На одном только стоит под единственным фонарем красно-зеленый локомотив, к которому прицеплены два вагона от электрички.

Лисицын здоровается коротко с начальником поезда, человечком с запавшими глазами, с кожей, хрупкой, как истлевшая бумага и с раковым зубом. Бойцам скомандовано грузиться — по полсотни в каждый вагон.

— А че за срочность за такая? — сигло спрашивает он.

— К утру должны там быть. К рассвету.

— Ну... К утру-то, дай бог, будем.

Казаки рассаживаются по изрисованным пластиковым сиденьям, Лисицын идет к машинисту в рубку. Железнодорожники в черной форме семафорят от-

правление, поезд гудит, чтобы людишки от него разошлись, раковый начпоезда сдвигает с места обмотанную синей изолентой рукоять — и платформа плавно сдвигается назад. Оставив за спиной единственный фонарь, поезд, как с обрыва, падает в темноту — но тут машинист зажигает головные фары, и впереди вырисовывается путь: две блестящие проволоки рельс и ползущие навстречу столбы — отметки на рулетке, раскатанной от точки начала всех координат в бесконечность.

### 3

В кабине локомотива их четверо — зобатый начпоезда, Лисицын со своим ординарцем, и еще жидкобороденький машинист в тренировочных штанах с оттянутыми коленками.

Лисицын лущит подсолнух. Начальник поезда смотрит на него неодобрительно, и Юра тогда протягивает ему горсть.

— Семечку будешь?

— Не буду. Не сорил бы ты тут, атаман.

Лисицын мыском сапога замечает шелуху под кожух.

— Я буду, — просит машинист.

— Бери. Бери-бери, не жалко.

— Так это че, карательная экспедиция у вас, типа? — спрашивает у Лисицына начальник поезда.

Тот старается посмотреть на него строго.

— Порядок будем наводить. Сам ты карательная!

— Ну да.

Раковый прикладывается к мятой алюминиевой фляжке, Лисицыну не предлагает. Едут не разговаривая — через темноту, но не через пустоту: тут и там в свете фар виднеются какие-то хибары, лачуги, избы.

По дороге с Кавказа в Москву такое же. Жметса народ к железной дороге, вокруг нее жизнь и существует главным образом.

Кое-где окошки теплятся, людишки, выйдя на крыльцо, жмурятся, прикрывают ладонями глаза, но смотрят на поезд — а многие и машут ему: вот едет доказательство того, что они не одни застряли сами по себе где-то во вселенной, а являются гражданами страны, которая была и снова будет великой.

Машинист их отгоняет их от путей протяжным сигналом. Потом приходится гудеть еще раз, когда перед ними возникает в темноте ручная дрезина, груженная какими-то бидонами.

— Тормози! Вон там, гляди! Тормози, снесем сейчас! — орет начпоезда подслеповатому машинисту.



Поезд со скрежетом замедляется, едва успевает — чтобы не снести занимающую пути ветхую колымагу. Та еле тащится, на рычагах мучаются двое тщедушных стариков.

— Еле ж дышат, шайтаны! — вскипает Лисицын. — Погуди еще!

— Да толку?

— Давай тогда я хлопцев крикну, скинем их с пути вручную.

Начпоезда глядит на него неодобрительно.

— Куда ты их скинешь? А обратно на рельсы кто их поставит?

— Сами пускай себя ставят! У меня срок — в Ярославле к рассвету быть. А им это свое дерьмо в бидонах — не к спеху. Видишь, вон, расплескать бояться!

— У людей жизнь! — с осуждением говорит раковый. — Что ты тут, прискакал с Москвы и все знаешь?

— Это тут при чем?! Я и не с Москвы вообще, а ростовский!

— Ну и тем более! Это дорога не для вас тут, а для них, чтобы они, как ты выражаешься, дерьмо тут свое катали по ней туда-сюда! Других-то дорог, считай, нету! Как людям жить?

— Ты, бать, наглеешь! — Лисицын опускает руку на нагайку.

— А ты поездий-ка тут с мое, — отворачивается начальник поезда. — И тогда будешь к людям по-другому!

— Я по таким местам катался, куда ты б в жизни не сунулся! И сейчас едем, чтоб ты знал, не прохлаждаться!

Раковый прикладывается к своей фляжке опять, угощает и машиниста. Старичье на дрезине снимает шапки, машет ими извинительно, совсем в тепловозном свете ослепнув. Куда-то показывает шапками вперед. Машинист разворачивает клеенную скотчем карту.

— Там скоро стрелка будет, — говорит он. — Километра через три. Они туда съедут, видать. Вам тоже лучше будет... Чутка потише ехать. Чтобы уж точно рассветло.

Лисицын раздувается, собираясь заорать, но всматривается в этих двух старых чертей на дрезине — кабина тепловоза теперь прямо над ними нависает — и, только цыкнув зубом, стравливает из груди лишний воздух.

— Ладно.

Начальник кивает, но отпить из своей фляги казаку не предлагает все равно. А Лисицыну это бы сейчас было не лишним. Слишком много всякого приключилось с ним за этот бесконечный день.

Еще добрых три четверти часа они тащатся за этой рухлядью.

Раковый еще хочет ослабить фары, чтобы не так слепило ездоков, но уж этого ему Лисицын сделать не позволяет:

— Шайтан его знает, что там впереди.

— Да то же самое, что и тут, — начпоезда хмыкает. — Россия ж, брат, везде одинаковая, кроме Москвы. Не знаю, что вы и завоевывать-то там намылились. Тут бы вона сначала все причесали.

— Не в свое дело рыло-то бы ты не совал!

Начпоезда поводит плечами, а Лисицын, дав ему отпор, думает еще над ответом.

— Мы должны обратно собрать все, что было потеряно.

— Кому должны?

— Отцам нашим!

— Отцу ты своему должен только одно — пережить его, чтоб ему тебя хоронить не пришлось! — вздыхает начальник поезда. — А с этими завоеваниями-то смысл в другом.

— И в чем же? — Лисицын пытается навесить на лицо ухмылку.

— Да просто чтоб завоевывать. У России другого смысла нету, кроме как больше делаться. Все жертвы, все лишения — всегда ради этого и были. Чтоб только расти дальше. Зачем мы терпим? Чтоб отцам за нас стыдно не было, вона сколько они нахапали. А отцы куда ж столько хапали? Почему жизнь в голоде, в очередях? Чтоб дедам за них стыдно не было. А дедам зачем столько земли было? Зачем деды страх терпели, головы на фронтах клали, в лагерях гибли? Чтоб прадедам не было стыдно за них — при тех-то ого-го сколько земли взяли! Другого оправдания ж нет. Расти надо, и все тут, и пропади все пропадом.

Начпоезда оглаживает свой зоб.

— А на хуя, спроси вот хоть кого, нам столько земли? Что с ней делать?

— Детям передать, — отвечает Лисицын. — Та вообще, что это за разговорчики!

Он свою нагайку уже в руках вертит, хочет, чтобы раковый ее видел. Сам нагаечку плел, сам в пчелином воске вываривал. На конце кисточка сделана.

— Ну так я не военный человек, гражданский, мне свое мнение иметь не запрещается! Так вот... Дело не в детях, друг ты мой ситный. А дело в том, что как только мы жрать остановимся, оно сразу разваливаться начинает. Потому что такую жизнь можно терпеть, только пока смысл есть. А смысл такой, чтобы дальше пухнуть. Другого смысла нет.

Он сплевывает на пол.

Лисицын так и крутит свою плетеную нагаечку в руках, но в дело ее пустить никак не может. Только говорит начальнику поезда:

— Все ты брешешь, паскуда.

— Ну вру, так вру. Ты поди съезди за мост-то, погляди, что там. Что там Аркадь Михалыч хапать намылился. Не то ли, что его папашка в кровянице...

Дальше Лисицын уже стерпеть не может. Разворачивает нагайку и хлещет зобатого гада по харе, самой кисточкой рассекая ему скулу. Начпоезда валится на пол, зажимает рану, юшка брызжет сквозь пальцы.

— Не сметь! Не сметь про Государя императора, мразь! Не сметь про монаршее семейство!

#### 4

— Эй! Ваш-бродь! Вставайте, скоро будем!

Лисицын вздрагивает — открывает глаза. В руке все еще зажата рукоять нагайки. Рядом часовой стоит. Начпоезда с перебинтованной харей — красное про-текло — отворачивается. Машинист поглядывает на подъесаула забито, заиски-вающе.

Над железной дорогой поднимается красное солнце. Земля голая, нищая, сне-га нет, травы нет. Впереди в тумане, как в пороховом дыму, пустой город. Обыч-ный город — понатыкано всякого вразброд и вразброс.

— Ты бывал тут? — спрашивает у машиниста Лисицын, продирая глаза. — Где этот пост их?

— Дальше, на самом мосту через Волгу.

— Сбавь ход. И останови нам пораньше. Отправим вперед людей.

Лисицын распаивает дверь, ежась на стылом ветру, ждет, пока ему откроют в вагоне. Там все таращатся на него сонно, кроме сотника Жилина. Жилин бодр и зол.

— Подъезжаем! — сообщает ему Лисицын. — Выставляй пулеметы, разведчи-ков ко мне, буди второй вагон. Полная готовность.

Раздвигают первые боковые двери, высовывают в проемы свои жала пуле-меты. К ним тут же подтягиваются казачки — покурить. Врывается в вагон воздух с улицы. Люди недоуменно переглядываются:

— Чем это так несет?

Лисицын и сам чувствует: кисло пахнет. С непривычки глаза даже слезиться начинают — а он-то думал, это от ветра холодного. И чем дальше едут, тем хуже воздух. Даже, кажется, и кожу уже пощипывает.

Путей становится все больше, больше — они ветвятся, путаются; на ржавых рельсах стоят цистерны. На круглых боках знаки «огнеопасно» и язвы, проеден-ные коррозией. Качали по железным сосудам раньше густую черную кровь, а тут был важный узел, одно из сердец громадной туши — Родины; давно оно затихло, не бьется — и брошенные цистерны тут как тромбы. Никого вокруг. Людей нет, собак бродячих нет, птиц нет. Кроме стука колес, ничего не слышно.

Проезжают изгаженное и заколоченное здание вокзала. Окрашенное в цыплячий желтый, против остального города, мертвенно-серого, оно смотрится весело, как баянист на поминках.

Чего им тут бунтовать было, думает Лисицын. Ради чего? Чтобы это вот себе отхватить? На Кавказе, допустим, хотя бы климат. Горы кормят, овец пасти можно. Оборонять легко, атаковать трудно. На русских накоплены за триста лет обиды, которые абреки и прятать-то толком никогда не умели. Ну и просто — слишком другой народ: они на нас как на зверей глядят, а мы на них. На Кавказе хотя бы ясно, отчего всегда мятеж и всегда война. Но тут-то?

Вот веселенький вокзал отъехал уже в дымку, потянулись какие-то белесые кирпичные не то гаражи, не то склады, не то человеческие жилища; по карте остается уже совсем чуть. Лисицын зовет с собой сотников и разведку, перешагивает обратно в локомотив.

— Ну вона там оно, в принципе, — говорит им машинист. — Видишь, вон корпуса перед мостом? Там шинный завод раньше был. А теперь пост.

Лисицын вскидывает свой театральный бинокль и смотрит вперед.

— А что там за туман такой?

— Это от Волги, — объясняет ему машинист. — Волга дышит. Не чуете, как глаза щипет?

Это не туман — это непроницаемая зеленая стена такой густоты, будто из ваты сделана. Что там, на том берегу Волги, через нее увидеть нельзя. Да и что в сотне метров от этого берега, разглядеть не получится. Тяжелый железнодорожный мост погружается в зеленый туман, как будто огромный трамплин над кислотным морем сделан.

Из такой дымовой завесы кто угодно может выйти, хоть целая дивизия — и не увидишь, и не приготовишься. Может быть, не бунт это? Может быть, пост захвачен?

— Чую. Ладно, останавливай, — командует Лисицын. — Чтобы они нас тут под откос еще не пустили. Давай, вот за этим он ангаром останавливай, как раз укроемся.

Состав с визгом тормозит, прячась целиком за громадным уродливым зданием, покрашенным в оранжевые полосы. Если с поста и заметили приближение поезда, то достанут они его за этим ангаром только навесом, с миномета. Лисицын спрыгивает на мерзлую землю, берет с собой сотников и разведку, озираясь, шагает вдоль оранжевых стен, готовится услышать минометный присвист.

Тишина.

Доходят до угла, снова прикладываются к биноклю.

Ярославский пост — осыпающиеся заводские корпуса с огромными окнами, без стекол похожими на скальные гроты, и кирпичные жилые строения — обне-

сен высоким бетонным забором с колючкой поверх. Промзоны таким забором обносить надо, а не крепости! Да это и есть промзона...

Лисицын инструктирует сотников и разведку: бунт, саботаж, численность и оснащение предполагаемого противника.

— Только вы вот что, братцы... — говорит он в конце. — Главное, надо помнить: мы ж не каратели. Мы тут затем, чтобы порядок навести. Перед началом штурма предложим сдаться по-хорошему. Женщин и детей не трогать ни при каких обстоятельствах. Это ж свои, русские люди. Не зверьки. Наша задача — зачинщиков повязать или ликвидировать. Понятно? Жилин? Хлопцам своим так и передайте.

Он закашливается — от зеленого воздуха першит в горле.

— Принято.

— И вот еще... Если странное что-нибудь увидите — меня зовите. Ну, с Богом!

Он отпускает вперед разведку. Изучает пост в бинокль: тот кажется покинутым, но в окаймленном радугой окуляре бинокля появляется флаг. Имперский обычный флаг, высоко поднятый на флагшток, полощется на ветру. Если это бунт, говорит себе Лисицын, то флаг должны бы были спустить, нет?

Вокруг поста нагромождено всякого: избушки на курьих ножках, бараки на манер греческих храмов, жилые панельки, сгоревшие не то троллейбусы, не то автобусы. Есть, где укрыться — и лазутчики к ограде поста идут аккуратно, не высываясь. Если ярославские взбунтовались, то должны ждать гостей из Москвы: не думают же они, что Государь им мятеж так с рук спустит? А если ждут, то уже, может, прямо сейчас его разведчики не у одного Лисицына в перекрестье окуляров пойманы. И прицелов.

Поравнялись с постом. Одна фигурка замирает на путях — у черного мешка, склоняется над ним. Лисицын наводит поточнее: кажется, человеческое тело. Остальные двое разведчиков, пригибаясь, бегут к воротам. Куда?! Но с поста — ни выстрела, ни оклика. Ловушка?

Сгущается темное, дурное предчувствие.

В бинокль видно, как казаки через ворота прислушиваются к тому, что происходит за стенами. Один подсаживает другого, тот лезет наверх, заглядывает за забор, потом стрижет кусачками колючую проволоку, перемахивает на ту сторону. Ну вот, сейчас. Сейчас что-то случится.

Лисицын оглядывается на Жилина и Задорожного.

— Одна полусотня по полю туда, другая готовься к десанту с поезда — попробуем до ворот докатить. Пулеметами прикрываем. Вперед.

Сотники бегут раздавать приказы, тепловоз просыпается. Сейчас начнется. Лисицын сжимает и разжимает кулак, обтянутый черной кожей. Оборачивается на казаков. Шепчет им:

– Ну, мужики! Не подкачайте!

Жилин дает отмашку нагайкой – его полусотня рассыпается вдоль брошенных зданий, обтекает их, как разлитая ртуть, чтобы потом снова собраться в тяжелый шар и прошибить дыру во вражеской обороне.

И тут над Ярославским постом возникает черная туча.

Потревоженное воронье с гвалтом поднимается над стенами, над заводскими корпусами – и принимается кружить над двором тяжело и лениво, не желая покидать насиженное место.

Предчувствие беды становится невыносимым. Кислый воздух выедаёт глаза.

Подходит разгоняющийся поезд, и Лисицын на ходу вскакивает на подножку тепловоза – бросает взгляд на разворачивающиеся пулеметы, на висящих гроздьями в открытых дверях бойцов... Сейчас.

Ярославский пост надвигается на них из этого зеленоватого марева, как утопленник безмолвно выплывает, раздувается на глазах...

Но вдруг его ворота распахиваются.

– Целься!! – орет пулеметчикам Лисицын в обход сотников.

Кто-то машет оттуда, от поста.

В воротах стоят их двое разведчиков. Показывают: все чисто.

## 5

– Врата в ад, – шутит конопатый подхорунжий, молодой совсем еще парнишка, который внутрь первым зашел. Выглядит он бледно: только что блевал, вот и пытается теперь хохмить.

Лисицын остановился в воротах Ярославского поста, смотрит вокруг, прислушивается к себе. Это он предчувствовал? Нет, не это. Такое предугадать нельзя.

Под ногами у него лежит голая женщина, вымазанная в крови, подмигивает ему: один глаз вытарачен, другой выклеван. Рядом с ней ребенок, тоже мертвый, голова об угол сторожки разможена – вон все бурым измазано. Женщина ребенка держит за ногу, вцепилась. В груди у нее дырки, наискось, как портупья. Дальше тоже тела – раскиданы, расшвыряны.

Лисицын все-таки делает шаг вперед. Потом еще. Остальные идут за ним.

Тут есть такие, кто погиб от пуль. Старики, молодые, женщины, мужики. Много голых, много полураздетых. А есть такие, которые от другого умерли. Не пойми, от чего. Много, у кого голова разбита или шея сломана. Много, у кого руки вывихнуты, ноги вывернуты. Как будто их хватал кто-то огромный, злой и без-

мозглый, ничего в людях не соображающий, нетерпеливо, как у кукол, крутил им конечности, ломал суставы — и в раздражении отбрасывал.

А посреди заводской территории лежит поезд — длинный пассажирский состав, вагонов пятнадцать, не меньше; локомотив сошел с рельсов и опрокинулся на бок, будто поезд свернул себе шею тоже и от этого умер.

Ни одной живой души тут не осталось. Вороны, устав летать, спускаются все ниже, каркают недовольно, норовят присесть обратно, чуть головы казакам на задевают, хотя продолжить клевать своих людей.

Дома вокруг поезда стоят пустые, где-то окна закрыты, где-то распахнуты настежь, хлопают ставнями. Никто не из них не выглядывает, никому до грозного казацкого воинства нет никакого дела. Имперский флаг полощется, раздувается на ветру. Солнце взбирается на небо, выцветает, из красного становится бледно-белым.

— Что тут случилось-то? — тупо спрашивает Жилин, перхая в кулак.

От едкого здешнего воздуха глаза у него красные, влажные — кажется, что он по мертвым готов расплакаться.

Лисицын дергает плечами. Шайтан пойми, что. Но случилось совсем вот недавно. Дня, может, два назад?

— Пойдем, посмотрим, — наконец решает он. — На поезд глянем.

Нехотя, оглядываясь на дома, идут.

Первое, что бросается — окна у поезда замазаны краской, все слепые. Но тут и там они расколоты и разбиты, продырявлены пулями. И через дыры видны решетки. Окна зарешечены изнутри, как будто состав этот зверинец какой-нибудь перевозил, или заключенных. Но если заключенных, то таких, которым лучше не знать, куда их везут, поэтому окна у вагонов закрашены.

— Как будто для смертников сделано, — догадывается Задорожный.

— А это тогда что? — говорит Лисицын.

На вагонах нарисованы кресты. Красные кресты на белом поле.

— Спа... Спа... Си. И... Ссс... Сооо-х. Рааа-ниии, — вслух старательно прочитывает конопатый подхорунжий и тоже подкашливает.

Задорожный снимает папаху, чешет лоб.

— Поезд-то здоровый какой... Не то, что у нас, а? Тепловоз сдвоенный вон... Это откуда он ехал?

Двери у вагонов заперты тоже, так крепко заперты, как будто изнутри заварены. Что же там такое?

Жилин заскакивает на подножку к пробитому окну. Прижимает лицо к стеклянным осколкам, заглядывает в вагон.

— Еб твою мать, — выдыхает он. — Там тоже трупами все завалено, Юрий Евгеньевич... Жесть какая... Тьфу ты...

– Что это за бунт-то? – присвистывает Задорожный.

– Вон там дверь открыта вроде... – говорит Лисицын. – Ну-ка...

Идут впятером к этой открытой двери – Лисицын с сотниками, конопатый подхорунжий и еще какой-то жилинский; остальное войско топчется в воротах, озираясь по сторонам и крестясь.

– И... Прооо... Стииии... Наааа... М, – читает опять вслух конопатый.

– Слышь, подхорунжий! Ты б выучился читать-то! – зло обрывает его Лисицын. – Это чей ты такой долбоеб, а? Твой, Задорожный, или Жилина?

– Я и учусь, ваше благородие, – обиженно сопит конопатый.

– И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! – раздраженно читает ему Лисицын. – Балда!

– Так школы-то позакрывали ведь, Юр, – пожимает плечами Задорожный. – Высочайшим указом. Кого родители если грамоте обучают... Сами.

– А ты тоже! – рявкает на него Лисицын. – Так... Жилин, подсади!

Жилин подставляет ему плечо, и Лисицын вскарабкивается на накрененный вагон. Шагает в перекошенный тамбур... Шибает дерьмом и мочой. Но видно в первую очередь – кровь.

Кровь. Высохшая, примерзшая кровь – все ею залито, перемазано, весь пол в ней, все стены. И мертвые, мертвые. Мужчины, женщины вперемешку. Такие же, как снаружи – полуголые, полуодетые. Кожа в укусах, в расчесах. Кто ничком, кто присел, колени обнял и так умер. Лисицын набирается духу и проходит внутрь, осмотреть тела.

Все застрелены. По несколько пуль в каждом: первая куда придется, последняя в голову. Это именно что казнь была. Это была бойня. Везли каких-то людей, пленных, в конвойном поезде, довели до Ярославского поста и тут всех кончили. Нормальная, сука, ситуевина вырисовывается. Ад.

Лисицын без новой папиросы не может продолжать.

А откуда их везли? За Волгу или из-за Волги? Ведь местных-то тут столько не набралось бы, а? Если Сурганову верить.

Лисицын отворачивает, проверяя, стройного молодого парня в одних портах. Борода склеена бурым, скула разворочена – пуля выходила; глаза зажмурены. А ну-ка... На плече, это что?

Наколка. Крест. Одна перекладина – казацкая шашка, другая – свернутая нагайка. Снизу сизые буквы: «Г.П.» Бежит по загривку холод. Лисицын знает, что это значит: «Господь простит».

Сейчас прикажи его сотне засучить рукава – у половины такая наколка будет. Командование не одобряет, но хлопцы бьют себе все равно: боевое крещение отмечают. Из тех казачьих традиций, которые не сверху засеиваются, а, как сорная трава, сами растут.



Казак. Убитый. В этом поезде.

Тогда Лисицын заходит в вагон глубже — шевелит мертвецов сапогом. Обращивает одного из них к себе лицом, другого... Жуткие какие хари.

— Ну что там, Юрий Евгеньевич? — кричат снаружи.

Еще один с наколкой. Тоже молодой, обросший щетиной, с голым задом и с солдатским жетоном на шее. Почему он тут без порток... Лисицын наклоняется к убитому — дырка во лбу запеклась — снимает жетон.

«Отд. Каз. 19 бриг. Макаров А.Н.»

Отдельная казачья девятнадцатая.

— Ваше благородие!

— Да живой, живой! Поди сюда кто-нибудь... Задорожный!

Отдельная казачья девятнадцатая — это ведь из нее набирали Кригову бойцов для его экспедиции. То есть...

Задорожный подходит нетвердо, ошалело оглядываясь по сторонам.

— Давай-ка хлопцев сюда. Будем выгружать отсюда людей. Тут наши есть, из девятнадцатой. Их всех отдельно складывай, назад повезем, мамкам.

Впереди этих вагонов еще шайтан знает, сколько. Работы до вечера. Вагон за вагоном, за вагоном, анфиладой, и в каждом вот такое. Голова кружится от тяжелого воздуха, сладкого от прелой мочи и занимающегося тления. Но надо будет эту работу сделать.

— Своих мы точно достать должны... И живых ищите!

Он, шатаясь, выходит в тамбур. Думает, что без выживших им тут не разобратся. Не понять без свидетелей, что на Ярославском посту произошло. Может же так случиться, что кто-нибудь в этом поезде уцелел? В Великую Отечественную, вон, люди в расстрельных рвах по несколько суток под трупами лежали, недоубитые, а потом выползали все-таки и жили дальше.

Сашка точно должен выбраться из такого замеса. Замес, конечно, серьезный, но Кригов — со стальным сердечником человек, его так просто не сомнешь.

Лисицын выползает на улицу, на воздух.

Кригов, Кригов. Не оправдал, ты, выходит, брат, высочайшего доверия. Вот твои люди лежат, расстрелянные. Ты и не выезжал, значит, за Волгу? Как же так-то? Кто с вами так и за что? Неужели комендант этот, Пирогов? Да как! Как казачью полусотню он смог бы положить? Если только предательством?

Казаки забираются в поезд. Выбивают вагонные двери, выпускают тяжелый дух наружу. Принимаются за работу, крестясь. Лисицын стоит, отупело глядя на то, как вдоль поезда начинают выкладывать цепочкой трупы. Кого-то мутит, кто-то матерится. Ищут живых. Все нехотя, все медленно, надеясь, что подъясаул передумает сейчас и отзовет их.

Ты не можешь, Сашка, среди мертвых быть. Ты должен быть среди живых. Мы с тобой еще на моей свадьбе гулять будем. Это ведь ты мне приказал жениться на моей балерине, так что уж будь любезен, окажись живым.

## 6

Дальше думать нечего: Сурганов, похоже, как раз такое в виду и имел. Увидишь что странное — возвращайся сразу, докладывай.

И судьба казачьей экспедиции, вроде бы, тоже прояснилась: вот она, экспедиция, на пассажирском поезде прямо в преисподнюю отъехала.

Но надо тут еще осмотреться все-таки. Сурганов точно пристанет, что да как. Точно будет. Сам сказал сразу обратно, и сам же пристанет. Не за тем его в подъесаулы поднимали, чтобы он тут обделался и домой поскакал.

Лисицын обходит поезд кругом, забирается в кабину. Кабина лежит на боку, выглядит изнутри как квартира после землетрясения: какие-то чайники в ней валяются, свитера какие-то, кастрюльки... Шайтан пойми. Карт нету, журнала бортового нету, вообще никаких нет записей. Четки с крестиками висят на ветровом стекле криво, с ширпотребных иконок какие-то смуглые святые зырят лупоглазо, больше ничего. Богомольцы, сука.

Он проходит глубже, пинает склянки, кастрюли, банки какие-то... Нагибается, поднимает одну — тяжелую запаянную жестянку. Подносит к глазам, читает маркировку: «Останкинский мясокомбинат». Знакомая банка. Тушенка. У них у самих такие с собой — провизия. Лисицын взвешивает в руке килограмм мяса. Это Сашкино. Тяжело.

Закуривает. Осматривает осоловело сквозь тепловозные окна территорию поста. Белые кирпичные зданьца, гаражи, мастерские. Из окон сквозняк занавески наружу выдувает. Не крепость это никакая, не острог. Обычный двор в обычном русском захолустье, за бетонным обычным забором. Охранять им было тут границу не от кого, нападений они никаких не ждали... А уж бунтовать...

Какой, к лешему, бунт? Это что угодно, но не бунт.

В окне стоит Жилин, машет, зовет спуститься. Лисицын выглядывает наружу.

— Мы тут нашли... Юрий Евгеньевич... Кое-что.

По жилинскому лицу понятно, что находка не из приятных — и то, как он мямлит, заставляет Юру уже и самого начать догадываться, что именно обнаружили.

— Вот.

— Это не он, — сразу говорит Лисицын, а умом понимает: это он.

Лежит Саша Кригов с разбитым лбом и сломанным носом, изрешеченный пулями, с распахнутыми глазами, смотрит и на Юру, и мимо него куда-то, может быть, самому Богу в глаза. Смотрит без страха, без ненависти... Коровым таким взглядом. Покорным.

– Жетон вон, как не он-то?

– Та иди на хуй со своими жетонами, Жилин!

Юра становится рядом с Сашкой на колени и закрывает ему глаза. Поспи, Саш, отдохни. Поспи.

Я не хотел, чтобы ты умирал, Саш. Бывало, думал – это я сейчас на твоём месте должен оказаться, я! Потому что тяжелей служил и больше заслуживал. Я должен был вместо тебя первым в подъесаулы быть произведен! И Государь первым приметить должен был – меня! И в экспедицию эту за Волгу – меня отправить! И вот как вот... Вот как вот это?

Я не просил тебя умирать. Ты сам за меня умереть решил.

Он крестит Кригова и целует его в разбитый лоб, не брезгуя.

Задорожный и Жилин смотрят на него оба странно – стоят над ним, сволочи, нет, чтобы отвернуться.

– Та что вы пялитесь-то?! Так! Наших, значит, грузим к нам туда, как я и сказал. Вернем хлопцев до дому.

– Тут это, Юрий Евгеньевич... – откашливается Задорожный. – Тут среди убитых... Такие людишки странные... В химзащите.

– А?! – Лисицын не слышит их, думает о своем.

– В химзе, ну. В респираторах. И на локомотивах кресты эти... Вроде бы врачебные, все-таки.

– И что?!

– А если это... Ну... Больные они если? Все?

Лисицын обалдело глядит на уснувшего Кригова. Утирает губы.

– Чем больные?

Жилин и Задорожный переглядываются.

– Да хоть сифилисом, – шутит Задорожный.

Лисицын поднимается с колен. Отряхивает полы шинели. Смотрит на мертвых бойцов, выстроившихся рядом с мертвым командиром. На снулых гражданских.

– Вы идиоты, что ли? Где у них там... Язвы, я не знаю... Что-нибудь! Все нормальные... Вы чумных видели? Холера? Что? Все были... Здоровыми. Если переломов не считать, и пулевых...

– А чего тогда на поезде кресты?

– Не медицинские это кресты! Там же ж вон – молитвы по кругу! Вы-то хоть читать умеете, лапти?! Это Михаила Архангела крест! Тоже красный.

— Так точно, — говорит Жилин.

— И кто это тогда? — опустив глаза, как бы у Кригова спрашивает Задорожный. — Что за поезд?

— Кто... Кто! Там была же эта история, с иконой! Чудотворной. Которую на мост выносили. Икона Михаила Архангела. После чего наступление мятежников... Захлебнулось. Не было у вас в учебке ее, что ли? Ну?!

— Ну что-то такое... — бурчит Задорожный. — Сам Михаил Первый Геннадьевич. Или он с вертолетом облетал?

— Ну вот... Это, может, культ местный какой-то...

— А с нашими-то что?

Лисицын сжимает и разжимает кулаки.

— Да откуда мне знать! Откуда мне-то знать?!

## 7

В подъезде тоже кровь, тоже тела.

Люди с разбитыми головами, с вывихнутыми ногами, с оторванными ушами. Лисицын поднимается по лестнице, в руке «Стечкин». Квартиры брошены впопыхах, двери нараспашку. Какой это бунт? Тут все против всех, человек против человека, без разбора, зверь против зверя.

Дети мертвые уткнулись в ступеньки. Он останавливается против двери открытой — кажется, школа. Как они могли детей не пощадить? Дети-то в чем виноваты?

Классная комната: стулья опрокинуты, парты сдвинуты так, словно ими пытались внутри забаррикадироваться. Доска исписана белыми меловыми буквами. Лисицын подходит, хмурясь, к доске. Там ни азбуки, ни арифметики — все измарано наспех взрослым косым почерком. Писали одно поверх другого, смахивая рукавом уже написанное.

«Стучатся». «Я оглохла». «Не открывай». «Надо их отсюда забрать». «Я тоже». «Я сам сделал». «Я знаю, где безопасно». «Говорят, что Егор». «Бомбоубежище». «Только так можно». «Не слушай их главное!». «Там точно ничего не слышно».

Лисицын утирает испарину со лба, с шеи. Потеет, потому что чувствует: не может решить эту задачу, не может понять, как и что тут случилось. И потому что опасность тут, рядом, никуда не делась. Вроде некого бояться, но это все обманка, засада. Надо понять, надо... Он перечитывает еще раз надписи, пытается расставить их в правильном порядке — но так и не может разгадать, о чем тут речь шла. Кто-то прятался в школьном классе, пока во дворе людей убивали. Прятал-

ся, а потом попытался уйти – в бомбоубежище какое-то. Только вряд ли туда дошел.

Он пишет на доске: «Есть кто живой?». Уходит из класса.

Идет по лестнице и думает: не слушать Кригова – почему? Что Кригов такого мог ему рассказать? Ты не мог быть предателем, Сашка. Тебя предать могли, обмануть, заманить... А ты – никогда, ни за что.

Юра останавливается у окна, закуривает опять, смотрит во двор.

Выглядывает в окно. Мертвецкая шеренга тянется вдоль всего поезда.

– Жилин! – Юра высовывается в окно. – Жилин! Гражданских штабелями клади!

– Что?

– Штабелями! Как дрова! Жечь будем!

– Принято!

– А наших давай к нам в поезд!

Лисицын следит еще за тем, как сотник передает его приказ казакам, как те крутят головами, приноравливаясь к услышанному. Шеренгу распускают, мертвеццы собираются играть в кучу малу.

Кригова, выходит, тоже в плен взяли. Взяли в плен и в поезде куда-то везли. А тут вот, на посту этом, их всех решили прикончить. Хотя, может быть, перебили уже раньше, а сюда привезли. Или отсюда хотели везти за реку? Сказали: мол, давайте, грузитесь, с ветерком доведем, куда вам тут нужно – и всех перебили под шумок.

Эх, Сашка, Сашка, еб твою налево! Почему же тебя слушать-то нельзя было?

Он возвращается на лестничную клетку, поднимается этажом выше. Опять выглядывает в окно: казаки застыли.

– Что там?

Хлопает подъездная дверь. Бухают сапоги по ступеням. Тяжело дыша, взлетает к нему Задорожный.

– Они там это, Юр... Отказываются наших в поезд грузить.

– Как так?! Что значит?!

– Ну ты же видел их... Как они переломаны все... И лица. Говорят, надо всех тут сжечь. Не возить никого никуда.

– Это как? Это еще почему?

– Боятся. Говорят, чертовщина какая-то. Ну и поезд в молитвах весь... Решетки... Ты тоже подумай, сам подумай, Юр, стоит ли... Спалим, может, и дело с концом

У Лисицына перед глазами стоит Сашкино смеющееся лицо.

– Ма-алчать! Все! Не Юр, а господин подьесаул! Будет он юркать мне тут, дрянь! Наши пацаны все домой поедут! Кто там бунтует?!

Лисицын бегом, пока бешенство не вышло, сбегает вниз по лестнице, нагайка в руки сжата, аж пальцы побелели, втыкается сразу в саботажников — вот стоят, на трупы крестятся.

— Что встали?!

— Не будем мы до них докасаться, хотите, сами грузите, вашбродие, — насупленно отвечает ему обритый смурной детина.

— Так! Это наши братья! Мы их тут не оставим! Я бы даже тебя, сволочь, тут не бросил! Они наши, погибли тут за нас, и мы их до матерей должны доставить, отпеть и похоронить по-человечески! Ясно?! Кто будет грузить — сюда, кто не хочет — вот с ними стой!

Большая часть перебирается туда, где Лисицын собирает согласных. С обритым остается человек пятеро таких же смурных.

— Этих сечь! По пять нагаек каждому! Жилин! Слышишь?

— Так точно, Ваше благородие.

— Не откладывай! Здесь, при мне!

Казачи сплевывают, матерятся неслышно, но подчиняются — принимаются расстегивать шинели, складывать их аккуратно: то ли чтобы время до казни потянуть, то ли чтобы сохранить достоинство. Другие, назначенные палачами, дуют щеки, показывая, что будут сечь без удовольствия, перешучиваются даже с назначенными, чтобы сберечь братство.

Строятся, выпрастывают нагайки, наклоняют, замахиваются: остальные наблюдают — жалостливо и жадно, кто-то использует время для затыжки. Рраз! Иии — два! Жилин смотрит, что секли по-честному, Задорожный рыскает взглядом по зевакам: чтобы не было многовато сострадания. Офицерский труд.

Лисицын слушает себя: ну? Зудит. Но легчает.

— А там что? — показывает вдруг один хорунжий на окно третьего этажа.

Там, за погнутыми решетками, кто-то бродит. Бродит кто-то живой на этом неживом посту!

Прочертив глазами от окна до подъездной двери, Лисицын как был — с рукой на кобуре — так и снимается с места.

— Со мной двое! Задорожный! Жилин — до конца довести!

Вбегают в подъезд. Забираются по лестнице вверх, оружие уже в руках.

Сверху слышится шум какой-то. Из-за двери. Как будто там перекатили что-то или передвинули.

— Слышал?

— Слышал...

Лисицын по ступеням крадучись поднимается на третий — к железной двери. Задорожный идет следом. Через ступени — широкая бурая полоса... Жен-

щина с кишками наружу ее оставила за собой — ползла наверх с перебитыми ногами.

Ехали в преисподнюю, чух-чух-чух, и вот прямо в нее приехали.

Лисицын останавливается перед дверью. К двери приварен снаружи засов, и еще глазок в ней сделан. Рядом на стене гвоздем выскоблен хер с крылышками. Засов задвинут. Кого-то запирали там, внутри. Задорожный снимает пистолет с предохранителя.

— Карцер, что ли? Или склад?

Шум повторяется. Ворочается там что-то за дверью.

Юра осторожно приближается к глазку, прикладывает к нему — тот замазан изнутри — кровью, кажется. Он прижимается ухом к холодному железу, вслушивается: слышит стон. Переглядывается с Задорожным. Стучит гулко кулаком по двери.

— Эй! Кто там?

Стон делается громче, но остается нечленораздельным. Тот, кого внутри держали, старается как будто что-то сказать, но не может.

— Прикроешь?

Лисицын дергает примерзший засов: раз, другой — тот поддается наконец, дверь скрежещет и идет нехотя навстречу. Лисицын перехватывает свой ПС в правую руку. Задорожный тоже вскидывает ствол.

Ну ладно, говорит себе Лисицын. Сейчас разберемся во всем.

Перед ним пустая квартира. Темный коридор, кухня — решетки на окнах, в конце коридора комната. На полу лежит мертвый человек в монашеской рясе. На шее у человека крест на цепи. Лицо у человека вздувшееся и синее. Цепь перекручена много раз, глубоко впилась в шею мертвому. Удалили его — а еще бы чуть-чуть — и отрезали бы ему этой цепью голову, с такой силой и ненавистью ее заворачивали.

Лисицын вступает в квартиру, мягко идет вперед — шорох впереди слышен. Шаг, шаг, шаг, «Стечкин» в вытянутых руках бродит вправо-влево... Комната. За спиной у него заходит и Задорожный, тяжело дышит.

Изгаженная комната, с улицы падает бледный свет, посеченный оконной решеткой на клетки: в крестики-нолики играть можно. На полу сидит человек, кряжистый мужчина. Глаза закрыты, нога прострелена, кровь вокруг.

— Руки!

Тот стонет, собирает какие-то слова из обрывков, но все нечеткое, нерусское. Руки не поднимает, не понимает Лисицына.

— Э, мужик! Задорожный, ну-ка подсоби!

Они склоняются над человеком, хлещут его по щекам. На человеке старорезимный ментовской бушлат, на бушлате полковничьи погоны. Он вздрагивает — и наконец открывает глаза.

## **Дмитрий Глуховский**

Разлепляет ссохшиеся губы. Хмурится. Потом хрипло высказывает Лисицыну:

– А ты еще, на хуй, что за зверь?

– Подъесаул Лисицын. А ты кто?

– Полковник! Пирогов! Сергей Петрович! Комендант!

Лисицын и Задорожный переглядываются.

– И что тут у тебя стряслось, полковник?

Пирогов трясет тяжелой башкой, приходя в себя. Поволока спадает с его опухших, на бойницы бэтэра похожих глаз.

– Что стряслось? У кого стряслось? Ты о чем, казачок?



# Встреча

## 1

По шпалам идти неудобно, но по насыпи идти еще сложнее. Шпалы хотя бы положены под размер маленького детского шага; и дети шли по ним, сколько могли, пока не стали просто валиться с ног. Егору приноровиться под кургузый шпальный шаг было трудно, через две шагать — дети не поспевали. Ноги от этого затекли и устали вдвойне, как будто не тридцать километров прошел, а все шестьдесят. Как будто дошел уже до Ростова — а ведь до него еще столько же по мерзлой ноябрьской земле, по черным скользким шпалам.

Ног не слышно, и от этого кажется, что они бредут во сне. Мир весь онемел, и без звуков в нем трудно. Надо все время оборачиваться назад, все время глядеть по сторонам: вдруг кто-то гонится за ними от Поста, вдруг Егор не всех там убил. Чтобы говорить друг с другом, чертят буквы пальцами по воздуху: губы читать не получается, только злость берет. Злость берет и от того, как медленно это — говорить по воздуху пальцами: лучше смолчать.

Но самое сложное — разговаривать с детьми. С Алиной и с Сонечкой. Ваня Виноградов хотя бы умеет читать, он на Посте считался вундеркиндом. Алинка букв не знает вообще — родители не учили. Поэтому она ревет беспрестанно, в начале еще и брыкалась, делала губами как рыба: мама, мама. Это угадать у Егора получилось. Мишель ее сначала по голове гладила, уговаривала беззвучно, потом окрысилась, стала дергать, потом и Егор не выдержал, дал глупой Алинке подзатыльник. В конце концов Алинка смирилась, так ничего и не поняв, пошла покорно с чужими людьми, рыдая, от родителей и от дома — по железной дороге куда-то.

Не успели детям рассказать, что мамок-папок их больше нету, до того, как пришлось им гвоздиками выкалывать барабанные перепонки. А теперь они не слышат. Ване написали, Соня вроде тоже прочла, кивнула. Алинка так и не поняла ничего. Да и те двое, конечно, ничего не поняли. Как такое вообще можно понять?

Егор думает о своей матери. Тела ее не было там, во дворе, сколько он ни ворошил других мертвых. И за воротами тоже ее не было. Пропала? Ушла? Спряталась? Найдется?

Когда они устраивают короткий голодный привал, Мишель ему пишет на воздухе:

«Б», «А», «Б», «К», «У», «О», «С», «Т», «А», «В», «И», «Л», «А».

Бабка, точно. Бабка. Оставил ее бабку там. Не проверил. Вот черт. Сердце ухает вниз. Но потом он говорит себе: бабка ведь парализованная, никуда не денется. Полежит-полежит и сама очокурится. Если там ее не порвали уже, пока суть да дело. Так Егор размышляет, а потом по выгоревшим глазам Мишель догадывается: она не об этом. И тогда карябает ей воздушными буквами:

«С», «С», «О», «Б», «О», «Й», «Н», «Е», «Л», «Ь», «З», «Я».

Мишель моргает.

«Ж», «А», «Л», «К», «О».

Он дергает подбородком. Жалко. Поднимает палец — рука дрожит от усталости.

«О», «Н», «И», «В», «С», «Е», «У», «М», «Е», «Р», «Л», «И».

Кивает ей: ты-то хоть понимаешь это? «В», «С», «Е». Никого там не осталось. Никуда возвращаться. Этого ничего больше нет нигде — нет Поста, нет твоего деда с бабкой, нет Сереги, нет Рината, нет одноглазого Льва Сергеевича, нет и не будет Полкана, и только мать Егорова испарилась.

Мишель отворачивается.

Алинка, упрямая дрянь, воспользовалась их разговором, тем, что в ее сторону не глядели — и бежит со всех ног обратно к Посту.

## 2

Полкана он на потом откладывал. В самый конец очереди его поставил. Когда переходил из вагона в вагон, менял заклинившие от перегрева «калаши» один на другой, когда ловил в прыгающий прицел человеческие головы, когда в сотый, в двухсотый раз получал в плечо удар прикладом, когда наблюдал, как замирают тела, только что кочевряжившиеся, как кровь из них толчками выходит, а потом останавливается, когда оскальзывался в дымящейся жиже, падал, поднимался и дальше двигался, думал — с ним потом разберусь. Потом, в конце.

Сначала он думал о другом, правда. О том, что это все нужно сделать, это сделать необходимо, тут не ему решать, иначе просто никак нельзя. О том, что дальше по железной дороге — Ростов, за Ростовом — другие городишки, села, и наконец, сама Москва, и все это сгинет, пропадет, и ничего от них не останется, как ничего не осталось от Поста и его жителей, если Егор не сделает то, что должен. А должен он был вот: стрелять в людей, в одного за другим, без спешки, без суматохи, чтобы ни одного не пропустить.

Эти все люди уже были не люди, хотя некоторые и не бесились, не пучили глаза, не высовывали языки, а просто прятались от пуль за другими, за одержимыми. Но Егор их уже знал, знал, во что они обращаются, во что обратились, и что сделают со всеми остальными, если он хоть одного тут сейчас из них пожалеет. Только в начале, в первом вагоне стрелять он себя заставлял, объяснял себе, зачем он, Егор, людей убивает. Когда приноровился, перестал размышлять.

Дело оказалось тяжелым и однообразным, как яму в глине копать. Хорошо, что уши были у него проткнуты и голова болела дико: не было слышно их криков, и от боли ненависть кипела. Он эту боль свинцом выплевывал, она летела сгустками, кусала их и утихомиривала. Сломанные автоматы он бросал прямо в вагонах, только рожки с них снимал.

А о Полкане все-таки иногда вспоминал. Боялся встречи.

Там были женщины, старичье было, но больше всего было молодых парней — может, потому что они были самые живучие. Одежду многие с себя посрывали, Егор видел, как их от одежды крючит; но все же на некоторых обрывки остались. Была там и казачья форма. Он начал разглядывать казаков: искал Кригова, но не нашел или не узнал.

После десятого вагона, как раз на половине, ему стало лень добивать упавших. Если кто больше не шевелился, такого Егор контрольным уже не доканчивал. Безразличие такое настало от усталости, как у замерзающего заживо. Одиннадцатый вагон он прошел так себе, халтурно, но в самом конце кто-то лежачий схватил его за сапог с силищей как у медвежьего капкана. Тогда Егор все-таки посидел, подышал и пошел по вагону обратно, каждому, даже самому безнадежному, приставляя ствол к голове и спуская курок.

Когда поезд кончился, он еле стоял на ногах. Рук поднять не мог — дрожали. Вышел наружу, сел на приступку. Посмотрел на черные измозоленные руки. Плюнул на ладони, попытался стереть с них гарь и грязь.

Долго смотрел на окна домов, кроме одного окна. Во дворе никого не было, хоть двор и был забросан людьми. Колыхались занавески, ставни ходили взад-вперед. Дождик начинался. Люди постепенно вращались в грязь. Егор набирался сил и караулил пока — вдруг кто-нибудь еще выйдет. Не выходил. Оставался тут только один живой: Полкан. Егор наконец посмотрел и на его окошко.

За решеткой изолятора металась тень — то ближе к окну, то дальше. Егор все думал, хватит ли Полкану ума броситься на арматурные прутья, которыми окно было заварено? Потому что силы, чтобы выворотить их, у него сейчас хватило бы с лихвой. Но тот уже обернулся совсем, ума в нем было, как в рыбе.

Надо было к нему подняться сразу же, как закончил с поездом. Тогда Егор еще был настолько обуглившийся, что мог бы отчима скосить с наскока, по инер-

ции, оставшейся от последнего вагона. Но пока переводил дыхание, пока изучал покрытые копотью ладони и ощупывал отбитое прикладом плечо, в голову ему лез тот Полкан — старый. Который у Егора гитару отбирал и возвращал ему ее, который тушенкой его пичкал и водкой против материнной воли угощал, показывал, подмигивая, тайные ходы, к кроссвордам ответы спрашивал, с которым мать успокоилась и стала снова жить, и который, в общем, жесток с Егором никогда не был.

Егор посидел-посидел на приступочке, и когда гудение в руках поутихло, слез с нее, приладил к автомату полный рожок и пошел Полкана убивать.

По лестнице поднимался через силу. У железной изоляторной двери остановился. Вот хер с крылышками, который Ванька Воронцов гвоздем по штукатурке изобразил; а сам Ванька лежит во дворе, полный рот грязи.

Дверной косяк бурым был запачкан — это Егор отцу Даниилу по пальцам железной дверью рубанул. Заглянул в глазок. Увидел отца Даниила, который тихо лежал на полу, схватился руками за шею и так закоченел. Значит, Полкан все-таки загнал гада, удавил его. Так ему, суке.

Егор, чтобы разозлиться на отчима, хотел вспомнить, как пару часов назад тот ему двадцать вагонов людей расстрелять завещал, а сам сошел с ума — и взятки гладки; вот тогда бы Егор мог его запросто убить. А сейчас вместо этого о другом думалось — как Полкан несущемуся поезду перегородил дорогу и не хотел уступить; как как долго сопротивлялся, не впускал в себя эту чертову тарабарщину, которой его обожженный из поезда заразил. Мужик...

Теперь вот нужно было его застрелить тоже, как всех тех, в поезде.

Полкан появился в глазке. Сновал взад-вперед по изолятору, как зверь в клетке. Но уже не метался, а расхаживал — медленно, подволакивая ногу, постепенно выдыхаясь, трясая своей тяжелой башкой, словно пытаясь вытряхнуть из нее безумие. Он валился от усталости, как и Егор. Потом вдруг вскинулся, почувствовав, что за ним наблюдают, и побрел к двери, рукой прикрывая красное пятно на штанине. Егор смотрел на него замороженно, примерзнув к глазку.

Отчим подошел к двери вплотную, принялся, и что-то ему сказал. Что-то двухсложное произнес, глядя прямо в глаза Егору через стекляшку. Как будто бы по имени Егора позвал, только тот своими дырявыми ушами ничего не услышал. Тогда Полкан поднял перемазанный в крови палец и провел им по глазку, закрасил себя.

Он не выйдет отсюда никуда, сказал себе Егор. Никуда он отсюда не денется. Умрет без еды и воды сам. И заразить никого не сможет.

Одно дело — незнакомых людей убивать, которые и не люди вовсе. А тут — дело другое.

Устал. Пожалел. Смалодушничал, короче.

## 3

Как они ни спешат, дотемна до Ростова дойти не успевают. У детей ноги в кровь стертые, побитая Алинка перестала драться и сбегать, но тащится еле-еле, на дергания и щипки уже не отвязывается. Сонечка Виноградова — не спорщица, слушалась Мишель во всем, шла быстро, как могла, а потом просто потеряла сознание и рухнула наземь; Егору пришлось ее на руки брать, потом сажать к себе на плечи — когда она снова смогла хоть держать спину.

Останавливаются на каком-то переезде, в брошенной сторожке, у двух задранных в небо шлагбаумов. Дальше поле кончается, разлапистые ели подступают совсем близко к насыпи, лес пытается сомкнуться, зарубцевать просеку. Ночью не хочется в этот лес входить, даже и по железной дороге.

А тут сторожка эта.

Стекла на месте — это и хорошо, и подозрительно. Если бы тут не жил никто, окна обязательно выбил бы проходящий мимо человек, чтобы напомнить себе веселым стекольным звоном, что он еще существует и может изменять мир. А если тут кто-то живет и просто отлучился, то по возвращении он может непрощенных гостей и пришить на всякий случай, благо те спят и о пощаде просить не станут.

Но если остаться на улице, можно околеть. Это лотерея, конечно.

«Я», «В», «С», «Е» — пишет в воздухе Мишель и точки на «е» расставляет. Егор тоже все, сил спорить нет. Они заваливаются в сторожку, находят продавленные топчаны и падают без чувств. У детей даже плакать нет сил, даже есть больше не просят. Ночь наступает сразу.

Егор успевает только попросить, чтоб ему во снах в вагоны не возвращаться, и ему показывают вовсе другое. Он сидит на крыше своего дома, смотрит вниз, во двор — лето, у школяров каникулы, мальчишки гоняют латаный-перелатанный кожаный мяч, мужики режут в козла пожарного у караулки, ветер сдувает зелень обратно к реке, дышится легко. В руках вроде как гитара, Егор трогает струны.

Останови время. Останови ветер.  
Останови Землю. Хватит расти, дети.  
Хватит стареть, мама. Не заходи, солнце.  
Не уходи, папа. Мама, а он вернется?

А я вернусь, мама, из моего похода?  
Против меня ветры, против меня годы,  
Всех рек течение, планет верчение.  
Останови Землю. Останови время.

Он играет и слышит гитару, поет и слышит себя. Вдруг к нему присоединяется другой голос — нежный, девичий. Он оборачивается — Мишель. Сидит на краю, свесив с крыши ноги, улыбается ему, щурится на солнце.

- Песня класс, — говорит она. — Музыка особенно. Про кого?
- Про меня, — отвечает Егор. — Ну и про тебя тоже.
- Берешь меня с собой? — спрашивает Мишель. — В свой поход?
- Конечно. Пойдешь?
- С тобой куда хочешь. Хоть на край света.
- Давай в обратную сторону, — предлагает Егор. — В Москву.
- Ок.

Она перекидывает ноги обратно — колени загорелые, ветер лезет под платье, она со смехом пытается его приструнить — и подходит к Егору. Наклоняется к нему, пахнет земляникой. Целует в щеку — в уголок губ — в губы. Это и сестринский поцелуй, и материнский, и любовный: такой, от которого Егор наполняется не похотью, а сияющим счастьем; теплым счастьем от того, что его приняли, почувствовали, поняли и приняли навсегда.

Он просыпается с улыбкой. Песня, которую он только что наизусть пел, тает, как буквы, которые пальцем по воздуху пишешь, и забывается навсегда за несколько секунд. Но медовое тепло из сна залило все раны у него внутри, все обезболело, все обеззаразило.

В пыльном и заиндевевшем окне слабая луна и голые деревья, света в дом падает мало, как на дно колодца. Но Егор видит Мишель хорошо. Они лежат друг напротив друга. Мишель обложилась детьми, Егор один. Ее лицо перемазано кровью и копотью, перечерчено высохшими руслами слез. И все равно она очень красива; Егор слышит в себе такую к ней нежность, еще после сна, наверное, не выветрившуюся, что перевешивается через сопящих детей и осторожно притрагивается к ее щеке, гладит ее. У нее теперь никого не осталось, никого и ничего, кроме Егора — и значит, она теперь будет с ним, она будет его, а он будет принадлежать ей, потому что у него тоже больше нет совсем ничего; выше цену, чтобы быть вместе, заплатить нельзя.

Мишель вздрагивает. Он отдергивает руку.

Она открывает глаза. Кивает ему молча: что?

Егор приподнимается, садится к окну. Дышит на стекло и по испарине пишет: «Ты очень красивая». Мишель хмурится спросонья, кривит губы. Показывает сердито ему на волосы, на лицо: я чучело. Отворачивается. Он остается сидеть, глаз с нее не сводит. Она ерзает в постели, потом недовольно оглядывается на него снова: чувствует. Садится тоже. Пишет на стекле: «Хорош пялиться!»

И все: мед киснет, сворачивается, плесневеет мигом, и все обрушивается на него заново. Все, что видел и все, что делал. Он еще пытается цепляться за ту Мишель, не глухую, с которой во сне разговаривал. Она стирает рукавом Егорову

писанину и строчит ему — «Спи давай. Мне надо выспаться. Я хочу завтра сразу до Москвы».

Егор перебивает: «Постараемся, конечно». Показывает на детей. Она смотрит на них озадаченно, словно в первый раз видит. Подбирается как-то, съеживается.

Он по скрипучему стеклу рисует: «Я тебя не брошу!». Мишель пытается улыбнуться, но улыбка у нее получается плохо. Они сидят так молча, голые ветки ходят за окном, черкая тенями им по лицам. Мишель подозрительно всматривается в Егора, он думает: неужели она так и не поняла, что я без нее не смогу?

Он выдыхает на стекло: «Я тебя люблю».

Это трудно ему дается, палец дрожит так, как будто он только что из первого-последнего вагона вышел. Дорисовал, застыл. Она молчит тоже. Потом поднимает свои плечи и опускает их.

Егор ниже, под признанием, карябает: «Что?»

Мишель — тоже в сторонке — пишет нехотя: «Я не могу».

Он чувствует, что черная густая муть, которой он наглотался там, в поезде, между двадцатым и первым вагонами, которая вроде бы кое-как осела, вроде бы подсохла — начинает в нем отмокать, подниматься, закипать.

Теперь-то что мешает тебе?! Мы с тобой вдвоем только остались, нам — жить, этот твой казак сдох! Сгинул там, за мостом, а, может, это я его и кончил походя, даже не узнав, потому что он в нелюдя превратился из бравого красавца! Его нет больше! А мы с тобой — есть, вот мы! «В чем проблема?»

Мишель не отвечает.

Светлые волосы ее спутаны, красная синтепоновая курточка застегнута наглухо, Мишель скрестила руки на груди, спрятала мякоть под панцирем, на Егора смотрит волком.

Он — в голос! — орет:

— Ты и видела его, боже ты мой, всего один раз! Ну, потрахались вы, ладно, хер с тобой, я прощаю тебя за это, окей? Прощаю! Ну что это за великая такая у тебя к нему любовь, с первого взгляда и до после смерти?! Что я ничем не могу ее перебить! Да он играл с тобой просто! Поматросил и покатил дальше, портить других таких же вот дур!

Егор задыхается. Мишель мотает головой: не слышу. Егор лупит по столу кулаком, Сонечка начинает ворочаться. Он зло стирает со стекла про любовь, дует на него, и сообщает ей: «Его больше нет!». Мишель, подумав, наконец тоже решает — трудно, как он решил — на свое признание: «Я в курсе».

Выдыхает медленно, выводит: «Я от него беременна».

Егор затыкается. Ложится. Отворачивается к стене. Сжимается. Теперь у него не осталось совсем ничего.

Но уснуть он не может.

Кожа горит, чешется. Все, что налипло на него за последние два дня, разъедает ее. Он вертится на продавленном топчане, пытаясь найти позу, в которой не будет чувствовать своего тела, но не выходит: от глухоты остальные ощущения обострились. Ничтожный лунный свет бередит глаза, каждая забитая пора свербит, в дырявых ушах стоят крики. Усталые мышцы, которые никак судорога не отпустит, вибрируют. Земля вибрирует.

Егор трогает пол, прислушивается пальцами. Земля вибрирует. Стол дрожит мелкой дрожью. Он догадывается, вскакивает на ноги, распахивает дверь. Так и есть: поезд! Мишель поднимается вслед за ним — что случилось?!

Поезд идет на них от Москвы, и не только по вибрации рельсов это слышно — в лесной темноте загорается белая звезда. Она растет, летит на Егора, на сторожку, раздваивается, и земля под его ногами начинает ходить ходуном в такт железным колесам: ту-дум ту-дум, ту-дум ту-дум.

Из Москвы к Ярославлю идет настоящий поезд. Не дрезины, которыми им припасы подвозили — а тепловоз с вагонами, какие, оказывается, в Москве тоже имелись, просто раньше их на ярославцев тратить было без надобности. Может быть, это подмога, которую просил Полкан. Может быть, провизия, которая им так была нужна позавчера. Всполошились все-таки, отправили кого-то. Полкан думал, Москва бросила их, Егор тоже на Москву не рассчитывал. Рассчитывал только сам на себя.

Полкан!

Если они и впрямь туда едут, на Пост... Полкан не успеет ведь сам еще ласты склеить, как Егор надеялся. Он ведь там, его окно прямо во двор выходит. Будут разбираться, будут квартиры обыскивать, найдут его... Это как тогда, это что же... Тогда все зря было, все, что Егор натворил — зря? Только потому что на самое последнее не решился?

Он выходит на пути и поднимает руки.

Поднимает и опускает их. Мишель глядит на него от двери, на промозглом ветру зябко кутаясь в рваное одеяло. Спрашивает его без слов: чего ты хочешь?

Надо остановить их, вот чего. Не все там умерли, на Посту. Я тебе соврал. Этому поезду не нужно туда, в Ярославль, кто бы ни ехал в нем, чего бы туда ни вез. Им туда нельзя.

Егор стоит у поезда на пути, растопырив руки; Полкан так останавливал состав с одержимыми у самого моста. Полкану кишок хватило не сойти с пути, и у Егора хватит. Он думает о том, как люди эти в поезде, сейчас дружные и веселые, мчащиеся Посту на помощь, через пару часов будут расхаживать, в чем мать ро-



дила, и друг другу руки-ноги с мясом вырывать. А потом расползутся от Поста во все стороны — в том числе, и к Москве.

Локомотив вырастает из звезды в ревущее чудовище в одну короткую минуту. Егор, уже совсем ослепнув в свете фар, машет ему, чтобы тот остановился, но поезд не тормозит — гудит и летит прямо на него.

Слабо тебе, говорит себе Егор, трясаясь, сводя крепче ноги, чтобы не обосаться. Полкану вот не было слабо. А тебе слабо?! Он зажмуривает глаза. Поезд остановится. Сейчас начнет тормозить.

Подглядывает: нет. Не тормозит. Не остановится.

Ради чего? Егор и так уже все сделал, чтобы спасти людей. Он не должен был никому ничего, а взял и на себя все это взвалил.

Полкана столкнули с рельсов Егор с Коцем, спасли. А Егора некому с переезда согнать, Мишель глядит на него заранее обреченно, мотает головой, но не шелохнется. Ты не понимаешь, что ли, для чего я тут стою? Чтобы твою Москву гребаную для тебя сберечь!

Неужели ей настолько на него плевать, что она готова даже позволить ему тут вот сейчас прямо, прямо при ней сдохнуть? Сука! Ну забери меня отсюда, видишь, я же сам не могу пост оставить!

Но Мишель не хочет его спасать. Не сводит круглых осоловелых глаз с него, следит завороженно, секунды тянутся еще пока, но скоро лопнут — уже поднимается вихрь от подлетающего локомотива — он не остановится, он не остановится, все зря — зачем Егору умирать?! Он сделал, что мог, он выполнил свой долг, сделал — что мог, сделал!

— Не надо! — кричит Мишель, но кто там ее разберет.

Егор сходит с рельсов за пару секунд до того, как тяжелый локомотив проносится мимо на полной скорости. Егор успевает рассмотреть за стеклами кабины человека с окровавленным лицом, упрямым и злым, который ведет короткий состав вперед. За локомотивом громыхают два вагона: в светящихся окнах спящие казаки. Папахи, автоматные стволы.

Подмога.

Егор оборачивается к Мишель. Трогает свои портки: сухие.

Поезд превращается в комету и через пару минут гаснет в пустоте, а Егор возвращается в постель. Отворачивается от Мишель и проваливается в черноту. На сны больше нет сил.

## 5

Их будят дети: хотят есть. Злятся, что взрослые не понимают их рыбий язык, не сразу догадываются показать на рот, на живот. Нет еды. Еда в Ростове. Еще

километров двадцать дотуда, взрослому человеку четыре часа хода. Слабое солнце высвечивает на стекле остатки вчерашней ссоры: «Я от него».

Спасибо этому дому.

Умываются колким морозным воздухом, привешивают автоматы поудобней, разбирают детей — Алинка, с утра уже зареванная, набралась сил, опять выдерживает руку. Взрослым жизни прибавилось за ночь мало, ноги стерты, животы крутит от голода.

На Мишель Егор старается не смотреть, даже когда пишет ей буквы. Невозможно на нее больше смотреть. Ладно... Что он теперь, из-за куска пизды, как мужики на Посту говорят, жить, что ль, дальше не будет? Беременная, шлюха!

Желчь жжет и жрет Егора, во рту от нее горько.

Кригов, тварь, как ты у меня ее так отнял, что и сдохнув, не отпускаешь ее?! Почему мы разминулись с тобой в поезде, почему это не я пристрелил тебя, Кригов, думает Егор и тащит, тащит беспощадно маленькую Соню вперед, взбешенный тем, что тонкие ее ножки не поспевают и путаются.

Ладно! Ну и что, что Мишель не оценила. Это ведь не ради нее было все. А ради остальных людей, чтоб жили. Чтобы это не повторилось все в Ростове, а потом в Москве. Предупредить их. Рассказать. Научить, как себя защитит, убедить. Чтобы будущее было.

Дойти до следующего любого города — рассказать им про то, что их ждет уже скоро. Если Полкан казаков заразит, сколько им до Ростова от Ярославля брести? Только вот почему брести — они ведь и бежать могут..

Ладно, ладно. Может быть, Полкан и умер уже, истратил себя всего и околел. Может быть, они его прикончили сразу, увидели, что он бешеный, и пристрелили. Не обязательно ведь все пойдет по самому худшему пути.

Егор выдыхает, успокаивает себя.

В любом случае, еще не поздно все исправить. Надо просто дойти до Ростова первыми, впереди поднимающейся волны доплыть. Там дядя Коля Рихтер командует, товарищ Полкана. Он Егора знает. Сразу к нему, сразу все доложить. Без подробностей. Просто: случилось вот такое, мы выжили, а остальные — черт знает, что с ними. Скоро сами увидите.

Егор шагает впереди, чтобы только лес был, только серые ели, молочное небо перед глазами. Ну? Ну все. Успокоился? Успокоился, вроде. Он перестает тянуть Сонечку так жестоко. Смотрит на нее: стыдно стало. Подхватывает подмышки, сажает себе на шею опять. Пронесет ее, сколько сможет. А там пусть опять сама топает.

Там будет другая жизнь.

Он расскажет в Ростове всем, что случилось с Ярославлем, они успеют подготовиться, они известят Москву, придумают что-нибудь, пришлют еще войско, заранее оглушенное, Егора наградят, заберут в Москву тоже, ну и там... Мало там

девок, что ли, в Москве их в этой? Все наладится. Дети вот... Ну, воспитает он их. Как-нибудь. Ванечку, вон, точно можно себе взять.

Тут его хлопают по спине сзади.

Мишель.

Запахавшаяся, разозленная. Дети отстали, Алинка сидит на земле, Ваня хлопает обледеневшими ресницами.

Толкает его рукой в плечо. Кричит беззвучно. Что?!

«Т», «Ы», «Ч», «Т», «О», «?», «К», «У», «Д», «А»?

Слишком быстро он шагал, доходит до Егора. Она не успевала с детьми.

«Н», «Е», «Б», «Р», «О», «С», «И», «Ш», «Ь», пишет ему она и показывает средний палец; сука, какая же она красивая все-таки — и когда бесится, особенно! Решимость Егора прожить без нее запросто всю жизнь испаряется мгновенно. Он тоже показывает ей средний палец, и пальцем этим же пишет:

«Н», «Е», «Т», «В», «Р», «Е», «М», «Е», «Н», «И».

Но дальше они идут рядом, толкаясь — но рядом. И Егор понимает, что просто так в Москве он найти ей замену не сможет. И может быть, вообще нигде не сможет ей найти замену.

Потом в голову опять пробираются без спросу картинки: вот он звонит в Москву, вот приезжают для разбирательства люди, его приглашают к командованию — оглох, но выполнил свой долг, — награду какую-нибудь припиливают ему на грудь, разрешают в Москве жить и даже квартиру дают. Вот тогда и поговорим. Вот тогда и посмотрим.

Эти картинки обугливаются в его камере внутреннего сгорания, дают ему сил на следующий шаг, еще на один, еще. А Мишель, спрашивает он себя, что кидает себе в топку, какие мечты?

Ненависть и любовь горят одинаково хорошо.

## 6

Ростов начинается, как начинаются все города: с белых кирпичных гаражей, с беспорядочных дачных поселков, с трехэтажных облупленных домов с белыми оконными рамами, с провисающих проводов, с путаных разбитых дорог, которые тащатся вслед за железнодорожными путями, с пригородных станций, состоящих из перрона и пивного ларька, и вся эта пряжа нарастает все гуще на рельсовое веретено, пока из нее не собирается целый город.

Патруль останавливает их на переезде почти у самого вокзала — ровно перед тем местом, где рельсовое полотно начинается ветвиться; подходят мужики в ушанках, облаивают их немymi овчарками, тычут стволами, задают беззвуч-

ные вопросы. Егор тычет себе на уши, потом поднимает руки вверх. По памяти, сам себя не слыша, произносит:

– Я оглох. Мы все тут глухие. Дети тоже.

Дозорные переглядываются, усмехаясь: целое посольство глухих, поди ж ты! Дети заводят про еду, но Егор шикает на них – не хватало еще, чтобы их за нищих приняли!

– Мы с Ярославского поста. Я сын Пирогова. Сын коменданта. Сергея Петровича Пирогова.

Правильно ли он все сказал? Поняли они его?

Они вроде меняют прищур – с издевательского на недоверчивый. Что-то там булькают непонятное. Думают, как с глухим объясниться. Егор советует им: напишите. Один идет на КПП, отыскивает там где-то старые газеты и карандашный огрызок. Выводит на бумаге: «Что случилось?»

Егор отнимает карандаш – нет больше мочи пальцем выводить тающие в воздухе буквы. Шкрябает: «Наш Пост захвачен. Выжили только мы. Отведите к начальнику. К Рихтеру!»

«А Пирогов что?»

Егор чиркает пальцем себе по горлу: убит.

Тогда их еще раз осматривают и теперь вроде как жалеют.

Пускают на КПП погреть отмерзшие руки. Потом везут на большой пост, на ростовский главный вокзал, в продолговатое белое здание с круглой башней на одном конце, похожее на всплывшую посреди равнины подводную лодку.

Предлагают чай, раздеться. Детей с кровью, запекшейся в ушах, бабы забирают лечить и кормить, Мишель уходит вонючим серым мылом скоблить кожу, а Егор от всего отказывается. К начальнику, доложить. Остальное все будет после.

Его ведут в кабинет Рихтера – люди в коридорах таращатся на него, шушукаются – уже поползли слухи. Сажают в комнату, побольше и побогаче, чем у Полкана его штаб-квартира была. Появляется сам Рихтер – гладко выбритый, на подбор свои жидкие седые волосы уже уложивший, подтянутый и пахнущий одеколоном аккуратист. В руках у него блокнотик, его обо всем уже уведомили, он готов. Готов-то готов, но когда видит Егора, лицо у него меняется так, как будто Егора к нему в гробу в кабинет втащили.

Красивым, как в прописях, буквами, он на бумаге спрашивает: «Что случилось? Почему вы все оглохли?»

Егор хватается блокнот, принимается калякать: «На наш Пост напали из-за реки. Всех перебили, мы одни ушли. Сергея Петровича убили. Могут сюда прийти»

Рихтер отбирает у него блокнот: «Кто?»

Егор думает, как объяснить, сомневается. Пишет: «Одержимые». Проверяет – что там у Рихтера с лицом? Знает он про одержимых, про бесовскую молитву? Тот чешет голову, ничего не понимает.

«Болезнь, из-за реки. Не болезнь, а секретное оружие. Словами заражает. Через слух. Если слушать, можно с ума сойти. Буйными становятся. Нападают на других. Убивают!» — Егор строчит, оглядываясь на Рихтера, который хмурится, ничего не сообщая.

То, что он тут пишет ему, как раз ровно на безумие и похоже, осознает Егор. «Я нормальный! Это все правда! Спросите у девушки! Она подтвердит!»

Рихтер теперь смотрит на него сочувственно, но поверить в это, конечно, не может. Егор и сам в это не мог поверить, даже когда уже видел, как знакомые люди обращаются в одержимых прямо у него на глазах.

«Хуйня какая-то», — прямо отзывается дядя Коля Рихтер, военный человек.

«Не хуйня!» — протестует Егор. «Позвоните в Москву, они должны знать! Надо предупредить их! Надо подготовиться!»

«Как подготовиться?»

«Уши себе выткнуть! Барабанные перепонки! Как я! Чтобы не слышать их!»

Теперь Рихтер точно смотрит на Егора, как на полоумного — притворяться он не умеет, Егору все видно.

«Тебе врач нужен. У тебя кровь в ушах. Заражение будет. Нужно обработать. Антибиотики нужны», — выписывает дядя Коля ему рецепт.

«Не буду! Пока при мне в Москву не позвоните! Там подтвердят! Туда же послали казаков! На Пост! Они знают, что там херня творится! Надо сказать!» — спешит Егор, городит абракадабру, пока его не упекли в лазарет.

Сомнение шевелится в дяди Колиных темных глазах — как рыба в ледовой лунке проходит. Вдыхает. Кивает. Подвигает к себе телефон с гербовым орлом — такой же, как у Полкана. Снимает трубку. Что-то говорит в нее, ждет, поглядывая на беспокойного Егора, что-то говорит в нее еще. Долго ждет. Играет с карандашом. Егор следит за ним безотрывно. За бровями, за губами, за тем, как бегают глаза. Думает о Полкане, который бродил за решеткой изолятора, как бешеный кабан. О том, как тот замазывал дверной глазок своей кровью. Прощался он так с Егором или прятался от него?

Кажется, кто-то в трубке просыпается, Рихтер вздрагивает, начинает что-то вещать, прикрывая рот ладонью — словно боится, что Егор его и глухой поймет. Слушает ответ, но так коротко, что Егор начинает подозревать его в обмане: наверняка в трубке сейчас или глухо, или идут короткие гудки, а Рихтер с серьезной миной продолжает изображать разговор с Москвой.

«Что говорят?» — пишет ему Егор.

Дядя Коля отмахивается от него, как будто бы с той стороны ему действительно дают какие-то инструкции, потом кивает и отключается. Подтягивает к себе блокнот с Егоровым вопросом и выводит в нем: «Что ты бредишь. Вообще не понимают, о чем ты. Говорят, чтобы я линию не занимал».

Егор пишет срочно: «Но вы же казаков пропустили туда? В Ярославль? Поезд с 2 вагонами?», заглядывает Рихтеру в его лунки. Тот кивает.

«Зачем?»

«Они не отчитывались».

Вот! Егор тычет в лицо Рихтеру своим грязным пальцем. «Они знают!»

«Ну если знают, то знают. Мы им сказали? Сказали», — Рихтер разводит руками. «Все, айда в медпункт!»

И правда — в лазарет он Егора провожает, и пока тому уши от крови чистят, льют в раны йод и бинтуют голову, продолжает с ним переписку. Хочет знать, как погиб Полкан, и Егору приходится тут придумывать всякое, плести вранье дальше. Врач интересуется, что у Егора случилось с ушами.

«Вам тоже так надо будет сделать. Всем. Или конец». Рихтер врачу кривит рожу: мол, не слушай его, чушь порет. «Всем конец», — дописывает Егор.

## 7

Они с Мишель сидят друг напротив друга, хлебают горячий суп. Обоих отчистили, у обоих вата в ушах и голова замотана. Кухарка и жирный повар подглядывают за ними через раздаточное оконце, безголосо квохчут. Над головой у них часы, времени двенадцать.

Мишель похлебала щей, бросила на полтарелки. Мрачная, нервная.

«М», «Е», «Н», «Я», «Н», «Е», «О», «Т», «П», «У», «С», «К», «А», «Ю», «Т».

Куда, кивает Егор, озираясь на кухарок.

«В», «М», «О», «С», «К», «В», «У».

Долго, неловко, злясь друг на друга за кривые буквы и за непонимание, они выясняют, что Мишель пробовала отпроситься сразу, и до медпункта, и после — отказ. Потом они придумывают рассыпать на столе соль и чертить по соли — буквы меньше, четче, разговор идет быстрее.

Почему меня не отпускают, спрашивает Мишель. Что ты им рассказал? Егор оскорбляется: он тут ни при чем, рассказал ровно, что было, при нем звонили в Москву, и в Москве его историю сочли чушью; ну, наверное, должны помурить их еще до выяснения обстоятельств. Не сажают же их в каталажку — лечат, кормят, о детях вот заботятся.

«Я сбегу», — упрямо выводит Мишель.

«Я с тобой пойду», — пишет Егор.

Она смешивает соль. Смотрит в окно. Возвращается к нему. «Зачем?»

«Ты все равно будешь моей».

Она усмехается. Шлет ему воздушный поцелуй. Отодвигается. Но в дверях ее ждет часовой, перегораживает проход, не дает выйти. Егор тоже вскакивает —

думает к Рихтеру пробиться, но там не один человек их стережет, а сразу трое. Слышать его не хотят, вталкивают обратно в столовую — не зло, но настойчиво. Показывают: иди, мол, поешь еще пока что.

Егор берет добавки и пихает ее в себя; Мишель сидит, скрестив руки, вся из себя презрительная: тебе сказали жрать, ты и жрешь? А Егор, да, жрет, и иди ты в жопу.

«Все равно будешь моей».

Смотрит на часовой циферблат — там опять двенадцать, стрелки застряли. Это тут у них время встало, думает он, а в Ярославле оно втрое быстрее вперед мотает. Они придут сюда, думает он, они сюда все равно придут рано или поздно, потому что в Ярославле они уже жрут друг друга, посрывали с себя погончики и папахи и верещат эту свою ересь во все горло.

Оно уже, наверное, катится сюда, а эти идиоты ему не верят.

Ничего. Надо пока пожрать впрок. Пожрать и подремать вот хоть на стуле. А потом выбираться и искать тех, кто будет готов его слушать.

## 8

В полудреме к Егору приходит мать.

Он не видит ее, но она говорит с ним из соседней комнаты: не волнуйся, со мной все в порядке. Он отвечает, что так и думал, собирается встать, пойти к ней, но сил в ногах нет. Мать просит — не надо, лежи, отдыхай. Егор возражает: хочу посмотреть на тебя, соскучился. Не надо тебе на меня смотреть, вспоминай, какой запомнил, говорит ему мама.

Егор все-таки наскребает сил, чтобы подняться, еле-еле отбрасывает тяжелое, как могильная земля, одеяло, встает — заходит в соседнюю комнату, которая вся завалена каким-то утилем, пыльным барахлом — но матери нет там; ее голос опять за дверью. Он к ней идет, как будто по дну озера, так трудно — а она ему строго: не ищи меня, я тебе сказала. Не надо. Говорю тебе, со мной все хорошо, я умерла и все тут. А ты вот должен жить, так что возвращайся в постель и спи давай, отсыпайся.

Он говорит ей твердое «нет» и бредет обратно к себе в постель, и только когда он уже засыпает обратно, до него доходит, что она умерла. Что же тут хорошего, спрашивает он. Кому что, шепчет она ему на ухо. Тебе жить надо, а вот Сереже моему лучше б умереть было, зря ты его мучиться оставил.

Егор дергается и просыпается.

Мишель смотрит на него исподлобья: к ней сон не идет. В руках у нее какой-то дебильный детский рюкзак. Егор крутит головой — видит этого жирдяя, повара, который сально пялится на Мишель и все пытается поддеть ее на гнилозубую улыбку.

Вдруг караул со столовой снимают.

Быстрым шагом входит Рихтер, кивком зовет их обоих с собой. Позади пристраивается конвой, с Мишели слетает ее спесь; куда нас ведут, спрашивает она у Егора своими испуганными глазами.

Выходят в главное вокзальное здание, подают чистую одежду, толкают дверь...

На первом пути стоит тот самый короткий состав, который Егор ночью пытался своим телом затормозить. Только теперь в нем не два вагона, а три: третий от поезда с одержимыми перецеплен, борта в крестах и молитвах, окна зарешечены, двери завинчены.

Как это может быть? Как они вернулись? Значит, Полкан помер все же? Помер, слава тебе господи! Сдох, так никому эту безумь и не передав.

Остановил дядя Коля Рихтер для Егора этот поезд; сделал то, что Егор сделать не смог. Хорошо быть начальником хоть чего-то.

Рихтер подводит их к высокому казаку с ломаным носом. На боку у него здоровенная кобура, в руке хлыст какой-то вертит, на голове папаха набекрень, изпод нее чуб. Погонов Егору снизу вверх не видно, но видно, что этот тоже начальник: стоит вольно, лушит семечки, а рядом адъютант по стойке смирно вытянулся.

Дядя Коля Егора подталкивает к этому казаку, а Мишель к нему идет сама. Он их обоих меряет взглядом, сверяется с часами на руке, утирает нос и соглашается зайти внутрь, в вокзал.

Зал ожидания ремонтируется — стены покрашены наполовину, на полу дощатый настил. Егора с Мишель усаживают перед атаманом за колченогий стол на колченогий стул, дают бумагу. Атаман старается держать себя строго, но Егор без слуха уже привыкает людей на дергании подлавливать, по нервным тикам читать. Выглядит он бледновато, казак. Побывал все-таки на Посту?

«Ты из Ярославля?» — пишет атаман на своем листке.

Егор кивает: «Только что оттуда». Рассказывает — места хватает: про одержимых, про бесовскую молитву, про войну и секретное оружие — все, что отец Даниил ему передал. «Знаешь об этом?»

Казак ерзает. «Что с ушами у тебя?»

Егор объясняет и про уши. Атаман переводит взгляд на Мишель: «А ты что скажешь?»

Та пожимает плечами. «Мы оглохли и не заразились. Вы в Москву едете?»

Казак кивает, чешет ломаную свою переносицу, тянется в карман за семечками. Начинает лущить, потом протягивает Мишель — будешь? Она берет.

«Там были ваши, казаки, на этом поезде», — отодвинув Егора локтем, принимается строчить Мишель, вскидывает глаза на атамана и спешит продолжить. «Ими командовал Саша Кригов».



Атаман сразу распрямляется, сжимает семечки в кулак, сводит брови.

«Знаете его?» — волнуется Мишель. Тот наклоняет голову.

«Я его девушка». Он ухмыляется — думая, что делает это незаметно.

«Я от него беременна». Лицо у него застывает.

Егор дергается, хочет отнять у нее карандаш, но казак ограждает от него Мишель своей ручищей.

«Заберите меня с собой, пожалуйста», — пишет она. — «Мне тоже надо в Москву».

Все. Самое главное сказано. Она вцепляется своими глазищами в этого дуболома, а он дышит открытым ртом, грудь у него ходит, как кузнечный мех.

«Сашка погиб», — у него такое лицо, будто он ей похоронку вручает. Сашка, читает Егор через стол наискось. Служили-дружили? Мишелька делает скорбный вид: дескать, знает. Егор старается подловить ее на фальши. Ему можно лезть к ним в переписку, можно подслушивать — это его тоже касается, это они ведь сговариваются сейчас от него избавиться и жить дальше без него.

«Я попробую что-нибудь сделать», — обещает атаман.

Она ему улыбается. «Как вас зовут?» — спрашивает.

Егор чувствует, как его уносит куда-то, чувствует себя так, как будто зашел по бесконечному мосту через мертвую реку в зеленый туман до середины, и там понял, что ни к одному, ни к другому берегу он дойти отсюда не сможет, зеленый туман их съел, остался только пяточок тверди у него под ногами.

«Лисицын Юрий», — решительно чертит атаман. «Подъесаул».

«Меня зовут Мишель», — сообщает она ему. «Очень приятно!»

Не есаул даже, а какой-то подъесаул, хохочет про себя Егор. Какой-то сраный подъесаул, что ты в него так вцепилась, дура?! Его, Егора, имя в их бумажках не значится, он остается безымянным, как будто и не существует вовсе, как будто это не он сделал за них всю грязную работу, чтобы они могли сейчас на своем гребаном паровозике катить в свою гребаную Москву!

Пока эти двое не могут друг на друга наглядеться, он выхватывает у них бумагу и карябает на ней: «Вы позвоните в Москву и скажите им, что им хана скоро будет! Что это их секретное оружие с того берега вернулось! Пускай готовятся!»

Атаман прищуривается, пытается разобрать его каракули. Егор дописывает еще туда: «При мне звонили в Москву, они не верят. Но вы же сами видели, что там! Такое и тут будет! Скажите им!»

Казак задумывается. Оборачивается на Рихтера, который стоит в сторонке, натягивает веки на подслеповатых своих лунках, чтобы тоже подсмотреть немой разговор. Говорит ему что-то, пальцы растопыривает, складывает из них телефонную трубку. Тот мелко кивает, показывает на дверь, предлагает пройти.

Атаман отодвигается, подмигивает Мишель ободряюще, а Егора взвешивает будто еще раз на своих каких-то весах; выходит вслед за Рихтером, и они остаются

ся вдвоем за круглым столиком в вокзальном зале ожидания. Перед Егором — бумага, на которой написано: «Лисицын Юрий, подъесаул» и «Меня зовут Мишель, очень приятно». Деготь кипит, грудь распирает, как завинченную скороварку. Мишель хватает бумагу и комкает ее.

Егор сплевывает ей под ноги и упирается взглядом в выходящее на перрон грязное окно. Раньше через него было видно прибывающие и отходящие скоростные пассажирские поезда: отправлялся с первого один, открывая другой, а за ним — третий... Было, куда ехать. А теперь стоит прямо перед окном только один состав, и тот куцый. Перед ним разминают ноги, дымя самокрутками, казаки, едут в Москву — единственное направление, которое осталось. Съездили они туда, где земля заканчивается, и вот вернулись не солоно хлебавши.

Три вагона у поезда. Первые два с обычными окнами, в которых такие же сучающие казачки сидят, режутся в карты, ржут неслышно. А третий — с решетками, с выбитыми стеклами, в которые ветер ноябрьский заносит снежную крупу. За чем они его прицепили, думает Егор.

Смотрит на этот вагон, и словно снова идет по нему. И холод от этого такой, будто вокзальные окна тоже выбиты, и стылый ветер набивает ледяное крошево Егору за шиворот, в лицо метет.

Он забывает про Мишель, застывает, глядя на зеленый вагон в красных крестах, читает оборванную молитву, покрашенную по трафарету вдоль борта; неужели это все правда с ним произошло? Неужели это он правда все сделал? Как будто он раздвоился: новый Егор пришел на смену и на подмогу старому: приученный к смерти и бесчувственный к боли. Глухой. А тот Егор, который умел еще слышать, остался только внутри головы где-то, во сне.

Когда кто-то там за решеткой начинает мельтешить, он даже не обращает внимания. Мишель его будит тычком, показывает на окно. На ней лица нет. Егор поднимает глаза на вагон — а там, за осколками стекла, за сваренной крестнакрест арматурой — на него смотрит Полкан.

Смотрит, улыбается, машет рукой.

Егор поднимается — приставленные к нему конвоиры мгновенно оборачиваются, делают шаг — но Егор их не замечает. Подходит к окну, прижимается к стеклу лбом, чтобы пыль и иней не мешали по сути разобраться.

Полкан точно оборачивался там, на Посту, точно зверел, нес эту бесовскую ахинею, пеной исходил, отца Даниила кончил голыми руками, и верховодил другими одержимыми через окно с третьего этажа.

Как же это может быть, чтобы он сейчас... Да хотя бы просто узнал Егора?

Егор вглядывается в лицо отчима — между ними сейчас всего метров пять, с такого расстояния все сразу ясно: нормально все с Полканом. Все с ним в порядке, как рукой сняло.

Егор улыбается ему тоже, тоже машет рукой: привет!

Полкан складывает руки рупором, кричит что-то, надсаживаясь — и казаки на перроне оборачиваются к нему, орут на него — заткнись, убирайся — судя по перекошенным харям, примерно такое вот укладывается в их беззвучное шамканье.

Полкан не слушается, продолжает Егору что-то кричать, не отнимая ладоней ото рта, и Егор замечает наручники, которыми скованы его запястья. Все-таки арестовали его. Арестовали, но не знают, кого арестовали. Думают, что человека.

Почему он нормальный? Такое разве может быть?

Чудо, может, случилось?

Егор машет Полкану, показывает на уши, разводит руками: не слышу тебя, не слышу! А сам судорожно перебирает все, что успел узнать об одержимых от отца Даниила, пока тот уверен был еще, что всех обыграл.

Обратно можно из этого человеком стать? Нельзя. Он ведь четко сказал — нельзя. Как там было? Думали, их можно спасти, отмолить, а они все обратно сатанеют. Обратно сатанеют, так и сказал. Обратно... То есть... Если обратно... Значит, они пытались их усмирять, и, может, временами даже работало. Или одержимые сами... Трезвели. На какое-то время отпускало их, проходило помутнение.

Казаки забираются к Полкану в вагон, оттаскивают его от окна, а он цепляется за решетки, отбрыкивается ногами. Но никто от него заразу не цепляет.

Пока. Проходило помутнение, а потом опять.

К Егору тоже подходят конвоиры, усаживают его силой обратно на стул. Он Полкану машет и со стула. В носу свербит, глаза щиплет. Это еще с какого хера? Это же Полкан, просто Полкан!

Просто Полкан, и все. Но больше-то никого нет.

## Обращение

### 1

Ведь не думает же он, что они могут быть вместе, только потому что, кроме них двоих, никто с Поста больше не спасся?

Мишель посматривает на Егора, когда он не видит, думает: неужели ты не понимаешь? Да, мы оказались в одной лодке, да, ты помог мне выбраться, да, спасибо, но я не хочу тебя и не могу тебя захотеть.

Она придумала себе жизнь, давно уже придумала себе прекрасную, блестящую жизнь — в великолепной и невероятной Москве. Она будет гулять по цветущим бульварам, она будет царствовать на балах, будет приручать и дрессировать гордецов и красавцев, придиричиво выбирая из них самого достойного, а потом сама без памяти влюбится в какого-нибудь графа, гвардейского офицера или художника. В той жизни ей будут дарить цветы с дурманящим ароматом, звать ее наперебой в театры, подруги у нее будут умные и утонченные, и Мишель будет среди них своей — потому что по праву рождения принадлежит Москве, этому огромному городу, где возможно все, что угодно, где никто никого не знает, но ее будут знать все.

Вот какую жизнь она себе придумала, пока все эти годы — пятнадцать, двадцать? — торчала на Посто. Она бы сто раз повесилась там от тоски и тошноты, если б у нее не было этой придуманной далекой Москвы и этой придуманной будущей жизни.

Саша Кригов — наглец, казачий атаман, русобородый, мощный, с глазами серыми точь-в-точь как ее собственные — он к этой жизни подходил, он мог стать для нее в эту жизнь проводником; а она стала бы для него спутником в его восхождении на вершины и тянула бы его за собой, когда у него кончались бы силы, и удерживала бы его, если бы он оскальзывался на краю ледника. Они бы смотрелись друг в друга, глаза в глаза, один — отражение другого. Он подходил, а Егор — нет.

Да, этой жизни у нее никогда теперь и не будет. Но будет другая.

Саши нет. Этого нельзя было понять, но Мишель постаралась это запомнить. Все, что осталось от Саши — осколок, росток.

Она должна пронести его целым, живым — через бурю, через ад — к тем, кому он будет нужен так же сильно, как и ей. К Сашиним родителям. Они примут Мишель, потому что, кроме пустившего в ней корни семечка, ничего другого не осталось от их сына. От того, кого они так любили и кого почти успела полюбить Мишель.

Прости, Егор. Прости-прощай.

Щуплый, угрюмый, с кровавым бинтом вокруг головы, Егор завистливо и ревниво подглядывает в ее переписку с подъесаулом. В вокзальном зале ожидания пусто и холодно, кругом стоят вооруженные люди, за большими окнами вихрится белое. Они сидят за круглым столиком втроем — Егор, Лисицын, и она.

Мишель предчувствует: за этим столом решается ее судьба. Встреча застала ее врасплох — голова перебинтована, ногти сломаны, одежда измазана черт знает в чем и ужасно пахнет. Мишель выглядит жалко, а меньше всего на свете ей хочется, чтобы Лисицын ее жалел. Папа когда-то сказал ей, что она всегда должна держать себя как царица, и Мишель хочет быть царицей даже сейчас. Особенно сейчас.

Лисицын совершенно не похож на Сашу. Тот был веселым, хотя и умел напустить строгости, был равновесным, хотя мог притвориться бешеным, и был вообще добрым, хотя, наверное, убивал без переживаний. А Лисицын, подъесаул — в том же звании, что и Саша, кстати — дерганый, ломаный, расколотый и заново склеенный какой-то. С ним рядом не будет покойно, от него не идет ровного тепла, можно ожечься о такого человека, предчувствует Мишель — не ей, конечно, а той женщине, которая его полюбит. Но такой зато и сам может полюбить отчаянно. Он колебался, прежде чем дать Мишель расписку: «Попробую что-нибудь сделать». Но колебался потому, что, пообещав, такой человек будет обязан пробовать и расшибится, чтобы сделать.

Она привыкла нравиться мужчинам. Когда ты красива, тебе кажется, что мир добрей, чем есть на самом деле. Он наполовину наполнен улыбающимися людьми, которые норовят угодить тебе: вечно дарят что-то, куда-то зовут, слушают тебя внимательно, какую бы белиберду ты ни несла, смеются твоим шуткам и сами все время пытаются тебя рассмешить. Вот и тут, в Ростове: толстый повар успел всучить ей бутерброды «на дорожку» в пластиковом школьном рюкзаке с цветными принтами. Она поблагодарила, взяла.

И с Юрой Лисицыным она уверена вполне: сможет его зачаровать.

Но вмешивается Егор. Ревнует, дергается. Требует от Юры звонить в штаб, хочет, чтобы все немедленно признали, что все на Посту случилось именно так, как он сказал. Мишель не может понять, почему истерика, зачем спешка: там ведь все кончено. Вот и казаки съездили туда, съездили и вернулись живые-невредимые. Неужели нельзя отложить серьезные разговоры до Москвы? До Москвы, куда Юра должен забрать с собой Мишель — если все сработает.

Когда Юра уходит звонить, Егор принимается с кислой миной перечитывать их переписку, и Мишель прячет от него бумагу. Она не виновата в том, что он там себе напридумывал. Спасибо ему, что спас ее, что спас дворовую мелюзгу – Со-нечку, Ваню, Алинку. Спасибо, правда! Но это ведь не значит, что они теперь должны усыновить сирот и зажечь одной дружной семьей!

## 2

Полкана она замечает первой. Видит его и не может понять, как это возможно. Егор ведь всех похоронил, сказал, что никого там не осталось. И вот Полкан.

Она хлопает Егора по плечу, будит его. Он вскакивает, прижимается к окну лицом – смеется, узнает отчима, принимается махать ему. Тот тоже ему машет, тоже хохочет, кричит из-за решетки.

Мишель остается сидеть. Сколько в ней было электричества только что – бороться, очаровывать, шагать пешком до Москвы – все рассеивается в секунду. Егор не один остался, выудил себе с того света отчима, пусть и нелюбимого, но родного. А ей сказал идти, не оборачиваясь назад.

Она смотрит на Егора, а видит перед собой свою бабу, слышит, как та зубрит Есенина, очередное его тоскливое что-нибудь. Вспоминается вот само:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело  
На переключке дружбы многих лет  
Я вновь вернулся в край осиротелый  
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться  
Той грустной радостью, что я остался жив?

Ну и что-то дальше там еще; бабка на этом месте всегда сбивалась, путалась, так что и Мишель не запомнила. Ушла, не проверила ее даже. Оставила парализованную. А если она жива была, когда они уходили? Без помощи, без воды оставила. Мишель отворачивается от окна, смотрит куда-то в пыльную темень.

Как она мешала ей, бабка, как раздражала ее молитвами своими, запахом прелым, вечными домогательствами к деду то по одному поводу, то по другому, дребезжащим голосом и острым слухом, беспокойством не проходящим обо всем на свете! Бабка была ярмом, жерновом на шее, это из-за нее Мишель не могла уйти в Москву раньше. Пока не появился Кригов, план был только один, жуткий и унылый: дожидаться бабкиной смерти.

— Баб... — говорит Мишель в пыль, в темень — без звука, словно у нее голос парализован. — Прости, баб.

Она желала согнуть и бабке, и всему Посту. Желала.

Пока Пост был настоящим, Москва оставалась призрачной. Не было в мире места и для того, и для этого. Пост был скроен и сшит из кирпича, железа, из вкочущих кур и кошачьего дерьма, из текущих труб и детского ора, из мужицкого пота и пороховой гари, из тушенки этой проклятой и бабкиных причитаний: из живой материи, то есть. И пока он был такой осязаемый, такой плотный, такой вонючий и громкий, робкая Москва оставалась дымкой-выдумкой, наваждением. Москва всю жизнь брезжила Мишели как мираж, воображаемая ею по почти уже растаявшим детским воспоминаниям, по воспоминаниям о старых фотках в ее сгоревшем айфоне, наконец, по единственному завиральному рассказу Саши Кригова. Москва всю жизнь звала ее. Мишель пыталась бежать, но знала, что Пост ее не отпустит: притянет обратно, окружит и запрет в себе.

И только когда Пост уничтожили вместе с придурочными пацанами и разбитыми бабами, вместе со всеми ее любимыми и нелюбимыми занятиями, вечерними разговорами и ночными молитвами, курятником и детсадом, вместе с дедушкой и бабушкой, со всем милым убожеством, которой ей приходилось считать своей жизнью — когда он сам превратился в прошлое, вот тогда Москва начала расцветать, набирать плоть и силу, становиться все более четкой, все более яркой — с каждым шагом, который Мишель делала ей навстречу по прогнившим шпалам.

И поэтому, с одной стороны, Мишель поверила в гибель Поста сразу: все, это прошлое, оно сгорело, значит, надо скорей бежать в будущее — а с другой, никуда Пост не делся, и, будучи якобы бесповоротно уничтоженным, упрямо тащился за Мишелью, как побирушка.

Ведь это не потому Пост рухнул и сгинул, что Мишель миллион раз себе это загадывала? Она ведь не виновата в этом?

Не виновата. Люди с поезда сказали, а Егор еще раз потом объяснил ей на пальцах, кто виноват и что. При чем здесь Мишель? Не в ее колдовстве дело, не в ее желаниях. И дед мог бы сейчас сказать ей: да ну-ка хоть тебя, глупость какая. Ты ведь и без того почти сбежала от нас в свою Москву, Мишелька. Ты тут ни при чем, и мы тут ни при чем. Ты ведь и так заплатила уже за то, что можешь дальше жить — слух потеряла. Это большая цена, за нее не просто жизнь можно купить, а счастливую жизнь, такую, какую ты сама себе придумаешь. Хватай ее и беги!

Но дед погиб, съехал с катушек, о решетки, о голову Кригова себе голову разбил, при ней прямо — и с пробитым лбом отвалился от поезда на насыпь; от того, что Мишель это сама видела, ей было и жутче, и легче. А вот бабка... Надо было проверить ее перед тем, как уходить. Теперь она никогда не умрет. И в Москву еще с ней поедет.

«Ты же говорил, что он умер! Что все умерли!» — яростно пишет Мишель Егору на мятой бумаге.

Егор меряет ее взглядом, судорога легко схватывает и отпускает его лицо; он берет у нее карандаш и отвечает: «Я его не нашел. Времени было в обрез».

«Почему он не заразился?» — допытывается Мишель.

«Откуда я знаю? Спрятался где-то, пересидел!»

Мишель стучит карандашом, потом давит грифелем: «Да ничего! Может моя бабушка тоже, а ты»... Грифель ломается. Мишель отшвыривает онемевший карандаш. Он вздыхает, якобы кается. Дотрагивается до ее руки — она отметаает его пальцы со злобой, которой от себя сама не ждала.

### 3

Где-то, кажется, хлопает дверь — по дощатому настилу, через стол доходит ударная волна; и потом доски под ногами начинают прыгать — еще до того, как становится видно, кто по ним с такой ненавистью бухает сапогами.

Юра влетает в зал весь красный, за ним шагают, едва поспевая, четверо казаков и Рихтер. Своим казакам Лисицын раздает распоряжения, лает беззвучно, швыряет руки, подбородком чертит — взять, увести! Мишель ищет его глаза, но глаз там нет, подъесаул к ней всегда держится вполоборота или спиной.

Казаки хватают их под локти, двое на Егора, двое на нее, как будто они буйные, не дают им времени ни спросить, ни удивиться даже.

— Юра! Юра! — кричит Мишель, но кричит безгласно: никто не останавливается.

Самого Лисицына не видно больше. Путь вперед указывает комендант ротовского поста, залезанный старик в кителе. Казаки выламывают руки, просто от скуки и от нечаянной возможности помучить человека выламывают — Мишель и не думала сопротивляться! Егора тащат впереди, вот он — он да, брыкается, но сил ему против двух конвоиров не хватит, только разозлит их, дурак. Седой комендант бежит вперед по коридорам, оглядывается, как крыса в свою нору тащит их, серая краска на стенах шелушится, редкие лампочки болтаются на лохматых проводах, человеческие тени на качелях вправо-влево катаются, потом вниз по лестнице, грубо толкают Мишель вниз, в подпол — наконец, останавливаются у дверей.

Чего-то ждут, от Мишель отворачиваются.

Она снова голосом пытается сказать им: «Отпустите! Он мне обещал! Куда вы нас привели?!» — но они тут все оглохли. Чего-то ждут. Комендант открывает ключом одну из дверей, и тут перепуганные женщины приводят за руку перепу-



ганных детей — Сонечку, Ваню Виноградова, Алинку — переодетых в чистое, отмытых — и запикивают их в эту комендантом отпертую комнату.

В ней нары, окна нет, ничего нет. Соня тянется к Мишель, та не выдерживает, тоже протягивает ей руку — но конвойные перехватывают ее, Соня исчезает в комнате, хлопает дверь, проворачивается ключ, и тут же Егора с Мишель заталкивают в соседнюю камеру — такую же пустую — одни нары, такую же темную и глухую. Их бросают на пол, казаки отступают, и в камере разом настает ночь — дверь захлопывают, запирают; недолго еще продолжает светиться замочная скважина, но потом гаснет и она.

Полная, непроглядная темнота охватывает их, а все, чем они успели перед этим обменяться — растерянные взгляды. И Мишель не сразу, а только когда ей удастся чуть-чуть усмирить разошедшееся сердце, понимает: они больше не смогут общаться. У них нет возможности ни обсудить то, что произошло, ни сговориться, что делать дальше. Это по-настоящему страшно — не видеть и не слышать одновременно.

Мишель вытягивает руку, нащупывает стену. Идет по стене, пока не выбирается так к двери. Узнав дверь, принимается барабанить в нее кулаками и орать — орать, пока не начинает саднить горло, но из-за того, что ей самой не слышно своего крика, она сдаётся раньше, чем могла бы. Дверь стоит на месте, никто на ее вопли не откликается; неизвестно, есть ли кто-то вообще с обратной стороны, или они заперли их в подвале и ушли.

В камере тепло, пахнет текущими трубами и какими-то тряпками, наверное, котельная где-то рядом. Из-за глухоты и слепоты Мишель кажется, что она плавает в ванной, наполненной ржавой водой, и больше ничего в мире нету. Если бы хотели убить, сразу бы убили, уговаривает себя Мишель. И точно не стали бы уж сажать в тепло. Зачем тепло на смертников тратить? Наверное, это просто до выяснения обстоятельств. Может быть, новые какие-то эти обстоятельства открылись... Что-то Юре там сказали, наверное, по телефону — он ведь сам не свой вернулся, все от нее отворачивался.

Как будто ему неприятно было на Мишель смотреть. Как будто он что-то такое о ней узнал, что все с ног на голову переворачивало. Но в чем их с Егором можно обвинить, в чем заподозрить? И детей же еще!

Ей становится жарко, когда она вспоминает Сонину протянутую руку, и то, как она хотела поскорей уже от мелких отделаться, когда они дошли до странного здания ростовского вокзала, напоминающего не то айсберг, не то заснеженную могилу. Боялась, что мелкие теперь насовсем к ней прилипнут, что она зря их пожалела — теперь придется вот так чужую мелюзгу за собой через всю жизнь за руку тянуть.

Вспоминает и то, как Соня сделала себе во дворе Поста мобильный из щепки и сидела в нем, чтобы быть похожей на нее, на Мишель.

Она пытается сообразить, какая стена у их камеры с детской пограничная. От двери — правая. Прижимается к этой стене. Но что дальше? Пассы руками делать, невидимые лучи заботы детям посылать? У всех тут уши дырявые, Егор так людей спасает.

Мишель наощупь находит нары: там, конечно, уже восседает Егор. Она толкает его — подвинься! Он понимает, освобождает ей больше места. Они сидят рядом, но держат дистанцию. Это он виноват, придурок, что их посадили, он же прекрасно понимает это. Зачем нужно было лезть!

Бесконечность они молчат, бултыхаются в этой слепой ржавчине.

Злость перебивает страх, но когда злость засыпает, страх подползает ближе. Почему с ними так грубо обошлись, они же ничего не сделали? Почему ничего не спросили, а просто бросили сюда? Почему не оставили им включенным свет? Одной ей на эти вопросы ответа не найти. Одной страх не побороть.

Она протягивает осторожно руку вправо — туда, где в темноте плавает Егор. Нашаривает его ладонь, берет в свою — резко, строго — чтобы он не напридумывал тут еще себе чего-нибудь, балда. Раскладывает его ладонь, как листок, и пальцем своим начинает вслепую чертить на ней буквы. Он отдергивает руку, ежится — щекотно, она тычет его: хватит!

«Н», «А», «С», «У», «Б», «Ь», «Ю», «Т», «?»

Когда Мишель заканчивает, он сбрасывает ее пальцы, сам берет ее за запястье и щекоткой рисует на ладони: «Ч», «Т», «О»?

«П», «О», «Ч», «Е», «М», «У», — начинает она, но его ладонь схлопывается вдруг, как хищная раковина, ловя ее пальцы. Несильно. Гладит ее шершаво между большим пальцем и остальными — там, где нежно. Осторожно гладит, как сапер — мину, почему-то дедовыми словами ощущает это Мишель. Она хочет отнять у Егора свою ладонь, но он не выпускает ее. Вторая его рука наугад тычется ей в шею, обнимает ее затылок, входит в волосы. Мишель замирает, не зная, что ей делать — а он, поймав ее в темноте, рывком оказывается совсем близко: губы к губам. Прежде, чем она успевает отодвинуться, он целует ее — яростно и неумело, промахиваясь и не отступая. Он пахнет потом — уже совсем взросло, уже как мужик — и этой кислятиной, которой их кормили на обед.

Наконец Мишель приходит в себя — стискивает зубы, отталкивает Егора, лицо которого в черноте начинает рисоваться ей кажущимися белыми линиями как чья-то уродливая морда; она упирается в эту морду пальцами и давит ее от себя, пальцы соскальзывают ему в рот, и вдруг он кусает ее. Она кричит, отпрыгивает, падает на пол, и раньше, чем он успевает соскочить вслед за ней, отползает назад.

Она визжит: «На помощь!», но по вибрациям пола и стен чувствует, что никто не спешит к ней на помощь; чувствуется другое — как скребет слепо по полу Егор, пытаясь ее замести.

Он младше ее на семь лет, но выше и жилистей, и сейчас, когда она не может осечь его презрительной гримаской, хлестнуть издевкой, он больше не кажется ей жалким пацаненком. Мишель вдруг понимает, что он пересилит ее. И она кричит так громко, как только может: «Помогите!»

Она забивается в угол, и он находит там ее меньше, чем через минуту. Хватает за голень, выдергивает из угла на середину комнаты, как на ринг, наваливается сверху, затыкает ладонью ей рот. Она лезет ногтями ему в глаза — он заламывает ей руки, выворачивая их до жгучей, яркой боли, пока она не перестает сопротивляться. Тогда он хватается за волосы, голову запрокидывает ей так, будто собирается горло резать, и торопливо раздергивает молнию на ее куртке.

Мишель выворачивается, юлит, бьет в пустоту кулаками, только единожды попав и проскользив по его щеке — он тогда вцепляется своими железными пальцами ей в шею, сдавливает, сдавливает ей горло, она старается напрячь мускулы, чтобы сохранить себе для дыхания хотя бы крошечную дырочку, но слишком больно, и воздух не идет, голова кружится, нарисованное белыми линиями чудовище разрастается, распухает, подминает ее под себя, она может только пищать-сипеть: «Не надо, не надо, не надо», а оно срывает с нее свитер, лезет пауком под футболку, нашаривает ее грудь, впивается в нее и совсем от этого теряет рассудок.

Душит, жадными пальцами расковыривает пуговицы на джинсах, те сдаются одна за другой, он сразу сует ей руку в трусы, вклинивает ее между сжатых бедер, щиплет ее там, чтобы она подалась, душит снова, давит к кафельному полу, рвет джинсы вниз, вниз, вниз — воняет потом, зверем, капустой, луком, кровью, злобой.

«Я не твоя!» — кричит она ему, а может, ей уже только кажется, что кричит; он вдавливает эти свои пальцы в нее, внутрь, в мякоть, и они проваливаются туда, ей больно, больно, но там от страха горячо и мокро — Мишель ненавидит себя за это, она хочет потерять сознание, чтобы ни за что не отвечать, чтобы не чувствовать, что виновата тут в чем-то. Джинсы сдернуты, на одной ноге болтаются, чернота бурлит, он держит ее за волосы, пока сам ерзает там, стаскивая с себя портки. Она пытается еще вывернуться, но он держит ее крепко, запутавшись в пучке на ее затылке, ее голова дергается, как у куклы — а потом он вдавливает ей между бедер свое голое колено — и вдавливает в нее себя самого, в живое, в теплое, в мокрое, раздвигая, обжигая, растягивая, заполняя ее.

Теперь она только понимает, что это происходит — с ней, сейчас, по-настоящему, что это ее насилуют, ее. Мишель лупит это прозрачное в черноте чудовище в белые прыгающие его очертания, в голове все мешается, она пытается выдавить, выгнать его из себя — и он тогда тоже бьет ее наугад, попадая в живот, в грудь, в лицо. Она слабеет, он набирается сил, приковывает ее руки, и вслепую, ошибаясь, суетливо влезает в нее опять, ходит взад и вперед, бессмысленно,

безмозгло, раздирая ее, разминая, разжуживая, боль превращается в зуд, в дурной зуд, нет, нет, нет, кричит она ему, нельзя, я не хочу, это не твое, мразь, паскуда, сволочь, тварь, сука, выйди, нет, уйди, не надо, пожалуйста, я не хочу, я не твоя, нет!

Пытается подумать, что это Саша, что Саша вернулся из мертвых, соскучившись по ней так жутко. Пытается превратить черное чудовище с белыми пляшущими контурами в его очертания, но кислый запах, ржавый запах, луковая вонь изгоняют этого Сашу обратно. А потом силы у нее кончаются, она сдается — цепенеет, отлетает от себя. Накатывает волна, сносит ее тело, накатывает еще одна, колышет ее. Она плачет, или знает, что плачет: глазам жарко, но и внизу жарко, он по-звериному лижет ей лицо, она отворачивается, она задыхается, а он все дергается, она теряет сознание, но никак не может забыться, и это длится вечно, пока его удары не становятся слишком слепыми, слишком быстрыми, пока последний из них не выгибает его тело судорогой; внутрь выплескивается горячее, а чудовище затихает, тяжелеет, обмякает, дрожит, стараясь надышаться — и отваливается. Отползает.

Мишель трогает себя между ног — там горячо и липко. Зачем-то нюхает себе руку, прежде чем вытереть ее: пахнет тошнотворно: чем-то съедобным и ржавчиной. Она становится на четвереньки, ее начинает рвать.

Живот болит, низ живота, что-то он испортил в ней, что-то он сломал. Мишель хочет спрятаться, хочет нащупать снова угол и забиться в него, но заставляет себя подняться на ноги. Из нее течет что-то горячее, колени жжет. Трогает себя там: жидко... И что-то в этой жидкости... Что-то... Она нашаривает нары, находит на них Егора, обессилевшего, вялого, снулого — и принимается молотить его мокрыми теплыми кулаками — по голове, по лицу, по шее, куда получится, а он не спорит, закрывается, прячет лицо только, подставляет затылок; она кричит, но звука нет.

Звуков нет.

#### 4

В столовой часы застряли, не шли, и в камере этой они застряли тоже. Никто не пришел за ними, никто не помешал Егору ее насиловать, никто не помешал Мишель его избивать. Храбрости задушить его и железа в пальцах ей не хватило, она спихнула его с нар на кафельный пол, свернулась калачиком, и плакала; болел живот, светился в темноте багровым, в глазах крутились солнечные вихри. Потом все, ничего не стало. Она плыла, качалась все в том же прибое, выброшенная мертвой на берег, потом волна снова накрывала с головой. Джинсы были сначала мокрыми, потом высохли.

И вот утренняя звезда: свет в замочной скважине. Горит, не сгорает.

Мишель так ждала его, что и сквозь набухшие красные веки замечает. Глаза уже так привыкли к мраку, что тоненький лучик из скважины может штрихами всю камеру набросать, обозначить контур. Надежный контур, серый.

Она просыпается. Егор лежит на полу — тоже поджав ноги, тоже калачиком. Мишель обходит его, распрямляется — ей все еще больно, приближается к двери и приникает к скважине. Там какие-то спины, люди таскают какие-то мешки, кто-то заслоняет своей широкой задницей ей это угольное ушко; она тогда бьет ссаженными кулаками в гулкий металл, зная уже, что ее опять не услышат, но вдруг по двери проходит скрежет, мелкое содрогание — и она распаивается, и столько света врывается внутрь, как будто локомотив фары прямо перед ней зажег.

На пороге стоит Лисицын.

Лицо у него белое как бумага. Щека дергается сама, от остального Лисицына отдельно. Глаза красные, как будто он их тер. В руке у него тяжелый большой пистолет, не глуповатый «ПМ», а хищный какой-то.

Вбегают в камеру казаки, хватают Егора за шиворот, ставят на ноги. У Егора вся рожа в крови измазана, руки тоже. Лупает глазами спросонья, ничего не может понять. Его выволакивают наружу и волоком тащат по коридору куда-то. Лисицын оглядывает Мишель странно, она тоже тогда смотрит на себя: джинсы в буром от пояса вниз, руки в буром все, в разводах.

Но Лисицын ошарашенный какой-то, невнимательный. Шарит по карманам, находит карандашный огрызок, мелко пишет на стене: «Ты норм?» Мишель кивает ему почему-то, рада просто, что он спрашивает ее вообще.

«Сейчас тебя вместе с ними заберу отсюда, повезу. Слушайся, вопросов не задавай. Все будет ок» — он прикрывает свои мелкие буквы ладонью, чтобы больше никто не увидел. Она опять поспешно кивает, со всем соглашается.

Он тогда слюнявит палец и стирает все свою писанину со стены. Договор их остается только у Мишель в памяти.

Она подбирает оброненный и потерянный в темноте рюкзак с бутербродами. Лисицын смотрит на нее мутно и слепо. Подзывает казаков, ее выводят в коридор.

Дверь в детскую камеру тоже открыта — Мишель успеваешь туда заглянуть; но там пусто. В коридоре, кроме конвоя, еще люди — комендант причесанный, тетка какая-то с глазами на мокром месте, рот платком прикрыла, все дикие и страшные. Казаки сжимают Мишель плечи, проталкивают ее в коридор. Она смотрит себе под ноги — там вереница красных бусин, как будто брусника рассыпана, только местами эта брусника солдатскими сапогами раздавлена в алые потеки: прозрачная, жиденькая чья-то кровь.

Коридорами-коридорами их вытаскивают на перрон, в блеклый утренний свет, но не туда, где казачий поезд стоит, а куда-то на край — там ждет большая моторизованная дрезина, пятеро человек караула, все нахохленные, руки на автоматах. На дрезине уже Полкан в наручниках, руки за спиной, избитый и мутный какой-то, Егора к нему пихают, а он Егора даже не сразу и признает. Лисицын подсаживает Мишель и последним запрыгивает, моторист запускает двигатель — со шнура, как бензопилу, и дрезина отчаливает. Едет в направлении Москвы.

Куда везут? Зачем?

Полкан пытается что-то Егору сказать, и тут Мишель замечает, что у него кляп во рту, тряпка грязная, он силится что-то выговорить даже через эту тряпку, видно, очень нужно — но его пихают прикладом, чтобы отступился.

У Егора тоже руки в наручниках, оказывается. И только Мишель не стали связывать, не побоялись ее. Куда с такими предосторожностями? В Москву для дознания решили отправить? Почему тогда на этой дрезине, почему не в поезде вместе со всеми? Они же замерзнут так до Москвы ехать, вот и метель поднимается.

Мишель ищет ответа у Лисицына, но Лисицын отворачивается, кутается в шинель — ворот поднят, папаха надвинута низко — закукливается в себе. Остальные казаки расселись так, чтобы никто из арестантов случайно не спрыгнул.

Белая громада ростовского вокзала, все-таки на могильный камень больше похожая, чем на айсберг, сдвигается в молочное марево. А за ним начинаются домишки какие-то совсем деревенские с обваленными заборами, раздетые деревья озябшие, кривые ангары за бетонными оградами и массивы гаражей из силикатного кирпича — постепенный переход из города в ничью землю.

Егор трусливо и виновато озирается на Мишель, первый раз ее толком видит со вчерашнего. Смотрит на ее окровавленные джинсы. Зрачки у него даже расширяются. Он качает головой вопросительно: с тобой ничего ведь не случилось такого... плохого?

Она тоже изучает свои джинсы, бледно-голубые вообще-то, а сейчас со страшными разводами, внутри бедра к ногам, к земле. Голубая ткань мягкая, а бурая заскорузла, как панцирь. И руки все перемазаны.

Много крови вышло.

И тут до нее доходит окончательно все. Как бомбой контузит.

Тело само начинает трястись, глаза взрываются слезами, из горла рвется волчий вой, который все слышат, кроме нее и Егора — казаки переглядываются и только плечами пожимают, Полкан тупо пялится исподлобья.

Мишель хочет сказать ему: случилось, самое плохое, самое страшное случилось, это ты сделал, ты со мной это сделал, подонок, убийца, ничтожество жалкое, тварь! — я пустая теперь, во мне ничего не осталось, ничего от Саши, ты это все из меня вырвал, вычистил, зачем, ну зачем?!

Но она не может это сказать вслух, не имеет права раскрывать этот секрет Лисицыну. Этот ребенок Сашин у нее в животе был ее оберегом, ее пропуском в Москву, да в любую вообще жизнь, единственной причиной был, чтобы к Мишели было особое отношение; обязательно нужно, чтобы атаман и дальше в него верил!

Егор смущается. Отворачивается.

Зачем он это с ней сделал? За что?!

Она вцепляется ему в плечо, ногтями — в щеку, заставляет посмотреть на себя. Казаки сторонятся их, Лисицын дергается было, но не вмешивается — Егор все терпит, значит, Мишель защищать не надо. И когда Егор вынужден глядеть, вынужден читать, она пишет ему по воздуху: «Я», «Н», «Е», «Т», «В», «О», «Я», «И», «Н», «И», «К», «О», «Г», «Д»...

— Я не твоя! Ты этим ничего не добился! И не добьешься! Понял?!

Он сплевывает ей под ноги — ничего не слышал, но понял все.

Полкан начинает ерзать беспокойно — оборачивается на них и что-то мычит в свою тряпку, жует ее, тужится. Егор замечает это, пытается его успокоить, говорит ему что-то утешительное — по крайней мере, казакам до его уговоров дела нет. Казаки тоже контуженные все какие-то, смурные.

Мишель заставляет легкие дышать ровно, заставляет сердце замедлиться, заставляет себя быть царевной. Даже сейчас она не хочет, чтобы ее жалели. Хочет, чтобы ей восхищались. Заставляет слезы остановиться.

Полкан от уговоров вроде как присмирел, но Егор не спускает с него глаз. Потом окидывает взглядом казаков, Мишель, Лисицына. Недобрый взгляд, загнанный. Как будто шилом пырнул, такой взгляд. Что-то на него на уме бродит. Бежать собрался, думает Мишель.

Полкан снова принимается раскачиваться, дергает руками в наручниках, словно надеется разорвать цепь. Тревожность его передается казакам, Лисицын поднимается в рост, распускает свой хлыст, тычет им Полкана в широченную спину.

Егор криворотом ухмыляется, подмигивает Мишель.

Дрезина проезжает какие-то гаражи силикатные, когда Лисицын вскакивает, дает отмашку тормозить. Полкана спихивают с дрезины первым, казаки хватают его под локти, двое тащат вперед к гаражам, еле с ним справляются. Егора должны вести следующим, но один из конвоиров задумался, что-то заметил в небе, шлепает губами. Потом спохватывается, Егора сталкивают в мерзлую грязь, тоже за гаражи утаскивают, и наконец Мишели сам подьесаул руку подает, галантно.

Куда приехали? Что тут?

Между гаражами — проход, белые кирпичи хуями исписаны, покрышки старые валяются, битое стекло под ногами и тачка угля развалена. Полкана ставят к кирпичной стенке, он в прострации, ничего как будто не понимает.

И тут Мишель понимает — куда. Куда и зачем.

Понимает, что зря тащила с собой пластиковый школьный рюкзак, зря брала бутерброды, зря собиралась жить дальше.

Егор пытается рвануть, но оскальзывается и падает, его тут же за загривок ловят и тычками водворяют к бате. Мишель тоже ставят к изрисованным кирпичам. Она пытается пересечься с Лисицыным — как так? Был ведь уговор?! — но Лисицын занят:

вытаскивает из кобуры свой пистолет, патроны проверяет.

Мишель чувствует, как колени трясутся. Ходуном ходят. Юра сказал, что все будет хорошо. Главное, не выдать другим их заговора. И тогда с ней все будет хорошо. С ней все будет хорошо. А с Полканом? А с Егором?

Атаман окликает смурных казаков. Они вытягиваются во фронт. Что-то зачитывает вроде бы наизусть, обращаясь к Полкану. Казаки стоят так: трое рядом вскинули стволы, как расстрельная команда в кино, а двое фланги стерегут, если кто опять попробует бежать.

Подлетают вороны, глядят на людей заинтересованно.

Тут Егор что-то говорит им, шлепает губами. Кивает на Полкана, который еле стоит, ничего совсем не соображает уже. Просит о чем-то. Лисицын вздергивает плечи: валяй.

Егор тогда делает к Полкану шаг — обнялись бы, да у обоих руки за спиной застегнуты. Прижимается просто к нему грудью, кладет отчиму подбородок на плечо. Полкан немой, Егор оглох, такое вот прощание.

Казаки наблюдают равнодушно.

Егор целует Полкана в губы. Лисицын морщится, кто-то из казаков харкает в сторону. Долгий поцелуй. Мишель приглядывается — и видит: Егор зубами у Полкана кляп изо рта вытащил, сам вцепился.

А Полкан говорит что-то, бормочет — как будто и не затыкался. На людей не смотрит, на Егора не смотрит, смотрит себе под ноги. Лисицын хмурится, перекашивает лицо: что ты там мелешь, боже мой?

А Егор тяжело дышит, но смотрит борзо. Сплевывает тряпку на землю.

И произносит что-то веселое — громко, четко — облачка пара вылетают изо рта; радость кипит в нем, жуткая какая-то радость. До ушей улыбается.

Толкает отчима в плечо. Тот будто спит и бредит — что-то говорит такое вроде, а кому, не поймешь. Лисицын орет на казаков, чего-то от них хочет. Казаки разболтались, собрались тут людей расстреливать, а сами чуть не спят на ходу.

Казаки наконец-то вскидывают автоматы, но не стреляют. В Мишель ни одно дуло не глядит, только на мужчин. Ее пожалеют все-таки?

Полкан поднимает свою тяжелую башку, наводит горящий глаз на расстрельщиков, и что-то такое говорит, от чего его самого трясти начинается — а они теряются. И Лисицын даже.



И только тогда Мишель понимает наконец, узнает в нем Кригова, узнает деда. Узнает их повадку, их нечеловеческую манеру.

— Стреляй в него! — кричит она Лисицыну. — Стреляй быстрее!

Юра вскидывает руку со своим тяжелым пистолетом и послушно стреляет. Бесшумно стреляет, почти в Мишель: она видит дуло, две бледных вспышки, облачко сизое, гильзы латунные в сторону чик, чик, и вот Полкан оседает, превращается в куль с цементом, за спиной на белой стене клякса красная.

Егор пригибается, ныряет под ствол, бежит вдоль гаражей, но тут взбрыкивает один из конвоиров и хлещет Егора очередью наискось по спине, как нагайкой. Падает Егор лицом вниз в битое стекло и в уголь.

Лисицын кричит казакам, машет — возвращайтесь на дрезину! — и они строятся кое-как, кое-как идут, прикуривая по дороге самокрутки от непослушных зажигалок.

А Юра берет Мишель за плечо и направляет туда, к Егору убитому, давай-давай, мол, не бойся. Она спотыкается на битых кирпичках, на угле, оглядывается через плечо, не понимает: верить ей Юре или не верить? Может, ей тоже сейчас в спину? Показывает ему на свой живот, говорит — не слишком ли тихо?

«Я беременна, я от Саши беременна, Кригова. Я беременная, меня нельзя, слышишь? От Саши, от Кригова, у меня ребенок!»

Он качает головой: да-да, понимаю-понимаю, разберемся.

Оборачивается на своих — все до дрезины дошли, никто не задержался? Походя, мимо упавшего ничком Егора шагая, наводится тому в основание черепа и еще — чик-чик — только гильзы на немощном ноябрьском солнце поблескивают, и гарь пороховая в нос. Егор вздрагивает один раз, на первой гильзе, а на второй ему уже все равно.

Лисицын заводит Мишель за гаражи.

И когда от них дрезину уже не видно, а с дрезины точно не видно их двоих, Юра жмет Мишель руку и стреляет в пустоту. Подбирает уголек и пишет: «Спрячься, я тебя потом найду. В Ростов не ходи, приказано было убрать всех».

Она поспешно кивает: да, да, я все поняла, я не буду, я все как надо сделаю. Юра целует ей руку и уходит, пошатываясь.

Мишель отсиживается в тишине, обняв колени руками, смотрит на мертвого Егора. Так тебе и надо, говорит она. Горло сдавлено так сильно, как будто это Егор ее душит. Так тебе и надо, идиот. Сволочь. Жалкое ничтожество. Жалкое... Жалкое...

Слезы опять льются.

Она закрывает голову руками и рыдает, забыв, что не имеет права плакать, потому что ее ведь тут только что убили тоже.

Но казаки, наверное, укатили уже, потому что никто не приходит к ней докончить ее выстрелом в затылок.

## Дмитрий Глуховский

Мишель все-таки решает посчитать до тысячи, прежде чем выйти из своего укрытия. Тысяча — это долго. Тысячи хватит, чтобы кого угодно расстрелять, покурить и уже завтракать поехать.

Она проходит над Егором, говоря ему просто «пока» и боясь перевернуть вверх лицом. Проходит мимо бесформенного Полкана, из которого вся его кипучая жизнь вылилась через две маленькие дырочки. Выглядывает на железную дорогу.

Дрезина стоит на месте.

На ней стоит голый человек. На плечах у него стоит голый человек. Держит в руках какой-то мясной шмат, обернутый в зеленое сукно. Один, шатаясь, уходит обратно к ростовскому вокзалу, откуда они только что приехали на расстрел. А двое еще бегут с невозможной совсем для человека скоростью, словно летят над рельсами, над шпалами — к Москве.

К Москве.

— Нет. Нет. Нет, — бормочет Мишель. — Нельзя. Это нельзя!

Нельзя, чтобы они дошли до Москвы, чтобы застали ее врасплох, чтобы сожрали и уничтожили ее.

— Зачем ты это сделал?! — орет она на лежачего Егора. — Зачем ты это сделал?!

# Мари

## 1

— Все, решено. Худрук утвердил, к праздникам ставим «Щелкунчика»! — общается труппе Варнава. — Столько лет его в Большом не было, хочу ебануть фурор.

Варнава сам говорит и сам радуется: как ребенок. Его вообще проще обрадовать, чем разозлить; удивительное качество для балетмейстера. Невысокий, обритый наголо, чтобы уже покончить с разговорами о лысине, с белыми лучами вокруг глаз на загорелом даже зимой лице, в своем этом вечном растянутом спортивном костюме, Варнава — всем балетным отец, как Суворов — солдатам.

Катя думает: «Щелкунчик».

Из-за «Щелкунчика» она здесь, из-за него в балете. Из-за того раза, когда с мамой еще на старый спектакль бежала — тоже под Новый год, бегом до метро, документы десять раз патрулям показывали и билеты. Большой работал в гражданскую, когда ничего уже другого не работало, когда и телевидение пропало навсегда, и Интернет с мультиками — Большой, сделанный из одних только людей, продолжал работать без связи, без отопления, с моргающим слабосильным электричеством. Волшебная лампа; единственный оставшийся портал для побега из скучной и жуткой военной действительности.

Катю-маленькую «Щелкунчик» поразил.

Она не знала, что люди могут так двигаться: летать, например. Что женщина может быть так красива, достичь таких пределов изящества. Вокруг люди кутались в рванье: магазины не работали уже давно, модницы шили себе франкенштейнов из коллекций минувших лет, да чуть ли не свеклой губы себе красили. И тут — рождественский бал, ожившие куклы, кружащиеся с оловянными солдатами, роскошные платья, восхитительная, прекрасная Мари, которую сама Анастасия Шевцова танцевала.

Катя тогда решила, что тоже должна стать Мари.

Вернувшись домой за полночь — прямо на их улице стреляли, пришлось отсиживаться, ждать гвардейских броневиков — она еще несколько часов не могла

уснуть. Мать потом искала и еле нашла для нее на черном рынке аудиосказку с музыкой Чайковского, и Катя, заслушивая диск до перегрева, силясь зыбкие воспоминания закрепить, рисовала под него — себя-Мари, неуклюжего героя Щелкунчика, приторную Фею Драже, мерзкого и страшного Короля мышей, похожего на ее убитого папу Дроссельмейера.

Других девочек в балетную школу пристраивали матери, тоскующие по пустым годам своей напрасной жизни, в надежде, что дочери станут звездами за них. Катя вытребовала себе занятия балетом сама — на десятый день рождения. И сама заставляла мать на них ее возить, пока мир не вернулся, до воцарения Михаила Первого — потом уже сама, одна ездила.

Но за те пять сезонов, которые Катя танцевала в Большом, «Щелкунчика» там не ставили.

— Так. Мари у нас Антонина будет. Щелкунчик Зарайский. Дроссельмейер ты, Вань, — распределяет роли Варнава. — Кордебалет, понятное дело, игрушки, крысы, цветы.

Антонина улыбается и сразу же, продолжая движение губ, зевает.

## 2

Катя появляется из-за угла, когда Рублева уже почти исчезла в глубине коридора. На Кате балетки, вкрадчивые мягкие лапки, и Рублева никак не могла ее заметить. Там, где коридор кончается, на стене висит телефон, и телефон этот трезвонит по ней.

Дверь в рублевскую личную гримерку остается приоткрыта; пройти мимо выше Катиных сил. Она замирает против щели и вклинивает в нее свой грязный шелковый пуант.

На стене висит плакат: «Антонина Рублева, прима Императорского балета» — Тонька на руках у Зарайского в тухлой гутенмахеровской «Жизели». Белый занавесочный тюль, скупердяйский фон, утомленный мужеложец Зарайский мечет в воздух бесполезную Рублеву, которая все равно проиграла битву с земным тяготением, как только родилась. Не самое удачное фото, но главное тут не в том, что изображено, а в том, что написано.

На вешалке норочья шуба с коротким рукавом под любимые рублевские по локоть кожаные перчатки, на столике — несколько журналов. Катя задерживает дыхание, бросает быстрый взгляд в коридор. Она возвращается с репетиции последней, остальные уже прошли, ничто не должно ей помешать.

Змейкой она проскальзывает в Тонину гримерку, мгновенно оценивает журнальную россыпь: Vogue, L'Officiel, Num ro, еще один Vogue, сентябрьский. Ма-

мочка, все иностранные! Откуда их столько у Рублевой, и зачем ей столько! Голова идет кругом как после того бесконечного фуэте в «Лебедином озере». Колебания длятся не больше секунды. Катя берет Vogue – посвежей, и, прислушавшись к тишине в коридоре, исчезает.

Но там ей приходится со всех ног бежать в туалетные комнаты, потому что Рублева, прикрикнув на кого-то в трубку и звякнув ей зло, бурей несется обратно. Катя запирается в кабинке, молясь, чтобы Господь не подвел ее хотя бы сейчас, снимает фаянсовую крышку сливного бачка, и, скрутив Vogue трубочкой (как хорошо, что она не пожадничала и не схватила гигантский Num ro!) прячет его внутрь, беззвучно опускает тяжелую и скользкую крышку, спускает воду и выходит с самым невинным и несведущим лицом.

У раковин стоит Рублева, срочно стирает потеки туши, на Катю смотрит как на мышь: опасливо и брезгливо. Катя, поддерживая легенду, моет руки, с Рублевой стыкуется взглядами в зеркале.

– Не дождешься! – бросает ей Тонька.

– Дождусь, – вежливо отвечает Катя.

За журналом она возвращается, когда в здании уже гасят свет, убедившись, что Рублева села в заранее поданную лакированную машину с номером «717» – счастливым числом князя Белоногова, о чем, конечно, знает вся светская Москва.

Катя обрызгивает журнал духами и мчится с ним домой – к Танюше. Но показывает соседке его не сразу: сначала требует налить просекко, потом ставит исцарапанный диск Stromae, и наконец извлекает журнал.

– Да ты чего? – ахает Танюша. – Это что... Вог? Это по-французски?!

– Парижский номер! – гордо выговаривает Катя. – Сентябрь!

– Этого года? – не верит ей Танюша.

– Ну посмотри! – Катя отчеркивает дату ногтем.

– Зачем! – одергивает ее Таня. – Что за вандализм! Смотрела уже?

– Нет, конечно. Тебя ждала.

– Где достала?

– Своровала! У Сторублевой.

– А у нее откуда?

– Ей Белоногов из Франции с контрабандой везет. У них любовь.

– Тогда за любовь!

Они чокаются и прихлебывают кислое бледно-золотое просекко, давась пузырьками. Теперь можно и открывать.

Журнал все еще круглится, глянцевых страниц в нем немного – сами французы давно перешли на электронку, бумага для них просто дань традиции; но электронный выпуск прочесть невозможно из-за блокады, да и рабочих ком-

пьютеров в Москве у гражданских лиц нет. У Белоногова, разве что, хмыкает Катя.

Но и этих немногочисленных страниц им хватит, чтобы понять — чем сейчас живет Европа. Что носит.

Люди на фото выглядят странно и даже, пожалуй, дико. Брючные костюмы слишком просторные, платья слишком короткие, ботфорты слишком высокие, цвета слишком яркие, аж глаза щиплет. На то, что принято в этом сезоне носить в Москве, не похоже совершенно.

Катя с Таней листают сначала безмолвно, потом делают паузу — на второй поток, который получается уже глаже, теплей — и тогда Катя решается.

— Мне вот это нравится. И вот это еще.

— Да тебя в этом на улице засмеют! А в этом и сжечь заживо могут.

— Правда, Тань. Нормальное платье. То есть, рискованное, конечно, но...

Танюша вздыхает, подносит журнал поближе к глазам.

— Ну и сколько ты мне даешь по времени?

— Я не знаю. Я хочу к Юриному возвращению в нем быть.

— А когда он вернется-то?

Катя мрачнеет. Снова подносит фужер к губам, делает глоток такой большой, что он застревает в горле.

— Неделю назад должен был.

Таня смотрит на нее встревоженно и ласково, гладит по руке.

— Материал если достану. Это вот, кажется, шерсть, а это я не знаю, что. Ну и ты сама понимаешь, выкроек тут нет, так что будет приблизительно.

— Холмогорова! Ты нам «Петрушку» целого обшила на глазок, ты гений, ну? И я постараюсь помочь с материалом, конечно!

— И журнал мой, — ставит финальное условие Таня.

— Твой! — клянется Катя.

Они листают Vogue дальше. На его разворотах — мир, удивительно похожий на настоящий и совершенно при этом на него не похожий. Мир, который, отколовшись от Московии, понесся по космосу своей какой-то странно закрученной траекторией и так далеко уже отлетел, что инопланетностью своей просто пугает. Что за странные товары в нем рекламируются, непонятно даже Кате, которая французский язык приблизительно знает. Одежда непонятна даже Танюше, которая, между прочим, среди художников по костюмам слывет самым лютым авангардистом.

Люди ли там вообще теперь живут, во Франции?

Спасибо Рублевой, спасибо князю Белоногову, спасибо журналу Vogue: спасибо за сладкое беспмятство, за вояж на европейский астероид, за то, что отвлекают Катю от сумеречных мыслей; может, и ее чернильные сны разбавят пестрым.

## 3

– Катерина! Бирюкова!

Катя оборачивается: Филиппов.

Заместитель художественного руководителя. Тучный фронт с черными подглазьями от ночных пиров и всех излишеств, идущих следом. Шерстяной костюм на нем еле сходится, а надушен Филиппов так, что уже от дверей его запахом веет – сладко, тлением.

Катя спрашивается у лысого Варнавы, лучащегося счастьем и морщинистого от веселья, отходит от станка и семенит к двери. Ждет пыток и публичной казни за журнал: наверняка Антонина заподозрила ее и уже на всякий случай настучала. Филиппов заманивает ее к себе в кабинет.

Катя следует за ним крадучись и смотрит вкрадчиво.

– Да, Константин Константинович?

– Дверь прикрой-ка. Мда, – он обкусывает ногти, взбалтывает на дне бокала коньяк. – На тебя тут запрос поступил.

– Что это значит? – Катю бросает в жар. – От... Охранки?

– Нет! Ну нет. Личный запрос! – Филиппов раскашливается, будто бы собирается петь. – От... От князя Белоногова. Конфиденциально. Его Светлость хотели бы пригласить тебя на ужин.

Катя перестает играть и впивается в толстяка глазами.

– Что? Меня?

Филиппов поднимает брови: действительно ли так уж необходимо спрашивать вот все это?

– С какой целью? – упрямо спрашивает у него Катя.

– С целью познакомиться лично, как можно догадаться.

– Я в отношениях, – категорично заявляет Катя. – Да и он в отношениях, насколько мне известно.

Заместитель директора перекачивает жиры, гложет и сплевывает кутикулы, улыбается мерзотной улыбкой Чеширского кота.

– Мне про это неизвестно ничего, – отвечает он. – Я не лезу в личную жизнь своих артистов. Могу только сказать, что Его Светлость человек очень широкий. А ужин это ведь иногда просто ужин.

– Так вы говорили и про Быстрицкого, Константин Константинович, – замечает Катя. – А в итоге мне пришлось...

– Я помню, что тебе пришлось, – чеширская улыбка исчезает. – А ты помнишь, как нам пришлось заглаживать тот инцидент в «Метрополе». И я считаю, может быть, наивно считаю, что ты все еще у нас в долгу, раз ты тут продолжаешь служить. Но бог с ними, с меценатами. Меценаты одно дело, Катенька, а госу-

дарственные деятели все-таки другое. Тем более — князь. И поверь, не такой Белоногов человек, чтобы принуждать к чему-то балеринок.

— Верю.

— Но и не такой, чтобы ему в обычном ужине отказывать.

— У меня репетиции до конца недели, Константин Константинович.

— Ах да. «Щелкунчик»? — он ворошит бумаги на своем столе. — Кто ты там? Крыса? Кукла?

— Приятно, что вы знаете все мои роли, — она показывает зубы.

— Я просто угадал, это было несложно. Но вот что, Бирюкова. Крыс и кукол много, да и в кордебалете незаменимых нет. А вот Его Светлости почему-то захотелось поужинать непременно именно с тобой. Я не знаю, как мне выразиться еще более прямолинейно. В особенности, учитывая твой должок.

Филиппов зажмуривается, умолкает. Плюет в сторону. Катя чувствует легкую тошноту.

— Я могу подумать?

— Подумай.

#### 4

Катя опаздывает — нарочно, а он уже ждет. Бархатный пиджак, шелковый шейный платок, пальцы в перстнях, сорочка с витой монограммой: «АБ» — Андрей Белоногов. Он держится прямо и кажется моложе своих шестидесяти восьми, но не молодится нарочно — седая грива спадает на плечи, и закрашивать седину, как другие запоздалые ценители женской красоты, он не собирается.

При виде Кати он галантно поднимается, целует ей руку, совершенно, кажется, не смущаясь услуги и многочисленных гостей заведения. Что же случилось с Рублевой, спрашивает себя Катя. Неужели отставка?

— Спасибо, что нашли время, — говорит Белоногов. — Я и не надеялся уже.

Катя склоняет головку, приподнимает уголки губ, осторожничает.

— Чем же я обязана?

— Приметил вас в «Спящей красавице».

— Правда? Я ведь там не солирую. Я там большую часть времени сижу с краешку и восхищенно смотрю на танцы фей.

— Когда вы на поклон выходили. Вам еще такой бравый военный выдал безвкусный такой огромный букетище. Такие только к вечному огню класть.

Катя молчит.

— Военный, правда, был хорош. Справедливости ради, — любезно добавляет князь.



- Это мой жених.
- Я так и подумал. Вы выглядели очень счастливой.
- Я долго его не видела. Он служит на Кавказе.
- Ну, на Кавказе сейчас поутихло... Что ж, ему можно только позавидовать.

Мэтр, можно винную карту?

Пожилой сомелье передает ему тисненый золотом картон.

– Какая у вас патриотическая селекция. Юг России и Кавказ. Вот, за что воевал ваш жених, – замечает Кате Белоногов. – Ну, а скажите, – он понижает голос, – нет ли у вас чего-то подпольного? Из калифорнийских, полнотелых, округлых?

Мэтр с сомнением косится на Катю, кашляет в седой кулак.

– Барышня со мной, и ей можно доверять, – рокошет мягко Белоногов, подмигивая Кате. – Зинфандель, пино нуар? Напа вэлли?

– Есть зинфандель, – кашляет в кулак сомелье, оглядываясь с опаской даже на официантов. Но будет в бутылках из-под кагора.

– Главное не форма, а содержание, – шуточно отвечает ему Белоногов.

Несут неведомый зинфандель, и какие-то крохотные чудно пахнущие салаты – «Что это? Трюфель!» – и нежное, как женские губы в поцелуе, красное мясо в компании пророщенной сои, в общем – ах.

Катя едва пригубливает вино, едва притрагивается к мясу.

– А теперь он уехал на восток, – говорит она. – В Ярославль. И ни слуху, ни духу.

– В Ярославль? – князь морщит высокий лоб. – Не лучшее сейчас место.

– Вам что-то известно?

Она откладывает прибор.

– Кое-что, но немного, – он вздыхает. – Вы знаете, я при дворе несколько особняком. Мне-то покойный император жаловали дворянский титул по дружбе, а не по службе. Хотя сами-то они из службы как раз и были. Так что белая кость ко мне и ревнует, и подозревает меня во всяком.

– По дружбе? – переспрашивает Катя, позволяя себе наколоть на вилку еще кусочек мяса.

Князь Белоногов уже третий бокал осушил, просит новую бутылку лже-кагора.

– Да. Мы с покойным государем со школы были знакомы, верите? Вместе в футбол гоняли на коробке после уроков, в «Контру» играли в компьютерном клубе... Можете себе представить, насколько я стар? Мда. А теперь вот будет Миша Стоянов, мало что император, и к лику святых причислен. Неисповедимы пути твои, Господи...

– Его канонизируют? – поражается Катя. – Правда?

– Да! Это только послезавтра в газетах будет. Увидите. Да, Владыка объявит. Решение принято уже, церемония до Рождества пройдет.

— Не может быть.

— Может и будет. Спаситель Отечества, основатель Московии, созидатель нового российского государства... Давно пора. Если основатель свят, то и государство свято. Тем более, что и чудо в наличии имеется... Эх, простите меня, Катенька, вам ведь это, наверное, совсем не интересно. Это я по инерции, продолжаю разговоры из правительственной курилки, а с вами бы лучше об искусстве стоило.

— Да нет, что вы...

Катя рассыпает соевые ростки и скорей принимается собирать их.

— Где вас кроме «Спящей красавицы» можно увидеть?

Она отрывается от сои. Хочет поднять ресницами ветер.

— В «Щелкунчике». Варнава будет как раз к зимним праздникам ставить «Щелкунчика». Жду-не дождусь. Я из-за него пришла в балет. Чайковского оттуда всего насвистеть могу, все два часа, — улыбается Катя. — Но пришлось подождать вот. Его лет десять, наверное, у нас в Большом не ставили. Ну ничего, дождалась вот, и даже до выхода на пенсию.

— Какую партию вам предлагают? — учтиво интересуется Белоногов.

— Ну я ведь в кордебалете. Какие нам предлагают там партии? Оптовые. Буду гостьей, потом игрушкой, потом мышкой-норушкой.

— Я тоже этого «Щелкунчика» жду, знаете, — откликается князь. — Я ведь большой поклонник Варнавы еще с древних времен. Давно пора было переосмыслить его, как считаете? Да. Хочется свежего чего-то. Чего-то яркого. Молодой крови.

— Я лично готова быть донором.

— А какой вы сезон танцуете? — спрашивает Катю Белоногов, изучая ее сквозь бокальную лупу.

— Пятый.

— Игрушка... Несправедливо. Засиделись вы в кордебалете, Катенька. Одни и те же лица блистают, а блеск-то уже потускнел.

Катя как бы давится вином, пачкает кремовое платье, Белоногов хлопчет вместе с официантом, чтобы спасти ее, а сам усмехается. В эту передышку она одергивает себя.

— Я не хотела бы, чтобы вы подумали... Если вы можете что-то для меня сделать, я бы о другом вас попросила.

Князь слушает внимательно.

— Про моего жениха... Лисицын, Юрий, подъесаул. Может, есть возможность узнать... Что с ним...

Белоногов кладет себе в рот кусок нежного красного мяса и неспешно пережевывает его, глядя Кате прямо в глаза.

– Я мог бы попробовать. Но не нужно переоценивать уровень моей осведомленности, – предупреждает он.

– Я была бы очень признательна, – говорит Катя. – Очень.

Домой Катю отвозит лакированный автомобиль с номером «717».

## 5

И вот балетмейстер подзывает слегка похмельную Катю к себе, мягко берет ее за локоть. Катя, как обычно, первая; в зале только она и десять ее отражений.

– Катюш. Мне кажется, время пришло. Я хочу, чтобы ты партию Мари освоила.

– Какой Мари? – Катя глупеет от ужаса и ощущения рождественского чуда.

– Партию Мари, Клары, в «Щелкунчике», ну?

– Заглавную? Ее же Антонина танцует?

– Ну ты в качестве дублерши пока, разумеется. Но чтобы ты умела. Пора пришла тебе шаг вперед сделать. Пятый сезон, все-таки.

– Вы... – Катя хочет дознаться, сам ли Варнава решил вдруг это ей предложить, но боится спугнуть чудо. – Конечно, да. Спасибо!

– Поработать придется, конечно. Времени осталось меньше месяца.

– Я... Я готова. Я смотрела за ней, а в старых балетах наизусть знаю. Дома танцевала, – лепечет Катя.

– Ну и хорошо, и прекрасно. Ладно, потом обсудим. На парные попрошу Зарайского остаться, он человек опытный, поможет.

– Да хоть Зарайского!

Тут набегают уже остальные: Калинкина, Труш, Лялина, Смородченко, Киршенбаум, Воронина, Касымова, две Никишовых, Непейвода, Небылицкая, Стон и Амбарцумян. В трико, в лосинах, в спортивных бюстгальтерах, волосы сзади пучком, походка матросская.

Ни одна из них не рассчитывала застрять в кордебалете, все мечтали о том, чтобы солировать. Каждая себя видела на зернистых монохромных плакатах «Прима Императорского балета», себя видела на государевом Новогоднем балу, себя – в свете софитов последней выходящей на поклон к рукоплещущему двухтысячному залу, осыпанную цветами. И что? Кем стала? Каплей в дожде, муравьем в муравейнике, нотой в симфонии. Так им Филиппов всем объяснял, почему они себе свои амбиции могут поглубже в душу засунуть и больше перед ним этими амбициями не трясти. Без фона нет шоу, артисты кордебалета не подтанцовка, а обрамление, вот это вот все.

На четвертый сезон, на пятый, на шестой – люди смирились с тем, что место их в строю, а не перед строем, с тем, что их блеска хватило только на то, чтобы

попасть в Большой, но чтобы засиять в Большом, его оказалось недостаточно. Устали рваться вверх и вместо этого стали изобретать, как сберечь силы на саму жизнь — на все, собственно, что происходило за стенами, которые в Большом называли с придыханием и благоговением «эти стены». Убедили себя, что их мечты и страдания, ор и унижения со стороны педагогов, станок и дрессура вместо детства — были ради этого вот: чтобы быть капелькой.

Кто-то и на третий сезон сдался и забросил свои амбиции на антресоль. Но Катя с самого начала чуда не ждала и биться собиралась до конца.

Подходят к Кате, в щечку ее целуют, и она целует в щечку их тоже.

Последней появляется Рублева. Ни с кем не здоровается, ни на кого даже не смотрит, кроме Варнавы. И держит себя так, будто тут никого, кроме него, и нет, и занятие будет сейчас индивидуальным.

Она еще не знает. Никто тут еще не знает.

## 6

— Ну а почему ты должна вообще была отказаться? А? — Танюша наливает чай, режет сервелат. — Ну с какой такой стати? А? Ты об этой роли мечтала сколько?

— Ну сколько-сколько! всю жизнь.

— Ну и все тогда! — резюмирует Таня.

Рыжая, румяная, широкобедрая и полногрудая, рядом с Катей она смотрится так, будто ей передали все срезанное с Кати мясо, а вместе с мясом — и веселость Катину, и обычное жизнелюбие молодости, оставив Катю с одними жилами, с дьявольским упорством и с неутолимой жадой доказать себя. Катя смотрит на Танюшу и думает: создана ли я вообще для счастья?

Катя проводит рукой по волосам — волосы мокрые еще, снежинки растаяли. На улице метет, люди кутаются в полушубки и старые пуховики, от родителей доставшиеся. У фонарей особенно видно, как густо валит. Немногочисленные машины плывут по Тверской медленно, как будто против течения, а в окно, которое выходит в Леонтьевский, прилетел снежок: школяры бесчинствуют.

— Про журнал не устроили расследования? — спрашивает Таня.

— Антонина как будто не заметила даже. Там, кажется, античная трагедия у нее разворачивается. Опухшая сегодня вся пришла.

— Вот когда она про твой ужин с ее мужиком узнает, тогда припухнет. А так это пока репетиция, — хихикает Танюша. — Глянь, у меня тут еще скумбрия горячего копчения — пальчики оближешь! Иди, мой лапы, и налетай.

Катя моет руки и изучает пристально себя зазеркальную: ты ведь ничего пока такого не сделала, чего собиралась в этой жизни никогда не делать? Ничего.

— Ну а я ничего не сделала такого! — оправдывается она из ванной комнаты. — Поужинала в нейтральных тонах, подставила щечку, Юру ему сразу задекларировала! И с Варнавой тоже — ну да, ну согласилась попробовать. Ни одно животное не пострадало!

— Ну и все тогда!

Катя возвращается в кухню, ставит заезженный диск так и не превзойденной никем Билли Айлиш, какими-то кустарями напильный андеграундно лет десять назад, когда у пиратов еще оставалась рабочая техника. За почти два десятилетия блокады электроника осталась в Московии только та, что производили тут на месте, то есть — военная и секретная, мирному человеку бесполезная и недоступная.

— Слышала? Михаила Первого будут к лику святых причислять! — делится с ней Таня, разворачивая обернутую в газету скумбрию, зачитывая новости по рыбьему жиру. — Пишут, будет святой Михаил-Защитник.

— Тань, погоди. Ну что ты руки-то все изгвадала? Я хотела тебя попросить показать платье. Продвигается?

— Продвигается. После ужина покажу.

Пока Катя уплетает скумбрию, пока захлебывается горячим сладким чаем, Таня все терпит, терпит. Читает вслух про канонизацию: большой день, давно было пора, и только скромность и даже некоторое противодействие со стороны императора Аркадия Михайловича, та-та-та, единогласная просьба со стороны Патриархии, та-та-та, предстоящий Вселенский собор, несомненное чудо, сотворенное покойным государем еще до его восшествия на престол, та-та-та, хранящиеся в Сретенском монастыре мощи и сами уже давно стали предметом поклонения, основатель современного русского государства, подлинный герой, остановивший движение мятежников на столицу и тем самым, та-та-та, Аркадий Михайлович был вынужден смириться с давлением общественности и Церкви, которые — редкий случай! — выступили единым фронтом. Патриарх намерен провести церемонию в последних числах декабря, видимых препятствий тому нет.

— Я, кстати, за, — высказывается Танюша. — Хороший был мужик и жалко, что умер рано. И чудо было самое настоящее, с этой иконой архангела. Черт ведь его знает, что бы тут с нами со всеми было, если бы он тогда не облетел мятежников с иконой.

— Тань... — Катя облизывает пальцы. — Тебе тогда сколько было?

— Сколько? Ну семь? Восемь?

— Ты серьезно сейчас про чудо?

— А что?

Катя доликает себе чаю, надувается уже, чтобы дать подруге отповедь, но потом прикусывает себе язык.

— Ну ничего. Чудо, так чудо.

— Ну бог с ними, со святыми, — соскакивает Танюша. — Нам от этого все равно ни горячо, ни холодно. Ты мне лучше про Белоногова давай поподробней. Думаешь, я скумбрией за так тут тебя откармливаю?

— А нечего рассказывать, — жмет плечами Катя. — Обещал позвонить, если будут новости о Юре. Видимо, никаких новостей пока что нет.

И тут в прихожей начинает пиликать их старый телефон — белая трубка с кнопками, прилаженная над продавленным креслом.

Катя вспархивает и летит туда, к нему.

— От Его Светлости князя Белоногова, — произносят в трубке гнусаво и значительно. — Приглашение на встречу.

## 7

— Новости неутешительные, — Белоногов перекладывает бумаги.

Машина ждала Катю у подъезда, помощник строго сказал ей, что разговор не телефонный и что князь примет ее у себя.

Пятисотметровый апартамент панорамными окнами своими выходит на Москва-реку, которая непреодолимым рвом отчерчивает багровые кремлевские стены; но с этой вышины Кремль кажется лежащим у Белоногова на ладони.

Помощник испаряется, плотно притворив за собою двери, Катя присаживается на краешек гостевой оттоманки — а князь выходит из-за огромного стола красного дерева и принимается задергивать тяжелые, как театральный занавес, шторы с золотой кисеей и кистями. На нем снова изящный бархат — на этот раз винного цвета — и подходящий к нему шелковый шейный платок.

Катя наблюдает за ним с растущим беспокойством и еще каким-то иным чувством. Бессилие? Обреченность? Предвкушение? Предвкушение — чего? И ужас.

Только затемнив комнату полностью, князь приближается к Кате.

— Отряд, которым командовал подъесаул Лисицын, в полном составе пропал без вести. Есть все основания считать, что его можно считать погибшим. Но похоронки не ждите. Экспедиция была секретная, удивлен, что вы вообще столько про нее знаете.

Катя принимается моргать — часто-часто, прислушивается к себе: оборвалось у нее что-то там, внутри? Ей хочется, чтобы оборвалось. И при этом страшно не хочется, чтобы Юра погибал.

— Что с ними произошло? Неужели нет никакой надежды? — перебивает она саму себя.

— С Ростовом нет связи. Установить, что случилось, нет возможности, — князь говорит сухо. — Я попрошу вас никому об этом не говорить, Катя. Это серьезно. Я человек гражданский, влез тут не в свое дело ради вас, и мне остается только надеяться, что это все останется между нами. Вы понимаете меня? Вы хорошо меня понимаете?

Катя сидит с сухими глазами.

Почему у меня сухие глаза, спрашивает она себя. Разве я не должна сейчас зарыдать? Что со мной не так?

Она старается представить себе Юру — смешного, нервного, такого в нее влюбленного, слишком серьезного и слишком боящегося ее потерять, без предупреждений являющегося на спектакли, рвущегося из-за нее в драку с липкими московскими мужчинками, яростного и глупого в постели. Вспоминает о предложении, которое он сделал ей по телефону в ночь отправления. О том, что она обещала ответить ему, когда он вернется.

Когда Катя вспоминает о том, как Юра ее любил, глаза начинает пощипывать.

Она думает о том, что любила в нем только его любовь к себе. Думает о том, что себя ненавидит. Спрашивает себя — не кокетничает ли она сейчас с мертвым Юрой, якобы каясь и якобы ненавидя себя.

— Разумеется. Я никому не скажу.

Она поднимается, кланяется.

— Мне очень жаль, — произносит Белоногов. — Я этого не хотел.

Когда Катя уже стоит в дверях, он берет ее за руку.

— Это все новости, которые я в последний момент получил, — говорит он. — Надеялся успокоить вас. А вообще я хотел вас на маскарад позвать, граф Иванов дает. Но теперь, видимо, это уже будет неуместно...

— Это уже будет неуместно, — подтверждает Катя, мягко отнимая у него свои пальцы.

## 8

— Сука! — шипит ей Антонина. — Змеюка подколодная! Ты думаешь, я ничего не знаю? Ничего не понимаю? Ты думаешь, я идиотка, да? Думаешь, мне Зарайский не доложил в первый же вечер? Ты его очаровала, думаешь, да, дешевка?

Катя застыла, вся ее загодя отрепетированная тирада присохла к гортани, не лезет наружу. Антонина подходит к ней на шагок ближе, еще на шагок — и Катя против своей воли отступает.

— Ты думаешь, зачем он это делает?

— Кто?

— Кто! Белоногов. Белоногов! Ты за кого меня держишь? Ты, харя подмосковная! Он это делает только ради одного, и я хочу, чтобы ты это четко понимала. Он просто хочет мне доказать, что он меня может на любое говно заменить по щелчку пальцев. И вот он нашел тебя, говно par excellence, чтобы мне стало все ясно сразу и окончательно. Ты думаешь, это он с тобой беседы ведет? Это он со мной, со мной разговор ведет, через тебя! Кукла резиновая.

— Тоня, ты что? Ты о чем?

— О дублировании. Ты ведь мой дубль теперь, да? Подстраховываешь меня, так? И журналчик мой, я уверена, украла ты, сука ты завистливая!

— Ты бредишь, — говорит ей Катя.

— Куда ты собралась? В высший свет? Выше своей маленькой глупенькой головки хочешь прыгнуть? Да ты же подстилка солдатская, ты же фронтовая шлюха по сути по своей, куда тебе, что ты там забыла? А где твой ебарь в папаше, не дождалась?

Катя делает шаг Антонине навстречу и лепит ей пощечину с короткого злого замаха.

— Журнал я взяла. И остальное заберу. Гори в аду.

Она расходятся по разным углам большого театра — до репетиции.

Когда Рублева поднимается на сцену, щека у нее все еще пылает. Добродушный Варнава, который приближается к приме, чтобы всего только поправить ей изгиб руки, получает от нее эту пощечину по цепочке.

— Ты эту вон поучи пойди, — она даже не оборачивается в Катину сторону, — а я справлюсь как-нибудь. Я у великих училась, сморчок.

— Тонечка, — Варнава перестает лучиться. — Ты, может быть, отдохнешь сегодня? Если ты не в настроении? А Катя станцует.

Кордебалет замер испуганной и любопытной стайкой. Балерины смотрят огромными глазами. Танцовщики смущенно оправляют трико.

— А ты сам, Володенька, не хочешь ли сегодня отдохнуть? — бешено и ласково отвечает Рублева. — И вообще, не утомился ли ты столько работать, ты ведь не молод уже? Не ты ведь тут решаешь, кто у нас будет отдыхать, а кто работать, Володенька, кого мы обманываем? Быстрицкий больше твоего решает, спроси у девчонок, любая подтвердит. Кто сговорчивей, того и партия. Да, девочки?

Балерины стоят молча.

— Святые мои. Вот кого канонизировать бы — вас, вас, сладкие мои, мои вы верные подруженьки!

— Я тебя не узнаю, Тоня, — огорчается Варнава. — Что с тобой?

— Белоногов ее бросил, — объясняет ему кто-то из стаи.



— Белоногов меня, для начала, не подбирал! — гневно обрубает ее Рублева. — Меня если и подбирал кто-то, то нынешнего Государя императора батюшка, а Белоногов меня — так, утешил!

На сцене тишина — жуткая.

— Что уставились?! — кричит на них Рублева. — Как будто вы этого сами не знали!

Катя понимает: если пойти и пересказать это Филиппову, который к театру приставлен, Рублевой конец. За такие слова, сказанные вслух, произнесенные прилюдно, ее не простят. У Охранного отделения хватка бульдожья. Просто пропадет она, и все. Просто исчезнет.

Вот он, короткий путь к победе, говорит себе Катя. Подняться после репетиции к Филиппову и пересказать ему весь разговор.

— Что вы уставились? — визжит Рублева, сама уже зная, как страшно она только что оступилась. — Все, закончили! Давайте уже наконец работать!

## 9

Конечно же, Катя не стала никому доносить на Антонину. Даже Танюше ничего не сказала о рублевской выходке. Было очень страшно, что такой сильный человек может оказаться таким хрупким, было очень страшно уничтожить его подлостью. Катя выбрала остаться собой.

Но придя домой, она первым делом снимает телефонную трубку и набирает номер белоноговского помощника.

— Его Светлость приглашали меня на бал, — твердо выговаривает она. — Бал-маскарад. Передайте, что я буду.

Сказав это, она держит еще гудящую трубку в руках и думает о том, что не ответила Юре ничего, когда тот звонил ей перед отправлением: точно так же держала трубку, такие же шли гудки, когда он рассоединился.

Хорошо или плохо, что она не успела ему себя пообещать?

Он был в ее непонятной жизни якорем однозначности. Заведенная балетной школой на двадцать пять лет хода, после которых она, как любая балерина и любой спортсмен, должна была просто самоуничтожиться, любви Катя себе никогда не позволяла. Любовь была для нее не смыслом жизни, а видом досуга. Любовь не могла претендовать на то, чтобы подчинять своим капризам Катину жизнь. Любовь всегда ходила у Кати рядом в строгом ошейнике; Катя спускала любовь с поводка на каникулах, но, позволив ей порезвиться, снова сажала ее на цепь, а если та не слушалась, то и вовсе усыпляла ее по подозрению на бешенство.

С Юрой — именно из-за его одноклеточной простоты, из-за его убежденности в том, что из целого мира можно сделать какие-то внятные выводы и что он сделал единственно верные, из-за его готовности любить ее безоговорочно, и из-за того, что единственные его сомнения касательно Кати заключались в том, достоин ли он ее (о, это было написано у него на лбу!) — она вдруг начала забываться. Ее заводила его любовь к ней; то, чего она не могла почувствовать в кордебалете — своей уникальности — она чувствовала, выходя на Патриаршие пруды в компании провинциала, казака и простака. Может, это и было дурновкусие — ладно, может, Катя и была в сути своей вульгарна, может, она и тосковала в душе по простой роли фронтовой подруги, но эта роль была стократ привлекательней ролей крыс и кукол.

— Попросите уточнить, какая тема у маскарада? — добавляет Катя. — Мне ведь нужно подготовить костюм.

— Ревущие тридцатые, — отвечает ей помощник.

Тут Катя вспоминает про платье, которое Таня шьет ей к возвращению Юры. Думает секунду — отменить заказ или не отменять, и решает, что отменять не стоит, потому что иначе последует шквал вопросов, на которые Катя отвечать не имеет права.

Хранить секреты она научена.

## 10

Танюша еле успевает позаимствовать подходящее платье в не протопленном и полутемном «Театре Сатиры», где она трудится на вторые полставки. Там «Мастер и Маргарита» идет, и платьев, пошитых по моде столетней давности, у них в избытке.

Лимузин с номером «717» причаливает к их дому со стороны Леонтьевского; князь ждет внутри. Он одет по-профессорски: в неопрятную «тройку»; белая грива нарочно встрепана, на носу круглые очки в тонкой оправе, в зубах трубка, на шее непрременный шелковый платок.

— Кто вы? — спрашивает у него Катя.

— Среднее арифметическое между Эйнштейном и Эйзенштейном, — улыбается ей князь. — Абстрактная нерусь. А вы?

— Я просила украсть для меня платье Маргариты, — признается Катя. — Но его уже кто-то спер. Это просто костюм статиста. Зато шито как раз по мне.

— Отличное платье, — оценивает Белоногов. — И ничего страшного. Есть ситуации, в которых лучше быть статистом, чем оказаться на главных ролях. Вы уж мне поверьте.

Авто выкатывает на Тверскую, разворачивается у «Ритца» и неспешно движется обратно к Садовому. Идет мокрый снег. Витрины магазинов уже оккупированы дедами Морозами, сидящими в еловых ветвях как в засаде. Уличные рабочие меняют праздничную иллюминацию: посвященную дню Михаила Архистратига снимают, развешивают новогоднюю.

— Всегда-то у нас праздник, — замечает князь, глядя на их хлопоты. — Всегда-то у нас карнавал.

— А что за карнавал сегодня будет? У графа?

— Русское дворянское общество дает. Увидите.

Добравшись до Садового кольца, машина поворачивает влево и мимо гостиницы «Пекин» едет к Смоленской. Катя выкручивает свою лебединую шею, провожая «Пекин» прощальным взглядом. Белоногов, заметив ее печаль, открывает серебряную пудреницу с припорошенным зеркальцем.

— Будете?

— Буду, — благодарно отвечает она. — Ах!

Проезжают Императорскую детскую больницу, Императорский зверинец.

— А далеко мы едем?

— Приехали уже. Вот это здание, американское посольство.

— Какое посольство?

— Ну раньше тут было посольство. Вот это большое, белое с желтым.

— Оно же горело! Оно разве жилое?

— Нежилое. Вот поэтому как раз тут и маскарад.

Лимузин останавливается. Князь вылезает первым — чуть охнув, но тут же спохватившись. Подает руку Кате.

— Могли, конечно, любое бывшее посольство использовать, — окинув взглядом почерневшую от копоти важную «сталинку» в десять этажей, вздыхает Белоногов. — Французское для балов больше подошло бы. Все равно все пустые стоят. Но тут, конечно, веселей.

— И правда, весело!

Привратники одеты в красноармейские тулупы. Белоногов подает им свою визитку — слоновой кости, с золотым вензелем, они сверяют имя со списками, проводят внутрь.

— На третий этаж поднимайтесь, — советуют они. — Там окна целы, там тепло. А на втором и четвертом только если у костров греться, зато там шашлыки!

Катя после княжьей пудреницы в ажитации, ей все очень-очень нравится. Шашлыки на втором этаже бывшего посольства, маринованные в чем-то сладком (в «Кока-Коле»! — хохочет человек в очереди) и с дымком восхитительно вкусны, чужие кавалеры в огненных отсветах кажутся загадочными и демоническими, другие женщины, кутающиеся в меха — недостижимо прекрасными, но со

всеми ними хочется разговаривать, идти на сближение, хочется быть причастной к этому удивительному празднеству.

Они идут на третий, застекленный, этаж. Там действует гардероб, можно сбросить верхнюю одежду, там горят электрические лампы, и люди наконец узнают друг друга в лицо.

— Граф Воробьев. Князь Ерошкин. Граф и графиня Жевакины. Барон Краевой. Князь Билялов. Граф Борзухин, — бесконечно перечисляет улыбающихся ему людей Белоногов и знакомит их всех с Катей. — Екатерина Бирюкова. Танцует в Большом.

Среди прочих гостей князь смотрится белой вороной: он в гражданском, и его профессорские стекляшки только подчеркивают его какую-то беспомощность — а большинство выбрало в качестве костюма историческую военную форму, которая к тому же на них сидит как влитая. Многие, услышав о Катиной профессии, улыбаются, но Катя не чувствует подвоха, окрыленная и польщенная тем, что ее представляют по имени и фамилии.

— А вот и хозяин торжества. Борис Палыч!

— О, Андрей Алексеевич! Спасибо, что почтили.

К ним подходит человек в зеленой кургузой форме, в васильковой фуражке с красным околышем и синих шароварах. Лицо у него оспанное, простое, но умное.

— Какая красивая форма! — восторгается Катя. — Это чья?

— Это наша, — подмигивает Борис Павлович князю, хлопая его по плечу. — А вот у вас, Андрей Алексеевич, чья?

— Главное не форма, а содержание, — шуточно отвечает ему Белоногов.

— Золотые слова! — одобряет граф Иванов.

Теперь Катя примечает, что большая часть гостей именно так одеты, как хозяин — синие штаны, синие туфли у фуражек.

— Ностальгический вечер получился, — разводит руками граф, заметив легкое Катино замешательство.

— Всем людям свойственно идеализировать прошлое, — говорит Белоногов.

— И романтизировать! — добавляет Катя женскую реплику.

— Именно! — хохочет граф Иванов. — Всегда-то мы, русские люди, ищем в прошлом свой золотой век, всегда-то мы недовольны настоящим. Ну, раз это общечеловеческое, то стесняться нечего. Князь Белоногов нам грехи отпустил.

— Только место тут какое-то странное, — продолжает Катя светскую беседу. — Неустроенное.

Место, и правда, диковатое. Тут и там расставлены ободранные кресла и диваны, а стены задрапированы красными знаменами и прикрыты плакатами с бессмысленными лозунгами столетней давности, но из-под них выглядывает другое:

по побелке и по кирпичу выведенные краской и углем пенисы всех мастей и размеров, а также нецензурные призывы покончить с бесчинствами американской военщины и засильем американского капитала.

— Тут был сквот, — объясняет ей граф Иванов. — Мы немножко подвинули ребят на время мероприятия. Но хотели сохранить их дух, только обыграть немного. Потом обратно пустим, пускай дальше гадят.

— Ясно, — кивает Катя. — Ну что ж.

— Варварство, — вздыхает Белоногов. — Дичь. Рубить вот так отношения с Западом...

— Ой, я вас умоляю! — встревает в разговор какой-то еще другой князь в васьильковой фуражке, кощееобразный и сиплый. — А то, что они с нашими посольствами сделали, не варварство? Там же геноцид русского народа настоящий произошел! Ни одного человека не осталось за границей, который по-русски хотя бы мог говорить! Весь русский мир уничтожен, погиб! Это хуже, чем варварство! Всех истребить! До единого! Это вам каково? Вы их защищать еще будете?! И тем более, нам-то известно, что кто-кто, а лично вы всех отношений уж прямо так и не порубили!

— Я никого не защищаю, — оправдывается Белоногов. — Кроме того, Василий Ильич, вам ли не знать, что касательно этого геноцида бытуют разные мнения... По поводу судьбы, которая постигла русскоязычное зарубежье.

— Тут двух мнений быть не может!

— Разве? А не вы ли сами во всем виноваты? Вы и ваши.

— Мы?! А вот за такое и на дуэль можно!

— Ему нельзя, Василий Ильич, он же из гражданских изначально, вы забываете, — напоминает кощею хозяин, внимательно наблюдающий за ссорой.

— Тогда пусть и не позволяет себе таких высказываний, если отвечать за них не готов!

— А я перед кем нужно и когда нужно будет, отвечу, — холодно произносит Белоногов.

— Если бы была у нас статья за отсутствие патриотизма, вы бы давно уже висели, Андрей Алексеевич! — бросает ему кощей. — Хорошо, хоть за контрабанду статья осталась, а уж она часто рука об руку идет со шпионажем, это вы мне как эксперту поверьте.

Белоногов молчит, только улыбается вежливо. Но кощей не хочет остановиться. Он глазницы свои наводит на Катю.

— Так что, барышня, подобрали бы себе другого кавалера! На всякий случай! Катя испуганно хватается за локоть князя.

— Ничего-ничего! — вынужденно усмехается тот. — Это у нас с генералом Клятышевым обычная пикировка.

— Ха-ха, — произносит граф Иванов. — А ведь правда. Ну, развлекайтесь!

Гостей прибывает, шампанское и коньяк льются бескрайне, играет Утесов в танцевальной аранжировке, по темным углам шмыгают носами и уже тихонько постанывают, начали расползаться по комнатам, где установлены такие же диваны и кресла и где можно на этих диванах растворить в своих соках других людей. Катя цепляется за князя, и они бредут через дымный морок.

— А ведь и нам ничто человеческое не чуждо, — говорит Белоногов и тянется вдруг к Кате губами.

Она сначала позволяет себя поцеловать, но потом отстраняется.

— Я не понимаю, зачем вам это нужно. У вас же была Антонина.

Белоногов усмехается невесело.

— Я с ней чувствовал себя стариком...

— Вы еще не старый! — протестует Катя.

— Стариком из сказки о рыбаке и рыбке. Знаете? Не хочу быть больше царицей, хочу быть владычицей морскою.

— Но ведь прима Большого и так по рангу выше владычицы морской, — замечает Катя.

— Именно.

— Так что пускай теперь сидит и перечитывает сказку?

— Именно.

Катя кивает: ясно.

— А я в таком случае тут танцую партию разбитого корыта, у которого горюет низвергнутая владычица морская?

— Мне кажется, вы уже репетируете партию столбовой дворянки, которой не терпится в царицы, — отвечает Белоногов.

Жернова карнавального веселья проносятся мимо них людей в масках и костюмах, трут их спинами друг о друга, как пшеничные зерна, которым не терпится уже распастыся и рассыпастыся друг в друга.

— Лично меня устраивает и судьба столбовой дворянки, — заверяет Белоногова Катя.

— Все столбовые дворянки так в начале говорят, — усмехается тот. — Говорят, что просто полюбили старика за его красивую седину и добрую душу. Ладно, кисонька, пойдете. Что-то мне тут испортили настроение. Отвезу вас домой.

— Правда? Я бы еще осталась, — расстраивается пьяная Катя, с сожалением оглядывая весь вертеп и его гостей.

— Так оставайтесь, — сухо произносит князь.

Он отстраняется от нее.

— И, что ж, это просто чудо, что нашлась женщина, которую вполне устраивает ее судьба. Значит, никакие другие чудеса тут совершать потребности нет.

## 12

Большой театр действительно для Москвы слишком велик, думает Катя, измеряя балетными шажками расстояние от своей квартиры до Театральной площади в трехтысячный раз. Когда-то он и приходился стране в самый раз, но теперь казался фуражкой погибшего отца, которую мальчонка на себя примеряет перед зеркалом. Хотя, если б не было этой фуражки, если бы не было, на кого равняться, думает Катя, как знать тогда, куда расти, кем становиться?

Она заходит со служебного входа, по полутемным коридорам бежит — из-за маскарада трудно было вчера уснуть, а сегодня проснуться — и все равно опаздывает. Прибегает в зал, когда все уже в сборе, запыхавшаяся — и сразу чувствует: что-то стряслось.

Оглядывает своих: Варнава шепчется с Саней Клыковой, остальные тоже шушукаются по углам; Антонины нет.

— Что случилось? — спрашивает она.

На нее смотрят молча.

— Так. Катя. На роль Мари мы теперь Сашу еще будем готовить, — сообщает ей вместо ответа Варнава. — Такая вот ситуация.

— Сашу? Вместо кого? — как будто равнодушно спрашивает она.

— Вместо Рублевой.

— А что с Рублевой?

Варнава смотрит куда-то в зеркала, куда-то в окна, за которыми нависло серое московское утро.

— Пока что мы не можем на нее рассчитывать.

Клыкова вздергивает бровь, разводит руками: ну вот так. Не враждебно глядит, но радость скрыть ей удастся плохо, а где у одной балерины радость, там у другой горе. Вся балетная жизнь устроена на противовесах, вся выверена точно: если бы счастья в ней хватало на всех, разве бы кто-нибудь стал в ней так измождать себя и изводиться?

Ну ладно, Клыкова, думает Катя, с тобой-то как это получилось? Через кого?

И кто из них кого теперь дублирует — Катя Клыкову или Клыкова Катю? И почему именно она?

— Так, все. Строимся, работаем, — мягко грассируя, разгоняет собрание Варнава. — «Щелкунчик» сам себя не отрепетирует!

Катя слушается, но утихомириться не может.

— Что с Тонькой? — шепчет она Зарайскому, который оттеняет ее в па-де-де.

— Арестовали, — драматичным парикмахерским тоном отвечает тот.

— Что?!

– Через плечо. Арестовали и на Лубянку увезли.

– Как это?

– А вот так это.

У Кати кровь густеет: толкается через виски еле-еле, с боем, из ног силы уходят. Кто-то все же донес. Из своих кто-то, из тех, кто был на той репетиции. Дура спесивая, Тонька! Как же можно было... Слухи ходили, да, люди перешептывались, но за слухи привлечь нельзя, не в людоедском же государстве живем, а вот так, как она... Ну что за дура!

Ну разберутся, может еще... Отбрешется... Белоногов вступится. Простит за то, за что обиделся, и спасет ее.

Из репетиционного зала Катя возвращается последней. Проходит той же дорожкой мимо рублевской личной гримерки... Дверь снова открыта.

Вернулась!

Катя останавливается у дверной щели, прислушивается – кто-то там движется внутри. Она набирается духу и стучит в дверь, приготовившись покаяться и попросить у Рублевой прощения за женскую зависть...

Внутри роется жирный Филиппов.

Сдергивает плакат «Антонина Рублева – прима Императорского балета». Плакат приклеен был накрепко, сходит рваными полосами. Голова у Рублевой уже оторвана, тело еще танцует.

– Хотела что-то, Бирюкова? – спрашивает Филиппов.

– Я по поводу роли Мари в «Щелкунчике», Константин Константинович. Вы Клыкову утвердили?

– Мы еще никого не утвердили, Бирюкова, – отвечает заместитель директора. – У нас тут видишь, какие дела творятся.

Отворачивается и отрывает Антонине ноги.

## 13

Катя на это решается не сразу.

Для храбрости выпивает коньячку, согласовывает все с Танюшей, потом только идет к телефону. Набирает номер.

– Это Катя. Я бы хотела с Андреем Алексеевичем. Бирюкова, из Большого. Да. Это личное. Спасибо!

Потом она ждет – долго, долго ждет, пока помощник передаст Белоногову, что она звонит, что она непременно требует лично, что она прямо сейчас висит на линии. Наконец тот подходит.

– Андрей Алексеевич... А у вас вечер свободен? Или я могу завтра.



– А что?

– Ну... На свидание хотела вас пригласить.

Он размышляет – слишком долго! – потом вздыхает, словно капитулируя:

– Завтра. Я пришлю за вами машину.

Повесив трубку, Катя понимает, что волнуется так, как с семнадцати лет не волновалась. С какой стати, одергивает она себя. Это ведь она не давалась, уклонялась и уворачивалась... Она решала, как будет – и держала его на том расстоянии, которое было удобно ей. Почему вдруг сейчас мандраж? И во что одеться?

В этот вечер она должна вести. Она должна быть неотразимой. Не хлопать глазами, не девочку играть, не восхищаться и не удивляться, а стать самой собой снова – и выиграть эту партию. А одеться надо так, чтобы чувствовать себя и быть богиней.

Она возвращается в кухню, где Таня уминает горячую шарлотку.

– Танюш... А платье-то наше готово?

– Из «Вога»? – Таня отирает сахарную пудру о бока. – Почти что.

– Мне завтра нужно будет. К вечеру.

– Юрка возвращается, что ли? Брось!

– Нет. Для другого.

Таня прожевывает то, что было во рту и теперь смотрит на нее серьезно.

– Ну, для другого, так для другого. Пошли, померяем.

## 14

К этому платью – инопланетному и удивительно точно на Катю севшему – ей приходится срочно перестригаться, потому что обычные ее русские волосы к парижскому существованию не прилаживаются. Она лестью и посулами заставляет Рауфа-парикмахера найти время, остригает себе челку наискось, укорачивает затылок, и когда все кончено, сама себя уже не узнает.

Куда Белоногов позовет ее?

Ей страшно в таком виде выйти из дому, страшно, но и одновременно очень хочется показаться так в свет. Она проводит перед зеркалом десять, пятнадцать минут, уверяя себя, что в таком образе ей подвластно все.

Пусть на нее все смотрят, как будто она голая, пусть ахают и хихикают у нее за спиной. Тот ресторан, где они ужинали в первый вечер, подойдет идеально: там затхло, как в Сретенском монастыре, а Катя сегодня чувствует себя Жанной Д'Арк.

— Куда мы едем? — спрашивает она у шофера, едва сев в белоноговский лимужин.

— На Софийскую набережную, — отвечает тот. — Домой.

Проезжают мимо Большого, проезжают мимо Лубянки, проезжают мимо Старой площади, спускаются к замерзшей реке. Едут вокруг Кремля, под его красными стенами, под его золотыми орлами. Заезжают на Каменный мост, разворачиваются у Дома на набережной, ныне известного, как ЖК «Дворянское гнездо».

Но у Белоногова апартаменты по другую сторону от этого дворянства.

...Когда Катя проходит к нему в кабинет, окна в нем уже плотно зашторены. На князе шелковый халат с тонким узором, шея прикрыта платком, волосы забраны назад. Он сух, подтянут, и со спины можно было бы ему дать лет, ну, пятьдесят — так она себе говорит.

Помощника Белоногов прогоняет как муху, взмахом руки. Двери запирает изнутри сам. Останавливается напротив нее с бокалом виски.

— Я думала, мы поужинаем с вами где-то...

— Интересный образ.

— Спасибо. Мне идет? — спрашивает она его, хотя зарекалась спрашивать его об этом.

— Очень. Давайте пальто, — он помогает ей раздеться и отступает на шаг. — Выпейте.

Катя берет бокал.

— Андрей Алексеевич. Я... Я хотела попросить вас за Антонину Рублеву, — выговаривает она. — Ее арестовала Охранка.

Белоногов меряет ее взглядом.

— Я знаю.

— Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы ее отпустили? Она сморозила глупость, но это была просто глупость, а на нее донесли и наверняка все еще раздули...

— Я все знаю.

— И что?

Он пожимает плечами.

— Но вы же были с ней близки!

— Вы за этим сюда приехали? — как бы лениво спрашивает он. — За нее просить?

— Нет, но... За этим тоже.

— Вы меня все время просите о чем-то, — говорит Белоногов. — И все время не о том. Почему вы это делаете?

— Что вы имеете в виду?

— Видите ли, я исполняю не все желания. Я как Дроссельмейер. Обладаю даром оживлять кукол, превращать их в людей. Но только потому что в живых людей играть интересней.

Белоногов берет ее за руку и манит — она думает, что к оттоманке, но нет — к высокому торшеру, единственному яркому пятну в полутемном кабинете. Подведя Катю к источнику света, он становится так, чтобы лучше видеть ее лицо.

— Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть.

— Я и не пытаюсь...

— Мне нравятся как раз мерзавки.

— Что?!

Он проводит большим пальцем по ее скуле, по ее щеке, останавливается в уголке рта.

— По поводу Антонины. Каков бы ни был у примы покровитель, после такой мерзкой инсинуации он ее у Охранного отделения отбить не сможет, — говорит Белоногов, не спуская с Кати глаз. — Она погибла.

Катя молчит, не зная, как ей теперь высказать то, за чем она приехала сюда помимо бедной Тоньки. Страхивать с себя его руку она боится.

— Все? — спрашивает у нее князь.

— Нет. Нет. Это ведь вы способствовали тому, чтобы мне предложили дублировать ее в заглавной роли «Щелкунчика»?

— Вот, — одобряет он. — Вот теперь. И? И что же?

И вдавливая свой большой палец ей в рот. Она послушно открывает его. Палец шершавый, на вкус кислый, воняет табаком.

— И что теперь будет с этой ролью? — невнятно произносит она.

— А что теперь с ней будет? — он тянет своим пальцем ей щеку.

— Кто будет ее танцевать? — говорит она с рыболовным крючком в щеке.

Белоногов усмехается. Катя стоит перед ним с этой своей косой челкой, в марсианском французском платье, которому никто так и не поразился, в сапожках на каблуке. Просительница. Он вытаскивает палец у нее изо рта и отирает его о халат.

— Раздевайтесь.

— Что?

— Снимайте это дурацкое платье. Это кутюр, а не прет-а-порте, в реальной жизни такое никто не носит. Нет-нет, сапоги оставьте. Только платье.

Катя, уже как голая, принимается нашаривать сама крючочки, которые должен был бы мужчина по ее подсказке находить, неловко отстегивает их, в торшерном свете чувствуя себя так, как будто это ее на Лубянку забрали и там раздевают — то ли чтобы швырнуть ей после тюремную робу, то ли чтобы сразу поставить к стенке.

— Белье тоже. Сапоги оставьте.

Она послушно спускает трусики, переступая через них каблуками, и отдает ему вслед за платьем. Он стоит молча, глядя на нее. В кабинете тепло, но Катя слышит, как по телу бегут мурашки.

— Не прикрывайтесь. Чего мы там не видали. Вот так. За спину руки.

Потом и он распахивает свой халат: вся грудь седая, живот седой. Снимает с шеи этот свой шелковый платок.

Шея под платком у него оказывается морщинистая, как у черепахи, с провисающими от самого подбородка двумя долгими кожистыми складками. Он очень стар.

— Стань на колени, — велит он ей. — Ну-ну. Не брезгуй. Ты ведь не из брезгливых. Я сразу это понял, когда тебя увидел. Там, на сцене. С этими цветами.

## 15

Танюша будит ее осторожно, в глазах у нее испуг.

— Катя... Катя...

— Ты что, мать? Всего девять только, мне сегодня до обеда спать можно!

— Я пошла за хлебом за свежим с утра, решила газету прихватить, «Ведомости», там киоск рядом. И вот тут... Такое.

Катя еле продирает глаза, переворачивается и рывком садится. Разворачивает желтые газетные листы, все в пятнах от растаявших снежинок.

— Приготовления к канонизации покойного императора Михаила Геннадьевича идут полным ходом... Первый из причисленных к лику святых нового русского государства... Переброска казачьих войск в Москву с юга является давно запланированной, поэтому... Предновогодняя премьера нового «Щелкунчика» Владимира Варнавы обещает стать главным светским событием декабря... Это, да? Обещают присутствие самого Государя... Ничего себе.

— Нет, не там. Вот, внизу, маленькая, — Танюша находит нужное место, тычет толстым пальцем.

«Заместитель министра торговли, тайный советник князь А. Белоногов был арестован сегодня по подозрению в государственной измене. Согласно сведениям, имеющимся у «Ведомостей», Белоногова содержат в следственном изоляторе Охранного отделения на Лубянской площади. Его арест — не первый в цепи подобных событий, которые наблюдатели называют «чисткой дворянства», хотя к фигуре такого масштаба правоохранители еще не подбирались. Первый министр князь Орехов уже объявил о том, что Белоногов отставлен со своей должности в правительстве, так как предъявленные ему обвинения слишком серьезны...»

Катя откладывает газету, нет больше сил читать.

Танюша зовет ее беззвучно, комната идет волной.

Накатывает предощущение скорой гибели. Поднимается черная стена впереди, но бежать Кате некуда, она должна будет покорно пойти к этой стене и войти в нее.

В три тысячи третий раз она идет одним маршрутом — из Леонтьевского переулка к Большому театру. Сначала вниз по Тверской, потом на ту сторону, потом по Камергерскому мимо МХАТа, потом по Дмитровке вниз.

Думает больше всего о том, как все глупо было, и как мерзко, и как зря. Думает, к чему ей сейчас готовиться — к тому, что ее высмеют в раздевалке? Или вышвырнут вообще из балета вон?

Она поспешно переодевается, ни на кого не глядя, мышкой бежит в репетиционный зал, становится к станку, держится за него обеими руками, видит в зеркалах свое идиотское отражение: косую эту челку, отстриженную под злосчастное платье из несуществующего мира, свое испуганное лицо, круги под глазами.

— Катя. Бирюкова. Тебя к Филиппову вызывают, — подходит к ней Варнава.

Катя вцепляется в поручень станка, как будто поднимается ураган, и если она за него сейчас не удержится, то ее снесет прямо в пасть смерти.

— Иди.

И ее несет туда — вверх по мраморной лестнице, вглубь устланных багряными паласами коридоров, мимо огромных окон, через которые нейдет живой свет, в кабинет за дубовой дверью. Ничего не соображая, она входит внутрь.

Филиппов, поправляя сальные волосы, утирая гнойные подглазные мешки, командует ей сесть. Рядом с ним стоит тот самый кощей с маскарада в американском посольстве. Только сейчас на нем форма не бутафорская, а настоящая — форма Охранного отделения. Сидит на нем как влитая.

— Моя фамилия Клятышев, — говорит он. — Мы с вами встречались.

Катя понимает: она не того боялась.

Глупостей каких-то боялась, какой-то чудовищной ерунды — потерять роль, потерять работу. Сейчас ее просто сомнут, как бумажку, порвут на клочки, как Антонину, бросят в мусор и забудут. Ни за что, просто за компанию, просто заодно.

— Можно, я сяду? Мне нехорошо, — просит она.

— Присядьте, присядьте, отчего нет.

— Я ничего не делала, — лепечет Катя.

— Генерал Клятышев хотел сообщить вам, если вы еще не знали, что ваш покровитель князь Белоногов сегодня был арестован.

Катя сразу решает не отпираться.

— Я читала. В «Ведомостях».

— Помимо прочего, мы подозреваем князя в разглашении государственной тайны. Катерина Александровна, не приходилось ли вам слышать от него что-либо касаясь секретного оружия, которое было использовано в ходе гражданской войны для усмирения мятежников?

— Нет!

— Может быть, какие-то сплетни от него слышали, порочащие честь и достоинство покойного государя императора Михаила Геннадьевича?

— Нет, — говорит Катя. — Нет! Мы просто виделись несколько раз... Всего несколько раз...

— Виделись несколько раз. В том, что касается причин геноцида в отношении русских сообществ за рубежом, катастрофы русского мира, говорил ли он вам что-либо, подобное тому, что нам вместе пришлось слышать на том мероприятии?

— Нет! Мы не обсуждали политику! Мы не были так близки!

— Не были близки.

Клятышев начинает ее изучать с глаз, но потом сползает на тонкую шею с замазанными синяками, на маленькую Катину грудь под репетиционной фуфайкой, на живот куда-то — медленно, по-удавьи, железно. Тонкие губы кривятся в кислой улыбочке. Потом он так же неспешно возвращает свой тяжелый чешуйчатый взгляд обратно на ее лицо.

— Ну а касаясь жениха вашего, подъесаула, кажется, Лисицына Юрия. Он с вами не связывался в последнее время?

— Нет, — Катя старается не моргать. — С ним все в порядке?

И генерал не мигает — жует только что-то как будто. Тянутся секунды.

— На этом все. Можете идти, — решает Клятышев.

Катя встает.

— Куда идти?

— На репетицию, наверное, — пожимает огромными плечами Филиппов. — Откуда пришла, туда и иди.

Катя держится руками за дверь, ее шатает. Ей кажется, что в коридоре ее ждут люди в форме, что Клятышев и Филиппов отпускают ее только в шутку, а когда она поверит, что спасена, крикнут арестовать ее.

— Мне продолжать репетировать?

— Продолжай, репетируй. Да, Василий Ильич?

— А в чем, собственно, вопрос? — нацеливает свой острый подборок на Катю Клятышев.

— Катерина у нас готовилась танцевать заглавную роль в новом «Щелкунчике». Собиралась заменить Антонину Рублеву.

Клятышев растягивает тонкие губы, скалит желтые крупные зубы, прокуренные и больные.

— А, Рублева. Да, Рублева. Рублева хороша. Она-то, собственно, на Белоногова нам показания и дала. Да.

Холодная жуть колыхается у Кати в груди, к горлу подступает, когда Клятышев отвлекается от нее, оборачивает свои рыбы глаза внутрь, чтобы вспомнить Тоню. Она почтительно молчит, давая ему вернуться из допросной обратно в Филипповский кабинет.

— Нет, к исполнению своих ролей она в ближайшие годы не вернется. А что касается вас, то к вам у нас — на данный момент — вопросов больше нет, Катерина Александровна. Да. Так что идите пока, пока танцуйте.

# Шихруп

## 1

Лисицын открывает глаза.

Холодно. Полумрак. В нем — странные формы: вроде бы велосипедные колеса, ящики какие-то, ржавый каркас маленькой нелепой машины. Окошко с решеткой, через него влезает в этот гараж чуть-чуть света. Места свободного мало, Лисицын лежит на разваленных старых покрышках.

Он встает, едва не ушибившись макушкой о низкий потолок, находит дверь. Заперта — изнутри. Заложена засовом каким-то, что ли. Стучит в нее — перевязанными руками. Почему перевязаны? И кровь сквозь тряпки.

— Эй! Эй! Есть там кто?

Кто-то мелькает в оконце. Он вскидывается, подходит: женское лицо вроде там, за грязным стеклом, девчоночье. На мгновение ему кажется, будто это Катино лицо, по которому он уже стосковался — и вроде бы только что видел его, во сне? Но откуда ей тут взяться? Он прогоняет наваждение, но девчонка в окне продолжает его разглядывать. Другая какая-то девочка, знакомая и нет.

Лисицын тогда — чтобы не напугать — улыбается в это окошко. Сквозь грязь к нему приглядываются настороженно. Потом она исчезает. Юра чертыхается, но тут дверной засов начинает скрежетать, громыхает снаружи навесной замок.

Открывается дверь. Лисицын за это время успевает уже сжаться, подготовиться к броску, и сбивает возникший в светлом квадрате силуэт, как мишень в тире. Валит наземь, придавливает, озирается сразу вокруг — где остальные? И только потом проверяет, кого поймал.

Знакомое лицо... Блондинка, молодая, лет двадцать с чем-то, волосы в хвост собраны, куртка красная, на спине рюкзачок. Вспомнил бы, если бы голова не трещала.

— Я Мишель! — каким-то странным, неживым голосом говорит она — слишком громко. — Я девушка Саши Кригова.

Саши Кригова. Точно. Лисицын ослабляет хватку.

— А Сашка где? — спрашивает он строго.



— Я не слышу, — хрипит она. — Я оглохла.

Но Лисицын сам уже знает: Кригов убит. Он стоял над Сашкиным телом во дворе Ярославского поста, помогал поднимать его в прицепленный вагон вместе с остальными погибшими.

Так. Он ведь командует сотней бойцов. У него поезд стоит на ростовском вокзале. Два вагона казаков и один с трупами.

Он разжимает руки, откатывается в сторону от девчонки, встает. Обводит ошалелым взглядом окрестности. Она тут, кажется, действительно одна. Дико хочется курить. Лисицын сует руку в карман, нашаривает россыпь семечек. Протягивает этой барышне, Мишели. Кивает ей.

— Будешь? Ростовские.

Она — глаза круглые, напуганные — аккуратно берет несколько семечек у него с ладони, но есть не спешит.

Юра шарит по поясу: ни нагайки, ни пистолета. Это что случилось-то?

— Где оружие мое?

Она не понимает, он показывает ей жестами. Она только плечами дергает: без понятия. Времени то ли утро, то ли вечер, какие-то сумерки. Ветра нету, небо сухое. Вокруг торчат ангары, гаражи.

— Я тебя еле нашла! — кричит она ему в лицо; ну не кричит, а так, слишком громко, как будто глухому, слова в уши вколачивает.

— Потихе! — Лисицын прикладывает палец к губам. — Я-то слышу все.

— Я тебя еле-еле нашла, — повторяет она более по-человечески. — Думала, все.

— А что случилось со мной? — по забывчивости спрашивает он у нее голосом, она мотает головой, пальцем водит по воздуху: напиши.

Он находит осколок кирпича, скрипит им по крашеному железу гаражной двери, как мелом по школьной доске: «Что со мной случилось?», а пока пишет, вспоминает какой-то школьный класс — парты перевернуты, доска исчеркана странными фразами, как будто кто-то мелом по грифелью разговаривал. Что там было? «Не слушай их главное!», «Не открывай»... Про бомбоубежище вроде еще, что там безопасно, имена какие-то... И вот, кстати... «Я оглохла». Было такое или кажется? Откуда вообще эти картинки перед глазами? Сон или увиденное наяву?

— Тут замес был! — забывшись, опять кричит Мишель. — Твои казаки друг против друга! Тебя вырубил, утащил куда-то! Я спряталась, видела. Потом кого убили, кто разбежался! Я пошла тебя искать! Ну вот нашла. Ты как, норм?

Лисицын поднимает перебинтованные руки, разглядывает их заново. Голова болит. Про казаков, которые друг друга убивали, он пока не понимает, стекловатой в башке думать трудно.

«Кто вырубил? Кто утащил?» — шкрябает он на двери.

— Твои кто-то! — девчонка размышляет, суетит глазами. — Может, одни тебя убить хотели, вышибли, а другие спрятали от них?

«Где они все?»

— Тут никого нет! Только мертвые!

— А ну, айда!

Он переступает на деревянных ногах — каждый шаг непросто дается, как будто после судорог — идет в обход этих гаражей и ангаров. Действительно, валяются. Сначала какой-то парнишка лицом в землю, в уголь и ломаные кирпичи, потом объемный мужик с серым лицом и пеной на губах. Лисицын оставивается. Нагибается. Переворачивает того, что лежит лицом в кирпичи. Закоченел совсем, по-пластунски лежит, по-пластунски и переворачивается. Подросток еще, половину лба снесло, в затылок ему стреляли. Брови в инее, глаза заледенели.

На втором полицейский бушлат с полковничьими погонами.

Мишель эта смотрит на них так, будто они свои. Чуть не плачет. И Лисицыну тоже они вроде бы кажутся знакомыми.

«Это кто?» — пишет он углем теперь по белесому кирпичу, неподалеку от кровавой полосы шириной в спину.

— Егор.

«А застрелил их кто?»

Мишель тычет ему в грудь пальцем: ты.

О как.

Он морщит лоб, пытается вспомнить, как их убивал. Приходит на ум мужик вот этот, оседающий как раз по стене, красящий ее в красный. Пистолет в руке с дымком. А, это было, да. А парня, кажется, кто-то из бойцов подстрелил? Когда тот деру дал. Но нет, встает перед глазами: пистолет, прицел, затылок. В лежачего. Тоже он, тоже Лисицын. Зачем?

— Он что-то кричал перед тем, как его расстреляли! — говорит Мишель без перепадов. — Что-то мне и вам кричал! Что он сказал, не помнишь?

Лисицын изучает обмороженное лицо. Напряженно думает. Выплывают из утренней дымки пятеро бойцов, построенных в ряд: расстрельная команда. Эти двое гавриков у гаражной стены. Так. Малец что-то кричал, правда.

«Послал нас на...» — выводит Лисицын на стене. Вспоминает: все ж таки девушка. И дописывает: «хер». Обводит стену глазами, чтобы та напомнила ему, как все было. «И еще сказал: хана теперь вашей Москве». Ну, не хана, конечно, а похлеще. Девушка, все ж таки.

## 2

— Нам надо с тобой в Москву! — так же ровно, громко говорит эта Мишель. — Мы должны с тобой поехать в Москву и все им там рассказать!

Голос у нее неприятный из-за того, что она нажимает не на те звуки.

Лисицын кивает, соглашается. Поедем, расскажем.

За что ж он их расстреливал-то? За ненависть, что ли, к Москве?

Он снова тупо разглядывает свои замотанные руки. Принимается разворачивать тряпки. Девчонка остановилась поодаль, выжидает. Последний слой ткани идет плохо, всох в кровь. Отрывать больно, но Юре почему-то надо знать, что с руками. Как будто тогда он поймет, что с ним с остальным произошло.

Руки искусаны. Глубокие раны, мясо видно, сукровица сочится. Он проворачивает бурые кулаки у себя перед глазами. Укус круглый, зубы тонкие. Человеческие. Начинает заматывать тряпье обратно.

Так. Так.

Впереди, на железнодорожной нитке, застряла дрезина. Рядом с ней валяется человеческий куль. Форма родная, казачья. Лисицын в этом своем мысленном вареве выплывает опять к тому, что девчонка сказала: казаки его поубивали друг друга. И самого Лисицына убить пытались. Это как?

Он начинает переставлять свои ноги, давит свое тело вперед — к железной дороге, к дрезине. С этой девчонкой тоже что-то странно. Что-то с ней неправильно, Лисицын это через стекловату наощупь знает. Что?

Вот и дрезина.

У нее, как у плахи, на коленях стоит казак. Одна рука у него с мясными лохмотьями выломана, рукав оторван, кость торчит. Голова свернута вбок, глаза вытаращены, волосы жидкие шевелятся, ветер их ерошит. Лисицын его припоминает: приказывал ему брать с собой четверых и спускаться с ним в подвал, в карцер. Так. А где остальные? У него сотня казаков была под командованием, где все остальные?

Ни в одну сторону, ни в другую в сумеречном поле никого не видно.

Теплый морок начинает раскутывать его, голова яснее, и мороз колет кожу: да ведь тут под его командованием случилось что-то страшное, что-то, что Лисицын, новоиспеченный подъесаул, допустил, чего не предусмотрел.

Он разлучает безрукого с дрезиной, сталкивает его на насыпь. Поднимает из грязи лишний автомат. Девчонка подбирается к нему ближе.

— Откуда мы приехали? — спрашивает у нее Лисицын.

Та машет рукой.

— Залезай.

— Поехали в Москву! — говорит она. — Нам в Москву надо!

Да, да, кивает он ей. Скоро поедем. На поезде поедем. Вместе со всеми.

Надо вернуться, бойцов собрать. И потом ехать уже. Давай, залезай, показывает он девчонке ствол. Она, опасливо косясь на автомат, забирается к Лисицыну на дрезину. Он дергает шнур, движок раскашливается, дымит сладким синим дымком, дрезина снимается с места.

Вокруг ни души, все недвижимо, как будто они едут по фотографии.

Почему она так смотрит на него?

### 3

Потому что он должен был ее тоже расстрелять. Это от сладкого дыма, от холодного ветра в лицо в голове проясняется немного.

Был приказ: убрать всех. Сурганов сказал — всех, кто выжил на ярославском посту, нужно в расход, никого не оставлять. И смотри, чтобы они не сговорились, добавил он. Лисицын тогда спросил у телефонной трубки: разве не нужно выяснить, что произошло в Ярославле? Мы взяли коменданта, Пирогова, он жив-здоров, везем его в Москву для допроса, он валяет ваньку, говорит, что знать ничего не знает, кроме того, что был поезд из-за моста, с другой стороны Волги, а в поезде туберкулезники, поэтому и красные кресты на бортах намалеваны, и люди из поезда требовали пропустить их в Москву на лечение. А дальше что случилось, комендант не знал. Как за решеткой оказался, не знал. Почему у него двор весь трупами завален, не знал тоже. Да знал, конечно же, только говорить не хотел! А вот парнишка говорил что-то... Про бесовскую молитву, про глухоту... Хватит, отрезал Сурганов. Всех под нож. Выполняй. Гудки.

Вокруг меня много людей, которые мне брешут, сказал Лисицыну Государь. А я хочу, чтобы ты мне правду рассказал. Съезди туда, узнай, что там на самом деле случилось, и все мне доложи.

Ярославских Лисицын приказал в темную запереть, чтобы по-своему, поглухонемому не болтали. Стал звонить в императорскую канцелярию: пусть Государь велит не казнить, разрешит повременить, допросить, доискаться правды. Пусть разрешит послушаться командира. Не соединяли. Просто так вот с улицы прозвониться Государю было невозможно. Лисицын требовал, умолял, угрожал — в итоге телефонист согласился только записать сообщение. Лисицын попросил императора перезвонить, сам понимая весь идиотизм ситуации. Но звонок ждал всю ночь.

На рассвете звонок раздался. Звонил Сурганов — ростовскому коменданту. Проверял, выполнен ли его приказ, все ли пущены в расход, отбыл ли казацкий

эшелон на Москву. Лисицын заставил коменданта соврать, поднял расстрельную команду и пошел в подвал за приговоренными. Вроде бы выполнял приказ, а ощущал так, что присоединился к заговорщикам, что предает царя.

— Вы всех наших убили? — спрашивает у Лисицына девчонка. — Кто из Ярославля пришел?

Он хмурится.

— Мы пришли с детьми. С нами дети были, трое. Маленькие совсем. Вы же их не убили, правда? — она смотрит так жалко на него, побито.

Лисицын размышляет. Вспоминает серое утро, наверное, сегодняшнее, но в то же время и совсем из какой-то прошлой жизни.

Нет, мотаает головой он, не убили. Девчонка кивает ему, счастливая.

— От детей же нет никакой опасности! Что они сделают? Это же просто дети. И они глухие все равно.

Про глухоту, да... Лисицын не думает больше о детях, думает о глухоте. Ведь этот пацан, которого он за гаражами кончил, объяснял ему, хотел рассказать...

— Как ты оглохла? — спрашивает он у девчонки.

Показывает на ее уши, она догадывается.

— Над ухом стрельнули! Потеряла слух! А детям мы сами выткнули! Гвоздиками проткнули им это... Барабанную перепонку! Чтобы они не заразились!

— Чем? Чем? — Лисицын сдвигает брови, крутит рукой, чертит буквы и вопросительный знак.

Девчонка съезживается. Выговаривает аккуратно и ровно:

— Бесовской молитвой. Ее в войну из Москвы наслали. Егор говорил, это секретное оружие. Она людей с ума сводит. И твои казаки... Их Полкан заразил. Комендант наш. Вот они друг друга и сожрали.

— Что за херь!

Если бы это было, если бы такое было, Сурганов знал бы. А если бы знал, должен бы был предупредить хотя бы Лисицына, как командира. Ни о каком секретном оружии речи ведь не шло! Так? Но о другом он его предупреждал: никого в Ярославле не слушать.

У Лисицына горчит во рту. Он отхаркивает слова этой съехавшей девки, но тягучая харкота падает ему на сапог.

Почему он ее не кончил там, вместе со всеми?

Потому что она беременна от Сашки. От его Сашки. Потому что сам Сашка в вагоне лежит, ооченевший. Потому что он так же вот поехал — туда, никуда — и сгинул. Что-то с ним случилось такое, к чему он тоже оказался не готов. О чем его, может, тоже не предупредили, посылая в последний поход.

Но что-то Сурганов должен был все-таки знать, раз сказал ему всех убрать до единого. Лисицын спросил: а как же ж детей? Всех под нож, вот как. Исполняй.

К детям-то они к первым зашли.

— Прости меня, Господи.

У Лисицына был в руках его ПС, с ним были еще трое. Зажгли свет. Рано еще было, дети просыпаться не хотели. Сбились, как щенята, вместе, спали клубком друг на друге.

Иваков спросил, будить или так.

В дверях торчала нянька приставная, увязалась зачем-то за конвоем. И от коменданта ключник, который их сюда проводил. Нянька стала звать детей от дверей, забыла, что они глухие.

Лисицын подумал, что вести их он никуда сейчас не станет. Стоял с пересохшим ртом, смотрел на них: дрыхли как убитые.

Нянька сказала, что детей вчера помыли и переодели. Спросила, нужно ли им теплую одежду с собой. Лисицын скомандовал Ивакову вытолкать ее взашей. А Гончаруку — стрелять. Прямо тут, пока не проснулись.

Гончарук вылупился на него, ствол нацелил и стоял. Нянька вой подняла. Сурганов это приказал. Сурганов и грех на себя взял. А Государь не отменил приказа. Сурганов сказал: всех. А детей? Всех.

Голова взрывалась. Гончарук все мялся. Нянька визжала в коридоре, дралась там с Иваковым. Глухие дети ничего не слышали, спали. Лисицын вскинул руку и выстрелил в клубок несколько раз. Грохнуло невыносимо. Клубок пошел велился. Тогда только Гончарук тоже сделал, что надо. Уже не так громко. В ушах звенело.

Это Сурганов. Это приказ. Пришлось самому. Пришлось грех на душу. Нянька вопила истошно. Лисицын крикнул Ивакову ее заткнуть. Тот ее ударил, что ли. Замолчала. На полу стихло.

В ушах звенело. Гончарук показал Лисицыну на рот. Тот утерся: кровь. Прокусил себе губу и не понял. Прибежали еще хлопцы. Лисицын скомандовал им убрать в камере, унести этих. Они взяли себе каждый на руки по одному, понесли их так, будто баюкали, спать укладывали. Две были девочки. Один казак своей даже голову поддерживал зачем-то, хотя там уже было все. На пол капало.

Лисицын стоял умерший. Как лунатик. Прости меня, Господи.

Сурганов приказал. Ему лучше видно. Он сказал, Лисицын выполнил.

Гончарук спросил, что дальше делать. Проснулся.

Дальше надо было разбираться со взрослыми.

Открыли, вывели, повезли. Ярославский комендант начал было молоть какую-то чушь. Заткнули ему рот тряпкой.

Мужиков кончили за гаражами, девчонку он пожалел.

Потому что она была от Сашки Кригова беременна. И вот еще почему, вспоминает сейчас Лисицын: чтобы она ему потом объяснила, что тут вообще творится. Потому что Государь лично велел ему — разобраться.

## 4

— Херь несешь!

Девчонка с рюкзачком отворачивается.

Вокзал.

Вон он, поднимается из грязной земли, сам грязно-белый, как тающая льдина. Их эшелон стоит на пути, фары мертвые; и все вокруг тоже безжизненно. Не горят окна, не курится дым, ватная тишина обкладывает их со всех сторон, только тарыхтение дрезинного мотора ее треплет. Хочется движок поскорей заглушить, чтобы не выдавал их. Хотя — кому?

Некому. Казаков нет. Местных нет тоже.

Черная ручища сдавливает Лисицыну горло. Где его бойцы? Где люди, которыми ему доверили командовать, за которых ему теперь отвечать? Если и вправду с ними что-то случилось, Лисицына ждет трибунал.

Дрезина подходит к платформе, он глушит двигатель и берет автомат на изготовку. Девчонка жметесь, сидит вся бледная. Мотает головой: я с тобой не пойду; и все-таки вылезает за Лисицыным следом.

Осторожно приближаются к зданию. Вокзал молчит, панорамные окна зеркалят хилое закатное солнце. Прежде, чем дернуть закрытую дверь, Лисицын подходит к окну, прикладывает ладонь козырьком ко лбу, заглядывает в это мутное зеркало.

Сначала не может увидеть: глаза пока привыкают.

Потом они начинают видеть, но не понимают, что же они такое видят, и Лисицын продолжает всматриваться в какое-то белесое шевеление, постепенно узнавая в нем людей и чувствуя, как внутри у него все обмирает, как перекручивает кишки и начинает колотиться как сумасшедшее притихшее было сердце.

Зал ожидания, чуть-чуть подсвеченный багровым через грязное стекло...

В этом мерклом освещении кишит человеческая масса. Тут его казаки, почти вся сотня на месте. Многие голые, на ком-то только сапоги или только папаха. В начале казалось, что кишит без всякого смысла, но Лисицын потом разглядывает этот смысл.

Это хоровод. Даже несколько хороводов, один внутри другого.

В самом большом, внешнем круге, люди — сплошь мужчины, одни лисицынские бойцы — ползут голым брюхом по грязному полу. Против часовой стрелки ползут друг за другом, стараясь уцепиться за пятки того, кто впереди. Бесконечно, не останавливаясь.

Внутри этого круга другой, поменьше, закрученный в обратную сторону: голые люди и люди в форменном рванье спешат друг за другом по-собачьи, на четвереньках, по-собачьи же утыкаясь носами в белые задницы тех, кто впереди.

Внутри второго круга — третий. В нем его казаки бредут, взявшись за руки и сторбившись в поклоне. Кажется, силы их на исходе, потому что некоторые еле тащат ноги, другим приходится их поддерживать. Движение там опять против часовой... И все перемазаны в чем-то.

А в середине этого всего круговорота стоят неподвижно трое. Как веретено, как мировая ось. Стоят, склоняясь друг к другу. Упираясь лбом в лоб. У одного в руках шашка — такая, как сотнику положена. И они — все трое — темнокожие. Откуда тут нерусские?

Хочется смотреть.

Кто-то тревожит Лисицына, зовет его. Он вскидывается, ниточки, на которых сердце к прочей требухе привязано, рвутся, все ухает вниз.

Девчонка эта. Тянет его за руку, ревет, просит уйти.

Лисицын ее одергивает. Ему надо понять, он должен понять, что тут творится. Его за этим сюда Государь отправил — чтобы понять. Чтобы своими глазами... И лично доложить.

Один из ползущих вдруг встает на четвереньки и входит в круг поменьше. А один из тех, кто по-собачьи бежал, им вытесненный, поднимается на ноги и примыкает к внутреннему кругу. А из внутреннего круга один человек распрямляется и вступает в самый центр, где стоят, обнявшись, трое.

Один из трех передает ему шашку. Двое других берут того, кто разоружился, за руки. Тот, кто только что вошел к ним, делает один замах — и сносит ему голову. Одним ударом сносит. Чудовищной силы должен быть удар. Кровь фонтаном бьет вверх. Сверху льется вниз на этих трех. Отвалившаяся голова теряется в хороводе. Но безголовый не падает, продолжает стоять — его другие трое обнимают, поддерживают.

Фонтан бьет толчками, красит танцующих в ближнем круге, потом становится слабее, слабее, наконец иссыкает.

Когда крови не остается, трое в центре передают обезглавленного тем, кто хороводит — и те тащат его по кругу с собой, поддерживая его за бессильные, поникшие руки.

Потом его передают ниже: там он тоже мешает, и его, прокрутив раз или два, выпихивают наружу, в круг ползущих.

Те переваливаются через вялое туловище, постепенно сдвигая его со своего пути, убирая на обочину — туда, где валяются другие такие же выжатые красные мешки.

И тогда один из ползущих во внешнем круге встает на четвереньки и присоединяется к тем, кто бежит по-собачьи. Нижний круг ужимается немного.

Все три жернова вращаются сразу, одновременно, каждый внутри знает, что делать, никто не сомневается и не сбивается. Глаза смотрят прямо, губы шевелятся. Что они делают, спрашивает Лисицын. Они делают что-то, но что это?



Какое-то мычание слышится оттуда. Гудение роя. Хор. Лисицын вслушивается.

Странное чувство роется внутри, как червь, как цепень. Что все это, все, что происходит в вокзальной витрине, эта вся жуть — это правильно, это имеет цель, имеет смысл, который нужно разгадать, а чтобы разгадать, надо смотреть дальше.

Чирк — летит новая голова.

Какой фантастической силы удар! А бил уже другой человек. Кто их так учил?

Они его не замечают, а Лисицын — против здравого смысла, против закона самосохранения — хочет, чтобы заметили. Что они там поют?

Соленая слюна внезапно заполняет рот, Лисицын в последний момент наклоняется, и едкая жижа, расцарапав ему горло, выплескивается изо рта на землю. Он смотрит на девчонку. Утирается рукавом.

— Что за шайтан там творится?!

— Пойдем! Пойдем! — просит она, плача. — Не надо тут... Пойдем!

Он качает головой. Поднимает руку, стучит по стеклу.

Там наконец обращают на него внимание. Останавливается один круг, останавливается второй, замирает третий. На Лисицына наводятся глаза — немигающие, чучельные. Потом ближайший к окну человек — рыжий молодой парень — берет разбег и рвет с места прямо на Лисицына, как будто между ними нет толстого стекла; влетает в окно, ломая себе нос и пачкая стекло красным. Отходит — и снова бросается вперед; по стеклу бегут трещины. Другой — Гончарук! — и тоже бежит сквозь стеклянную стену, потом третий — девчонка вопит, дергает Лисицына за рукав, лепит ему пощечину — и только тогда тот пробуждается.

Они кидаются к дрезине — позади звенит выбитое стекло; вываливаются на холод голые люди в красном. Несутся к ним — быстрее, чем может бежать человек — Лисицын дергает шнур: раз, два, три — дрезина сдвигается с места нехотя, неторопливо, перемазанные твари летят к ним, спрыгивают с перрона на пути, с ходу приноравливаются под дробленный шаг шпал, почти что их настигают, Лисицын еле успевает вскинуть автомат, давит крючок, черная сталь прыгает в руках, гильзы мельтешат, спотыкается один голый человек, другой — но их там десяток гонится за дрезинной, кто-то отстает, кто-то падает, кончаются патроны, а двое еще остаются на ногах, скачут дикими невозможными скачками, по воздуху летят, потом один еще вырывается вперед — Задорожный.

Лисицын готовится к тому, что тот сейчас заскочит на дрезину, мелькает мысль — как бороться с ними, если у них такая силища — но Задорожный только пристраивается в нескольких шагах и сцепляется с Лисицыным взглядами. Открывает рот, закрывает. Что-то говорит?

— Отвали! — орет ему Лисицын, перехватывая автомат как дубинку, за ствол, чтобы бить прикладом.

Задорожный ему отвечает, но таракание мотора и свист ветра забивают его, глушат.

И все же что-то долетает до Лисицына, доходит. Обрывки.

— Что? — спрашивает он у Задорожного. — Что?!

Тот по пояс одет, похож на человека, на ногах сапоги, поэтому, наверное, и бежит до сих пор, когда остальные отстали.

— Повтори! Повтори!

— Аваааадоооншшиииихрууууурмааааавет...

Лисицына охватывает оцепенение — а по телу разливается блаженное тепло.

Слова становятся четче, разделяются, распускаются и расцветают... Задорожный повторяет, повторяет, как Лисицын и просил, хочет ему свое знание передать, сообщить...

И вдруг кувыркается и пропадает.

Лисицын вздрагивает. Зачарованно смотрит в темноту, которая так внезапно слизнула Задорожного. Потом оглядывается. Это выстрел был. Его выстрел разбудил.

За спиной у него стоит эта девчонка — Мишель. Под ногами у нее валяется раскрытый школьный рюкзак. В вытянутых тонких руках дрожит его, лисицынский, потерянный «Стечкин».

## 5

Стоят эти человечьи жернова перед глазами, куда ни глянь: кожаные грязные шестерни трутся друг о друга руками-зубцами, перемалывают помаленьку сами себя. На Кавказе Лисицын видывал разное, но всему этому разному, постаравшись, можно было придумать объяснение. А тут никакого объяснения нет — это просто ад пришел на землю.

Они переродились все во что-то, в нелюдей, его бойцы. Он бросил их, да, но спасти там больше было некого. В Ростове этом жутком, стылом, который с его родным теплым донским Ростовом носил одно имя, больше уже никого, наверное, не осталось. Все были такие вот... Как Задорожный.

И никто Лисицына к этому не готовил, кроме того пацаненка, которого он за гаражами пристрелил. И девчонки этой.

Он убирает в кобуру отнятый у нее пистолет. Сказала, на земле подобрала, за себя боялась. Хитрит, сучка мелкая... Хотя можно и понять. Если она там и впрямь видела, как его казаки драли друг друга на части...

Лисицын застегивает кобуру. Девчонка протягивает ему что-то — в кулаке, потом разжимает пальцы. Он достает зажигалку, чиркает колесиком, капают теплым светом ей на грязную ладонь.

Там лежат два тонких мебельных гвоздя с широкими латунными шляпками. Острые у гвоздиков испачкано.

— Это что? — спрашивает он.

Дрезина кочумает по темноте, фонаря ее хватает недалеко, по бокам от железной дороги сгрудился лес, налезает, напирает — потом расступается, мелькает переезд, мелькает пустой поселок — почему пустой, когда по пути туда, вроде, все обитаемыми были? — и снова деревья сдвигаются ближе, и в деревьях может что угодно спрятаться.

— Что это? — повторяет Лисицын и пишет ей по воздуху, как Мишель его научила; подсвечивает себе зажигалкой — но потом та вскипает и ошпаривает ему руку.

— Выткни себе уши! Вот так! Проколи!

Она берет гвоздики, вкладывает их в свои ушные раковины жалом внутрь, показывает, как с замаха хлопнуть по ушам ладонями.

— Чтобы их не слышать! Чтобы не слышать одержимых!

Лисицын берет гвозди. Рассматривает их. Качает головой. Она понимает, что он отказывается.

— Почему?! Тебе надо! Иначе ты тоже съедешь, как они все!

— Ничего... Как-нибудь сдюжим. Авось и не съеду.

— Что?!

— Ты хоть это себе как видишь, милая? Куда ж я без ушей-то? Что ж я за солдат такой, к херам, буду, что за командир? Это ж инвалидность, это под списание!

— Что?! Я тебя не слышу!

— А то ж, блядь! То ж, моя ты хорошая! Куда я с дырявыми ушами пойду?! В штабе — писарем? Да и то! Писарь же ж под диктовку должен, а как мне диктовать-то будут? Это все, это на пасеку только, с пчелами разговаривать! Не! Неее! Я — казак, понимаешь ты? Казак! А так — кем я буду?!

— Тебе нужно их выткнуть! Уши! Иначе ты заразишься! Все заражаются! Если бы они с тобой минуту вот так поговорили — все! Пиздец! — кричит ему девчонка. — Ты же видел! Ты же сам видел!

— Видел! Да! И что?! Видел, слышал! И ничего — вот же ж я, стою, нормальный, с тобой разговоры разговариваю! Не, сестренка, в пизду твои гвозди!

Он замахивается, чтобы забросить гвоздики в темноту, но девчонка перехватывает его руку, отгибает пальцы с бешеной силой и забирает свои гвоздики обратно.

Лисицын кривит лицо, запахивается поплотней. Зябко тут, ветер колет.

Уезжал бравым подъесаулом — а вернуться глухим инвалидом? Тогда о Кате можно будет забыть. Она не зря ему про маршальский жезл в ранце с самого начала сообщила: такие если за лейтенанта и пойдут, то только чтобы со временем до генеральши вырасти. Списанный в запас глухарь ее достоин не будет, она в Императорском балете танцует, ей нужна партия под стать. Дай ему Бог еще от трибунала за погибших бойцов отвертеться, дай Бог, чтобы его правде в Москве поверил хоть кто-то...

Нет, братцы, возвращаться надо с острым слухом и чистой головой. Потому что против него будут те, кто его отправлял на верную смерть. И его, и до него — Сашку Кригова. Мятежники там, бунт... Какой, к херам, бунт?!

Знал Сурганов, на что его посылает? Знал.

Когда говорил — никого там не слушай, когда Кригова пристрелить предлагал — знал. Тогда почему честно не предупредил? Почему не проинструировал, как с этой дрянью бороться?

Сурганов и виноват во всем. И те, кто там с ним еще заодно. Предал Лисицына, предал его бойцов — зачем?! Опыт, может, хотел на них поставить? Справятся они или нет с этими тварями?

Сурганов. Это таких, как он, под трибунал надо, вешать надо. Крыса штабная, костолом подвальный. Вот, сотню казачью положили. Такого ждал результата?! Доволен, мразь?!

И в том, когда детские головы у казаков с рук свисали, болтались, и остальное там, в камере, и что казаки его превратились в эту кашу, в этот улей, и что Задорожный за ним бежал со страшной харей... В этом тоже его вина. Почему нельзя было сказать, куда их отправляют?! Может, были бы все они живы!

И не распространялась бы эта зараза вокруг них. И на Москву бы не ползла за Лисицыным по пятам.

Что бы там ни было, до Москвы надо добраться как можно быстрее. Если эта... Бесовская молитва... Дойдет туда раньше...

Он снова думает о Кате.

Катя на сцене Большого — склоняется за цветами, от пота мокрая насквозь, вся дрожащая от усталости и радости. Катя при свечном свете, тянущаяся губами к его губам, стонущая, невесомая... И у кремлевских стен — дерзкая, летучая, не для Лисицына Юрки созданная, но идущая с ним сквозь метель рука об руку.

Надо вернуться к ней. Надо ее от этого ада собой прикрыть.

Потом он вспоминает Задорожного: каким тот вчера уезжал из Москвы и каким стал. Лицо его, когда скакал по рельсам за дрезиной. Превратиться в такое... Лисицына передергивает. А что, если он не выдержит, что если ему не повезет — и с ним случится то же, что со всей его сотней случилось?

Что, если его найдут потом голым, изуродованным, с перекошенной харей, с вывернутыми руками, с раскрошенными зубами? Что Кате скажут – и скажут ли что-то? Каким она его запомнит? По последнему их разговору?

А если бы она увидела его обернувшимся? Таким, каким он увидел своих бойцов?

Нет... Если погибнуть, то так, чтобы она смогла вспоминать его без омерзения. Чтобы и после смерти она смогла его еще любить.

## 6

Они оторвались от погони хорошо: гнали час или больше, ехали все по по-рожной стране, один только раз проскочили огоньки. Когда проезжали их, девчонка обернулась на Лисицына.

– Не надо им сказать?! Остановиться, сказать им, чтобы уходили?!

Лисицын потер лоб.

– Надо в Москву. Москву надо предупредить, это главное. Москву, понимаешь?! – он показал ей, куда они ехали.

Она поежилась, провожая глазами огоньки, но поняла.

Так он и думал, что они обогнали волну, пока на путях не возник человек. Стоял, понурившись, спиной к ним. Дрезинная фара его достала, когда до него оставалось всего-то полсотни метров. Времени было в обрез. Лисицын крикнул ему, чтобы с путей сошел, но тот ничего не отвечал. Стоял, как сомнамбула, смирно.

Они успели с девчонкой переглянуться – та замотала головой: не тормози! – человек не шелохнулся, даже когда Лисицын в воздух пальнул – и они налетели на него на полном ходу, километрах на пятидесяти. Он хрустнул слышно, сложился, отлетел – Лисицын обернулся – и вроде бы двинулся за ними следом, уже сломанный – но было совсем темно, и наверняка сказать было нельзя.

После этого еще минут двадцать горючее бултыхается в баке, а потом движок начинает перхать и вскоре поддыхает. Фара засыпает тоже. Они соскакивают с дрезины и идут по оползающей насыпи в кромешной темноте; девчонка нашаривает его руку и крепко сжимает ее своими пальцами. Лисицын сначала не отвечает ей, потом вспоминает: она и глухая ведь еще, шайтан возьми, вот же ей должно быть страшно. Тогда он тоже позволяет себе немного ее пальцы стиснуть, чтобы она почувствовала человеческое тепло.

Сосны качаются и стонут, иной раз совсем по-звериному, ветер среди них ходит и выдувает что-то потустороннее. Тени, оторвавшись от веток и стволов, без спросу перескакивают туда-сюда.

И вот – впереди теплится что-то! Уличный фонарь на Богом забытом полустанке. Живо электричество, значит, и люди живут.

— Я больше не могу, — шепчет девчонка. — Я с утра на ногах, я упаду сейчас.

Они приближаются: кургузенький, на три покосившихся дома, поселок. Над- рываются собаки, носятся по проволоке вдоль кривого забора — огромные ов- чарки.

Лисицын выходит в желтое пятно под фонарем, догадываясь, что из дома, из темных окон, уже наверняка подглядывают — сквозь ажурно вязанные нечистые занавески. Глядят внимательно и опасливо.

— Хозяева! Императорские казахи войска! При исполнении! Не бойтесь! — уговаривает и их там, и сам себя Лисицын. — Пустите погреться!

Собаки перебивают, орут и скалятся, но у Лисицына хорошее чувство: если бы эти сюда добрались уже, собак бы тут не было. Сожрали бы их, или в клочья руками разорвали.

И точно — в сенях загорается свет. Визжат засовы, открывается осторожно дверь. На пороге стоит старый хрыч с карабином. Карабин, однако, на Лисицына не направляет, щурится через сломанные очки.

— Один?

— С девушкой.

— Урал! Фу! — осаживает собак старик. — Свои!

Они проходят в калитку, которая на честном слове держится, мимо глухо ры- чащей псины, по скрипучим поехавшим ступеням — в дом, в стариковскую обыч- ную кислятину. Затхло пахнет оканчивающаяся жизнь, невкусно, но все же — по- человечески. А за спиной, там, где темный Ростов, пахнет сейчас по-другому.

Обои в цветочек, изрезанная клеенка на столе, календарь с котятками за тот год, когда старикам еще хотелось время считать, на фольге сделанная картина — снежные вершины блестят алюминиевым снегом. Тут же при входе не то диван, не то кровать — на нем бабка присела сонная, в распашной вязаной кофте, щурится.

— Гости, Наталья! — кричит своей бабке старик.

— Здравствуйте! — говорит Лисицын.

В красном углу — Никола Чудотворец с седой бородой и медным нимбом, над ним — Богоматерь прильнула к младенцу, вокруг тоже фольга, внизу свечеч- ка. Фольга — дешевый способ сделать жизнь нарядней. Лисицын крестится на иконы.

— Ой, а я-то, я-то раздетая! — полошится старуха. — Дайте чай поставлю!

Поднимается на ноги не с первого раза — спросонья ее ведет, переставляет опухшие как валенки ноги, тащится в кухню, чем-то там гремит, пыхает голу- бой пропановый огонь, начинает постукивать, закипая, вода.

— Откуда вы? — спрашивает их дед. — Случилось что? На вас лица нет.

— С Ростова. Случилось, дед. Ты на девчонку не смотри, она не слышит.

— Меня зовут Мишель, — говорит та.

Не кричит, а еле слышно произносит, как будто через силу. В тепле она вдруг растаяла, потекла: смотрит вокруг блестящими глазами, крутит головой. Долгим взглядом провожает в кухню старуху, не спускает глаз со старика.

– Я Валерий Николаевич, – отвечает дед.

– Она не слышит, – напоминает ему Лисицын. – Контуженная. Скажи, Валерий Николаевич, тут как у вас, спокойно все пока?

– Все спокойно. А что будет? До границы вон сколько. А Москва близко.

– Все спокойно! – показывает Лисицын девчонке большой палец. – Можно отдохнуть!

– Что?

Лисицын опускается на стул. Нет сил опять по воздуху рисовать.

– А карандаша с бумагой нету? – спрашивает он у хозяина.

– Поищу.

– Ужинать будете? – кудахчет старуха. – Барыня-то твоя, глянь, еле на ногах стоит!

Свистит чайник. Старик приносит блокнот, ручку. Лисицын пишет девчонке, что тут все тихо, что можно переждать. Она присаживается на диван, закрывает глаза.

Лисицын крутит ручку и вдруг придумывает. Надо написать Кате письмо, вот что. Написать ей все то, что не успел сказать и держал при себе. Если убьют, или если он человеческий облик потеряет, то чтоб ей доставили.

Он рвет из блокнота желтые листки, зажимает ручку поудобней в непривычных пальцах и принимается рисовать буквы, сводить их в слова. В доме тепло, в нем не верится в то, что творится отсюда всего в паре десятков километров.

Бабка выносит им вареные яйца, масленку с мягким желтым маслом, краюху серую. Гладит девчонку по голове.

– Милая...

Та просыпается, озирается растерянно. Заглядывает Лисицыну через плечо в письмо.

– Кому пишешь?

– Девушке своей.

Девчонка по губам прочесть его слова не успевает, но успевает зато подглядеть – и кивает, улыбаясь. Лисицын хмурится, отгораживается.

– Посмотри-ка ты на себя, доча, – говорит девчонке старуха. – Вся-то ты уделалась. Пойдем-ка, пойдем, дам тебе хоть одежду чистую. И умоешься. Пойдем.

Та смотрит на нее беспомощно, потом встает. Лисицын дописывает наспех.

Из комнаты, где они гремят деревянными ящиками, девчонка бубнит:

– Вам надо собираться. Надо уходить отсюда.

— Так уж и надо. Погоди, не торопись, вот поешь еще, тогда поговорим. Нам-то куда спешить? Ну, хороши колготочки? Да что это, кровь у тебя тут?

Бабка выходит из комнаты, возвращается с чайником и тазом, запирает дверь за собой, дальше не слышно. Лисицын корпит над письмом, идет туго. Потом, дописав, возвращается медленно из заснеженной Москвы в настоящий мир.

Ловит деда — как бы дрезину реанимировать?

— У вас тут генератор же ж, да? Бензин или соляра? Электричество откуда?

— На ветру у нас.

— Та еб твою налево...

Бабы выходят из комнаты — задумчивые, растревоженные. Старуха силком усаживает девчонку за стол, подсовывает ей еду, та брыкается.

— Вам надо с нами уходить! — говорит опять она. — Они скоро сюда придут!

— Кто придет, доча?

Лисицын бьет крутое яйцо об угол стола, грязными пальцами очищает скорлупки.

— Руки бы помыл хоть! — расстраивается бабка. — А ты ешь, доча, ешь!

— Надо отсюда бежать!

— От кого? — хмурится старик.

Как им объяснить такое? Лисицын солит и откусывает яйцо: желток посерел, яйцо застрекает в горле. Пишет на бумажке адрес и адресата, убирает в карман.

Девчонка отодвигает угощение.

— Там идут... Там одержимые идут! Ярославля нет больше, и Ростова тоже нет, они сюда идут, пожалуйста!

В глазах у нее стоят слезы, она смотрит на старуху, та растерялась.

— Вам надо собираться, вам надо с нами уходить...

— Что ты такое говоришь, доча? Какие еще одержимые?

Старик тоже привстает, тревога и ему передается, бабка упрямо льет чай в сколотые чашки. Приходит серая в полосах кошка, выгибается дугой, трется о бабкину ногу в дырявых шерстяных колготках, урчит, просит жрать.

Девчонка давится словами, объясняет про одержимых. Лисицын льет в глотку кипяток молча: все равно не поверят. Наспех мажет маслом оторванный хлебный ломоть. У него такое чувство, будто это его последний прием пищи — скоро казнь; и вдруг, хотя есть уже незачем, зверский аппетит.

— Вы не верите мне, да? Спросите у него! — девчонка почти рыдает уже.

Лисицын тупо толкает в себя сухой желток. Время идет, а его силы оставили. Лампочка под потолком мигает. Жужжит снулая старая муха, которой позволили жить до весны. Если закрыть глаза, видно крутящуюся внутрь себя пирамиду из человеческих тел, видно, как головы слетают с плеч, а туловища стоят и выплевывают из себя кровь. И еще камеру, в которой дети спят, видно. Лисицын тол-



кает в себя серый желток, синий белок, хочет заставить проглотить это все, не запивая.

Старики переглядываются. Бабка крестится, горбится.

— Говорила я, что это им все вернется. Вот оно и возвращается.

Дед опускается на стул, как будто из него кости вынули.

— Так столько лет ничего не слышно было, — возражает ей он. — Я думал, все кончилось уж.

— Мы такое видели раньше, — объясняет старуха. — Чтобы люди друг друга с ума словами сводили и заживо ели.

— Где? Как? — вздрагивает Лисицын.

— А на том берегу. Мы оттуда ведь. Беженцы мы оттуда, в войну успели сюда.

— Что они говорят? — просит девчонка. — Что вы говорите?!

— Семей бежали. Сын успел нас на лодку посадить, тогда еще через реку можно было переправиться. Нас посадил, а сам вот так вот... Таким вот стал.

Кошка вспрыгивает Лисицыну на колени, трется загривком о грудь, заглядывает зелеными глазищами ему в глаза, мурлычет. Он отодвигает от себя пустую тарелку.

— Та откуда ж это все взялось?

— Москва выпустила. Москва против нас это слово применила, — кашляет дед. — Как сейчас помню, было. Через систему оповещения гражданской обороны. Со всех громкоговорителей. А потом сразу электричество пропало. Как-то они взломали электростанции из Москвы. И все, мрак начался. Быстро разошлось. Города сразу все лопнули. Дети родителей кушали, брат брата, и так все. Екаба в три дня не стало, говорят. Обращенные вмиг всех смели, потом танцы свои танцевали, потом друг друга стали харчить. Такие дела. Хорошо хоть, электричество отключили.

— Чего хорошего? — спрашивает Лисицын тупо.

— Да вот хотя бы сюда слово не перекинулось. Почему у тебя радио до сих пор в Москве в твоей нету нигде и телевизора? Интернета почему нет? Поэтому вот. Чтобы они оттуда нас обратно словом не заразили.

— Я ничего такого не слышал. Чтобы такое оружие было... Это же ж...

— Ну а мы вот слышали, — усмехается старик.

— Не верю, — говорит Лисицын.

Девчонка опять хватает бабку за руку.

— Собирайтесь! Они сюда идут!

— Ну идут, так и идут, — качает головой та. — Нету сил больше бежать, доча.

— Что? Почему?!

Кошка у Лисицына на коленях вдруг впивается ему в мясо когтями, уставившись куда-то в пустоту, в стену; шерсть у нее встает дыбом; просительное урчание

стихает. Присмотревшись, она издает странный звук — долгий, тихий, недобрый, а потом сигает на желтый шифоньер. Потом за окном начинают выть собаки.

Лисицын поднимается.

— Идем, — говорит он девчонке.

Та не выпускает руку старухи из своей. Бабка смотрит на нее тревожно и ласково.

— Идите, идите! — отмахивается она.

— Я одна не пойду! Я без тебя не пойду! — кричит старухе Мишель. — Я тебя тут не оставлю! Они сожрут вас! Они вас сожрут!

Лисицын проверяет, сколько осталось патронов.

— Я не дойду, доча, тут до ближних одиннадцать километров, а у меня ноги не ходят! — бабка показывает на свои валенки-ноги, устало качает головой. — Иди ты, у тебя ноги вон молодые...

Собаки на улице заходятся воем.

— Вас вот он понесет! — девчонка утирает кулаком воду из глаз. — Он здоровый! Понесешь?!

Лисицын выдыхает, вдыхает. Смотрит на эту Мишель. В груди что-то проворачивается.

— Та ну давай попробуем, — кивает он, понимая, что сейчас их всех обрекает.

— Вот! Он поможет!

— Брось! — решительно говорит Лисицыну дед. — Мы запремся тут, пересидим. Это просто бабская истерика. Идите, ну? Вон собаки уже все взбесились, не слышишь, что ли? Идите!

Старуха гладит руку Мишель, ведет ее к выходу. Та сопротивляется, но на пороге сдается. Достает из кармана свои эти гвоздики, хочет отдать бабке.

— Уши надо себе выколоть! Надо себе их выткнуть, чтобы не сойти с ума!

Но бабка закрывает ее пальцы, заставляет зажать гвоздики в кулаке.

— Я и так почти что глухая. Идите. Да у меня, если что, и иголки есть. Справимся. У каждого свое время, доча.

Она целует Мишель в лоб. Та вся трясется. Лисицын кидает на них последний взгляд.

— Не верю. Зачем им с людьми так было?

— Мы сами хотели, без Москвы жить. Не отпустить же им нас?

## 7

Они бегут по насыпи в темноте, держась за руки. Собаки подгоняют их воем; через некоторое время он превращается в лай, потом как будто бы в визг, потом

ветер задувает все звуки как свечку. Исчезает в темноте звездочка поселкового фонаря.

Луна задвинута облаками, молочный свет еле сочится через крохотные щели — это такая тьма, к которой глаза привыкнуть не могут. Рельсы под ногами отблескивают еле-еле, хорошо, что недавно казацкий эшелон отполировал их всеми своими тоннами. По этим отблескам они и идут.

Девчонка бубнит что-то, Лисицын прислушивается:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело  
 На переключке дружбы многих лет  
 Я вновь вернулся в край осиротелый  
 В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться  
 Той грустной радостью, что я остался жив?  
 Здесь даже мельница, бревенчатая птица  
 С крылом единственным стоит, глаза смежив

Я никому здесь не знаком  
 А те, что помнили, давно забыли  
 И там, где был когда-то отчий дом  
 Теперь лежит зола да слой дорожной пыли...

Потом она замолкает, повторяет последний абзац, пытаясь, наверное, вспомнить, что дальше, но сдается. Чернота валом катится следом, подгоняя их. Девчонка, которая недавно только падала с ног, теперь не отстает ни на шаг, только вцепляется в его пальцы все крепче, все отчаянней, боясь отпустить их даже на секунду, расцепиться — и потеряться.

Одна надежда, говорит себе Лисицын: что одержимые сойдут с пути или уснут стоя, как тот, которого они переехали. Задорожный гнался за ними гигантскими скачками с невообразимой скоростью, километров тридцать, а то и сорок; если эти твари возьмут их след, настигнут в считанные минуты.

И им везет: все два часа тьма клубится сзади, но не совершает броска. Может быть, пережевывает оставленный ими позади дом с двумя упрямыми стариками, которые брехали, что еще много лет назад бежали с того берега Волги от одержимых.

Почему Сурганов знает об этом, догадывается, а Государь не догадывается? Почему его держат в неведении? Потому что заговор. Заговор против царя.

Кто там в нем состоит, неизвестно, но заговор плетется. Контрразведка точно. Может, и Охранка, может, даже и казачий штаб.

Это ведь не Сурганов Лисицына выбрал для особого поручения, и не Сурганов выбрал Кригова. Государь их сам на награждении приглядел, и одного, и другого, и лично к себе выдернул. Чтобы помимо командования, помимо политического сыска и армейской контрразведки. Сам завербовал, пока другие не завербовали. И просил никому о своем особом поручении не говорить. Только лично доложить.

Так точно, шепчет себе Лисицын. Так точно, Всемилостивый государь. Благодарю за оказанное доверие. Не подведу.

А через два часа они выбредают к обитаемой станции.

За бетонным забором с колючей проволокой стоит крохотный вокзал, сделанный то ли как сказочный деревенский дом, то ли как изба сельсовета; станция называется «Берендеево», по пути туда Лисицын или проспал ее, или проглядел. Там тоже горит свет — пока.

Через ворота виден грузовик: «ГАЗ» с крытым кузовом.

Дороги тут должны уже начинаться нормальные, проходимые для грузового транспорта. От Александрова так точно — а это уже следующая станция, вспоминает Лисицын инструктаж.

Стучат в эти ворота; опять лают собаки. Без собак в глуши жить вообще невозможно: люди подкрадутся и сожрут.

Выходит к ним охрана, ватники вместо формы. Имперского флага нет, отмечает Лисицын. Это не пост, наверное, а так, прилепились какие-то человечешки к магистрали, чтобы в русский космос не унесло.

Видят на нем казачью форму, папаху и погоны, видят и кобуру — впускают.

Вокзал весь поделен на закоулки, вроде коммуналки. Где-то храпят, где-то ругаются. Войдя, Лисицын первым делом требует:

— Чей «ГАЗ» там стоит?

— А что? — спрашивают у него недоброжелательно.

Он поворачивается на голос.

— Та реквизирую. От имени Государя императора казачьих войск.

— О как! — смеются над ним.

— А вам всем подъем и на выход. Скоро тут рубилово будет.

Теперь люди просыпаются, подбираются поближе.

— В смысле — рубилово? Кого с кем?

— Вам надо уходить! — встревает Мишель. — Сюда одержимые идут!

Местные переглядываются.

— Какие одержимые еще? Ты че несешь?

Лисицын теряет терпение. Кладет руку на кобуру.

— Чья машина, спрашиваю? Сделал шаг вперед, ключи отдал! Кто хочет жить, может ехать с нами! Остальных схарчат, ну да это дело хозяйское.

— Казачок-то, а? Развоевался!

– Ты думаешь, нас твои погоны впечатляют очень, ты, хуй мамин? – всхрапывает жирный мужичина в не сходящемся пуховике. – Ты в Москве у себя командовать будешь такими же косплеерами, а тут повежливей-ка давай!

– Сюда сейчас придут одержимые! – настаивает глухая Мишель.

На нее глядят с интересом, плотноядно. Лисицын задвигает девчонку себе за спину. Вытаскивает свой ПС из кобуры.

– Ты у нас грузовик отнимешь, а чем мы жить потом будем? – причитает женщина какая-то. – Мы ей картоху в Москву на сбыт возим!

– Слышь, ваше благородие, давай, съебывай-ка ты на мороз. Мы тебя впустили, туда-сюда, по-людски, а ты у нас добро конфисковывать собрался...

– В Москве назад получите! – пытается увещевать их Лисицын.

– Государь император нам обратно ее отдаст? Ну и горазд же ты пиздеть! Пока что он только отнимал все!

– Не сметь о Государе! – Лисицын поднимает ствол. – Не сметь!

Вперед вылезает бородатый мужик, в руках у него охотничий карабин.

– Ты думаешь, напугал, что ль? Нет, брат, мы бояться-то знаешь, как устали...

По углам тоже шевеление, железо клацает.

– Не надо! – Мишель показывается из-за лисицынской спины. – Мы за вас же! Вам нужно всем приготовиться! Надо уши себе выткнуть! Вот, у меня есть тут... Гвоздики... Если будете слышать, то заразитесь от них... Вот так надо, смотрите...

– Девка ебанько! – говорит жирный. – Девку не трогаем!

– Наоборот! – советует кто-то. – Ебнутые, они ж с огоньком всегда!

Лисицыну становится жарко. Воротник шинели тесен становится, натирает шею, дышать не дает. Он щелкает предохранителем.

– Да на, на! Стреляй, сука! – жирный распахивает свой пуховик. – И здесь достали, да, гады?! Здесь своего царя будете в глотку нам пихать?! Где вообще без него жить-то тут можно? Нравится он вам – ну и ебитесь с ним в жопу! Куда еще-то бежать от вас, суки? На край земли?!

Марево красное.

Жернова. Кровь из шеи хлещет.

– Авааааадооон, – давит из себя Лисицын едкие, царапающие горло слова. – Шииниихррууууур.

## 8

– Она ждет тебя. Она любит тебя и ждет. Твоя Катя. Скучает по тебе. Ты же помнишь, какая она красивая? Помнишь, как вам было хорошо вместе? Тебе нужно проснуться, Юра. Тебе нужно снова стать, как раньше. Ради нее. Чтобы быть с ней вместе опять. Слышишь меня?

## Дмитрий Глуховский

Лисицын открывает глаза.

Что-то мешает смотреть. Хочет смахнуть, стереть грязь — рука не слушается. Хочет встать — и не может разогнуться. Наручники на запястье, к батарее пристегнуты. Потом все плывет...

— Юра! Ты слышишь меня? Кивни, если слышишь.

...Лисицын снова приходит в себя, снова заставляет себя разлепить опухшие веки, кивает тяжелой похмельной башкой. Щурясь, всматривается. Перед ним вокзальный зал ожидания, побитый на жилые клетушки. На полу кровь, валяются ничком люди. Солнце в битых окнах. Ветер задувает с улицы.

Шагах в пяти, обняв себя руками, стоит Мишель. Да, точно, Мишель. За ней — еще девка какая-то незнакомая, перемазанная в красном, пялится.

— Ну вот и хорошо. Ну вот и ладно, — говорит ему ласково Мишель. — Значит, теперь мы можем ехать дальше, да? В Москву.

# Мишка

## 1

Мишель не знает, успел ли он заразиться, когда волоком еле тащит его по земле, по грязи, по битым кирпичам и углю в открытый гараж — хорошо хоть, тут близко. Он дышит, но он без сознания. Он в любой миг может открыть глаза; и в этих глазах может быть все, что угодно.

Она бинтует ему искусанные руки, а сворованный у него пистолет держит под рукой — прежде, чем бинтовать Лисицына, она изучает незнакомое оружие, находит предохранитель, пытается понять, так ли он сильно отличается от дедова «Макарова».

Целый день она прячется за гаражами, растягивая задубевшие бутерброды и заглядывая поминутно в окошко: не очнулся?

Если он очнется собой, Мишель доберется до Москвы — он защитит ее и проводит, он введет ее в семью Саши Кригова и объяснит, что она не самозванка, поможет разузнать, что стало с ее собственными родителями. Если он одержимый, ей конец.

Она ходит взад и вперед мимо мертвого Егора, разговаривает с ним, с придурком, даже один раз бьет его ногой под дых, но потом ей становится от сделанного страшно и стыдно. Почему он так с ней поступил? Что вообще на него нашло такое? За что он лишил ее Сашиного ребенка? Она никогда ему ничего не обещала, это его проблемы, что он не знал, куда приткнуть свою любовь. Это было нечестно, это было больно. Это было мерзко и нечестно. Мишель садится на уголь, спиной к кирпичам, и пытается остановить слезы, но они не хотят останавливаться.

— Идиот! — говорит она ему снова. — Идиот!

Жалко его, но себя жальче. Всех жалко.

Жалко у пчелки в попке, говорил дед. Она улыбается, потом снова ревет. Потом пугается, что кто-то мог услышать ее, вскакивает и бежит смотреть — не вернулся ли сюда кто-то из одержимых?

Нет. Разбрелись в разные концы железной дороги. Сеют это свое... Безымянное.

Стук кости по железу она слышит своими собственными косточками — через землю: казак очнулся. Дождалась. Сейчас решится.

К ростовскому посту она не хочет возвращаться. Там нет жизни, Мишель это кожей, волосами, мясом знает. Она видела, как было дома, в Ярославле. Юра не видел, а она — видела. Но он забирает дрезину, и оставаться одной в надвигающейся темноте ей слишком страшно.

Она сможет предупредить его, она сможет научить его, как уберечь себя. Надо ехать с ним, придется возвращаться на вокзал, искать его казаков. Мишель не слышит, что он ей говорит, ей приходится все время смотреть ему в лицо, ловить искажения, телесные намеки, невысказанные еще намерения. Она вверила себя этому человеку, как никому еще себя не доверяла. И да, у нее в рюкзаке его пистолет, и она должна будет угадать, не слыша его, если он начнет говорить странные вещи.

Когда они подходят к вокзальным окнам, за которыми крутится жуткая карусель из голых солдат, Мишель сбрасывает с плеча рюкзак и сует в него руку. Юра не верил ей, и надо дать ему убедиться, что она не врала; но если он станет прислушиваться к одержимым, если он успеет их выслушать — придется стрелять в него быстро, прямо через рюкзак.

Мишель не ждала от себя такой расчетливости. Это не она, это какой-то спокойный голос ей подсказывает, как надо сделать. Как поступить, чтобы остаться в живых, чтобы выбраться из этого ада, чтобы дойти до Москвы.

Но потом она забывает, что собиралась в него стрелять.

Потом она видит этих несчастных нелюдей, которых бесовская молитва крутит, как кукол, заставляет делать что-то дикое и непотребное, заставляет убивать и дохнуть, ничего не соображая и ничего не чувствуя, и думает о Саше. О Саше Кригове, который сидит голым на плечах другого голого солдата в вагонном тамбуре, среди крови и блевоты, не оскотинившись даже, а вообще как-то расчеловечившись. И да, это страшно, он жуткий, да, но он еще и жалкий — выпотрошенный какой-то непостижимой дикой силой ни ради чего, бессмысленный и пустой... Жалко его тоже. Жалко.

Остался бы от него кусочек, остался бы от него ей ребенок, который бы вырос похожим на него, сероглазым и русоволосым; а так только это вот остается последнее — картинка у нее в памяти, и ту хочется забыть поскорей.

Потом она понимает, что Юра пытается расслышать, что там эти несут, за стеклом, в зале ожидания. Что, если он и не стал еще одним из них, то вот-вот станет. Надо его увести, увести скорей — потому что иначе его придется застрелить. Она умоляет его уйти, но он все, он уже влип, мясная юла его заморозила, загипнотизировала, он уже хочет тоже туда, к своим товарищам. Стучится к ним, просится, чтобы они его к себе взяли...

Мишель плачет и снимает лисицынский пистолет с предохранителя.

И тут он просыпается — слава богу, что просыпается.



## 3

С икон уже, с лежащей на диване бабки, со старческого кислого запаха от порога Мишель чувствует ком в горле. Старик — высокий, сутулый, почти целиком облысевший — не похож на ее деда, а старуха — на ее бабушку: не больше, чем все старики друг на друга похожи. Но сейчас ей и этого сходства довольно.

Здесьняя старушка умеет ходить. Хлопочет, ставит чайник, накрывает на стол — у Мишель ее собственная бабка такой была лет десять назад, когда сама Мишель еще только превращалась из девочки в девушку. Этот их дом вообще — с теплым желтым светом, с иконами и мурлычущей кошкой, которая трется о ножки стола — кажется сном; или сон все то, что случилось с ней за последние три дня?

Потом бабка ведет ее в задние комнаты переодеваться — видит, что на Мишель все джинсы замызганы, видит засохшую кровь, но при мужчинах виду не подает. Потрошит платяной шкаф, достает из него какую-то молью битую шерсть, но находит и чистые футболки, и колготки, и свитер.

— Вам нельзя тут оставаться... — бормочет Мишель, раздеваясь.

Отчего-то она при чужой старухе раздеться не стесняется. Что бабка говорит, ей понятно и без слов: что стряслось? Это он тебя так? Мишель хочет защитить Юру от подозрений.

— Это не он. Он хороший. Он в меня в Москву ответит, к семье. Меня другой изнасиловал. Я беременная была. Потеряла... Я потеряла...

Бабка обнимает ее, целует в голову. Заговаривает неслышно боль. Приносит ей горячую воду, тряпку, и пока Мишель теплой тряпичей стирает с колен и с бедер кровь, бабка кивает ей, кивает, и что-то шепчет, глядя в угол; Мишель оглядывается — там тоже икона.

Бабка показывает ей — и ты бы помолилась, авось полегчало бы; так, по крайней мере, можно догадаться — все старухи этот разговор заводят, и ее родная бабушка заводила с Мишелью его сто раз. Но там, в Ярославле, на Посту, Мишель сказала бы ей коротко и ясно: отвали, ба! А тут — вдох, выдох — кивает ей: ладно, помолюсь, если тебе так надо.

— Только вы должны с нами уйти, понимаете? Тут оставаться нельзя...

Есть те, кого уже не спасти. Кто в прошлом застрял. А остальных нужно пытаться вытащить.

## 4

Он сам ей отдает это свое письмо.

Когда мужик с ружьем выходит вперед, когда по углам вся шелупонь начинает шебуршать, плясать на нее и гнилозубо прихихикивать, Юра заслоняет Ми-

шель собой, задвигает ее назад; в одной руке у него пистолет, в другой — эта бумажка, письмо, которое он у стариков своей девушке писал.

И поскольку она стоит за его спиной, то не сразу соображает, что же это такое сейчас прямо у нее на глазах разворачивается. Из-за чего спор вышел, она без ушей не понимает тоже. Ее и не волнует это, ее одно только заботит: этих людей, которые ночуют, живут в дурацкой избе на полустанке со сказочным названием «Берендеево», нужно скорей научить, как им остаться людьми, как им не пропасть. Но они не хотят ее слушать, не хотят ей верить; а она не может услышать их — и не знает, как тогда их убеждать.

А потом к ним выходят эти мужики — трое, четверо — у одного ружье, другие держат руки в карманах до поры до времени, и что-то шамкают злое; Мишель не слышит, что именно, и не знает, что Юра им отвечает — только видит, как его выгибает вдруг, как будто у него падучая пошла, и чувствует, как у нее мурашки по коже бегут. Эти идиоты принимаются ржать, пялятся на него, пальцем в него тычут, но один за другим затыкаются; судорога проходит через их лица, лишая их враз человеческого, привычного — Мишель тогда кричит, что было сил, надрывается:

— Не слушайте его! Выткните уши себе! Не слушайте его или умрете!

Она бросается вон, успевает дернуть за руку какую-то женщину, та тоже кого-то тащит гирляндой, Мишель вопит — просто вопит, чтобы голосом своим хотя бы пересилить бормотание Лисицына.

Толкают какие-то двери, сначала Мишель их ведет, потом они — ее, она еле успевает оглянуться через плечо: там уже люди бьются головами о стены, валяются по земле, выются по-червячьи, а Юра ее дирижирует этим, крутясь волчком...

— Иди сюда! Иди сюда! — кричит она женщине; это не женщина даже, а девушка примерно ее возраста.

Достаёт гвозди свои, и, когда та склоняется, чтобы ее услышать, делает все за нее — еще с ярославского заводского бункера разученное движение. Они сами не решатся, самому себе уши гвоздями рвать слишком трудно. Вкладывает гвоздики — не бойся! — и тут же ладонями с обеих сторон: хлоп!

Та как струна вытягивается — боль адская — и тут же лопается, обрушивается без сознания. Парень, который с ней увязался, таращится на Мишель, как на полоумную, замахивается на нее кулаком, думает ее напугать этим, а она смеется ему в лицо, ползает по полу, нашаривает упавшие свои гвоздики, а найдя, зовет его к себе:

— Иди, не бойся! Ты мужик или кто?!

Он отступает от нее — шаг, другой — к дверям. И, видно, до него долетает уже через щель этот их хор, потому что страх его отпускает, а захватывает его что-то

совсем иное, как кошка мышь хватает когтистой лапою — и вытаскивает из норы наружу.

— Зря... — шепчет ему вслед Мишель. — Зря, зря...

Потом она начинает двигать мебель, надо забаррикадироваться тут успеть, пока они будут пляски плясать и жрать друг друга, или что там на этот раз у них случится. Мишель тут уже ничего не может сделать, только спрятаться, только забиться в щель в полу, только переждать бурю.

Ах, Юра-Юра. Не лучше ли было ей выстрелить в него через цветастый школьный рюкзак у ростовского вокзала? Бежала она от чумы — и сама же чуму на своих подошвах, на своих лапках сюда принесла.

Дом ходит ходуном; прутся и сюда, где ничком лежит Мишель, обнявшись с обморочной девушкой, прутся, но не умеют открыть дверь, потому что уже вылетело из головы, что такое двери и как их отпирают, зверюга вытеснила оттуда человека; да и не зверь там даже поселился, а членистоногое что-то, тоже как будто бы существующее — но существующее по своим законам, для людей неизвестным и противоестественным.

Надо перетерпеть. Это ведь кончится же когда-нибудь.

Они или схарчат друг друга, или в пляску впадут, или войдут в это снулое состояние, и тогда можно будет потихонечку выбраться? Может быть. Есть надежда, хотя бы кроха надежды есть.

Лампочка под потолком мигает, но не гаснет. И там сейчас, в том зале, тоже свет горит... Но об этом не нужно думать. Не нужно думать о том, что было с Сашей, что сейчас с Юрой творится. Его Мишель не смогла спасти, уже поздно было — да если бы она и раньше ему предложила свои гвоздики, он отказался бы из упрямства. Потому что как же ему без ушей приказы свои слушать, без ушей он не солдат. Глупый, глупый... Юра ты Юра, Юра ты Юра.

Чтобы не бояться, он достает его письмо.

Вот сейчас хорошо, что ничего не слышно.

## 5

«Катенька,

Есть такие вещи, которые, пока жив, стесняешься сказать. Соберешься сказать их вслух, а потом ловишь себя на мысли, что это слишком громко, слишком избито, слишком фальшиво. В любви признаться человеку — и то нереальный геморрой. А я точно люблю? А она поверит? А хочет она это услышать? А надо за этим признанием сразу другое делать, что хочешь жениться? А если она в ответ не скажет, что тоже любит? А любовь ли то, что я чувствую? А как быть уверен-

ным? А вот другие клялись в любви, а потом собачились. Проклинали друг друга и еще сил не жалели, чтобы испортить друг другу после расставания как можно больше крови. Так что даже если я и люблю, даже если и ты меня тоже любишь, и мы с тобой об этом договорились, то дальше-то что? Ну и все такое. В себе-то я, конечно, особенно не сомневался, потому что ты просто-напросто лучшее, что со мной случилось. А сомневался я в тебе, потому что зачем я тебе нужен такой? Поэтому не решался позвать замуж: ну вот ты скажешь «нет», магия рассеется. Я уже не смогу больше себе врать, что у нас есть будущее какое-то, и как тогда дальше быть? Но если тебе передали эту бумажку, то значит, будущего никакого у нас быть не может, потому что меня самого больше нету. А если нет будущего, то нет и ответственности, то я могу честно и искренне сказать: ты — лучшее, что приключилось со мной в этой жизни. Лучшая, самая необычная, самая странная и самая крутая женщина, самая красивая. Самая-самая. Да какая, к черту, самая, если я, как с тобой познакомился, так другие у меня вообще выветрились из башки? Просто забыл про них. И даже странно было о них думать. Все подружки стали чужими, а в голове и в сердце только одна ты. Это я потому такой храбрый, что мертвый, так-то я бы тебе ни про каких подружек и не стал тут! Я к тому, что не самая, а вообще единственная. Я эту бумажку тебе пишу, потому что меня может не стать в любой момент. Я сейчас это понял и решил сразу написать, потому что вдруг потом возможности не будет. Я когда пришел без спросу на твой спектакль, мне так страшно было, что тебе кто-нибудь другой раньше меня цветы подарит, или что они не понравятся тебе, или что у тебя свидание уже на вечер, потому что я всегда знал, что ты настоящая богиня. Я все никак не мог понять, почему ты на меня обратила тогда в том баре внимание, чем я заслужил, как удостоился. Я тебе этого не говорил раньше, потому что думал, что это глупо, что на лесть похоже, что настоящий мужик не должен это вот все. Ну и что просто успею еще сто раз, а теперь вот понимаю, что могу не успеть, и теперь можно, значит, не стесняться. Когда я под пулями лежал, о тебе думал, когда уснуть не мог, думал о тебе, когда меня Государь к себе вызывал, я сидел у него и думал, как это на тебя должно впечатление произвести, как буду тебе все пересказывать. И еще я о тебе думал в душевой когда, ты прости уж меня за пошлость. Все через тебя, короче, как через подзорную трубу, или как через прицел. Ну и сейчас вот... Прощаюсь только с тобой. Помни, что любил. И звал замуж.

*Твой Юра».*

Мишель перечитывает это письмо раз, потом другой. Время есть — пока электричество еще горит, пока одержимые собой заняты, не начали себе харчи искать. Лежит, схоронившись под грудой барахла, обнимая чужую девчонку, высушив из-под грязного чьего-то одеяла только бумажку и свой нос — читает про любовь.

Думает: вот Лисицын успел своей барышне написать. Было время приготовиться к смерти. А у Саши не нашлось этих двадцати минут — в покое, при свете лампы. Его накрыло, наверное, вдруг. А то и он мог бы ей написать такое что-нибудь.

На четвертый раз ей кажется уже, что это она Сашино письмо к себе читает. На пятый она его уже знает наизусть.

Спасибо тебе, Юр.

## 6

Когда девушка приходит в себя, Мишели приходится обнимать ее втрое крепче — вместе с сознанием к той и боль возвращается, боль, которая насовсем теперь никогда не пройдет, которая слух ей заменит — но и даст зато защиту от безумия.

Мишель к ее пробуждению готова. Пошуршала по комнате, нашла, чем и на чем писать: ломаный карандаш и обрывки газет. Та только открывает глаза, Мишель ей показывает «Не кричи, иначе нас убьют». С добрым утречком.

И потом: тсссс, шшшш, тихо-тихо-тихо... За стеной еще колобродят, дощатый пол трясется. Девушка понимает, что оглохла, ей хочется от ужаса визжать, а Мишель ей запрещает. Баюкает, потом, когда та попритихла, помогает ей подняться и ведет на цыпочках к заставленной мебелью двери: там есть щелка.

В щелку видно: трое людей стоят на руках, головой вниз, веки запечатаны, хари пунцовые, еще несколько лежат как мертвые, и еще сколько-то скачут на месте. Девушка ахает от страха — увидела своего парня, может, среди нелюдей — тут же открыли глаза те, которые стоят на голове. Мишель зажимает ей рот рукой, тащит в нору обратно. Достает свою газету, пишет ей новость:

«Эти все, им конец. Если бы у тебя слух был, ты бы тоже заразилась. Мне пришлось. Я сама глухая».

Та сидит молча, переваривает.

Она русая, волосы обрезаны по плечи, темноглазая и худая, одни углы, одни шипы без цветов. Сидят в углу за разбитым буфетом, прикрытые рваными одеялами; комната слепая, что-то вроде складского помещения. День снаружи или ночь, неизвестно — свет дает только моргающая лампочка.

Мишель ей еще шкрябает на старой газете объяснительную — все, что знает Про бесовскую молитву. Объясняет, что нужно бежать. Теперь, когда Лисицын превратился, ей хоть какой-нибудь спутник нужен. Одной не выжить; а вдвоем, хоть бы и обе глухие, могут еще попытаться...

«Когда эти...», — она кивает на дверь, — «...выдохнутся или уйдут, попробуем двинуть дальше», — обещает ей Мишель. «В Москву».

Девчонка вся подобралась, зыркает угрюмо.

«Ты читать умеешь вообще? Тебя как зовут?»

Та злится, берет наконец у Мишели газету и карандаш.

«Вера». Показывает на зал, где люди на головах стоят: «Это типа болезни? У меня там отец и парень!».

«С ними все, им конец. Правда», — по букве выводит Мишель. «У меня тоже... Все умерли».

Но та верить не хочет: отшвыривает газету, от Мишели отбивается, идет к двери, притирает опять к щели, смотрит в нее, смотрит. Оборачивается — губа раскушена, глаза красные. Говорит что-то без звука, но Мишель догадывается, что:

— Это из-за вас!

Мишель прижимает палец к губам — не шуми, не шуми... Складывает руки молитвенно: прости.

«Они все равно скоро были бы здесь! Они теперь везде! Надо в Москву бежать!»

Вера смахивает опять упавшую челку, выхватывает у Мишель карандаш, бешено чертит у нее под носом: «Я ни в какую Москву не пойду!»

Мишель поражается: почему?

«Тут нельзя оставаться. Они оттуда идут сюда. Всех заразят. Надо успеть впереди них».

Вера не отвечает. Трет уши, смотрит на кровь на своих ладонях. Сверкает зенками, подбирается вся. Подумав, снова берется за карандаш.

«Значит, тут сдохнем».

«Почему?!» — дергает у нее карандаш из рук Мишель.

«Потому что в Москве мне кранты. Поймают — повесят! Батя враг народа».

«В смысле?»

«В смысле! Ты вчера родилась, что ли?» — Вера сквозь боль улыбается ее глупости. «Когда царь пришел, всех, кто против него был в гражданку, перебили. Вместе с семьями. ВРАГИ НАРОДА. Мы еле сбежали. Но они всех помнят. Обратного нельзя».

Мишель берет карандаш; на газетных полях места не так много осталось, да и грифель уже затупился.

«Вместе с семьями? И детей?»

«Война же была. Всех. Тебе вообще туда зачем?»

«Я сама оттуда».

«Давно не была?»

«С гражданки», — угаданным Вериним словом называет она войну.

«И чего вы убежали тогда из Москвы?»

«Родители там остались. Меня одну отправили», — Мишель выписывает буквы все медленней, все задумчивей.

Вера хлопает Мишель своей красной ладонью по плечу, ухмыляется.

«А может, тебе тоже в Москву не стоит?»

Мишель отодвигается от нее, сбрасывает руку. Внутри все замирает. Сколько раз спрашивала себя — почему за все эти годы ни отец, ни мать, ни любимые дядя с тетей не пытались ее отыскать, почему просто сбагрили ее бабке и поставили на ней крест? Почему дед не мог на ее расспросы ничего внятного в ответ сказать и не разрешал возвращаться в Москву?

«Там жесткие чистки шли, когда царь взял верх. У отца друзей всю семью к стенке поставили, нас в фуре вывезли под трупами».

Не потому ли, что и у Мишеля отец тоже был — враг народа?

И не потому ли он ее в поезд сунул, толком не попрощавшись, что просто пытался ее спасти от расправы? Ее вот уберег, а сам остался... И все. А дальше до него добрались... И до матери. И до всей той семьи, которая осталась в Москве.

Был бы дед жив, можно было бы сейчас пристать к нему, допытаться. Был бы дед жив... Была бы жива бабушка.

И что теперь?

Что ее может в Москве ждать, даже если она до туда доберется, чудом отсюда выкарабкавшись? Схватят?

«Столько лет прошло», — пишет Вере Мишель. — «Наверняка уже все забыто!»

«Не знаю», — отвечает Вера. — «Отец боялся. Хочешь, спроси сама у него».

И указывает ей на забаррикадированную дверь.

## 7

Когда топтание прекращается, они выжидают еще, не спешат искушать судьбу. Потом Мишель прикладывает к щели...

Несколько валяются бездыханные. Двое на ногах замерли неподвижно, руки по швам, глаза закрыты. Один из них вроде Лисицын, со спины не разобрать, судя по форменным порткам — торс голый, и босой он; а на другом вовсе одежды нет. Окна выбиты — может быть, через них убежали — и в битых окнах день.

А в том самом месте, где Юра заслонял ее своей спиной, на полу лежит брошенный его пистолет. Вот туда ей нужно. К пистолету. Патроны он расстрелять не успел, молитва быстрее сработала.

Вместе они начинают сдвигать с места мебель — медленно, осторожно. Лисицын и тот, другой, пока что не шевелятся. Комод царапает пол, скрежещет диван — вибрации по ноге поднимаются. Громко это? Разбудят они их? Мишель приоткрывает дверь только чуть-чуть, выскальзывает наружу... По шатким половицам, которые тоже, наверное, стонут — как в бабушкиной квартире стонал иссохший паркет. Шаг, еще шаг, еще...

Похожий на Лисицына человек стоит тихо, к ней спиной. Кажется, дышит — если бы стоя заковенел, ведь упал бы? Но спит или притворяется? Пистолет от него всего в паре метров.

Мишель перед тем, как метнуться к нему, в последний раз осматривается.

Из кого-то натекло на пол красного, отсвечивает масляно. Этим же и стеклянные изрезы в окне перепачканы. Все, кто стоял вверх тормашками, валяются мертвые с сине-багровыми распухшими головами.

Вера крадется за ней следом. Узнает в одном из распухших — том самом бордотом мужике, который Лисицыну грозил обрезом — своего кого-то. Зажимает себе рот рукой. Может, и плачет — Мишели не слышно.

Она обходит на цыпочках голого человека... Заглядывает ему в лицо...

Юра Лисицын. Стоит зажмурившись. Лицо у него изодрано ногтями, будто он хотел глаза себе выцарапать.

Второй голый человек тоже ничего не видит — он-то до своих глаз добраться сумел. Мишель, не отводя от Лисицына взгляда ни на секунду, приседает и загребает его пистолет себе. Тут же отбегает, проверяет: половина обоев еще на месте.

Вот и все.

Она поднимает пистолет на постороннего человека и спускает курок. Тот заваливается кулем. Ствол сразу перескакивает на Юру.

Лисицын от выстрела вздрагивает, но не просыпается.

Вера — от своего мертвого отца — глядит на Мишель мстительно и требовательно: убила нашего, убивай и своего. Но Мишель не хочет стрелять в Юру. А что, если он может еще очнуться? Если еще может выздороветь?

Что, если, когда она тащила его в гараж, он уже был одержимым? А потом пришел в себя. Полкан вот — он ведь побыл нормальным, прежде чем снова обернуться.

Может, и Юра еще поправится? Может быть, можно его вернуть.

«Все через тебя, короче, как через подзорную трубу, или как через прицел. Ну и сейчас вот.. Прощаюсь с тобой только. Помни, что любил. И звал замуж. Твой Юра»

Пистолет тяжелый, тянет руку вниз. Мишель подставляет ему другую, чтобы ствол с Юриной груди не съезжал.

Вера кивает ей: давай, ну?



Мишель тычет в Веру, крутит невидимый руль: умеешь машину водить? Та качает головой.

Ну вот. А он умеет. Мишель перехватывает «Стечкин» за ствол, подходит к Лисицыну сзади и наотмашь бьет его рукоятью по затылку.

## 8

– Она ждет тебя. Она любит тебя и ждет. Твоя Катя. Скучает по тебе. Ты же помнишь, какая она красивая? Помнишь, как вам было хорошо вместе? Тебе нужно проснуться, Юра...

Сколько она так его заговаривала? Полчаса, час?

Он пробовал открывать глаза, но в них колыхалась муть. И только вот теперь что-то проблеснуло в них осмысленное: от человека, а не от сколопендры.

Лисицын пытается подняться с пола, но наручники – Вера достала откуда-то – его одергивают. Он разглядывает их непонимающе и раздосадованно, но это уже обычная людская досада.

– Ты как? – спрашивает у него Мишель.

Он разевает рот беззвучно, забыл, что так она его не поймет. Показывает ей свое прикованное запястье. Узнал, кажется.

– Это они тебя, – говорит ему Мишель. – Я сейчас ключ поищу. Я сама еле успела спрятаться. Слава богу, ты жив. Не говори ничего, не говори, я глухая же!

Он мигает, плывет, опять обмякает. И все равно, Мишель знает: он очнулся.

Вера идет за ней в комнату.

«Поедем с нами. Возьмем грузовик и поедем», – предлагает Мишель.

«Отец говорил, они там все помнят».

«Все они забыли. Даже про бес. молитву эту ничего не помнят».

Вера колеблется, смахивает челку. Утирает рукавом нос. Глаза у нее красные. Ревела над отцом. Потом взяла себя в руки.

«Вдвоем мы точно с ним справимся. А тебе тут оставаться нельзя. Если твои вернутся. Тут куча народу была. Все разбрелись. Что будешь делать?»

Вера кивает на дверь – на пристегнутого к батарее Лисицына: «А он обратно бешеным не сделается?»

«Я буду его пасти. Грохну его, если что», – Мишель вздыхает. Добавляет: «Может, он вообще выздоровел!»

Вера все никак не может решиться.

«Думаешь, мне самой не страшно?» – пишет Мишель. «Может, у меня тоже родители враги народа, откуда я знаю! Но тут оставаться нельзя. Надо ехать!»

«Парня моего тут нет. Я его буду его ждать. Может, он тоже протрезвеет».

На этом карандаш ломается совсем.

Ключи от грузовика Мишель клянчит у нее как глухонемая – жестами; та притворяется, что не понимает, пока ей не надоест Мишель унижать – и только после этого лезет в карман человеку с распухшей головой, который почему-то забыл раздеться.

Мишель стоит над Лисицыным, держит его форму в руках. Думает: одевать его, не одевать? Потом разбрасывает перед ним. Расстегивает наручник, снимает осторожно с руки. Отходит на шаг.

– Юра! Ты слышишь меня? Кивни, если слышишь.

Лисицын вздрагивает, открывает глаза, кивает. Щурится. Улыбается ей. Узнал.

– Ну вот и хорошо. Ну вот и ладно, – говорит ему Мишель. – Значит, теперь мы можем ехать дальше, да? В Москву.

Он тяжело встает. Рассеянно собирает свою форму, закоченелыми руками влезает в рукава. Проводит пальцами по разбитому затылку, растерянно смотрит на сукровицу, морщится от боли. Вера стоит, наблюдает.

«Что тут было?» – пишет он на стекле.

– Ты подрался с местными, – отвечает Мишель. – А потом пришли одержимые. Сожрали кого-то, кто-то убежал. Я спряталась.

Юра чистит погоны, отряхивает пыль с формы, расстроено скребет коросту на папахе, дышит на кокарду. Пытается застегнуть медные пуговицы на шинели непослушными от недавней судороги пальцами. Ощупывает пустую кобуру. Смотрит на Мишель с подозрением. Она жмет плечами.

– Есть ключи. Сядешь за руль?

Он соглашается. Но движется медленно, как контуженный. Носом у него каплет красное.

Выходят во двор. Вера за ними – лицо сморщенное, как будто ей не двадцать лет, а шестьдесят. Ветер гоняет туда-сюда дверь избы с названием «Берендеево». Лисицын бредет, потерянный, к грузовику. Забирается в кабину, вставляет ключ в замок зажигания. Воздух окрашивается сизым, приключением начинает пахнуть.

Мишель идет открывать ворота. Она опустошила это место, принесла сюда беду. Лисицынский пистолет оттягивает ее рюкзак.

Вера плетется за ней – злость и боевой настрой покинули ее, она готовится к одиночеству. Когда ворота открыты, она ловит Мишель за рукав. Валенком пишет на снегу такими большими буквами, как будто с самолета их должны прочесть: «ПОМОГИ С ОТЦОМ».

Мишель стоит, не хочет отвечать сначала. Машина уже под парами, Лисицын завербован, можно прыгать и мчать в Москву. Как помочь? Хоронить его? Мерзлую землю сейчас долбить? Ну нет.

Тогда Вера сужает глаза, берет Мишель двумя пальцами за подбородок.

– Зачем?!

– Что – зачем?! – та выворачивается.

Вера указывает на свои кровоточащие уши, тычет пальцем в Мишель. Зачем ты это со мной сделала?! Лицо у нее перекошено: на ненависть сил нет, слезы подступают. Мишель собирается возмутиться: да я тебя спасла! А потом думает: а для нее это точно – спасение? Вот, она продырявила ей уши, окей, и теперь эта Вера остается одна в уме на своей станции. Что жестче по жестокости? Сникает.

– Ладно! – отмахивается она.

Москва подождет.

Они пробуют ковырять бурую землю лопатой и ломом, но силы скоро заканчиваются. Даже Лисицын выдыхается – весь себя истратил на затмение. Тогда решают просто навезить тележкой песка из кучи рядом с домом – собирались цемент мешать, класть пристройку. Кладут Вериного отца в неглубокую ямку, которая получилась, и сверху делают бугор из темно-желтого крупного песка. На лицо ему Вера сама насыпает, остальные стесняются. Как-то нелепо и неуверенно крестит этот холмик.

– Откуда это все взялось? Почему тут оказалось? Почему на нас? – спрашивает у Лисицына Мишель.

Тот смотрит исподлобья, невнятно.

Ну, все. Теперь можно Веру оставить тут. Мишель с Лисицыным возвращаются в машину, опять заводятся – выезжают за ворота. Мишель бросает взгляд назад, через дрожащее боковое зеркало.

В нем незнакомая ей и зря только спасенная Вера одна, потерянная, и бурый этот холм с торчащей в нем доской. Выходит на дорогу, делает шаг за грузовиком, потом останавливается.

– Тормози. Тормози! – кричит Мишель.

Он бьет по тормозам.

Мишель распахивает дверь, показывает Вере: сзади, сзади!

Там бегут за машиной. Полуголые-полуодетые грязные люди-насекомые. Вера от них – Лисицын дает задний – Мишель ей руку протягивает – успевает подловить – грузовик дает по газам, только бы Юра опять не расслышал их! – и вперед, уже на ходу хлопая проржавленной дверью – на пустую дорогу, под указатель «Ярославское шоссе, Москва». На сорока километрах в час погоня все еще не отстает – девчонки следят за ней в зеркале; на шестидесяти, наконец, отрывается.

Лисицын моргает, но ведет. Тоже смотрит на этих в зеркале.

«Мой парень там был», – пишет по испарине на стекле Вера.

Лисицын моргает снова. Потом принимается шарить по карманам. Оборачивается на Мишель и одними губами спрашивает ее неслышно:

— Где мое письмо?

9

Ярославское шоссе где-то разбито, где-то загромождено гнилой техникой, приходится объезжать по обочине. Нелюдей вокруг не видно, но не видно и людей. Россия-Московия населена редко, она за пределами постов и станций, оказывается, почти вся заброшена. Даже в этой куцей разваленной стране, обрубке прежней империи, земли все равно слишком много, чтобы можно было за ней глядеть, и она пылится без человеческого внимания. И гордость берет Мишель за то, что это все ее родное государство бесконечно проезжает мимо нее в окне «ГАЗа», и тоска.

Сейчас они обогнали мутную волну, говорит себе Мишель; надо к Москве впереди нее приплыть, к берегу. Чтобы предупредить людей. Чтобы научить их, как она Веру вот научила. Она хотя бы жива, едет с ними. А дальше — ну, приспособится как-нибудь к новой жизни. Все как-нибудь к новой жизни приспособятся.

Едет она в теплом грузовике, напоминает себе Мишель, а на покрышках везет с собой в Москву чуму. Она косится на Лисицына — сидит рядом с ним. Держит руку в рюкзаке. Вера с краю. Кабину трясет на ухабах. Лисицынская шинель свернута, у Веры на коленях. Папаха под ветровым стеклом, кокардой одноглазо глядит на Юру, бдит. И Мишель бдит.

Ничего. Для его бормотания она неуязвима. На машине до Москвы отсюда ехать всего несколько часов. Он продержится точно. Пешком она неделю бы добиралась. А когда доедут — ну, тогда. Тогда и видно будет.

Лисицын — исцарапанный, вымотанный — думает о чем-то своем. Письмо Мишель ему вернула, про пистолет он забыл. Тоже оглядывается на нее. Думы у него невеселые — вздыхает, ногти грызет вместо кончившихся своих семечек.

Однажды он хлопает Мишель по коленке. Та вздрагивает: что?

Он замедляется, дышит на стекло. И выводит ей: «если я тоже таким стану», потом стирает рукавом, дышит снова. «ты меня лучше убей». Следит за ней — не потупилась, не смутилась? И добавляет: «не хочу так». Приходит в себя, видимо, начинает с собой прояснять, что в Берендееве случилось.

— Окей? — спрашивает он у нее.

— Окей! — кивает она.

Знает, что Вера все видит. Но Вера ничего от себя в их разговор не добавляет: делаете, что хотите. Смотрит вместо этого в окно: снег идет, прикрывает неубранную после людей землю, упаковывает. Со снегом все лучше, чем в жизни. Кажется.

## 10

Народ они встречают только у Сергиева Посада. Мишель стучит по панели, просит остановки. Люди как люди.

— Сюда одержимые идут! — кричит она им, высунувшись из окна. — Вам надо себе уши выколоть! Уши! Барабанные перепонки! Иголкой, гвоздями! Иначе заразитесь! Слышите? Всем передайте! Уши выколите и прячьтесь! Только так спасетесь!

Бабы в драных платках переговариваются, посмеиваются, но Мишели все равно. Где видит хотя бы человека — тянется через Веру и кричит. Тут тоже люди, не только Москву нужно спасать. Кто услышит — тот услышит, успокаивает она себя.

В Красноармейске она людям это кричит, и в Пушкино, где машина в выбоину на базарной площади садится и ее всем миром выталкивают. Люди переспрашивают, но Мишель вопросов не принимает. Только талдычит им: барабанные перепонки гвоздями дырявьте, больно будет, но спасетесь. Сейчас вы думаете, что я с винта слетела, но скоро до вас дойдет.

«Они тебя Мишей зовут», — сообщает ей Лисицын на стекле, прикуривая. — «Мишка-юродивый».

— По фигу, как, — Мишель дергает плечами. — Главное, чтобы сделали все, как надо.

«Юродивой они не поверят. Они власти поверят!» — спорит с ней Лисицын, но с людьми говорить ей не мешает.

Не верят, а из грязи их грузовик базарные торговцы выталкивают. И, пожалев девчонок, пихают им еще с собой стремных каких-то гостинцев. Там же в кузов еще набиваются человек пятеро попутчиков — все равно ж едете, нам тоже в Москву, хоть до МКАДа.

Но чем ближе они к Москве, тем страшней становится Мишели, что Вера окажется права. Что в столице никто ее не ждет, а если она примется разыскивать там свою родню, то нарвется на злопамятных людей. Как знать, не состоит ли она вместе со своим пропавшим отцом в списке врагов? Может, не принцескина жизнь ждет ее там, а несведенный баланс в расстрельной ведомости. Столько лет ее прождали, но у этих документов, может, нет срока давности — появится она в городе, заявит о себе, вот и все, готово.

И все-таки она едет в Москву — по дороге из хлебных крошек, из стертых фотографий в сгоревшем телефоне, возвращается в воображаемую страну, откуда ее выгнали маленькой.

И остается-то всего чуть-чуть: уже Королев проехали. Королев как Ярославль, Ярославль как Ростов, Ростов как Сергиев Посад: только храмы разные, а дома везде одни. Мишель смотрит на грязные церкви с обворованными куполами, и все думает, о чем просить ей бога. Бабка сказала, у бога просить надо что-то...

А когда уже почти в Мытищи въехали, у Лисицына опять начинается.

Чуть-чуть совсем не доехал до Москвы.

Белеет, вцепляется в руль из всех сил, и Вера толкает Мишель локтем.

Та начинает его уговаривать, убалтывать, про Катю ему опять, про любовь, как она ждет его, как скучает — и так помогает ему додержаться до какого-то двора. Его всего крючит и взгляд заволакивает, когда они с Верой вытряхивают из шарабана перепуганных пассажиров, а Лисицына, уже помутившегося, заталкивают туда, пока он не заговорил живых.

Вера, которая подсмотрела Юрину последнюю просьбу на ветровом стекле, спрашивает у Мишели grimасой: ну, сделаешь, как обещала? Но Мишель не может исполнить обещание. Письмо она успевает обратно выдернуть — спасибо, что помог мне, вот и я тебе помогу.

Вера смотрит на нее строго: идиотка, сама не можешь — отдай пистолет, я за тебя убью. Но Мишель крутит в голове строки из его письма — и не отдает.

Запирает Юру в продуктовом грузовике, какую-то железяку вставляет вместо замка, гонит пассажиров как можно дальше — и там уже кому-то все-таки впаривает избавление. Они немного застали Юрино превращение, начинают верить, что гвоздями можно спастись.

Уткнулся «ГАЗ» в заброшенном дворе. Грязно-розовые пятиэтажки, грязно-голубые двенадцатиэтажки, заевшая карусель, жестяные гаражи.

Побудь тут, Юр.

## 11

Отсюда до МКАДа дорога прямая.

Уже опять смеркается, снег стелет мягко, тальные следы тянутся цепью от брошенного грузовика, и в заснеженном небе не видно ни опускающегося солнца, ни поднимающейся луны: без этих гирек в часах с кукушкой кажется, что мир крутится сам по себе.

Идут всей гурьбой — и Мишель, и Вера, и все пассажиры, кто в столицу собрался. Три бабы что-то в Москве забыли — две постарше, одна лет тридцати, разбитная, как в Ярославле на Посту у них Ленка Рыжая была, потом еще задри-

панный какой-то старичок и подросток. Подросток весь в прыщах, то и дело оглядывается на нее и на Веру — жадно и стыдливо. Старик трудно ковыляет, опирается на клюшку. Женщины смешливые, хоть и хохочут без звука, подначивают друг друга; что идут продавать в Москву, непонятно — руки пустые. Может, наоборот, за покупками?

Бабы уже бывали раньше в Москве, шагают уверенно, показывают дорогу. Возили продукты на продажу, как Мишель поняла. Понимать трудно — буквы им чертить по воздуху лень, на пальцах только изображают что-то. Благодарность за то, что Мишель их подвезла, быстро заканчивается. В Москве каждый сам за себя.

Дома тут уже идут огромные, сплошь бетонные коробки, облицованные плиткой. Много брошенной стройки: расчет был на жизнь и размножение, не оправдалось. Теперь эти все многоэтажки, как полые утесы, веселят плоский унылый ландшафт срединной России. А для Мишели, которая все свои взрослые годы провела в этой невеселой плоскости, Мытищи — преддверие головокружительно высокой Москвы.

Опускается на эти утесы туман, остается только прямая дорога-ущелье — Ярославское шоссе. И впереди этот туман вдруг начинает светиться — вроде как стена встает, желтая электрическая аура. Идет, немного закругляясь, как закругляется горизонт, когда на равнину смотришь.

Указатели поясняют: «Московская кольцевая автодорога — 1 км». Сияющий нимб на громадной чьей-то голове.

А когда подходят еще ближе, впереди видят людей.

И то, что дорога перегорожена. Сваренные из рельсов ежи, бетонные блоки. Караул из людей в синих и серых шинелях, в папахах. Они замечают путников, вскидывают руки: стоять. Поднимают мегафон, кричат что-то в него.

Женщины из продуктового фургона обсуждают произнесенное в рупор. Старик чешет голову. И только подросток все продолжает липко и жалобно посматривать на Мишель. Потом пытается изобразить для нее завлекательную улыбку.

— Что они говорят? — спрашивает Мишель у той, разбитной — крашенной в блондинку, с краснющими губами бабы.

Та скрещивает руки на груди — прохода, мол, нету. Обсуждают новое обстоятельство между собой — слышащие со слышащими, а Мишель только с Верой может переглядываться.

Решают все же идти вперед. Старик достает кошелек, принимается пересчитывать деньги — удивительные голубые сторублевки с портретом Михаила Первого, каких Мишель у себя на Посту никогда и не видела. Женщины пересмеиваются, пренебрежительно машут на деньги.

Пускаются дальше — Вера и Мишель за ними. Патруль впереди все ближе, уже форма видна, уже даже Мишель узнает: казаки. Даже пар видно, который

поднимается изо рта у офицера — тот отставил громкоговоритель, орет так просто, запретительно сечет воздухом рукой.

Вера смотрит на Мишель, мотает головой — не пойдем, вернемся!

И тут женщина — та самая, разбитная, накрашенная — расстегивает куртку, задирает свитер — и показывает казакам свою налитую, стоячую грудь с крупными коричневыми сосками. Подросток прямо подсакивает от удивления — и Мишель тоже впивается в эту грудь глазами — настолько она тут непонятна и неуместна. От холода соски подбираются, и вся грудь, тяжелая и живая, обретает форму, подтягивается как будто бы призывно. Крашенная колышет ей вправо и влево, гипнотизируя солдат, и делает вперед шаг, проверяя их на слабо, потом еще один, еще... Там молчат.

Остальные тогда потихоньку пристраиваются за ней.

Мишель пытается лихорадочно сообразить, не такая ли тут цена за вход, и откуда эта баба про нее знает, и не придется ли им с Верой тоже эту цену платить... Когда впереди за бруствером чиркает искорка и крашенная женщина опрокидывается на спину с дыркой прямо посреди грудей. Тут же там, где окопались казаки, рассыпается целые искряной сноп — залп! — и падают с ног две другие женщины, валится как подкошенная Вера, и сама Мишель едва успевает кинуться наземь.

Она лежит — и Вера лежит рядом, живот прострелен, держится за него обеими руками, хватает холодный воздух. Мишель берет ее за руку, начинает ползти — просит Веру помочь ей, отталкиваться от заснеженного асфальта ногами; встать нельзя — вот подросток вскочил, побежал назад — и тут же ему прилетело.

Они ползут так, ползут — пока Вера не перестает совсем помогать и не превращается в чистую обузу. Сдвинуть ее уже нельзя — Мишель проверяет — да и нет смысла. Пар не идет изо рта: дыхание кончилось.

Тогда она сама, одна, оставляя за собой по снегу полосу и молясь, чтобы на это не обратили внимание, ползет назад — от фонарей, от этого московского нимба, в темноту. Не встает, даже когда можно уже встать. Чувствует затылком, спиной, как на нее смотрят в прицел, как решают — добывать или нет.

И только когда она сваливается в темную придорожную канаву, там переводит дух и начинает рыдать.

Москва огромна — Мишели даже не с чем ее сравнить, разве что с тем, как она вспоминает море. Сразу за МКАДом начинаются жилые массивы — высотки, высотки, высотки — для миллионов людей построенные дома, которые не закан-



чиваются уже до самого горизонта, только уменьшаются, из бетонных сталагмитов превращаясь постепенно в тонущий в дымке серый мох. Вот тут средоточие жизни, тут пуп Земли, тут цель ее исканий и блужданий – рукой до нее подать! Но попасть туда невозможно.

Вся Москва взята в кольцо.

С пятнадцатого этажа брошенной новостройки это все четко видно, как с высоты вороньего полета: вот МКАД, весь он днем и ночью освещен, и весь он ощетинился казачьими штыками и пулеметами. Ездят взад и вперед верховые, дымят грузовики, узлы-переплетения с другими магистралями все обороняются особо. Кажется, за последние два дня охранение лишь усилилось – зря Мишель ждала, что казаки уйдут.

И стрелять по людям они продолжают: как только подходят к ним на расстояние прицельного выстрела, сразу палят. Никак не приблизиться, никак не объяснить.

Мишель бросает взгляд на почти спрятанные уже снегом закорючки – своих попутчиков, среди которых и бедная ее Вера – и спускается вниз. Оставили их казаки лежать в назидание другим любопытным.

Дворами, гаражами Мишель возвращается к себе – туда, где бросила «ГАЗ» с Лисицыным.

Оказавшись у самых московских ворот, она не остановится.

С боем прорваться туда невозможно, прокрасться нельзя, и докричаться до патрулей у нее, глухой, не получится. Только одно может выйти: дотерпеть, пока Юра снова придет в себя. Пока из нелюдя снова станет казачьим подъесаулом – и за руку проведет ее через заслоны.

Дождавшись, пока в фургоне стихнет, она приоткрывает дверь, заглядывает внутрь. Убеждается, что Лисицын в спячке, и проворачивает свой рискованный план: сажает его на тяжелую собачью цепь, которую нашла у одной из пустующих мытищинских дач: вокруг державного многополосного шоссе ветвятся пригородные колеи с деревенскими домами, там всякое есть.

Казачью форму, которую он с себя опять сорвал, она потихоньку собирает, накидывает ему ворох чужого тряпья, чтобы не мерз. Иногда заводит машину, чтобы погрелся. Человек он или не человек, в ночном холоде долго не протянешь.

Терпеливо сторожит, пока он выйдет из долгой своей спячки, чтобы поговорить с ним – но он, очнувшись, так и остается в затмении. Бросается на нее, дергает толстенную цепь, чуть себя не душит – хорошо, она ему ошейник нашла от какой-то огромной сторожевой собаки, и мягкий, кожаный – строгачом он бы себе точно горло распорол.

Уставившись безотрывно Мишели в глаза, он говорит ей свои эти бешеные слова – убежденно, яростно – не понимая, что она его не слышит. Слюна капает

из рта, на губах пена, белки сверкают. Мишель ему тоже пытается рассказать — про Катю, про ее к нему любовь, но он, видно, забыл ее уже, и не узнает имени, не слушает Мишель, как и она не слушает его.

Она все равно ведет с ним беседы: в одной руке у нее «Стечкин», а в другой руке — ломоть колбасы. Осталось от гостинцев, которые ей, юродивой, собрали с собой сердобольные люди в Пушкино. Мишель осторожно, поведив колбасой в воздухе, бросает ее Лисицыну — он едой сначала брезгует, и она думает, что одержимые, может быть, и вовсе не жрут ничего, кроме человечины; боится за него, что он так истощится и издохнет. Но когда она навещает его в этой будке в следующий раз, колбасы нет.

Спит она в кабине, воров отпугивает лисицынским пистолетом; шатается днями по окрестным домам и по полузаброшенным поселкам, ищет, чем поживиться. Радости у нее никакой нет, в мыслях она живет у своей бабушки с дедом, постепенно забывая, что те погибли. Из хорошего у нее только банка меду, тоже пушкинский гостинец, в которую она себе разрешает в конце дня, перед самым сном, залезть пальцем и облизать, чтобы хватало радости на сон и на пробуждение.

Дни слипаются в один: наверное, уже подкатывает на стальных гусеницах Новей год. Лисицынская казачья форма, выстиранная ею и заштопанная, лежит зря — а сам Юра — изможденный, обгадившийся, дикий — бродит кругами по своей клетке-будке в фургоне продуктового грузовика, пока Мишель кланчит подаяние у соседей и талдычит им, как спастись от грядущей беды.

Ей никто не верит — пока черный вал наконец не доходит до Москвы.

Мишель в это время обворовывает пустую чью-то квартиру, из окон которой видно шоссе. Людей, которые по шоссе бегут, она замечает не сразу — увлечена гардеробом, в котором хозяева бросили платье почти ее размера.

Ярославское шоссе, кроме нескольких съездов, у самой Москвы забрано в высоченное ограждение, чуть не туннель без крыши, от мясорубки раструб. И по этому туннелю мчатся к казачьим постам голые люди. Бегут, размахивая руками.

Как нормальные люди в Москву ходили, Мишель за эти дни уже насмотрелась. Таких она, встретив на дороге, успевала предупредить, что в город их не пустят. Кто-то смеялся над ней, кто-то с ней спорил, но ей это было все равно. Там там, где убили Веру, громоздилось все больше, воронье вилось над дорогой все гуще, а люди все равно не верили, что в Москву больше нельзя, и шли себе.

Но теперь было другое.

Этих Мишель узнает сразу. Они несутся каким-то своим мудреным построением, не останавливаются, почтительно ломая шапки, не спрашивают разрешения, не слышат предупредительных выстрелов в воздух. Снайперы, которые сидят в гнездах — за эти недели казаки тут настоящую крепость возвели — не успевают нацелиться.

Только в самые последние секунды начинают палить пулеметы. Мишель прижимается к окну: уже не понимает, за кого она теперь. Ей хочется, и чтобы казаки в серой форме покосили нечисть, но хочется и чтобы эти существа, которые навсегда избавились от страха, пускай даже и через безумие и бешенство, разломали бездушную машинку, которая все эти дни исправно переводила при Мишеле живых теплых людей в мертвецов. Пускай они нашепчут уже казачкам свои секреты, пускай те поскидывают с себя форму, как Юра Лисицын.

Пулеметы строчат неумолимо, неуголимо.

Одержимые барахтаются и кувыркаются, напичканные свинцом, тяжелеют и теряют скорость. Что сейчас думают казаки? Понимают, что это вокруг творится? Предупредили их о таком? Сказали, как защититься? Потому что если хоть один одержимый успеет добраться на расстояние крика, на расстояние нескольких связанных в одно бессмысленное предложение странных слов — конец всему, конец Москве.

Но их не зря тут поставили.

Серые шинели, бараньи папахи, железная выучка, холодная кровь. Черт знает, что они делали раньше там, откуда их сюда привели, но они перемальвают нелюдей так же четко, как до этого молотили людей.

Волна захлебывается и спадает.

За ней, наверное, другая пойдет — такая же отчаянная и бесстрашная — и так же ее под корень скосят, и это будет продолжаться, пока по ту сторону МКАДА будут оставаться люди с целыми ушами.

Мишель возвращается бегом, оглядываясь — пистолет в руке ее перевешивает — к себе в грузовик, прислушивается к фургону — они же сейчас разбудят Юру, он, наверное, будет рваться на свободу, как бы не задохнулся — потом задергивает шторки из тряпок, которые на окна кабины повесила — и ждет, обняв руками колени, пока буря стихнет.

Думает о бабушке о своей. И о той, чужой старухе в доме с кошкой. О Саше, о Егоре. О своем пустом чреве. О Юре Лисицыне. О Вере, которая ее зря послушала.

Кто-то ведь в этом виноват? Кто-то ведь за все это заплатит?

# Кресты

## 1

Это происходит в день, когда у Мишели заканчивается вся еда, не считая медовых остатков на дне литровой банки. В последние несколько суток на улицу выходить она не решается — одержимые рыщут в окрестностях, и ей, не слыша их, покидать знакомый двор слишком опасно.

В последнюю свою вылазку она видит огромную человеческую воронку, которая закручивается вдалеке, на границе с Королевым, втягивая в себя всех окрестных жителей, кто ее не послушал. А те, кто послушал — сидят, оглохшие, по подвалам, доедают запасы, стучаться к ним и выпрашивать милостыню бесполезно.

Утро.

Небеса ясные-ясные, и солнце светит так ярко, как будто май. Дома им подкрашены в желто-розовый, видно далеко, и настроение от этого такое, словно всем еще предстоит долго, красиво и легко жить. Воздух легкий, беспримесный, только зябко становится — может, от того, что без облаков хорошо видно: небо — пустое.

Мишель берет то, что осталось на дне банки, и открывает фургон, где на цепи сидит Юра. Столько времени делила с ним все — и остаток нужно тоже разделить, прежде чем спустить его с цепи — бегать, а самой уже пойти на пулеметы.

Он сегодня не буйный, сидит на полу, смотрит куда-то вдаль, как будто на Мишель, но нет — мимо нее, может, просто на квадрат света, на небо на это, на свободу. Смотрит — и вроде бы слушает еще что-то, что Мишели недоступно. Может, недалекий хор одержимых?

Мишель делает к нему шаг. Он не бросается на нее, не рвется опять ее заговорить, не скалит зубы, не дерет себя отросшими ногтями. Она делает еще шаг, ставит на пол его будки алюминиевую миску и переливает туда при нем жидкий золотистый мед. В банке нельзя отдавать — может изрезаться.

— Вот, Юр. Прости, что раньше от тебя прятала. Я бы без него столько не протянула.

Он вздрагивает — не от ее слов, а из-за того, как тягуче мед перетекает через квадрат света — смотрит завороченно на угощение. Сглатывает — под ошейником ходит заросший волосом кадык. Борода у него отросла за это время жуткая, непотребная, а сам он страшно исхудал. Жалко смотреть, а такой красавец был.

Мишель палкой пододвигает миску ему по полу, и он продолжает следить за ней, не понимая, что это ему, что это можно есть.

— Ешь, ешь! — объясняет ему она. — Это еда тебе. Сладкое! Мед.

Он уже может дотянуться до миски, но не тянется. У него тоже сил совсем не осталось, как и у нее. Тяжело вздыхает, как собака, которая предчувствует смерть. Глядит на мед молча. Мишель чувствует, как закладывает у нее нос, как слезы, про которые она уже и забыла за эти дни, откуда те берутся, подступают к глазам.

— Я тебя отпущу, — обещает она Юре. — Прости, что я так долго тебя тут... Я тебя отпущу. Будешь там гулять... Со своими...

Он не слушает ее. Смотрит на мед.

И — ей кажется это? — у него тоже глаза начинают блестеть. Слезы текут.

— Что с тобой? — спрашивает у него Мишель.

Он, не обращая на нее внимания, пересаживается к миске поближе — насколько цепь пускает. Тянется к ней носом, вдыхает, потом наконец подгребает плоску к себе. Берет ее двумя руками, смотрится в медовое дно, как в зеркало. Потом неуверенно макает в него палец — и водит им по кругу, играет. Моргает, всхлипывает. Наконец сует сладкий палец в рот и сосет его, как младенец грудь.

Снова сует палец в мед и снова принимается сосать.

Отрывается от меда и начинает что-то искать. Встречается глазами с Мишелью и успокаивается. Взгляд у него другой какой-то становится — ясней, светлее. Потом снова смотрит поверх нее — вдаль. И вдруг как электрический разряд по нему пропускают — перетряхивает его всего.

Он трудно поднимается на ноги — затекшие, непослушные. Хмурится. Берется руками за шею. Нащупывает ошейник. Вдруг, засмуцавшись, прикрывает пах. Кончилось? Кончилось затмение!

Этот же разряд пробивает и Мишель.

Она вскакивает, подбегает к Юре, забыв об осторожности, и обнимает его. Начинает рыдать — что за подлость, она же не собиралась!

— Юрочка, милый, Юра... Юра...

Поскорее расстегивает этот идиотский ошейник на нем, накидывает на него драный ватник. Прижимается к нему всем телом — не обращая внимания ни на грязь, ни на запах. Радуюсь не тому даже, что ей сегодня не обязательно больше идти под пули, а просто — что она теперь не одна. И за Юру, что оттаял.

Ясность возвращается к нему не сразу: долго не был человеком. Мишель выводит его из фургона, принимается оттирать с него грязь и присохшее дерьмо пушистым снегом.

— Чистим, чистим трубочиста... Чисто-чисто, чисто-чисто...

Лисицын наблюдает за ней удивленно и заинтересованно, потом снова отвлекается на какие-то недоступные ей звуки. Что-то говорит ей, показывая пальцем в небо.

Потом она растирает его водкой — было припрятано для храбрости, и ему плотнуть дает. Все, чистый, кажется.

— Пойдем, оденемся?

Форма давно его ждет: отстиранная, отчищенная. Кокарду Мишель от нечего делать отполировала до блеска. Ногти только нечем подрезать и бороду..

Он позволяет ей себя обмундировать. Шинель на нем болтается как на вешалке, папаха к лохматой голове толком не прилаживается... И сам он оглядывает себя удивленно: это все мне зачем?

Доев, что было на дне медовой банки, они сидят в теплой кабине грузовика, жгут, что было на дне топливного бака. И Юра оттаивает все лучше.

— Такой бой был... Тяжелый... Я еле вытащила тебя, еле выходила... Ты две недели, наверное, без сознания... — уже привычно врёт ему она. — Я думала, все. А ты — вон, оклемался! Крепкий ты!

Он что-то спрашивает, спрашивает уже по-русски, но письменную грамоту еще не вспомнил, поэтому Мишель его вопросы оставляет без ответа. Юра ищет по карманам свои семки, ищет сигареты. Вспоминает про пистолет. Выходит подышать. Слушает воздух. Потом с сомнением пишет по испарине на стекле — наконец сообразив, кто такая Мишель: «Звонят».

Мишель настораживается: кто ему еще звонит? Куда?

«Колокола звонят».

## 2

Сначала она ведет его на экскурсию в многоэтажку: показать мясорубку. Объясняет, что на дурака в Москву сейчас не проскочишь — косят на подступах. Юра к этому времени уже почти что тот, прежний. Чешет бороду, кивает, изучает укрепления: «Хорошо, что охраняют! Значит, знают!»

Мишель наблюдает за ним с беспокойством — не притворяется он? Иной раз она ловит его на каком-то таком выражении лица, какие она только у детсадовцев видела. Можно с ним к патрулям идти? Форма да, есть, но не ляпнет ли он чего-нибудь в разговоре со своими?

Но Юра оглядывает МКАД, размышляет. Соглашается с ней, что просто с наскака не получится пробраться. И вдруг что-то вдалеке привлекает его внимание.

«Бинокля нет?» — пишет он ей. Ну да, конечно, бинокль ему еще!

«Надо туда вон поближе подойти, посмотреть», — указывает он.

Они спускаются вниз, шагают по пустым дворам — Мишель крутит головой в своей ватной тишине, боится пропустить приближение одержимых, но их, наверное, всех затянуло в ту воронку в Королеве. Идут вдоль Кольцевой, не приближаясь, пока Юра не указывает ей на другую высотку: отсюда поглядим. Забираются, он напряженно выискивает на МКАДе что-то, что раньше присмотрел, и в конце концов показывает Мишель из пальцев сложенную “V”.

«Там мои стоят! Вон знамя, видишь? Мои! Из Дербента!»

Отряхивает шинель от подъездной побелки, радостный, машет ей — айда за мной! Слетает вниз браво, бодро, как настоящий, но оступает и летит. Если бы Мишель его не подхватила, разбил бы себе что-нибудь обязательно.

— Не спеши, не спеши...

Его эти, из Дербента, стоят у небольшого разъезда рядом с каким-то торговым центром, можно подобраться к ним дворами и закоулками.

— Ну, ладно. Идем? — Мишель крестится зачем-то.

Юра, спотыкаясь как трехлетний, рвется вперед, тащит ее за собой. Она спешит за ним вслед, напоминая ему их историю — слышит он ее или нет?

— Тебя отправили в Ярославль на разведку. С тобой было сто человек. Было сражение с одержимыми, все твои полегли. Ты уцелел. Я — невеста Саши Кригова, беременна от него. Саша сам погиб. Ты один только выжил. Тебе нужно в Москву, доложить обстановку командиру. У тебя ценные сведения. Ты им должен рассказать, что там творится, научить их, как защититься от этого. А меня ты должен проводить к Сашиним родителям, познакомить. Потому что больше у меня никого нет. Понимаешь? Запомнишь?

Он кивает ей, кивает — но думает о чем-то своем. То нахмурится, то заулыбается: кажется, что все Юрины мысли мгновенно бликуют на его лице, ничего он не в состоянии теперь утаить. Как же он будет патрулям врать?

И на сколько хватит ему нынешнего его прояснения? Если он долго в помутнении был, значит и отпустит его на подольше? Или, может, он теперь вообще исцелился? Или ничто в этом деле не значит ничего, никакой закономерности не существует? А если его перекроет прямо у патруля, во время разговора? Если, конечно, патрульные вообще подпустят его ближе, чем на расстояние выстрела.

Они выбирают на дорогу совсем рядом с патрулем, по Юриной команде сразу поднимают руки вверх. Патрульные оборачиваются, выдувают пар — немо кричат. За их спинами идет ровная асфальтовая дорога в Москву, по краям зда-

ния заснеженные, сияют стеклами на солнце — и там, впереди — Москва вся переливается отраженными солнечными лучами, искрится.

Перед ними несколько припорошенных тел — тут, видно, тоже приказ был убитых не трогать, от греха подальше. Казаки разглядывают Лисицына, узнают в его шинели свои шинели, удивляются. Подходит скорым шагом офицер, прикладывает к глазам бинокль. Отводит. Снова прикладывает. Лисицын ему что-то кричит. Честная радость на лице: признал он в этом офицере кого-то. Оборачивается к Мишель, показывает ей большой палец.

Мишель, каждую секунду готовая к тому, что ее сейчас пуля ужалит — наверное, в грудь, как ту крашеную бабу — боится ему поверить. Но нет, Юра оказывается прав.

Офицер машет ему, подзывая. Юра крепко берет Мишель за руку, ведет ее с собой. Ей страшно с ним шагать, она столько раз видела за эти недели, как люди падают, не дойдя до московского нимба, что ноги отказываются слушаться. Щекочет между грудей место, куда попадет пуля.

Но когда становится видно казачьи лица, она понимает, что спасена.

Тут все улыбаются, а чернявый офицер, который позвал Юру, широко раскрывает ему объятия. Они христуются, любят друг на друга, чернявый — гладко выбритый, щеголеватый — осматривает обросшего и одичавшего Лисицына с нежностью и беспокойством, хлопает его по спине так, что тот качается.

Рядом толпятся рядовые, все пялятся на Лисицына изумленно и восхищенно. Кто-то угощает его семечками. Он берет, смотрит на них в своей ладони, кашляет, вытирает глаз, смеется. Замечают и Мишель — он что-то рассказывает им всем о ней, гладит себя по животу. Казаки его тоже сейчас как дети — тут помрачнели, тут оживились. Говорит про Кригова, догадывается Мишель.

Ведут их в палатку, наливают спиртного в алюминиевые кружки, говорят, говорят, говорят... Смуглый этот офицер сбрасывает шинель, на кителе у него фамилия нашита — «Баласанян В.А.» — с ним Юра теплей всех. Баласанян хочет звонить куда-то, телефонист приносит громоздкий аппарат со шнуром — но Лисицын мотает головой, просит не связывать. Что-то объясняет этому чернявому, тот поднимает тяжелые черные брови, но соглашается.

Мишель неотрывно наблюдает за Лисицыным. Не собьется ли, не помутится ли. Но тот держится молодцом — может быть, улыбки вокруг его поддерживают; черт знает, как оно работает.

Юра пишет ей: «Сейчас будет машина, все хорошо». А пока машины нет, им несут алюминиевые миски с горячей кашей, Лисицын ест — аппетит пробуждается, и Мишель ест, вспоминая, сколько дней она уже не ела толком. Люди вокруг все добрые, веселые. Как-то совсем не бросает на них тень все, что Мишель прожила, когда одна выползла из-под пуль. То ведь другие стреляли. А этим на их



доброту хочется взаимностью ответить, хочется беззвучно смеяться на их неслышные шутки, улыбаться в ответ на их улыбки.

Заходят в палатку еще какие-то люди, расспрашивают о чем-то Лисицына, тот коротко отвечает, смотрит им мимо глаз. Они подходят к Мишели, зачем-то ее фотографируют, требуют дать пальцы рук, пачкают эти пальцы в чернилах и катают их по картонке.

— Зачем?! — спрашивает Мишель у Юры.

«Пограничники. Проверяют всех прибывших».

Ладно, успокаивает себя она. Это все ерунда, что там ей Вера напела. У нее была своя история, у Мишель будет своя. Пускай ее проверяют, Мишель отсюда ребенком черт знает когда уехала.

И не мог ее отец быть врагом народа. Героем он был, и точка.

### 3

Потом им еще дают на посошок выпить — машина пришла! — выводят из палатки, сажают в какой-то военный автомобиль на больших колесах. Лисицын оглядывает машину удивленно, с одобрением. Смуглый этот офицер, Баласанян, садится к водителю вперед, дает ему отмашку.

Поднимаются шлагбаумы, автомобиль объезжает набросанные тут и там бетонные блоки, казаки в папах и серых шинелях козыряют им вслед, Юра хлопывает Мишель по колену, она оборачивается — оглядывает укрепления изнутри в последний раз, смотрит глазами защитников Москвы на ту сторону, откуда пришла: там, в перекрестьях прицелов — сумеречная злая страна, обвалившиеся дома, тучи воронья, и закручивающийся страшный ураган, о котором она должна предупредить тех, кто обороняет сейчас столицу.

Машина въезжает на пустое шоссе, которое уже беспрепятственно в точку уходит — и мчит по нему, подпрыгивая на редких колдобинах. Навстречу едут грузовики с прицепленными пушками — бесконечная колонна. Это хорошо: пулеметов им скоро будет не хватать.

Мелькают справа и слева высокие дома, куда параднее тех, которыми застроено столичное предгорье. Москва не похожа на фотки, которые Мишель хранит в своей голове — она громадней, многообразнее, суровей, чем город ее грез, но она зато настоящая, четкая и материальная. Ее не развеет ветер, не размочит время.

Мишель возвращается в исходную точку — чтобы обрести память и себя обрести, чтобы открыть все, что было от нее скрыто; после долгой и бессмысленной отсрочки стать тем, кем она была рождена.

Ей даже жутко от того, что это все происходит по-настоящему — что она действительно наконец прорвалась, пробилась сюда. Будущее, которого она столько ждала, которое она заклинала наступить скорее, и в которое, не дождавшись, отправилась сама — вот оно. Сейчас. Вокруг.

Через короткое время машину останавливают на блок-посту — но это рутинная проверка. Мишель притрагивается вопросительно к Юриному колену, тот показывает ей на пальцах «три», как будто это все объясняет. Действительно, ничего такого — их пропускают, и машина катит дальше.

Теперь начинаются другие дома — панельных многоэтажек тут больше нет, сюда их не пускают, наверное — вокруг дорог встают серьезные серокаменные здания, окна в них большие, этажи высокие, колонны, арки, позументы какие-то... Почему-то Мишели хочется назвать это полужнакомым словом «позумент», хотя она почти уверена, что оно про другое.

Вот это переключается с ее детскими фото больше. Вот эта Москва родней, знакомее. Мишель всю голову себе откручивает, пытаясь насмотреться на эти дома, на улицы... На храмы.

Лисицын на каждую церковь крестится. У многих толпятся люди — не замызганные несчастные обитатели подмосковных заброшенных городишек, а приодетые, осанистые граждане. Выходят из храмов, крестятся и кланяются... Мишель вспоминает слова Лисицына — что колокола звонят. Жаль, что ей этот звон не слышно.

Чем дальше едут, тем больше народу на улицах: настоящие гуляния. Может быть, сегодня воскресенье? И совершенно непохоже, чтобы тут было военное положение. Все эти люди не знают о том, что клубится на самых подступах к Москве. А тут до ада ведь всего десяток-другой километров!

Поворачивают куда-то, и Мишель уже сама, без подсказки, каким-то образом знает, что это — Садовое кольцо. Оно празднично убрано, оно восхитительно красиво — полощутся флаги и знамена, над проулками растянуты ленты и гирлянды, портреты царя со стурбулевок тут и там выписаны в цвете и на плакатах напечатаны. Только почему-то царь тут с нимбом, как на бабкиных иконах.

Машина останавливается. Водитель выскакивает из машины, открывает Лисицыну, а Баласаян выпускает Мишель, галантно подав ей руку. Она спрыгивает в мокрый снег — он помогает ей перебраться на расчищенный тротуар. Мишель полной грудью вдыхает — чудной, чуть с привкусом гари, и все равно удивительно легкий морозный воздух.

Дом.

Она дома, вот что она чувствует.

Не это сон, сон — все, что было с ней до сегодняшнего дня, все ее однообразное до тошноты существование в Ярославле на Посту, где не то, что день ото дня не отличишь — а год от года, где ни единой живой эмоции она не прожила. Но это

спячка была, наверное. Это было вызревание ее куколкой, которая там, в затхло-сти и унынии, никогда бы и не смогла превратиться в бабочку. Там Мишель так и осталась бы человеческой личинкой, не раскрыв того, для чего родилась.

И кошмарным сном кажется все, испытанное ей в последние недели.

Здание, у которого они остановились, тоже украшено знаменами — казачьими, ей уже знакомыми. У входа караул в серых шинелях, и Баласанян зовет Лисицына туда, но тот просит товарища: нужно кое-что еще сделать. Баласанян смотрит на часы, соглашается.

И Юра ведет ее по Садовому кольцу, Мишель сама, своими ногами, по всамделишному Садовому кольцу идет — за несколько кварталов от места, где их высадили. Она оглядывает себя с беспокойством: Юрину-то форму она отчистила, а сама среди вырядившихся ради воскресного дня москвичей выглядит настоящим чучелом. Она ведь в этой одежде еще утром собиралась умирать, ей было все равно... И как только за полдня может перемениться жизнь!

Под снегом собирается вдоль проезжей части толпа. Полицейские выстраиваются у тротуаров, не позволяют людям выходить на освобожденную для какого-то действия дорогу.

Юра уже держится уверенно, почти не похож на мальчишку. Посерьезнел, попасмурнел даже — но идет зато твердо, больше не скачет. Отступил морок. Мишель начинает сомневаться — а теперь, когда в голове у него прояснилось, он не станет дознаваться у нее про фургон с цепью и кучей грязного тряпья на полу? Не удивится, что единственный выжил из всех своих казаков? Но он пока ничего не спрашивает.

— Куда мы? — придерживает его Мишель.

«К Саше», — пишет он на чистом воздухе.

К Саше. Уже.

От этого ей делается страшно: примут или нет? И грустно: после того, как Лисицын передаст ее Сашиним родителям, с ним нужно будет попрощаться — теперь навсегда.

Мишель оглядывается назад — Баласанян и второй казак шагают следом за ними, почтительно приотстав. Это им она должна будет сказать про Юру? Это они его на смерть поволокут?

Она виснет на подставленном ей Юрой локте еще тяжелей.

#### 4

И вот стоят они с Юрой перед этой дверью, богато обитой пухлой черной кожей, прихваченной золотыми гвоздиками. Улыбаются в глазок с золотым ободком, как на театральных биноклях — у деда такой хранился. Кажется, что

дверь не отопрут никогда. Неужели там нет никого? Сашин папа ведь врач, хирург, а у хирургов, может, и не бывает выходных.

Подъезд выметен чисто, в нем тепло, лифт иногда оживает и скребется в сетчатой шахте, на всех этажах горит свет, и ни одна дверь не изрезана хулиганами. Мишель была бы готова жить даже тут, на этой лестничной клетке — по сравнению с кабиной грузовика это рай.

Лисицын ждет с прижатой к груди папахой. Мишель тоже замерла.

...Наконец открывают.

На пороге стоит седая женщина, лицо которой кажется удивительно молодым, несмотря на седину. На плечи накинута шаль, но спина у нее прямая, на ногах — узкая шерстяная юбка до колена. Может быть, мать Мишель так одевалась бы сейчас, если бы была жива.

Юру она узнает сразу.

Лисицын делает к ней шаг, беззвучно оглашает похоронку. Мишель наблюдает за ней — за Сашиной матерью — украдкой, любопытно и испуганно. Та стоит неподвижно, словно одержимый в спячке — лицо парализовано, тело в столбняке. Потом медленно кивает. Пройти не приглашает, так и стоит в дверях.

Подбегает пожилой мужчина в очках, обнимает ее. Залысины, седина не полностью еще одолела русый волос — это на него оказывается похож Саша. Видит Лисицына с непокрытой головой, весь становится серым. Мать отступает. Отец зовет их внутрь.

В прихожей высокий потолок, люстра льет желтый электрический свет, репродукции с русским полем на стенах, лепнина в трещинах, телефон с номерным диском на столике. Отец приглашает их в кухню, спрашивает что-то у Мишель, та не слышит — он помогает ей раздеться, принимая куртку сзади — и вдруг оседает, опускается на пол.

Юра подсказывает, подхватывает его, возвращается Сашина мать, скорей цедит меж губ мужу какие-то капли, шарики белые под язык кладет... Ужас. Ужас.

Мишель понимает, что Саша Кригов умер. Что его больше нигде нет.

Что она пришла к его родителям — добрым, настоящим людям.

Что пришла, чтобы соврать им, что она все еще беременна от их сына.

И назад дороги нет.

## 5

Они сидят за круглым столом с шелковой скатертью, алой с желтыми кистями. Окна кухни выходят в тихий двор, в котором старые многоэтажные деревья стоят, отороченные снегом: красиво как в сказке.

Сашин отец приходит в себя, мать хлопчет, готовит чай. Юра докладывает ей что-то, видно, не про нее пока, про сына. Мишель краем глаза читает перевернутую вверх ногами газету, которую, видимо, оставил тут хозяин, когда пошел открывать.

На передовице статья под заглавием «МЯТЕЖ ОБРЕЧЕН». Мишель склеивает опрокинутые буквы в опрокинутые слова.

«Орды мятежников, подстрекаемые провокаторами и агентами влияния, посланными с Урала и из Сибири, не имеют ни малейшего шанса проникнуть в столицу Московии. В этом корреспондента «Русского вестника» заверили военный министр князь Коблов и войсковой атаман П. Буря»

Мишель поднимает глаза на Лисицына: господи, да они тут ничего не понимают про опасность, в которой оказались! Но тот поглощен разговором с Сашин матерью, не замечает ее немого вопроса.

«Развернутые на подступах к Москве отборные казачьи отряды с легкостью отражают хаотические атаки плохо вооруженного противника. Никаких причин для введения чрезвычайного положения нет, заявил князь Коблов. За прошедшую неделю казачьи полки не потеряли ни единого бойца убитым или раненым.

Относительно мотивов и требований бунтовщиков известно, что главной их целью является попытка отыграть за поражение в Гражданской войне, и именно с этой целью их удар был приурочен к канонизации покойного Государя Михаила I Стоянова, которая пройдет в столице сегодня.

Переговоры с мятежниками исключены, в правительстве ожидают, что, если бунт не иссякнет сам, то после Рождества верные Государю войска перейдут в контрнаступление. До тех пор сообщение с другими городами Московии, в особенности на восточном направлении, купировано».

Мишель перечитывает передовицу заново, потом, решив, что вверх тормашками она могла что-то не так понять, разворачивает газету к себе лицом. Читает статейки помельче, которые лепятся к главной: «Запасов продовольствия хватит на всю зиму...», «Государь непоколебим...», «Инциденты в Подмоскovie никак не скажутся на планах торжеств, посвященных канонизации...», «В Большом театре заявляют, что премьера состоится точно в срок...», «Распространителей панических слухов ожидает весьма суровое наказание, обещает...», «В главный день празднеств на боевое дежурство выйдут кадеты Охранной академии и...»

Они уже больше недели обороняют город от одержимых, и так и не осознали, с чем имеют дело! Может, именно благодаря тому, что палят по всем подряд, едва кто-то приблизится на расстояние выстрела? Обязательно надо показать эту газету Юре — кроме него, никто в этом городе не видел, что надвигается на Москву с востока, никто не поверит... Тут он один — ее единомышленник.

И его Мишель собирается предать.

Она ерзает на стуле.

Может, надо просто сказать ему, что он заражен?

И пусть он сам тогда решает свою судьбу. Если надумает сдаться, пускай сдаётся. Если решит покончить с собой... Чтобы не превращаться больше в нелюдя... То это его решение будет. Это когда придется сделать? Ну вот совсем скоро. Отозвать его в сторону, шепнуть... Мишель читает газетные заголовки по пятому разу, не понимая, что читает.

Тут на нее как будто тень ложится, как будто присыпало каменным пеплом. Мишель поднимает глаза, хочет его с себя стряхнуть — это Сашина мать на нее смотрит. По-другому совсем как-то смотрит, с вниманием. И Юра к Мишель вполборота, рассказывает что-то о ней, подбадривающе кивает... Вот, дошло и до нее дело. До ее положения.

Она садится прямо, пытается улыбнуться.

Сашина мать выходит, возвращается с тетрадью и синей ручкой. Кивает ей, улыбается. Наливает себе кофе, занимает место сбоку — чтобы удобней было переписываться. Разглядывает Мишель в профиль.

«Как тебя зовут?» — пишет она идеальными буквами, как из прописей.

— Мишель.

Она изо всех сил старается вспомнить, как говорила бы, если бы слышала сейчас свой собственный голос. Старается не кричать, нажимать на правильные слоги.

— Мы только два дня были с Сашей вместе. Но он сказал мне, что на обратном пути заберет с собой в Москву. Это, наверное, глупо звучит, да? Я понимаю!

Мишель чувствует, как кровь приливает к голове с каждым словом, которое приближает ее к большой лжи. Сашина мать постукивает ручкой по столу, потом пишет:

«Я Ирина Антоновна».

— Очень приятно.

«А твоя фамилия как?»

— Белькова.

«Белякова?»

— Нет, Белькова.

Ирина Антоновна протягивает Мишели ручку: напиши. Та заносит в тетрадь: «Белькова Мишель...», но Сашина мать не принимает ручку обратно, пока Мишель не записывает и отчество: «Эдуардовна». И опять холодная испарина на лбу, на шее — как при сдаче отпечатков пальцев.

«Откуда ты?»

– Я сейчас из Ярославля приехала, но я из Москвы сама. Я когда маленькая была, меня увезли отсюда. К бабушке.

«Какой срок у тебя?»

Злости нет на ее лице, нет недоверия – лицо ровное; как и когда Юра сказал ей, что ее сын убит.

Мишель оглядывается на Лисицына, словно просит его поддержки. От предстоящего вранья у нее начинает адски свербить в носу, но почесать его она не решается.

– Мы с Сашей познакомились в октябре, – отвечает она. – Вот, получается, что с октября.

В кухню возвращается Сашин отец, наливает себе тоже чай, садится напротив, собираясь тоже заговорить – но замирает, догадываясь, о чем идет речь. Вспыхивает, уточняет что-то у Ирины Антоновны, та отвечает ему спокойно, не спуская с Мишели взгляда.

Нос чешется теперь просто нестерпимо, и от того, что Мишель не может его почесать, у нее начинают слезиться глаза.

«Не помнишь, у Саши не было нигде родимого пятна? Под одеждой?» – своими красивыми буквами выписывает Ирина Антоновна.

Мишель сначала просто смущается, потом сознает смысл этого вопроса, этого допроса – и теперь смущается уже наглядней, призывая и Юру, и Сашиного отца себе в свидетели. Ирина Антоновна постукивает беззвучно ручкой по столу.

«Не смущайся. Я думаю, мы все тут видели Сашу в чем мать родила».

Мишель пытается вспомнить. Полумрак-полурассвет, гостевая комната на ярославском Посту, она играет с Сашинной бородой, оба они голые, оба липкие – все еще разгоряченные... Что там можно было рассмотреть? Что, если она не сдаст сейчас этот экзамен?

Сашин отец как будто стесняется того, что ему приходится присутствовать при таком, пытается отвлечь Юру какими-то вопросами, Мишель чувствует, что думает слишком долго.

– Я не помню! Было темно! Он мне рассказывал, что отец у него хирург, про Патрики много говорил, про то, какая тут теперь жизнь! У меня родители на Патриарших жили раньше, до войны! Я у него спрашивала еще, не знает ли он моего отца! Я не помню никаких больших родинок. На плечах веснушки были, как если сгореть на солнце!

Сашин отец кивает ей украдкой: правильный ответ. Мишель хочет ему улыбнуться, но боится Ирины Антоновны. Сердце колотится. Она утирает нос.

– И так вот все получилось. Он у меня... Первый был. И вот... Ну и там, в Ярославле, у меня больше никого не осталось. Некуда было больше идти, и я встретила Юру... – вспоминая, что надо тише говорить, тише, тараторит Мишель.

«Тебе есть, где жить?» — пишет ей Сашина мать.

— Нет. Не знаю! — отвечает Мишель.

Ирина проводит пальцами по ее руке — задумчиво. Оглядывает ее странную одежду — то, во что ее старуха нарядила, забрав у нее испачканные кровью джинсы. Все не по размеру, вся дырявое, да и запах, наверное...

«Так что с твоими родителями?»

— Я не знаю, что! Они пропали! Но они были нормальные люди! Отец в министерстве работал! Просто была война! Он меня посадил на поезд, я маленькая была! Я сама собираюсь их искать! Я только что приехала! У меня раньше был телефон мобильный с фотографиями, я могла бы доказать вам, что это все правда! Но он сгорел, и все фотки пропали! Не подумайте, я не бомжиха какая-то!

Теперь вот подлинные уже слезы выступают у нее на глазах — от обиды за себя и от жалости к себе. Сашина мать кивает ей, улыбается — без теплоты, но и без злорадства.

«Отца полное ФИО? Напиши, пожалуйста».

Мишель пишет. Та вырывает лист с именем и поднимается. Мишель тоже вскакивает было, но Ирина Антоновна делает ей знак сидеть. Выходит. Куда она выходит? Зачем?

Мишель растерянно оглядывается на Лисицына, на Сашиного отца. Тот мягко улыбается ей, машет успокоительно — не переживай, все хорошо. Берет себе ручку, карандаш, пишет: «Я — Анатолий». И тоже изучает ее, но по-людски, а не как покупатели на базаре мясо разглядывают. Вздыхает немо. О чем думает? О Саше о своем, наверное. Он вот хочет Мишели поверить, а мать Сашина — не хочет.

«А что со слухом у тебя?» — спрашивает он такими корявыми буквами, что Мишель с трудом их может прочесть.

— У меня над ухом выстрелили из автомата! — отвечает она; размышляет — пора ли уже завести речь о том, что им скоро всем придется тут себя оглушить? Юра о том же, наверное, думает. И тоже пока сдерживается.

«Контузия, видимо. Разрыв барабанной перепонки», — шкрябает Анатолий. «Надо бы тебя посмотреть». Мишель пожимает плечами, а сама думает: это вообще лечится, интересно?

Сашиной матери все нет.

— Куда Ирина Антоновна ушла? — не выносит ожидания Мишель.

Анатолий приглаживает волосы, снимает и протирает очки. Потом объясняет ей на бумаге: «Хочет узнать, что там с твоими родителями. Ира в архиве работает, может найти информацию».

Мишель поднимает и опускает подбородок.



Вот так вот? Неужели прямо сейчас все и разрешится? Есть архив, в котором про любого жившего в Москве человека записано, кем он был и куда делся?

Юра подвигает к себе газету, просматривает заглавья. Вскидывается, беспомощно и расстроено сверяется с Мишелью: ты видела? Та только пожимает плечами. Он тогда спрашивает о чем-то Сашиного отца, тычет своим огрубелым пальцем в буквы. Потом и сам замечает, что палец у него странный, не вполне человеческий: грязь в поры въелась, ногти обглоданы — и стеснительно его прячет.

Сашин отец заводит какую-то очевидную тягомотину, лицо у него сводит от неловкости, глаза блуждают между окном и столом, Юра морщится, Мишели становится тоже важно услышать, почему в газете все с ног на голову ставят.

— Надо этим людям в газету позвонить! — влезает Мишель в их разговор. — Это не мятежники никакие, никакие не бунтовщики! Это одержимые! Они друга словами заражают! Чудо вообще, что зараза до сих пор не перекинулась на казаков на этих, которые охраняют Москву!

Юра кивает, взволнованно прихлопывает ладонью по столу: даже девчонка, мол, это понимает! Встает, принимается по кухне расхаживать. Подходит к окну.

Сашин отец невесело улыбается им, оборачивается на коридор, в котором пропала его жена, потом берется опять за ручку. Колеблется — писать или не писать, и потом все-таки пишет:

«Газеты об этом не расскажут».

— Почему?!

Лисицын на ее крик озирается, отрывается от изрисованного инеем стекла. Сашин отец, сконфуженный, знаком просит Мишель потише быть. Снова проверяет — не крадется ли кто по коридору?

«Потому что это клевета на покойного Государя!»

— Какая еще клевета? Почему на Государя? — старается шептать Мишель.

Анатолий вместо ответа идет чайник ставить. Открывает холодильник, устраивает в нем обыск. Какую-то требуху вынимает, раскладывает на столе — утром Мишель за нее отдаться была бы готова, а сейчас не лезет.

— Скажите! Я хочу понять! — снова забывается она. — Тут угроза всей Москве, вам всем, вы не представляете! Я только сегодня оттуда, из-за Кольцевой, они сюда идут, одержимые! Их там море! Надо людям рассказать, как не заразиться! Только так, только уши себе проткнуть! Я только потому не заразилась, что контузилась...

Сашин отец прижимает палец к губам — не сердито, а умоляюще. Подсаживается к Мишели и, не спуская глаз с коридора, строчит ей спешащими невнятными буквами:

«Михаил I же это и применил! В гражданку. По людям. По регионам». Потом перечеркивает «По людям» старательно, и выводит разборчиво: «По мятежникам».

Юра читает их переписку сверху и вспыхивает. Зло выговаривает что-то Сашиному отцу — старается сдерживать себя, но Мишель как жаром обдаёт. Она поднимается, берёт Юру за руку: не надо, не надо — а сама боится, как бы он сейчас не съехал от неё обратно в туман и во мрак, ему в хорошем расположении надо быть, чтобы человеком удерживаться, так ей кажется. Юра отдергивается, снова подходит к окну, упирается в стекло лбом, плавит иней, старается остудиться.

Сашин отец наблюдает за ними расстроено, с Юрой не спорит, но, когда тот отворачивается от них с Мишель, добавляет на бумаге: «Быльем поросло! Не имеет значения».

Как не имеет?

— Имеет. Имеет! — шепчет ему в ухо Мишель.

Юра все стоит у окна, спина напряжена.

«Ты точно от Саши беременна?» — пишет ей Анатолий. «От нашего Саши?»

Смятение такое в его лице, которое от человека его возраста, его ремесла — не ждешь. Мишель поднимает подбородок, опускает подбородок.

— Да.

«Ну тогда ты для нас теперь вроде как член семьи...»

Он снова воровато озирается вокруг — на Юру у окна, на коридор позади. Ручкой на исписанной уже бумаге выводит: «Михаил I ведь так и стал императором. Ты не знала?»

Мишель качает головой.

«Он был директором Конторы, у них имелась разработка, НЛП, никто не решался использовать, а он применил. Восстание регионов подавил, но такой вот ценой. Ну тут и началось, у людей родные по всей России же. Вот и Гражданка. А по Москве уже не применишь... И пошло, брат на брата».

Он сверяется с глухой Мишелью — понимает та, о чем он? Или не может понять? Мишель его подгоняет: пиши, пиши, не останавливайся, я потом все осколки вместе сложу.

«Но теперь про это нельзя. Его сегодня канонизируют. Святой. Чудо совершил. Так что не вздумай об этом трепаться, ясно! Никаких одержимых!» — он подчеркивает ей это дважды, — «Люди только про это забыли, и слава богу! Худой мир лучше... А то опять начнется!»

Он бросает ручку, вырывает исписанный листок, поджигает его от голубого огонька на газовой конфорке и швыряет в пепельницу. Вилочкой поворачивает его, пока тот горит — чтобы все стало сажой, чтобы ничего не уцелело.

Лисицын оборачивается на запах горелой бумаги. Он, кажется, сумел себя охладить. Взволнован все еще, но все еще человек.

Мишель сидит, переваривает расплавленный свинец, который ей — «тихо-тихо, потерпи-потерпи-потерпи» — через воронку в глотку залили.

И тут Юра вздрагивает.

Мишель вскакивает — оно?! — не успела! — но он распахивает окно, высовывается по пояс — кому-то что-то кричит, кажется, и вдруг срывается с места, отталкивает Сашиного отца, чуть стол не опрокидывает — и бросается в коридор.

— Это не то, это не то, это не оно! — бормочет Мишель себе. — Это не так должно начинаться! Это не оно!

Сашин отец поднимается с пола, ошарашенный — тоже подходит к окну; Мишель не знает — ей за Юрой бежать или Сашиных родителей сначала предупредить?

Выглядывает во двор...

Там стоит черная лакированная машина, и люди в синей форме заламывают руки людям в серой. Смешная борьба, беззвучная. Потом — хлоп! — один из синих падает, как будто поскользнувшись на льду — и хлоп! — падает второй. Выскакивает из подъезда еще один казак, это Юра — в руке черная галочка — пистолет. Бросается бежать по снегу, поворачивает в арку, пропадает.

Сашин отец хватается за нее, отталкивает от окна, захлопывает ставни.

Все случается так быстро, что Мишель не успевает, не успевает ничего сделать, не успевает ничего понять даже.

Она мешком оседает обратно, на стул.

Свинец густеет в ней, застывает.

## 6

Из квартиры ее не выпускают.

Ирина Антоновна уже заперла дверь на три замка и собачку, дает Сашиному отцу неслышные инструкции, Мишель таращится на них, обняв себя руками, пытается согреться. Юра ушел, сбежал — так и не узнав, что болен, не узнав, что заразен. Кому ей теперь в этом во всем признаться? В газету звонить? Родителям Сашиным объяснить, в чем дело?

Ужас.

Мать смотрит на нее по-змеиному неподвижно, лицо парализовано — как и в ту секунду, когда ей Юра про Сашу сказал. Грудь только вздымается и опускается; Сашин отец глотает опять капли.

— Его надо поймать! — наконец собирается с духом Мишель. — Юра, он одержимый! Он может всех заразить, если его не поймать! У него сейчас вроде про-

светления, но он... Он потом опять съедет, и всех тут может заразить! Надо сказать! Надо людей предупредить!

Сашина мать хватает ее за запястье — железными клещами — тащит в свою комнату, толкает на кушетку. В комнате стоит другой телефон, черный с гербовым орлом, без кнопок и без диска, еще сейф, рабочий стол с фотографиями — на них Ирина Антоновна в строгой форме позирует рядом с другими отформованными людьми, все глядят в объектив серьезно. Отдельно — большое фото, где она с высоким, худым и костистым человеком в богатом мундире, и он свои скелетные пальцы ей на плечо отдыхать положил. И еще на столе два красивых больших билета, на которых фольгой вытиснено: «Большой театр», «Партер», «Щелкунчик».

Ирина Антоновна берет бумагу, пишет: «Замолчи немедленно».

Сует Мишели в лицо — читай!

Потом продолжает. «Это все ересь. Забудь об этом. Ясно?!»

— Это не ересь! — кричит ей Мишель. — Это в ваших газетах ересь! А это все на самом деле! Ваш сын из-за этого погиб! Он тоже был одержимым! Это из-за моста пришло! Из-за Волги! Был поезд, они ехали сюда, в Москву! Чтобы отомстить вам за то, что вы сделали с ними в войну! Вернуть вам заразу! Они хотели Москву этим обратно заразить! Чтобы уничтожить! И Саша такой был! Я его видела! Я вам клянусь! Ваш сын! И Юра тоже заболел! А теперь он тут! Надо людей предупредить! Чтобы уши себе выкололи!

Сашина мать бледнеет, оглядывается на черный телефон, на углы — и потом лепит Мишели пощечину — хлесткую, больную.

«Заткнись, пока не услышали».

Вот теперь Мишель не может заплакать — одно только чистое бешенство ее изнутри распирает. Из дверей смотрит Сашин отец; жена замахивается на него, выгоняет.

«Не смей об этом говорить. Тебя здесь быть не должно. У нас и так из-за твоего отца будут проблемы. Как только Сашу угораздило».

— Что?! Что с моим папой?! — шепчет Мишель.

Губы у Ирины Антоновны ниткой.

Она отходит к телефону, у которого лежит записная книжечка. Берет ее, возвращается к Мишели. Раскрывает, а там — аккуратными буквами убористо:

«Бельков Э.А. (1982) — ликв. воен. трибуналом. как враж. элемент.

Белькова Г.С. (1985) — ликв. воен. триб. вр. эл.

Бельков М.А. (1986) — ликв. воен. триб. в.э.

Белькова А.И. (1986) — ликв. воен. триб. »

И наблюдает за Мишелью, пока та пытается разобраться в шифре.

— Что это значит? — она показывает пальцем на «ликв.»

«Ликвидирован».

Мишелькин дед так говорил о колорадском жуке, которого после сбора с чахлой картошки в банке с бензином топили. Мишель не понимает, что это может значить относительно ее семьи.

«Расстрелян», — объясняет ей Сашина мать.

Ничего не остается больше во всем мире, все пусто и все черно. Ничего нет. Ничего нет. Холодно. Мертво. «Бельков М.А.» это дядя Миша ее, папин брат. Чернота.

— Неправда! Это вранье! Неправда!

И снова пощечина. Ожог.

— Еще раз! Посмейте только! — шипит Мишель.

Та опять замахивается — и вдруг застывает. Оборачивается к выходу, к прихожей, и отец Сашин возникает в проходе — растерянный, хватающий воздухом — на дверь, на жену, на дверь, снова на жену.

Звонят? Стучат?

Ирина Антоновна распахивает дверцу гардероба — там висят форменные кители, погоны золотые — из кармана достает книжицу удостоверения, отталкивает Мишель, шагает в прихожую, заглядывает в зеркало — расправляет острые плечи, приглаживает седые волосы. Открывает входную дверь.

Внутрь врываются трое в синих мундирах, в руках железо, хари перекошены, пуговицы блестят медью. На хозяев квартиры разевают пасти — орут без звука, во рту железные зубы — Мишель испуганно выглядывает из комнаты, Сашина мать ее впихивает обратно.

Но они уже заметили Мишель, скалятся на нее — подбираются для броска, сжимаются, руки с железными наконечниками уже схватываются судорогой — готовы в нее целить, стрелять. Это по ее душу они здесь. Это те же, которые за Юрой приходили. Теперь отыскали и Мишель.

Но Сашина мать своей спиной заслоняет ее от гостей.

Выхватывает эту свою книжицу, раскрывает перед ними так, как будто это оберег, как будто пылающим факелом перед ощерившимися волками размахивает. Те, в самом деле, скукоживаются, скалятся, огрызаются, но сдают назад: на полшага, на шаг.

Сашина мать вытянутым пальцем обводит их всех, как будто очерчивает им круг, за который те не могут ступить. Двое сморщиваются, спускают воздух, отступают назад, на лестничную клетку, только один остается в доме — старший, наверное.

Тяжело дышит, прячет пистолет, у Сашиной матери ее удостоверение берет из рук, как будто скорпиона — осторожно. Читает. Не читается ему — глаза соскальзывают с букв, он то и дело зыркает на Мишель, бешено. Ирина Антоновна сни-

мает телефон с насеста, протягивает ему — на, звони. У того вся морда пунцовая, он телефон отменяет, что-то переписывает себе из удостоверения в блокнот, Сашина мать презрительно наблюдает за ним: пиши-пиши.

Все записав, синий мундир козыряет им с ненавистью, бросает на Мишель прощальный взгляд, как будто фотоснимок делает, чтобы ее случайно не позабыть, и пропадает.

Сашин отец запирает за ним. Смерть, которую эти синие с улицы сюда с собой притащили, утекает постепенно следом за ними в дверную щель, как кровь в сток ванны.

Сашин отец тянется обнять жену, но та его осаживает. Поправляет волосы. Молчит. Смотрит на дверь. Потом кивает Мишель: иди за мной.

## 7

«Ничего не говори, пиши!» — Ирина Антоновна показывает на уши, обводит своим сухим длинным пальцем вокруг. Ясно?

Мишель трясет.

Она сама на себя неслышно орет, чтобы заставить себя: не проговориться, кинуть, заткнуться, не разреваться, не ударить эту суку. Сама завинчивает себя в стальной корсет, чтобы не развалиться, не растечься, не взорваться.

Они снова садятся рядом за стол, под прямым углом.

«Это за тобой приходили», — сообщает ей Сашина мать.

«Почему?»

«А сама не знаешь?»

«Потому что я враг народа?»

Ирина Антоновна заглядывает ей в глаза: ты правда такая дура, или цирк мне тут ломать решила? Но у Мишели нет другого объяснения.

«Что вы натворили?» — требуют от нее.

«Ничего. Но Юра заражен. Эти знают, что он заражен?»

«Никто ничего не знает. Тут нечего и знать», — твердо выводит Сашина мать.

«Вы должны знать! Хотя бы вы! Отчего ваш сын умер!»

Та вытягивает опять губы в нитку. Раздумывает. Кладет в кофе сахарный кубик. Давит его ложкой. Мешает целую вечность.

«Значит, так. Я тебя им не отдам. Останешься с нами. Будешь тут жить. Сделаем тебе новые документы. Отобьемся от них. Но про ересь свою забудь раз и навсегда, ясно? Ни про каких одержимых, ни про какое выкалывание перепонок, ни про какое безумие, ни слова про свой Ярославль никому никогда. Ты там не была. Забудь!»

Мишель таращится на нее непонимающе. Перечитывает сделанное на бумаге предложение.

«Как забыть?!»

«Этого ничего не было. Все ложь, клевета. Саша погиб на войне с мятежниками».

«Про это нельзя молчать! Мы не имеем права про это молчать! Он из-за этого же умер! Ваш сын! И другие умрут!»

Ирина Антоновна прочитывает ее писанину совершенно спокойно. Потом холодным пальцем гладит Мишель — задыхающуюся — по жаркой щеке.

«Это я его мать. Я его родила. Я его растила. Я воспитывала. Кому будет тяжелей молчать, мне или тебе?»

Глаза у нее зеленые. Лицо обездвижено. Морщин на лице нет почти. Она стучит ручкой по столу, потом дописывает:

«Но я буду молчать, и ты тоже будешь. Потому что иначе я тебя у них не вырву».

Мишель играет хлебными крошками на столе — строит их в линию, потом дробит эту линию на отрезки, потом сгребает все в кучу и снова разравнивает.

«Они там стоят! За Кольцевой. Они почти что уже в городе! Нельзя притворяться, что их нет!»

«Это не наше с тобой дело!» — Сашина мать сметает все ее крошки со стола.

«Надо людям сказать! От этого можно защититься! Надо просто уши выткнуть!»

«Ни в коем случае».

«Тогда Саша что, зря умер?!»

Ирина Антоновна откидывается на спинку. Сил, может, не остается у нее держать хребет прямо. Муж стоит над ней, читает все сверху. Кладет ей руки на плечи — и на сей раз она позволяет ему это сделать. Он присаживается рядом, берет ручку.

«Мы его предупреждали. Ира предупреждала, что нельзя. Просила отказаться от командировки. Он нас послал. Сказал, что мы параноики. Государь ему поручил, лично».

«Я знаю», — пишет Мишель. «Он мне говорил».

Ирина Антоновна качает головой — как будто в транс. Глаза сухие. Всегда сухие у нее глаза. Отбирает у мужа ручку, выдавливает синюю пасту на желтую бумагу:

«Он Сам Виноват».

Потом она начинает пририсовывать к прописным буквам вензелочки, к строчным — завитушечки. Мишель сидит и следит тупо, как буквы скрываются под

чернильным плющом, как распускаются на чернильных ветках чернильные цветы, как самозабвенно разрастается этот удивительный сад.

Нет сил.

Нет сил бороться, нет сил доказывать ничего никому, нет терпения на боль, нет смелости на смерть дальше глядеть, нет желания сопротивляться тем, кому больше надо. Остаться в этой квартире, остаться с этими людьми, привыкнуть к ним, поверить им. Жить с ними, сколько возможно, пока не выгонят.

Лечь. Вымыться и лечь в чистую постель.

Уснуть. Забыть.

Забыть бабу, забыть деда, забыть Сашу с раскroенным лбом, забыть заочневшего Егора, лежащего лицом в битые кирпичи, забыть, что он в темной камере с ней вслепую сделал, забыть про себя саму, что она внутри полая, забыть Лисицына на цепи, забыть казачий круг и человеческий ураган под Москвой, все это забыть, все вычеркнуть, все вырвать, все сжечь.

А что же ей тогда помнить?

Детство свое в Москве?

Вместо него: эти вот сокращения в записной книжке у Сашиной матери: «Ликв.» — все, что было, все ликвидировано.

Сгорели фотографии у нее в айфоне, Мишель собралась в Москву — восстанавливать их. Приехала: а прошлое тоже все в пепел сгорело. Дома-то стоят, они из камня же, а людей из старой жизни арестовали и сожгли.

Мишель вдыхает.

Выдыхает.

Отпускает.

— Можно мне, пожалуйста, помыться и еще одежду чистую?

## 8

Окна спальни выходят на Садовое кольцо.

Мишель — распаренная, розовая, ногти обрезаны, глядится в зеркало. Берет расческу, берет прядь, и с кончиков начинает распутывать размякшие блестящие волосы. Прочесывает прядь за прядью. Мебель в спальне богатая, обои с завитками и вензелями, потолок высокий, паркет не скрипит.

Не хочется смотреть на себя, и Мишель смотрит в окно.

Дома на Садовом все отремонтированы, многие окрашены наново. Окна вставлены, стекла блестят. Через широкую дорогу растянута гирлянда, фонари убраны еловыми венками, наряжены в позолоту. Людей с улицы вычистили, машины убрали. Вдоль дороги стоят полицейские, не дают народу запрудить проезжую часть.



Солнцу не хватило сил подняться в зенит: дошло до середины неба и стало клониться опять к горизонту. Перегорело, стало светить вполсилы. Заливает Москву червонным золотом; отсветы от него, как от растекающейся из вулкана лавы.

С края Садового — с края того, что из-за стекла своего Мишель может увидеть — что-то появляется. Заполняет понемногу эту приготовленную заранее пустоту. Густо втекает в обмелевшее русло.

Процессия. Люди в блестящих одеждах, несущие в руках... Кресты?

Волосы у Мишели спутаны, сваялись, спаялись грязью. Гребень не идет сквозь них, застревает. Мишель тянет его назло, досаждаст себе тупой болью, смотрит вниз на золото.

Да, эти люди внизу кресты несут. Много крестов. Куда им столько крестов? Как будто каждый из них идет сам себе могилу копать, и крест с собой тащит.

Кресты и еще иконы.

В голове процессии — могучие кресты и огромные иконы, по несколько человек тащат вместе: одному не справиться. Дальше — помельче.

Курятся кадила, а от людей пар поднимается, как будто все это золото, которое они на себя надели, на них плавится. Поют, что ли? Но расплавленное золото — только голова змея. За ней монахи какие-то в черном взялись вшестером за что-то — не то за таран, не то за гроб... И еще иконы... И еще кресты. А за монахами уже простые люди; но только, видно, не простые — в шубах поверх галстучных костюмов, в меховых треухах, в шерстяных пальто. И этих много, от них шея у змея черная, жирная, лоснящаяся. А дальше шагают синие шинели, и они несут... Несут громадный портрет первого царя, Михаила Геннадьевича. И все в тишине. В глухой совершенной тишине — а как же красиво, наверное, было бы, если бы слышать сейчас их пение! А за синими шинелями — серые. А уже за серыми — все подряд.

Какой-то праздник сегодня важный. Православный.

Поэтому звонили колокола.

Это о нем она читала в газете? К нему украсили город? И тут она сводит, сплетает вместе все концы: канонизация Михаила Первого, покойного царя, отца нынешнего государя. Зачисление в святые, или как там.

Мишель вспоминает отца, вспоминает мать, дядю с тетей. За что их?

Гребень совсем увяз в ее волосах, тонких и крепких, как речная тина. Мишель дергает его, дергает со всех сил — вырывает клоч, слезы брызжут из глаз. Она смотрит на гребень, ненавидит его.

Люди под окнами ползут степенно, торжественно. Народу не счесть — столько, наверное, что на все кольцо его хватит: так, чтобы опоясав город по Садовому, шествие позолоченной головой нагнало свой втягивающийся хвост.

Грязная одежда коровьей лепехой лежит на полу.

Мишель притрагивается к ней — вонючей, сальной, липкой.

Сначала натягивает холодные штаны. Потом заскорузлую футболку — жесткую как панцирь насекомого. Потом растянутый, на два размера больше нужно-го, свитер, весь в пятнах — кровь, рвота, слюна, дерьмо.

Осторожно открывает дверь, выскальзывает в прихожую. Шашины родители в кухне, свет там. Обувь своей Мишель найти не может — спрятали, что ли они ее? Тогда она выходит на лестничную клетку босой. Дверь прикрывает осторожно, не щелкая замками.

Спускается по холодным ступеням вниз.

На улице на нее набрасывается мороз. Лед жалит босые ступни. Мишель ныряет в ту же арку, в которой сгинул Юра. Медленно идти ей не хватает терпения, и она бросается бежать.

Выскакивает на Садовое.

Упирается в полицейский кордон, вязнет в нарядной толпе. Крестный марш шагает неостановимо по всем восьми полосам Садового, икона с царем уже где-то далеко впереди.

Мишель хочет опередить его, медленно бежит в толкучке мимо пузатых полицейских, толчками плывет через человеческую кашу, через всех недовольных, что их распикивают, что их от радости отвлекают. Люди, к которым она притронулась, отряхиваются, начинают ощупывать карманы — ничего ли она у них не своровала? Чертыхаются, матерят ее — но ей-то все равно, она-то глухая. Она-то неузвямая.

Наконец она добирается до головы. Над человеческими головами высится портрет царя. Одни устанут — другие на подмогу. Царь глядит вдаль, людишек не различает: они ниже уровня его глаз, он за горизонт смотрит.

Ноги у Мишели уже обморожены, лед больше не жжется, боль притупилась, но теперь часто подворачиваются стопы, потому что уже стали ей чужими; Мишель уговаривает их еще немного послужить, еще чуть-чуть поднажать.

Обгоняет.

Высматривает между полицейскими разрыв — и ныряет в него.

Из вязкого месива выпадает в пузырь, в пустоту — на расчищенное Садовое. Прямо перед седобородыми старцами, которые возглавляют шествие.

Мишель раскидывает руки в стороны и кричит изо всех сил им, и тем, кто за ними идет, и тем, кто идет за ними:

— Вы все погибнете! Здесь скоро одержимые будут! Они вас заразят! Безумием! Надо уши выткнуть! Выткните уши! Он не чудо совершил! Ваш царь! Он выпустил заразу! В войну! А сейчас она возвращается! Они уже в городе! Это не мятежники! Остановитесь! Вы меня слышите?!

Беззвучно кричит.

И старцы не останавливаются, и те, кто за ними, не замедляют шага — марш идет так, как шел, только полицейские бегут, придерживая шапки, к ней со всех сторон, а процессия движется невозмутимо, обтекает Мишель справа и слева, люди в золоте смотрят мимо, нарочно отворачиваются, и царь проплывает у нее над головой, не замечая ее.

Но она продолжает выкрикивать, орать, визжать, хрипеть — когда ее крутят синие шинели, когда ее тащат волоком по стылой земле, когда ее впихивают в автофургон — похожий на продуктовый, похожий на будку без окон, в котором она держала на цепи Юру.

Дверь захлопывается, наступает вечная темнота.

# Щелкунчик

## 1

Если бы не зима, не морозы, можно было думать, что это раскаты далекого грома долетают. В июле был бы это гром, и была бы Катя ему рада: представляла бы, что скоро дойдет гроза до душной Москвы, электрическими прочерками обнулит небо, прохладной водой промоет воздух, прибьет пыль, даст дышать. А сейчас, в декабре, это никак не может быть грозой.

Это артиллерийские залпы: третий день уже ухает на окраинах. Когда только началось, люди переглядывались с каждым раскатом. Теперь орудия бьют фоном, днем и ночью лупят — задают жизни новый ритм, и люди пушечную аранжировку слышать почти что перестали.

Сверчит дверной звонок: тиу-тиу-тиу-тиу...

На собачку закрыла дверь, вспоминает Катя. На оба замка и на собачку, хотя Таня и просила ее так не запираяться, чтобы она снаружи могла открыть. Но это раньше она просила: раньше у Кати такой крепкий сон был — не добудиться.

— Все аптеки обегала, нигде нет, представляешь? — тараторит раскрасневшаяся Танюша.

— Не нашла?

— Ну ты послушай. В четвертой только, которая уже напротив «Ритца», в подворотне там, знаешь? К Государственной думе ближе, ведомственная, что ли, у них — там нашла. И мне провизорша говорит: у нас теперь болеутоляющее только по паспорту.

— Почему?

— И я ей — почему? Она шепотом мне — потому что до них дошло наконец, отчего его так метут с прилавков. Ни анальгина, ни аспирина даже, ничего уже нет. Говорит, поняли, для чего народу болеутоляющее. Велели всех переписывать, кто спрашивает. С паспортными данными. Как паникеров.

— Да ладно! Но ты-то... — Катя заглядывает Танюше в глаза. — Ты-то ведь паспорт, адрес наш... Не сказала?

— Нет! — Танюша скидывает с полных плеч пальто. — Нет, конечно! Эта сучка крашенная из-под полы мне продала анальгин, пачку, за четыре цены. За че-ты-ре!

— Зато ты явки не сдала, — выдыхает Катя. — Ну и умница.

Таня идет руки мыть, Катя стоит у окна, слушает пушки. Выйдя из уборной, Танюша выкладывает бумажную аспириновую обойму с бледно-синими печатными буквами на стол и открывает буфет, где у них хранится коньяк.

— Давай не будем откладывать.

— Ты точно решилась? — спрашивает ее тревожно Катя. — Не-не, мне не нужно, мне танцевать же вечером.

— Я — точно, — говорит Таня. — Точно. Ты не будешь?

— Я же говорю тебе, я танцую. Сегодня премьеры. Какое?

— Ладно.

Она опрокидывает стопку, закусывает шоколадкой. Сразу за первой — вторую. Потом разрывает бумагу, выдавливает на пухлую свою ладонь анальгиновый кружок, подумав, давит еще один.

— Ты что, прямо сейчас, что ли, собралась? — испуганно спрашивает у нее Катя.

— Ну а когда? Надо с ходу, пока кураж не выдохся! — заявляет Танюша. — Пойдем в спальню.

Там у нее уже все готово. Кровать клеенкой застелена, иголки швейные разложены на марле, спирт медицинский. Пластмассовая лопатка с кухни — между зубов зажать, чтобы не прикусить язык.

— Ну и как? — Кате даже смотреть на весь этот инструментарий тошно.

— Ну как-как. Ревякина говорит, вот так вот... — Таня берет своими толстыми пальцами иголочку, сразу правильно: портниха же, и вводит осторожно иглу себе в ухо, показывает Кате, под каким углом нужно держать. — А потом тык туда, и все. Вот настолько примерно. И второе сразу. Говорит, анальгин, не анальгин, боль такая, что все равно отключаешься. Так что надо сразу второе, пока ничего не чувствуешь.

— Мне страшно, — тихо говорит Катя.

— А мне не страшно, что ли? — вздыхает Танюша. — Страшно будет, если бешеные сюда из-за МКАДа прорвутся. Вот тогда да, тогда будет страшно.

— Да это все ерунда, — неуверенно возражает Катя. — Про бешенство это и про уши... Это все провокация. Я спрашивала на работе, у нас заместитель ху-друка общается с людьми там... Ну, с кем надо. Рассмеялся мне в лицо.

— Ну и ладно. А в Театре Сатиры у нас даже билетерши-старухи себе уши по-вытыкали, даром, что и так глухие.

— Неужели наушники там просто нельзя какие-нибудь? Включить музыку и не слышать ничего?

— Люди говорят, нет. И эта блаженная так сказала. Ну и потом... Найдешь ты плеер, допустим. Будешь ходить. Но батарейка-то сядет однажды. Я уж лучше так. И билетерши тоже говорят...

— А билетерши что, неужели подтверждают, что это было?

Таня откупоривает склянку со спиртом, промокает марлечку — шибает резко — протирает иголки, передает их Кате.

— Кто ж тебе признается, — говорит она. — Я их спрашиваю: вы же в самом расцвете были тогда, если это все правда. Это же при вас все, на вашей памяти. Было это или нет, делал он это или не делал? Или с иконой это все правда? Они все отнекиваются, отнекиваются. А назавтра не выходят на работу. А на третий день в бинтах и глухие. Вот и все, Катюх.

Танюша ложится на постель, ложится на спину, голову на клеенку. Берет пластмассовую лопатку, которой они вчера картошку на сковороде переворачивали. Прикусывает ее, стискивает свои сахарные зубы, зажмуривается. Катя разглядывает блестящие иголки в своих руках, и совсем уже было собирается было сделать все, как Таня просила, как вдруг вспоминает.

— Погоди-погоди, Танюш, я сейчас... Я музыку включу только. А то вдруг ты... Ну, закричишь... Соседи еще догадаются... Я мигом.

— «Стромае» своего мне поставь, — просит Таня. — «Алёр он данс».

## 2

Схватили они Баласаняна или нет, убили они его или нет, бедного верного Баласаняна, доброго надежного Баласаняна, который всего-то на секунду замешкался, когда Лисицын попросил его контрразведку не извещать, когда попросил его везти в штаб, когда попросил его высадить их с девчонкой пораньше, разрешить дойти до Сашкиного дома, разрешить его родителям рассказать по-человечески, бедный глупый Баласанян, неужели они его убили за то, что Лисицын пристрелил этих сук в синих шинелях, неужели на Баласаняна повесят соучастие, измену, мятеж, может его и расстреляли уже, лежит холодный где-нибудь во рву — а Лисицын вот он, до сих пор живой, горячий, все еще прячется, все еще мечется, разве это справедливо, нет, не честно это, но выхода не было. Выхода не было, Вазгенчик, ты ж прости меня, прости меня, дурачок ты мой родной, доверчивый, бормочет Лисицын себе под нос, та если б я их не убил, они б убили меня, я же ж такое знаю, такое видел, что они пытаются из всех сил утаить, скрыть от Государя, даже когда уже скрывать это все становится невозможно, и это ж не бред, нет, это ж не мания, это же ж правда, правда, которую я тебе рассказать не успел, побоялся, что ты испугаешься, что ты доложишь на

меня, как и я бы, может, раньше на тебя сам доложил, если бы ты мне такое сказал — что заговор, что Государь окружен предателями, что своя же контрразведка ему изменяет, что Охранка предает, что его потчуют сказками о бунтовщиках, о восстании, а правду прячут, вымарывают, рвут на куски и жгут, потому что готовят что-то, потому что вызревает тут нарыв какой-то гнилостный, фиолетовый фурункул, и они — тссс, тссс... — никому о нем царю донести не позволяют: отловят, придушат или отравят, вот и вся недолга — потому что это же ж против царя заговор, против династии, против самой Родины, они же ж хотят, чтоб эти одержимые просто снесли и Государя, и столицу, и все страну, хотят вернуться на руины и руинами этими править, вот же ж что происходит. Звучит как бред, как шиза, но — нет, звучало бы так, если б не было этих синешинельных сук у Сашкиного подъезда, если б они Лисицына не выследили меньше, чем за час, если б не пришли его арестовывать — а ведь никто не доносил на него, некому было доносить, нарочно только в самый последний момент он сказал Баласаняну, куда они намылились, и вот они, из-под земли выскочили, из ниоткуда, и если б он не стал стрелять, если б он задумался, та хоть на секунду б замешкался — его б тут же повязали, а может, и кончили б на месте, сказали б — сопротивление при аресте, да и говорить ничего не стали бы, не перед кем оправдываться, Сурганов тогда в кабинете у Бури сидел, все они заодно, Сурганов же ж и его снаряжал в этот поход, ни словом не обмолвившись о том, что там Лисицына ждет, и Сашку Кригова они вот так же спровадили на смерть! Государь просит у них узнать, что там, за Волгой — а они знают уже, все давно все знают, а казаков на смерть одну партию за другой отправляют! Зачем?! Та только чтоб Государя успокоить, отвлечь: да-да-да, вы хотели возрождения, хотели земли предков отвоевывать — так вот мы, мы отвоевываем, хотели величие утраченное восстанавливать — а мы что, мы сразу под козырек, мы ж восстанавливаем, вот же ж ваши отборные части едут за реку, вот вами лично назначенные командиры ими и командуют, та все по плану, та не тревожьтесь, Ваше императорское величество, бляди вы ссученные, и сколько вас там было предателей среди тех, кто покойного Государя Михаила Геннадьевича икону по Садовому крестным ходом нес, кто хоругви держал и кресты, кто ковчеги тащил, кто гимны новому святому пел, а сам же против его сына, крови от его крови, плоти от его плоти, заговор плетет, среди золоченого духовенства, среди ж-жирных морд этих в мехах и в каракуле, среди чиновничьей падали, среди синешинельного конвоя, среди генералов и полковников, которые поближе к иконе пристроились, крестились, молились, а сами против Государя Аркадия Михайловича замыслиют, сами ж только ждут, пока фурункул прорвет, пока в Москву хлынет этот гной, чтобы чужими руками снести священную монархию, которая должна триста лет простоять, пятьсот лет, как цесаревич, невинная душа, понадеялся, которая тысячу лет должна стоять,

которая все растраченные, растерянные земли призвана собрать и к процветанию привести! Враги везде, повсюду, даже и среди тех, кто своими должен быть точно, Сашкины родители вот, отец его родной, как он такое мог вообще про покойного Государя, как мог такое помыслить, его же ж сын голову сложил, и он тут же, на костях его буквально скачет, обвиняет кого — святого, святого покровителя и защитника, чудотворца, а через Государя Михаила Геннадьевича и Аркадия Михайловича, и его детей, агнцев, выходит, в крови же ж хочет измазать и будущего императора Михаила Второго, и всю ихнюю стояновскую династию замарать, надо было врезать ему прямо там же, прямо об стол его наглой харей, девчонки постеснялся, на старика руку поднять постеснялся, на отца погибшего товарища, заслуженный ведь человек, врач, жизни спасает, жена у него вона тоже — архивист, и не простой же ж архивист, а заместитель директора архива, да, и не простого архива, а главного архива Охранного отделения, ну неужели ей-то вся правда не известна, как же ж она-то у себя в доме такую х-херню терпеть может, такую ересь, такой злобный навет, поклеп такой на монаршую семью, спрашивает себя Лисицын, раскачиваясь взад и вперед, сидя на полу, на полосатом в бурых пятнах матрасе, в брошенной чужой квартире с заколоченными окнами, в распадающемся доме с выбитой дверью, куда он бежал от гостеприимных Шашиных родителей, от синих жандармских шинелей, от глухой девчонки и от обреченного Баласаняна — пересидеть, переждать, пока на розыск махнут рукой, хотя бы несколько дней... И вдруг складывается все вместе: мать-то, мать в Охранке же ж служит, пусть и в архиве, та она ж и донесла, она же и настучала, когда звонить пошла, якобы, чтобы прояснить судьбу родителей Мишели, министерский у нее отец там или кто, куда пропал, пошла и сама запропастилась, якобы звонить в свой архив, а на деле вызывать опергруппу, пока папаша отвлекает гостей разговорами, говорит Лисицын, вот что произошло-то, Саш, оказались твои родители гнидами, я им пришел по-человечески сказать, что сын их был героем и что его не стало, что его предали и что зазря он погиб, что мог бы жив быть еще, если б не заговор, и что моих еще сто человек — сто человек! — не поубивало б, и поехали бы они живыми домой, к матерям, и все б было хорошо, если бы они правду не прятали, даже от своих собственных детей не прятали бы правду, если против Государя б не плели сетей, стукачи, мрази, и вот теперь Москва из-за них на волосок от гибели, от такой жути, которую и словами-то не выразишь, они же ж думают, что они пушками ее остановят, пулеметами, но это ж чума, против чумы ни пушки, ни пулеметы не действуют, ее же ж лечить надо, от нее лекарство нужно, а лекарства два: правда и глухота, и если б не нужда Государю правду донести, Лисицын бы себе сам уши давно уже выколлот, но тогда его застанут, подстерегут, окружат и загонят, а он, контуженный, беспомощный, даже и не почувствует их приближения. Но надо что-то делать, нельзя тут сидеть, три дня уже прячется, три ночи по ночам рыскает, объ-



едки по помойкам жрет, а время истекает, надо добыть уже наконец золотую печатку, с которой он прорвется и за Садовое, и за Бульварное кольцо, прорвется к Кате хотя бы, хотя б ее предупредит, ей объяснит, как спастись, повидает ее один последний раз, перед тем как все поставить на кон.

Катя, Катя, Катенок, как хорошо с ней было! — Лисицын гладит себя по голове как будто бы Катиной ладошкой. Вспоминает, как он ее в баре семками угощал, улыбается своей грубости и наивности.

Он шарит по карманам, и нашаривает там одинокую семечку. Шелушит ее дрожащими пальцами, разглядывает, вспоминает дом, вспоминает солнце, налитые им подсолнухи, теплый ростовский сентябрь, себя у отца на закорках, пасеку, ласковых пчел, которые ползают у него по рукам, сочащиеся соты, счастье размером с весь свет, мед, который он прямо с пальцев со своих тогда слизывал, отца, который смеялся над его детской нетерпеливой жадностью, трепал его по макушке, учил, как пчел не злить, как с ними разговаривать...

И отпускает.

Мед залечивает распоротую душу, высушивает гной, обеззараживает, сходятся рваные края, принимаются и срastaются обратно.

Лисицын поднимается, бредет по пустому чужому дому, исписанному крамолой и изрисованному непотребствами, под ногами хрустят шприцы и бутылочное стекло: похоже на покрытый коркой льда снежный наст. Между Садовым и Третьим заброшенных домов предостаточно: реставрация досюда пока не дотянулась, люди жмутся к Кремлю, от Кремля тепло идет.

Он выходит во двор, в котором вместо деревьев торчат обожженные коряги.

Голова у него совсем ясная, мать схлынула.

Ухают пушки. Смеркается уже; это хорошо и плохо. Хорошо, потому что в полумраке не так будет заметно патрулям, что Юра оброс и весь изгваздан. Плохо, потому что трудней будет разглядеть вожделенное золотое кольцо на пальце у жертвы.

Фонари горят только на Тверской — проулки все без света. Тут обитает разномастная шваль, которой свет глаза режет. Местные на лисицынскую шинель косятся, но вслух ему ничего не высказывают.

Он идет параллельно Тверской: завидит патруль и шагает в переулок, в тень. У него даже бронзовой печатки нет, с которой от Трешки до Садового можно поселиться. И воинских документов нету тоже. Выглядит как дезертир, да и является, по сути, дезертиром — от командования, от контрразведки сбежал, верен остался только лично Государю. Без Государева прощения ему конец, а погибать Лисицын не намерен.

В фонарном свете сверкает золотая печатка на пальце какого-то штатского субъекта в пальто с поднятым воротом и в рыжей ушанке. Лисицын пристраива-

ется за ним, перемещается вместе с ним из света в тень, отстает, чтоб тот ничего не заподозрил.

Штатский поворачивает от фонарей в сумеречный переулок с мерзнущими на сквозняках, но бодрящимися проститутками. Внутри Садового бордели держать запрещено, благолепие нарушают. Хлыщ примеривается к одной, к другой — но уличные все слишком пошарпанные, от них безнадегой пасет, весь аппетит ему перебивает. Они говорят ему что-то — он только отмахивается, руки в карманы — и дальше. Не показалась ли Лисицыну червонная печатка на пальце? Бронзовая ведь похоже блестит.

Вон субъект ныряет в подворотню, в бессветное марево — и Лисицын, ощеряясь внутреннее, дыша уже как перед броском, готовится повернуть за ним, но старая отчаянная шлюха, дежурящая у этой подворотни как часовой, хватает его за рукав, сипло шутит, чтобы он ее не чурался: он ветеран, и она ветеран... Он понимает, что этот сейчас услышит, обернется, испугается, вернется из тьмы в полумрак, на глаза к свидетелям, и все — и его уже не оприходовать. Лисицын стряхивает эту шмару полковую с локтя, но выходит слишком грубо, она принимается вопить; кончено? Однако штатский не слышит ничего, как будто он глухой, как тетерев на току — знай себе чешет туда, откуда ему, может, уже и не выйти. Лисицын швыряет старуху наземь, бросается в арку, нагоняет, топоча, человека с золотым кольцом, и, едва тени смыкаются совсем, бьет его в затылок. Раньше бы таким ударом он за раз его свалил, но теперь мышцы одрябли — только ушанку сбивает с головы.

Тот пошатывается, но удерживается — оборачивается удивленно. Голова у него бинтом замотана, на ушах бурые пятна. Правда, что, ли, оглох? Он открывает пасть, но Лисицын соображает быстро и валит его хуком в забинтованное ухо. Готов.

В подворотню заглядывает старая шмара, поднимает вой, Лисицын успевает сдернуть с пальца заветное кольцо за секунду до того, как из подвала выскакивают бордельные вышибалы.

Бросается в другую арку, слышит, как свистят ему в след, оскальзываясь на скверно сколотом льду, бежит — по Тверской, по переулкам — сердце колотится, волчий азарт его разгоняет, радость кровь горячит, добегают до укромного местечка, проверяет: червонное. Червонное!

Примеривает — слишком свободно. Пальцы у него тоже стали тонкие, ногти длинные, обгрызенные, под ногтями грязь. За печатку чуть человека не убил он этой рукой. Что стало с ним? Что с ним стало?

С ним что-то стало, что-то нехоршее.

Лисицын плюет себе в ладонь. Начинает тереть руки, пытаюсь счистить с них грязь. Но только еще хуже размазывает.

## 3

Кроме Мишели, в камере еще трое.

Старик с шелковым платком на шее — ей при виде этого старика на ум приходит выражение «седой как лунь», и она про себя зовет его лунем. С ним миниатюрная женщина, которая выглядит, как постаревший ребенок — вся сплетенная из жил, с удивительно хрупкими кистями и с мосластыми ступнями, с лицом одновременно красивым и отталкивающим. И еще высокий толстяк, порывистый, волнительный, постоянно протирающий свои очки.

Лунь со своей бабенкой уже живут в камере, когда у Мишели с головы снимают мешок. Толстяка подселают к ним через два дня после ее ареста. Он разговорчив и любопытен. Установив, что Мишель глухая, ради нее даже учится буквы по густому камерному воздуху чертить, такой сильный чувствует к ней интерес.

Узнал ее: на крестном ходе видел.

«Не смотри, что люди шли мимо. Кому надо, тот все слышал. Кто знает, о чем ты говорила, все поняли. Ты молодец, храбрая. Кто-то должен напомнить был им всем, как на самом деле было. Но люди ссут. Там впереди колонны министры, депутаты! Кто же признается! Они в первых рядах идут, как раз чтобы друг другу показать, что ни в чем не сомневаются! А ты им — правду-маточку!»

И рубит воздух своей жирной рукой, показывая, как Мишель здорово отделила на параде всех серьезных людей в шубах и золоте. Пишет, что арестован как раз за восторг, с которым потом пересказывал знакомым про ее акцию на крестном ходе: кто-то настучал. Но слухи-то пошли, успокаивает он Мишель — «Все было не зря, за такое и умереть можно!»

Но именно теперь ей очень хочется жить. Берутся откуда-то из ниоткуда силы и желание выбраться из этой камеры, снова воздухом московским подышать, пройтись по улицам, которые только из окна машины успела увидеть... Ведь вдруг ей удалось все это спасти? Пусть ее в начале не поняли, не приняли — но теперь-то разберутся.

А толстяк выспрашивает у нее — откуда она, из какого такого далека сюда пришла, что там с Ярославлем, что с Ростовом Великим, что в Королеве. Мишель отвечает в голос: лень по букве из воздуха выковыривать, многое нужно сообщить, пока хоть кто-то готов ее слушать. Рассказывает им про поезд из-за моста, про выжранный, обглоданный ярославский Пост, про казачий круг на ростовском вокзале, про домик под охраной собак на цепи, где чужие бабка с дедом им дали отдышаться... Только про Лисицына не говорит, а говорит так, как будто шла одна.

Толстяк слушает — жадно, мотает на ус.

А остальные двое — стараются не обращать внимания, как будто их за то, что они прислушаются к ней, какое-то еще наказание может ждать. Бабенка все же

иногда позыркивает недоверчиво; лунь в шелковом платке так глядит на Мишель, будто и без нее сам все знал. Их вообще мало что интересует, они слишком поглощены друг другом. Видно, что между ними взаимная ненависть, до иступления: цапаются они не переставая, старик несколько раз поднимает на женщину руку и придушивает ее даже, та еле отбивается, лягая его в промежность.

Старик бы, может, сбежал от нее куда-то, спрятался бы, но камера вся — четыре на четыре метра, прятаться друг от друга некуда. Кафельные стены, высокий потолок, под потолком зарешеченная лампочка, светит круглые сутки, в углу унитаз измызганный без крышки, в стене ржавый краник с водой. На вторые сутки уже они друг друга стесняться перестали, как скотина в стойле соседа не стыдится. Старикан в шелковом платке еще брезгливо отворачивается, а долговязый этот с брюхом подглядывает все и очки свои запотевшие натирает-наяривает.

Дверь камеры открывается, на пороге возникает тюремщик.

В руках у него белый конверт.

Старик-лунь вскидывается, ставит себя на ноги — с трудом: с каждой ночью на бетонном полу ему распрямляться все сложнее — и ковыляет, приосанившись и улыбаясь, к выходу, бормоча что-то, победно оглядываясь на сокамерников. Письмо ему пришло — ответ на послание, которое два дня назад кому-то отправлял через охрану.

Протягивает руку за конвертом и видит наконец, что за почту ему принесли. Это ровно тот же конверт, который он тогда посылал — распечатанный. Он недоуменно его раскрывает, ищет ответ — и находит его, видимо.

Мускулы его обвисают тряпками. Он спрашивает что-то у тюремщика, тот лыбится, качает головой, а потом вручает ему что-то — маленькое, блестящее.

Старик присматривается к передаче, покачивается, как будто голова закружилась, бросается на кряжистого тюремщика, тот шутя отталкивает его от себя, он опрокидывается, валится на пол. Блестящая штука летит ему вслед, планируя невесомо, приземляется рядом: опасная бритва.

Дверь закрывается, лунь остается сидеть на холодном полу. Конверт лежит по левую руку от него, бритва по правую. На конверте буквы — имя адресата, но Мишель не может их разобрать.

С тех пор, как старик сумел всучить этот конверт тюремщикам, он то и дело принимался возбужденно расхаживать по камере — то потирая руки, то волосы свои грязные ероша. Письмо он сочинял, заслоня бумагу ото всех спиной и подозрительно на них оглядываясь. Очень ждал ответа. И вот почему-то получил обратно свое письмо.

Девочка-старуха беззвучно хохочет над ним, он огрызается через плечо, замахивается на нее, но и замах у него теперь бессильный. Пока он писал, она его подначивала; пока он метался по клетке, ожидая ответа, она его обсмеивала. А теперь она, кажется, решила его и вовсе со свету сжить.

И бритва эта еще.

Мишель растерянно смотрит на женщину: зачем бритва? Та рада ей объяснить. Кивает на старика, проводит пальцем по горлу. И снова заливается неслышным хохотом.

#### 4

Генеральный прогон прошел хорошо, но не идеально. Мандраж перед премьерой у Кати жуткий. Все поставлено на кон: от того, как она сегодня выступит, жизнь повернется либо в одну, либо в другую сторону. Сказать честно, она, когда и Танюше уши дырявила, думала о том, как ей сцены боязно. Первая в жизни заглавная роль; ну и что, что осада, что пушки, что люди помешались и хотят оглохнуть — когда мама везла ее на «Щелкунчика» в тот самый памятный раз, в Москве тоже снаряды рвались. К снарядам привыкаешь, как и ко всему привыкаешь. Что ж, не жить теперь? Страшной опозориться. Как только Таня открывает снова глаза — не померла, значит, а крику-то было — Катя принимается одеваться.

Надо пораньше выйти, надо еще раз пройтись по партии в репетиционном зале, главные вещи повторить. Было бы чем успокоиться, она бы приняла, но успокоительного в аптеках тоже больше нет.

Зачем-то красит губы — все равно же потом будет грим! — когда звонок вдруг заходится своим уютным якобы верещанием.

— Тань! — кричит она; потом доходит — она же не слышит.

Неужели это все сейчас по-настоящему было? Всерьез, навсегда? Снова звонят. Катя спешит, на цыпочках летит к двери, заглядывает в глазок...

Господи.

Юра там стоит.

Как с того света вернулся. Заросший, худющий, под глазами черные круги, а сами глаза красные, шинель болтается, губы истресканы. Оглядывается вниз, вверх, снова тянется к звонку, тот опять тиу-тиу-тиу-тиу... Катя не может пошевелиться. Сердце застряло. Ладони вспотели. Потом тянется к замку, кладет на него пальцы, но не открывает и не дышит даже — вдруг он почувствует через дверь?

Тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу.

Ты же вроде умер, Юрочка, тебя же вроде убили, мне серьезные люди сказали, что тебя больше нет, зачем ты ожил, зачем ты сюда пришел, я тебя все равно уже предала, что мне теперь делать прикажешь? Снова тебя предать?

Тиу-тиу-тиу.

Слезы у него на глазах. Настоящие слезы — текут.

– Кто там?

– Это я, Катеночек, я, Юра, открой...

Шепчет.

– Юра?

Катя поворачивает замок.

Только приоткрывает дверь — он сразу в щель шмыгает, втискивается, как будто за ним там черти гонятся. Несет от него страшно, весь лоск казачий с него содран, да и сам он сокрушенный какой-то, как будто в аварию попал и ходит по инерции, а сам внутри весь переломан.

Обнимает Катю с такой силищей, что дышать ей не дает.

– Катя... Катенька.

Другие слова все забыл.

Стыдно как, как стыдно. За блядство, за то, что согласилась так легко его считать убитым, что она такой вот иудой оказалась. Вот он стоит: не вполне живой, недоубитый скорее, но живой все-таки.

– Юра... Мне нужно идти. Ты проходи... Душ прими... У нас вода горячая...

– Куда? Куда ты уходишь?

– На работу. Я танцую сегодня.

Он сперва смотрит на нее своим этим тоскливым влюбленным взглядом, как пес на хозяйку, потом осмысливает ее слова и хватается за запястье.

– погоди. Я тебе кое-что важное должен сказать. Не надо никуда ходить. Не надо... Там это... Там опасно.

– Ничего.

– Как же ж «ничего»?! Как «ничего»! Та послушай... Это как бред сейчас звучит... Я понимаю... Но тут скоро будет жесьть... Надо... Надо уши выколоть. Чтобы не подохнуть. Надо гвоздями там или... Или чем-нибудь. Та что ты так глядишь на меня, Кать? Что ты думаешь, что я... Кать!

– Я не думаю.

– Да? Правда? Тогда давай... Тогда прямо сейчас лучше... Или нет... Или давай сначала хоть поговорим... Я ж тебя столько... Я о тебе... Ты только наружу не ходи...

Катя осторожно высвобождает свою руку.

– Юр. Мне надо бежать, правда... Ты там... Еда в холодильнике...

– Ты не понимаешь! — горячится он. — Куда еще бежать?

– В театр. У меня спектакль сегодня, — спокойно, как пьяному, объясняет она.

– Нельзя туда!

– Это премьера, Юр. Это «Щелкунчик». Помнишь, я тебе говорила, что всегда мечтала танцевать партию Мари? Это главная роль. Мне дали главную роль, Юр.

– Та погоди... погоди ты со своей ролью... Там может в любой момент начаться! Надо уши себе... Там эти... Одержимые... Ты не веришь мне, что ли? — он снова хватается ее за руку.

– Верю. Таня выколола себе сегодня.

– Правда? Ну вот! Видишь? И тебе надо! Давай, я сделаю... Я ж аккуратненько...

– Нет! – она вырывается.

– Почему?

– У меня главная роль, слышишь ты или нет?! У меня главная роль! Как я глухая ее танцевать буду?! Ты с ума сошел?!

Юру начинает колотить озноб – лицо у него едет, руки свои он сцепляет перед собой, чтобы не тряслись.

– Пожалуйста... Это серьезно... Это очень серьезно...

– И я серьезно! И я, блядь, серьезно! Я от этого не откажусь, ясно?!

– Это ж танцы просто... А тут жизнь!

– Танцы? Иди на хуй, Юр! Откуда бы ты там ни пришел, иди на хуй!

Он отшатывается, давится словами. Сжимается, чернеет.

Она тогда сама берет его за руку.

– Послушай. Это премьера. Это Большой. Это «Щелкунчик»! Это то, о чем я... Там весь свет! Там Государь сам... Понимаешь? И у меня эта роль... Это ты, ты не понимаешь!

Юра сосредоточенно изучает носки своих сапогов – сапоги каши просят. Часы тикают все громче. Потом он отрывается наконец, поднимает лицо – какое-то другое выражение на нем.

– Государь там будет?

– Да!

Он стоит, открыв рот, облизывает губы, собирается с мыслями, и вдруг:

– Катя... Ты можешь меня туда провести?

– Куда?

– В Большой к себе. В театр. Сегодня. Сейчас.

Катя не успевает удержать ухмылку и стирает ее запоздало.

– Ну нет, Юр... Не сегодня... Надо нам тебя в порядок привести... Ты побудь тут, а я... Отдохни.

– Мне нужно туда. Мне очень туда нужно!

Теперь он пугает ее. Эти все его переломанные кости как будто срастаются обратно – и криво. Голос срывается на лязг, со скулежа песьего – на придавленное рычанье.

– Исключено. В таком виде...

– Мне нужно туда! Мне нужно его видеть!

– Кого?

– Государя! Мне нужно с ним встретиться!

– Ты рехнулся?!

— У меня донесение для него! Я только что вернулся оттуда! Оттуда, понимаешь?! Я должен его увидеть! А ты мне помочь должна! Должна!

От него жаром пышет, яростью, настоящим безумием. Катя оглядывается на телефон.

— Ладно. Ладно... Хорошо. Ты... Ты пойдешь, приведи себя в порядок, ладно? Умойся. Я подожду. Я хотела пораньше выйти, с запасом... Чтобы порепетировать еще. Но... Ладно. Иди. Успеем.

Юра верит ей как-то сразу, может быть, потому что очень хочет ей верить:

— Да? Правда?

— Правда.

Он скидывает свою шинель — она принимает ее — как будто бы просто помогает ему раздеться — как будто бы он просто вернулся с войны — как будто бы она его ждала — как будто бы рада видеть его, скучала, боялась за него и молилась — как будто их ждет нормальная жизнь.

А когда он, пошатываясь, бредет в ванную комнату, она присаживается рядом с телефонным аппаратом, и, дождаввшись, пока потечет вода, набирает записанный карандашиком на обоях телефон.

— Але. Ивана Олеговича можно? Он просил напрямую ему, если что. Ну вот, я... Да. Прямо сейчас. Все, я больше не могу говорить. Спасибо.

## 5

Очкастого выдергивают от них как-то совсем неожиданно, прямо посреди глухонемого разговора с Мишелью. Вместо двери возникает провал, в нем — двое тюремщиков, делают шаг внутрь камеры. Старик начинает кричать, бабенка его вжимается в угол, Мишель просто глядит остолбенело — что там дальше будет в этом сне?

А хватают долговязого. Очки с него слетают, он просит к ним вернуться, но охранник давит их сапогом в стеклянную крупу. Дверь они с такой яростью обрушивают, что Мишели кажется, будто она слышит грохот. И потом там, за закрытой дверью еще что-то творится такое, отчего старик и его женщина сереют и прижимаются друг к другу.

Потом они спорят неизвестно о чем.

И в конце этого спора старик начинает расстегивать свой пиджак — бархатный красивый пиджак бордового цвета; за пиджаком — рубашку, последним снимает с шеи шелковый платок. Под платком у него шея обвислая, складчатая, черепашья. В руке прямоугольник проблескивает.

Бабенка его, сообразив что-то, бросается на него, виснет на руках, он ее отталкивает, и пока она не успела его переупрямить, открывает себе бритвой руку.



Кровь выступает медленная, густая как ртуть, и он сечет еще раз — продольно. Баба разевает рот, вибрации по воздуху от ее вопля идут, Мишель смотрит на них как загипнотизированная, в безмолвии, как во сне, наблюдает это все; старик тоже как лунатик — макает в кровь палец и на стене размашисто выводит: «НЕ-ВИНОВЕН».

Потом он идет стучать в дверь, пачкает ее, ждет ответа — ответа нет. Кричит что-то туда, в мир за стеной, но там все глухо. Он тогда берет еще из себя красных чернил — теперь течет пободрее — и начинает писать на стене «ВСЕГДА БЫЛ И БУДУ ВЕРЕН», но закончить не успевает: покачивается, захмелев от кровопотери.

Женщина подсакивает, орет на Мишель — что та стоит, пялится?! — молотит кулачками в дверь, но никто не открывает — может, подглядывают за ними в глазок, подслушивают — но не отпирают. Кровь все течет, старик дрябнет на глазах, синеет. Мишель встряхивается, хочет высвободиться из немого морока, склоняется к нему — что надо делать? Руку перетянуть? — но пока бредет за рубашкой, пока рвет рукава на жгуты, пока пытается перетянуть плечо выше раны, у старика уже глаза закатываются, останавливаются. За дверью молчат, смотрят или уже не смотрят даже — скучно.

Бритва лежит справа от старика, письмо его слева. Черная лужа подползает к конверту. Женщинка подбирает его, чтобы не намок. Плачет. Ругается с дверью. Разговаривает со стариком. Отходит от него подальше, чтобы не испачкаться. Молчит. Раскрывает письмо. Читает. Хохочет. Подсакивает к Мишель, читает ей вслух. Вспоминает, что та не слышит, всучивает ей письмо. Садится на пол, обнимает колени. Старик лежит усталый, равнодушный.

Мишель раскрывает письмо.

Написано оно неразборчиво — впопыхах, навесу, с оглядками на сокамерников, но все же ей удается прочесть.

«Всемиловитый Государь, дорогой Аркаша,

Ты не помнишь, наверное, а я помню, как тебя на коленях качал, играли в «По кочкам, по кочкам, по ровной дорожке», и ты так забавно пугался, когда — «В ямку ух!», а потом сразу начинал хохотать. И сразу же просил покачать еще.

Ты знаешь, что я раньше нашим знакомством не злоупотреблял. Но тут произошла чудовищная ошибка. Меня взяли клятышевские каннибалы и держат в застенке. Я понимаю, чистки и все прочее, но я-то тут совершенно ни при чем! Я, в отличие от всех этих лизоблюдов, никогда себе не позволял ничего лишнего, да даже пьяный, даже с блядьми — никогда ни про тебя, ни про отца ничего плохого не говорил, потому что обожал и обожаю вас обоих всей душой и благодарен за то, как вы со мной обошлись.

Над тем, что ты его решил канонизировать, я тоже никогда не смеялся. Я понимаю прекрасно, зачем это нужно. Я знаю поименно и готов назвать всех людей в твоём окружении, и это, между прочим, твоего отца сослуживцы прежде всего, кто рассчитывал использовать ту историю с применением темной темы против него и против тебя. Я, как тогда, так и сейчас, считаю, что применение было оправдано, что делать это было нужно, потому что иначе страну было не удержать. Все зассали, а твой отец единственный решился.

Кто-то должен брать на себя ответственность, и он взял.

И короновал себя, не потому что хотел власти, а потому что кто-то должен был вытаскивать страну из дерьма. И все ведь получилось! И должно было сработать наверняка, и столько лет шло как по маслу. Ну, не рассчитали немного, да, не думали, что оно сохранится в каких-то очагах, что вернется, но это же не люди, нечего их жалеть. До того, как темная тема сработала, это были мятежники, а теперь стали звери. Пулеметами — значит, пулеметами, пушками — значит, пушками. Я вообще за то, чтобы травить их газом, если у нас еще где-нибудь он остался.

Я это тебе открыто говорю, ему говорил, и всем дармоедам этим говорил, которые ко мне подкатывали с тем, чтобы эту историю повернуть против тебя! А это было, было, ты не зря их подозреваешь! Пора это все пресечь, и пресечь самым жестким, сам решительным образом! Я всегда говорил, что это мера вынужденная, но необходимая, и не верь тем, кто на меня брехал, что я скучаю по границам. И что темная тема убила все наши диаспоры, дескать, русский мир уничтожила, я в этом никогда Мишу не обвинял! Что поделать, если она привязана к русскому языку, к нашей родной речи, ее на русском же и создавали... Ну, закрылись от нас эти гады, заблокировали нас, испугались «русского бешенства», и пусть, и хуй бы с ними, чего мы там на этом западе не выдывали! Я и тут твоего отца поддерживаю во всем — не видать бы нам нашего Золотого века, просто не решились бы мы в него вернуться, если бы они нас не заблокировали. Я никогда никому, повторяю, никогда, не говорил обратного. Никогда не жалел о блокаде. Если тебе кто-то настучал на меня по поводу моих журналов, книг, электроники — то это я не для себя, это для баб. А что касается табака там, алкоголя, жратвы — ты и сам должен знать, что их везет контрабандой Охранка, и сами же они, в том числе и великий славянофил Клятышев, балуют себя импортным в первую очередь, так что и тут с моей стороны никакого предательства нет.

И ты правильно с этой канонизацией, и правильно, что всех этих клоунов заставил нести портрет по Садовому и креститься на него, молиться на него, потому что этих паскуд только так можно заставить заткнуться. Твой отец — Святой, и все, что он сделал, свято, вот и весь разговор! Потому что от этих шепотков насчет геноцида, насчет преступлений против человечности, до переворота — всего один шаг.

Но я-то тут ни при чем! Я всегда был своим, всегда был твоим до мозга костей, я ни на что не претендовал, сибаритствовал помаленьку, поябывал балеринок, и, где меня просили, подвякивал, а где не просили, помалкивал. Я не знаю за собой ни одного преступления против тебя и твоего отца — ни делом, ни помыслом. Это может быть только клевета, только интриги тех, кто хотят порвать твою связь с прошлым, кто хочет получить над тобой власть. А я никогда ни на что не претендовал, Аркаша, и я прошу только одного — чтобы меня, жалкого старика, просто выпустили бы отсюда доживать свой век. Если я тебе глаза мозолю — убери меня из правительства, хочешь, я вообще из дома выходить не стану. Но я могу тебе еще послужить, и хорошо могу послужить! Я всех знаю, кто против тебя пиздел, и я всех назову, и очные ставки, если нужно, выдержу, и если ты процессы будешь делать, то я и на процессах свидетельствовать готов.

Ради моей дружбы с твоим отцом, не губи. Ради всего святого, пожалей. Я знаю, ты добрый человек. Ты и мальчиком был добрым, справедливым, светлым. Отпусти. Умоляю тебя. Пожалей. Ради Бога.

Твой, с надеждой

*Андрей Белоногов»*

А внизу в самом, другим почерком, приписка: «Сим дарую тебе свободу. А.»

## 6

Люди в форме входят к ним в дом неслышно, беззвучно спрашивают у Кати, где он. Грязными сапогами топчут паркет, на счет три вламываются в ванную, и через несколько секунд уже выволакивают Юру — голого, изодранного какого-то, ушибленного, с торчащими ребрами — и выталкивают его из квартиры, прежде чем он успеваает даже кинуть Кате прощальный взгляд.

Иван Олегович, который оставлял ей свой телефончик на случай, если Юра объявится, звонит, сердечно ее благодарит, заверяет, что все она сделала правильно и что поступила, как настоящая патриотка, обещает, что Юре они не навредят.

По лестнице его толкают голого, Катя выбегает с шинелью: оденьте! Не волнуйтесь, говорят ей. Разберемся.

Она не хотела звонить. Не верила, что он вернется. Иван Олегович не сказал ей, что Юра жив. Сказал — если вдруг. Главное — ему звонить, а не кому-либо еще. Но Катя не стала бы никому звонить, если бы Юра так не изменился, если бы он не завел этот странный разговор про императора, если бы не вцепился так в нее. Она бы тогда его пожалела, спрятала, отмыла бы и накормила, прежде чем... Расстаться.

Нет с того света возврата.

Она дает им время спустить его по лестнице и потом уже бегом выбегает — по нарядной Тверской, украшенной уже к Новому году гирляндами и хвойными венками, елочными игрушками и рубиновыми звездами, разноцветной иллюминацией, Дедами Морозами и Снегурочками; но на улице немногочисленно, хотя суббота, самое время для гуляний. Катки пустуют, запряженные тройками сани с бубенцами, к которым обычно выстраивается очередь чуть ли не в квартал длиною, сами теперь ждут в очереди праздных ездоков; лошади фыркают, тревожно прядают ушами, внимая далеким пушечным раскатам, ямщики неуверенно перешучиваются. Магазины открыты, но в витринах только реклама, полки заняты чем-то однообразным, малосъедобным — все смели накануне, хотя в газетах и сообщалось, что провизии городу хватит надолго и поводов для беспокойства нет.

Снег планирует огромными хлопьями, кружится в ауре уличных фонарей, танцует в завихрении проулочных сквозняков. Так много снега и так мало людей, что тротуары лежат белые, пушистые. Искорками снег переливается под ногами у Кати, голубыми, как в детстве. Она в белых валенках, сегодня без калош даже, сегодня чисто в Москве. Летит, как во сне, парит над землей, не оставляя за собой следов. И даже залпы артиллерии кажутся салютом. Хочется задрать голову, найти в снежном небе переливчатые конфетти фейерверков.

По Камергерскому срезает — мимо МХТ, мимо пустующих кафе, мимо зря нагретых бочек с глинтвейном, мимо пузатых городских, прохаживающихся вдоль сиротливых прилавков рождественского базара, не позволяющих торговцам разбежаться по щелям вслед за публикой. Не отпускают они домой и уличных музыкантов — скрипичный квартет, пиликающий мелодии из старых кино-сказок.

Большой оцеплен по периметру людьми в синих шинелях; стоят давно — погоны уже снегом припорошены, посторонних отсекают. Катя показывает караулу свой пропуск в театр, они еще паспорт просят — он, конечно, с собой — сверяют, расступаются, позволяют пройти.

Громадные афиши «Щелкунчика» вывешены на фасад как знамена, идут от ветра волной — и кажется, что трехэтажная Катя дышит и дрожит в объятиях трехэтажного Зарайского.

На служебном входе очередь — опять досмотр. Очередь целая выстроилась — балетные и оркестр вперемешку, шушукуются; движется медленно — в чем завоздка?

- Слух проверяют, — объясняет ей виолончелист.
- Что?
- Проверка, смотрят, чтобы среди персонала не было паникеров.
- В смысле?
- Ну если уши выколол себе, — шепчет ей виолончелист, — то все, капут.

— Но зачем нас-то проверять? — недоумевает Катя. — И нас, и вас? Это же абсурд! Мы-то как без слуха?

— Им вот объясни.

Внутри — в синих мундирах чуть ли не взвод: каждого артиста отводят в сторону, шепчут ему что-то с шагового расстояния, требуют угадать, что было сказано. Тем, кто отвечает неуверенно, в уши светят фонариком, убеждаются, что нет коросты.

Кате шепчут: «Четыре черненьких чумазеньких чертенка...»

Она вздрагивает — молодой лейтенант проверяет ее, развлекает ее так. Черные усики подкручены, глаза сверкают озорно, а на поясе кобура расстегнута.

— Это вы на афише? — спрашивает он. — Я вас узнал.

Заламывают руки и уводят куда-то уборщицу, которая не расслышала свою скороговорку.

— Да, — вежливо улыбается ему Катя. — Ужасная фотография!

— Да ладно! Отличная. Подпишете потом программку?

Она проходит в игольное ушко — и наконец встречается с остальными балетными в гардеробе.

— Предателей ищут, — шепчет ей Амбарцумян. — Кто барабанные перепонки себе выколол, тот, значит, поверил клевете на императора. Всей этой лабуде про русское бешенство, про то, что Михаил Первый устроил, ну, ты в курсе. Бред. Бред же?

Катя осторожно пожимает плечиками.

На разминке всем хочется знать ее мнение — и кордебалету, и Зарайскому. И гримерше, которая рисует ей огромные удивленные детские глаза, полнокровные губы, румянец на щеках. И Филиппову, который прохаживается вдоль построенных в шеренгу артистов, призывая их сегодня выступить так, как никогда в жизни они еще не выступали — потому что, да, время беспокойное, и именно сейчас так важно не поддаваться панике, и создать у публики ощущение праздника, и не позволить мятежникам запугать москвичей. Служба в театре неспроста зовется службой, говорит Филиппов, переваливаясь на своих окорочных ножичках, останавливаясь прямо напротив примы — напротив Кати.

— Это нас с солдатами роднит! — он закашливается сигарным дымом. — Они сейчас на посту, и мы на посту!

## 7

Лисицын ждут, что будут метелить, но его не бьют.

В воронке накидывают шинель, чтобы не мерз, везут недолго. Он пытается прикинуть: Лубянка? Лефортово? На Арбате вот военный трибунал сидит уже сто

лет как, это Лисицын знает, в обычном купеческом особнячке, тут судят и тут же могут шлепнуть, если есть срочность.

Но выводят в огромный двор круговой крепости-сталинки: кажется, бывшего Генштаба, дают только секунду поцеловаться со снегом и прячут от него небо, уволакивают в какие-то коридоры. Затылок щекочется, ждет пулю; но Лисицына выплевывает в комнату, которая для расстрелов не подходит — на полу ковер, диваны стоят, обои красивые. Лампа под зеленым абажуром. Стол, за столом сидит полковник Сурганов.

— Здравствуй, Лисицын.

— Иди сразу на хуй, Иван Олегович.

— Злишься на меня?

Лисицын дергается, но даже всего его бешенства не хватает, чтобы перебороть конвойных.

— Прости, что пришлось тебя голеньким брать. Времени рассушивать нет, сам понимаешь.

— Понимаю! Да ты не радуйся, морда твоя жирная, тебе же пизда первому и настанет! Им все эти ваши пушки до одного места! Один только сюда прорвется, один — и всему хана!

— Ну, первому-не первому...

Сурганов закуривает, ухмыляется. Предлагает и Лисицыну. Очень хочется дыма, но Лисицын качает головой.

— Доволен, да?! Сука ты продажная! Ты ж этого хотел?

— Но-но, — затягивается Сурганов своей папироской.

— Ты зачем пацанов на смерть послал? Почему не сказал мне, что там творится? Ты же знал! Знал же! Ради чего они... Ради чего Кригов Сашка?! Сука!

Лисицын срывается на визг, слезы у него из глаз брызжут.

— Все! Прекрати истерику! Ты офицер или ты баба?! — рявкает на него Сурганов. — Я тебя, как мог, предупреждал! И так тебя предупреждал, и сяк, и наперекосья!

— Ты ж мне ни слова не сказал про эту бесовскую молитву, или как это!

— А не слушать их говорил я тебе?! Кончить всех, кто в Ярославле выжил, говорил?!

— Та почему ж открытым текстом-то не сказал?! Мне твои эти намеки ста жизней стоили! Я их видел... Ты ж не видел их, а я видел!

Сурганов откидывается на спинку кресла.

— Я тоже в бинокль наблюдал. Так себе зрелище, согласен.

— Скоро и без бинокля все увидишь! Ты думаешь, они разбираться будут?! Камня на камне тут не останется! Думаешь, ты Государя свалишь их руками? И вас они всех пережрут, и друг друга потом!

— Вот ты какой тревожный, — хмыкает Сурганов. — А мы ведь и с тобой-то самим пока еще не разобрались. Как же так получилось, что все померли, а ты — тут? Как же ты не заразился?

— Как? — переспрашивает Лисицын; вопрос его выбивает из колеи. — Меня ж вырубил, я сознание потерял. Девчонка меня вытащила, невеста подьесаула Кригова. Не успел их послушаться... Ты что, меня в предатели решил, гад? Ты — меня — в предатели?!

— Охолопись. При чем тут предательство! Просто... Ведь если человек один раз этим заразится, — Сурганов заглядывает Лисицыну в глаза. — Он ведь обратно выздороветь не может?

Лисицын ныряет под лед, баламутит студеную воду, пытается заглянуть в себя. Почему-то от сургановского вопроса ему страшно, но почему, он не знает. Не видно дна. В мутной густой воде маленькими искринками, оборванной рыбьей чешуей, плавают картинки, которые сохранила его память. А остальное непроглядно.

— Нет.

— А ты, братец, всех убрал, как я тебе сказал?

— Всех.

— А невесту криговскую?

Лисицын моргает. Хватается за голову. Вспоминает: после каждого провала он у нее на руках в себя приходил.

— Ее — нет. Она... Она от Кригова беременна, я... Не смог.

— Эх, ты.

Сурганов качает головой разочарованно. Но Лисицын упорствует:

— Она глухая. Кто себе уши выкалывает, тот не заражается. Ну или если без сознания в этот момент... Когда эти рядом.

Полковник одну от другой прикуривает.

— Ну а как же тогда? Как просочилось?

— Господи! Да мало ли кто там с Ярославского поста зараженным на самом деле ушел! До того, как мы приехали! А ты знал ведь про это! Что ты стрелки-то переводить?

Он вскакивает, но на Сурганова не нападает. Тот смотрит на него с сомнением.

— Выслушаешь, Лисицын? Пообещай не буянить. Оставьте нас, ребята.

Полковник кладет на стол пистолет, конвой нехотя покидает комнату.

— Я тебя и голыми руками, если надо будет... — шипит Лисицын.

— Ты прав, — перебивает его Сурганов. — Я знал, что там будет.

— Почему не предупредил?! Ни меня, ни Кригова?!

— Потому что Государь Аркадий Михайлович в это не верит.

— Как не верит? Что значит — не верит?

Полковник поднимается из-за стола, приближается к Лисицыну. Выбивает из пачки папиросу, предлагает ему.

— Считает, что это клевета на его отца. Что никакой темной темы не было. Что было вот — чудо. Что не мог его отец использовать по гражданским, по мирному населению такое дело. А следовательно, не использовал. А следовательно, этого ничего не было.

Лисицын берет папиросу. Сидит голой задницей на холодной коже дивана, прикуривает у Сурганова. Спрашивает пересохшим ртом.

— А это было?

— Ты уж сам, дорогой ты мой человек, реши, было это или не было. Потому что те, кто говорят, что это было, считаются изменниками. Ты за себя сам реши, я тебе подсказывать не буду.

— Я все это своими глазами видел!

— И успел рассказать уже кому-то, раз за тобой из Охранки посылали. Еле сбежал, да?

Лисицын дергается — кивает. Глокает дым. Как хорошо, боже. И сразу ясность такая в уме, такая четкость.

— Почему тогда не придумать было... Оправдание?

— Потому что вокруг Государя есть людишки, которые под него стараются подкоп сделать. И под него, и под всю династию. Вот он и считает, что это они все выдумывают. Вы же, мол, своих собственных людей вот так, беспощадно, свой собственный народ, у вас же батюшка палач, вы же палаческих кровей, и династия у вас палаческая... Понимаешь, куда это все завести может, братец?

Лисицын садится прямо.

— Значит, заговор есть?

— Конечно, есть заговор.

Лисицын кивает: да, вот теперь похоже на правду.

— А разве он от отца не знал напрямую?

— Ну... Видимо, не знал. Ему тогда сколько было самому? Двадцати еще не было. Может, папаша планировал попозже рассказать, острую сердечную недостаточность не запланируешь. Ну и все. Так что теперь он чудотворец, и точка, и концы в воду.

Лисицын тушит окурок о кожаный диван, просит у Сурганова еще.

— Та вот же оно... Вот же ж оно пришло, вот под Москвой стоит. Вот-вот войдет...

Сурганов разводит руками.

— Нам он не верит. На прошлой неделе начальника военной разведки арестовали. Генерала Пахомова, знаешь? За то, что пытался его убедить. А верит Охранке, которая твердит ему, что это пятая колонна раззуживает. Говорит, что мятеж. И в газетах это же.

— Но ведь это было-то... Недавно, если так... Сколько людей еще живы, которые сами помнят... Лично. Неужели никто не скажет ему...

Сурганов усмехается невесело.



— Ну ты прямо как ребенок. Какая разница, кто там что помнит? Человеческая память, она, милый мой, на такие фокусы способна! Не хотят люди расстраивать Государя, кто же их осудит?

До Лисицына доходит наконец все, целиком.

— А меня... А нас он тогда с Криговым — зачем?

— Ну вот. Ровно для того, чтобы кто-то не продавшийся ему правду сказал. Свой кто-нибудь.

Лисицын и вторую папиросу уже обнуляет.

— Так вы, значит... Так вы с нами, Иван Олегович?

Тот кивает серьезно.

— Ну, то есть... — вскакивает Лисицын. — То есть, мне он мог бы поверить?

— Ну, то есть, на тебя только и вся надежда, подъесаул. Поздновато мы тебя отловили, правда. Долго ты прятался. Хорошо, хоть к Охранке в лапы не попал, а то бы мы тебя не выцарапали оттуда.

— И как быть?

— Вот это тоже вопрос. Военных он больше не слушает. Как генерала Пахомова взяли, так и нам отвечать императорская канцелярия перестала. Все через Охранку, через Клятышева, через Лопатко. А снаряды кончатся скорей, чем люди за МКАДом. Вот в чем беда. Ты хоть присел бы, брат, а то отсвечиваешь.

Лисицын запахивает смущенно шинель. И вдруг его пронзает:

— А если... Если в театре сегодня... Он же будет... В Большом. Я хотел и сам. У меня девушка балерина...

— Я знаю, — говорит Сурганов.

— Да... Ну... Вот туда. Вот там если бы подойти. И сказать. Что был, что видел, что единственный выжил, что вернулся. Он же меня сам посылал... Он же меня узнает.

Полковник Сурганов сцепляет руки, изучает их задумчиво.

— В Большом... Туда и нас смогут провести... Только вот узнать насчет... Дорогой ты мой человек... Тут уверенным быть нельзя. В таком-то виде... Ладно.

Он выглядывает за дверь, кричит:

— Овсянников! Поди сюда! Спроси там у вас дневального, человека постричь нужно! И форму казачью чистую! И живо! — он глядит на часы. — Там первое отделение уже начинается!

## 8

Черные лакированные лимузины один за другим подкатывают к Большому театру и с Петровки, и с Театрального проезда. Кавалеры в каракуле, дамы в мехах выходят из них, поднимаются по гранитным ступеням, где их ждут построены цепью встречающие в синих шинелях.

Могучее сооружение, задуманное и возведенное, как храм, высвечено в подступившей мгле прожекторами; на портике, который восемь могучих колонн подпирают, словно атланты — небо, Аполлон в колеснице, запряженной четверкой, мчит в перекрестье ослепительных лучей, вечно в шаге от бездны. Куда?

Пары покидают автомобили в торжественной тишине, шествуют молча по малолюдной сейчас площади — к храмовым ступеням. Посреди площади установлена циклопическая новогодняя елка — такого размера, какого в природе не существует, неживая: скроенная и сшитая из частей других срубленных елей. Устроенный вокруг нее новогодний каток, ледяное сердце Москвы, сейчас пустует.

Снег валит густо, совершенно заматывая следы только что ступивших по нему людей, будто спеша обнулить память о них на земле. Но новые машины продолжают прибывать, новые люди идут нескончаемым потоком к строгому рубленому зданию. Поднимаются по ступеням и пропадают. Кажется — как все они туда могут войти? Но театр грандиозен, он вместил бы, наверное, и всю Москву, и всю Московию, и всю старую Россию.

Однако приглашены сегодня только избранные. Пройдя внутрь, они сбрасывают с плеч верхнюю одежду: под мокрыми от снега шубами и пальто оказываются жемчуга и фракные пары; под безликими шинелями — парадные генеральские кители.

Гости сдают свою зимнюю оболочку в гардероб, и после каждый из них подвергается придирчивой проверке. Младшие офицеры в синих мундирах с блестящими пуговицами уважительно, но настойчиво отзывают каждую пару в сторонку и нашептывают приглашенным на ухо слова, которые те должны потом им повторить.

Проверка вызывает легкое замешательство. Кто-то из присутствующих туговат на ухо по причине преклонного возраста, кто-то считает ниже своего достоинства участвовать в этом странном ритуале: ведь среди них есть и герои Отечества, и высокие чины самых разных служб и ведомств. Некоторые по званию и должности сами могут отдавать проверяющим приказы — и видно, что эта процедура, которую они считают пустой и унижительной формальностью, застала их врасплох. Но подходят чины еще более высокие, дирижирующие этим действием, и убеждают сомневающихся. Объясняют доверительно: таково личное пожелание и требование Государя.

Кто-то думает избежать проверки и даже готов уйти с премьеры, но шубы и шинели уже сданы в гардероб, а двери работают только на вход. Тут и там возникает суета, даже и небольшие свалки: проверяющие обнаруживают среди приглашенных глухих, те пробуют сначала спрятать свой изъян, потом пытаются вы-

свободиться из крепких рук, некоторые даже ввязываются в потасовку, но их быстро усмиряют и уводят куда-то в бездонные недра театра, который в ходе последней реконструкции как раз был значительно расширен вглубь.

Впрочем, большая часть гостей слышит прекрасно: и потому что пришла сюда насладиться бессмертной музыкой великого Чайковского, и потому что была уже осведомлена о предстоящей экзаменации.

Буфет работает, и немного раскрасневшиеся дамы и их побледневшие кавалеры утоляют жажду холодным игристым. Здороваются сердечно с друзьями и осторожно с недругами, галантничают с чужими дамами и притворяются со своими.

А из зала уже долетают ранние отголоски оркестровой разминки, странное какофоническое зерно, из которой вырастет и распухнет вот-вот великолепный и причудливый цветок симфонии.

Ждут Государя.

Знают, что он появляется в Императорской ложе, лишь когда прочая публика уже расселась и утихомирилась, и все же крутят головами — а вдруг сегодня будет иначе? Это ведь особый вечер. Сегодня все тут по монаршему приглашению, и каждый понимает, что отказаться было нельзя, потому что прийти значило проявить присутствие духа, показать несгибаемость и бесстрашие перед лицом страшной опасности, которая нависла над Отечеством, а увильнуть — все равно, что обличить себя в позорном пораженьстве, на грани уже и с изменой.

Рассаживаются по своим местам: и правда, тут цвет нации. Немного только прорежены ряды проверкой на слух — но бреши заполняют собой синие офицеры, которых таким образом вознаградили за полезную службу.

Публика стихает... И тут занавес, которым была задернута императорская ложа, раздергивается в стороны. Шепот распространяется по залу, и волна вместе с ним расходится, как от порыва ветра по ржаному полю: каждый торопится обернуться. Девушки выворачивают свои лебединые шейки, генералы и министры поворачиваются всем корпусом, потому что их багровые заливки давно уже утратили подвижность; тысячи глаз устремлены в одну точку.

Государь сегодня во фраке, словно чтобы подчеркнуть, что не намерен поддаваться паническому осадному настроению. С ним рядом императрица, цесаревич и юная царица; наследник престола одет как отец, великая княжна — копия матери.

Зал рукоплещет им — сперва негромко, затем все решительней. Как будто ночной июльский дождь приходит тихим шелестом, но быстро перерастает в ливень, в потоп, который может заглушить человеческие голоса.

Каждый сомневающийся, что посещение театра, да еще и легкомысленного «Щелкунчика», в вечер, когда благоразумнее было бы остаться дома, оправдано,

видя тут все монаршее семейство, принимается корить себя за малодушие; каждый понимает теперь и смысл этой проверки в фойе: тут только избранные, только свои. Свои для Государя, свои для государства. А все, кто не был приглашен, все, кто был отсеян — чужие. И, восторженно аплодируя императору, они сердечно аплодируют и себе.

**9**

Катя сотни раз выходила на эту сцену, сотни раз видела этот зал перед собой — и пустым, и переполненным, рукоплещущим. И багряно-золотым, озаренным десятками люстр, главная из которых, невероятных размеров, способная, кажется, осветить всю Москву, парит в центре зала, отрицая законы тяготения. И почти темным, в отблесках волшебства, которое творилось на подмостках, отраженного в восторженных глазах смотрящих.

Но сама она каждый раз оставалась невидимкой. Человеческий глаз способен сфокусироваться лишь на одной точке, четко люди видят только крохотный фрагмент предстоящего перед ними полотна, размером с игольный укол. Остальное расплывается; и, когда на сцену выходит солистка, тысячи внимательных глаз обращаются только к ней. Движения кордебалета должны быть ничуть не менее отточены, за ними тоже стоят долгие годы изнурительной работы — но никто из зрителей не видит лиц этих артистов, их задача состоит лишь в том, чтобы двигаться синхронно, завораживая зал невероятной и неестественной для хаоса человеческого существования слаженностью. Одно исключение — дивертисмент: на короткое время исполнения своего собственного номера танцовщица кордебалета тоже может почувствовать себя дивой; но номера чередуются слишком быстро, их героев зритель не успевает толком запомнить. И только солистку ждут, обожают или ненавидят, знают — все. Только солистка может быть хотя бы на краткий миг уверена, что жила не зря.

И вот — после украшения елки, после марша оловянных солдатиков, после детского галопа, после танца заводных кукол и после демонического танца, Катя-Мари наконец отделяется от толпы. Прощается с кордебалетом. Сначала в лучах софитов остаются она, Дроссельмейер, Фриц и Щелкунчик; потом прочие отходят в тень, и вот она танцует со сломанным Щелкунчиком на руках; зал глаз не может от нее оторвать; вот звучит колыбельная и начинается волшебство...

Елка в гостиной вырастает до циклопических размеров — или это Катя уменьшается? Тряпичные куклы и оловянные солдатiki оживают; и сами уже верят в то, что живы. И вот начинает действовать самостоятельно — пока еще порывисто и угловато — сломанный и починенный Щелкунчик.

Когда он во главе войска оловянных солдатиков схватывается с полчищами мышей, Катя ясно слышит, как испуганно ахают дети — единственные дети в всем огромном зале — в императорской ложе. И как они радостно смеются, когда Катя-Мари кидается в Мышиного короля своей тувелькой... Оттуда же, знает Катя, на нее смотрят внимательно и другие глаза. И теперь, когда в этой ложе смеются и восхищаются ею, ей, а не Антониной, она тоже готова умиляться и восхищаться теми, кто там сидит.

Крысы повержены. Сердце колотится. В теле необычайная легкость. Все дается ей невероятно просто и точно, она не ошибается ни в едином движении, преобразившийся в сказочного принца-Зарайского Щелкунчик оживает теперь по настоящему, и у Кати от этого превращения неживого в живое у самой мурашки по коже, как в детстве, бегут.

Зарайский ведет ее по зимнему лесу, вокруг вихряются в театральных сквозняках снежинки: Калинкина, Труш, Лялина, Смородченко, Киршенбаум, Воронина, Касымова, две Никишовых, Непейвода, Небылицкая, Стон и Амбарцумян, и еще одиннадцать других балерин, прекрасных и безвестных. Зарайский подымает Катю на руки — очень похоже на кадр, который был на приснопамятной афише «Антонина Рублева — прима Императорского балета».

Зал взрывается овациями.

Зажигается свет; император рукоплещет стоя, Катя видит это сразу.

Она счастлива.

## 10

Это похоже на спецоперацию. Автомобили контрразведки подкатывают к черному ходу, где их встречает человек, одетый в мундир Охранного отделения, но честь отдающий Сурганову.

— Надо быстрее! Антракт заканчивается! — шепчет он громко.

— Император остался на второе отделение? — спрашивает полковник.

— Так точно.

Лисицын в чьей-то парадной форме, наспех обкорнанный, бежит по пустым коридорам, лампочки под потолком тускло вспыхивают и пропадают, синий мундир показывает дорогу, Сурганов в шаге позади. На миг Лисицын забывает, где он, ему кажется, что это не Большого театра подвалы, а ростовского поста.

И заодно та комната перед глазами встает, где дети, как щенята, друг на друге спали. Лисицын трясет головой, выгоняет их вон. Не помнил же их, долго не вспоминал, к чему это сейчас?

Выбегают к лестнице; по ней вверх-вверх, утыкаются в караульного. Синий мундир начинает что-то ему объяснять, но Сурганов просто в морду ему коротко лепит своим мясницким ссаженным кулаком. Тот опрокидывается, не шевелится.

— Надо успеть до конца антракта, иначе двери закроют!

Вспоминает дальше: как казаки несли детей по коридору, как пришли будить Мишель и этого пацана, как комендант ростовского поста потребовал у них больше никого не расстреливать, как поехали хмурым утром на дрезине куда подальше, чтобы штатских на посту залпами не смущать. Как поставили коменданта и его сына к стенке. Как один у другого кляп зубами достал. А потом что было? Не помнит. Многого не помнит.

Вот оказываются в фойе, выскакивают из какой-то служебной дверки. Там опять Охранка, следит за тем, чтобы все, кто у буфетов задержался, зашел в зал. Оттуда уже аплодисменты — начинается. Просыпается оркестр.

Их останавливают в дверях: билеты нужны.

Билеты Сурганову передали, но корешки в них не оборваны. Лейтенант зовет капитана, тот подбегает заранее настороженный. Смотрит подозрительно в билеты, требует, чтобы и одного, и другого проверили. Обоих обыскивают тщательно, потом Лисицына манят: наклонись.

Тот наклоняется, ему шепчут в ухо, щекочась усами:

— Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись.

— Мороз и солнце, — ошарашенно повторяет за ним Лисицын. — День чудесный. Зачем это?

— Чтобы знать, что у вас уши не выколоты. Что вы не из тех, кто во всю эту ересь верит.

У него уши не выколоты, думает Лисицын. И у коменданта ярославского поста уши тоже целы были. У всех там были выколоты уши, а у него — целы. Все слышал, только вот не помнил ничего. А может быть такое, чтобы человек сначала обернулся, а потом обратно нормальным стал?

— Пошли! — дергает его за руку Сурганов. — Что застрял?

Лисицын встряхивается: нет, с ним-то ничего такого быть не может! Он-то сам точно нормальный!

Входят в зал, там уже меркнут люстры... Оркестр вступает...

— Туда!

До императорской ложи — полсотни шагов. Лисицын идет по рядам, по ногам, люди вскрикивают, шипят, бранятся. Когда Государя уже можно увидеть, на пути у Лисицына, как чертики на пружинках, выпрыгивают телохранители.

— Ваше Императорское... Всемиловитый государь!

В руках у них какие-то нерусские маленькие пистолеты — еще шаг и выстрелят.

– Государь! Это я! Подъесаул Лисицын! Вы меня в экспедицию! В Ярославль! Я назад! Единственный! Только что! Сразу сюда! Доложить! Не терпит! – кричит Лисицын, пока охрана отталкивает его, заваливает, вяжет руки. – Кригова Александра еще! За Волгу! Я нашел! Я узнал!

Оркестр смолкает. По залу идет ропот.

– Свет дайте! – орет охрана.

– Я вернулся оттуда, из-за МКАДа... Вы же меня лично, Всемиловый Государь! Лисицын! Я с донесением...

Люстра разгорается вновь.

– Ну-ка, покажите его... – слышится вдруг голос из императорской ложи.

Лисицына, руки за спину, ведут. Зрители в штатском раздвигаются, позволяют ему предстать перед Государем.

– Да... Он. Ладно, подъесаул. Давай после. Тут у нас праздник, как бы... Потом его ко мне... – произносит сверху, со своего полуторного этажа, из своего эркера, император. – После.

– Ваше императорское... Это не терпит! – кричит Лисицын. – Надо людей спасать! Там, под Москвой... Они все одержимые! Это как болезнь, только словами заражает! Это было какое-то секретное оружие наше... Мы против мятежников его... А оно вот теперь обратно... Надо срочно меры! Надо уши выкалывать! Это пушками не решить! Они прорвутся!

Тысячный зал молчит, обомлев. Громадная люстра под потолком спит как солнце. Стены вокруг все красные, как та стена, по которой расстрелянный комендант спиной сползал. Золото дешевое, как фольга на старушечьих иконах. Император стоит во весь рост, дети его выглядывают справа и слева из-за ограды, как будто из окопа. Охрана ждет слова, чтобы свернуть Лисицыну шею.

– Это ложь! – произносит Государь. – Это клевета.

– Я клянусь вам, Всемиловый... Я сам, я своими глазами! Я оттуда, я видел, как оно людей заражает!

Государь взрывается.

– Это подлое вранье! Ты продался! Я тебя как сына... Доверил... А ты – продался!

– Я вам верен! Только вам! До гроба! Ваше... Я клянусь!

– Лжешь! Лжешь! – вопит император.

– Это есть! И оно сюда идет! И тут будет!

Зал безмолвствует. Выламывают руки, насаждают, начинают душить, чувствуя, что царь не хочет больше говорить. Темнеет в глазах. Кончается воздух.

– Этого нет! Не смей клеветать на моего отца! Этого – ничего – не было!

– Я клянусь вам! Там было это! Люди в зверей от этого превращались! Друг другу сначала говорили что-то, а потом глотки рвали! Головы рубили! Там кровь





Оркестр начинает заново играть «Королевство сладостей», это первое после антракта, но люстра все еще горит, и в ее жарком свете видно, как Император, сведенный судорогой, поднимает на руки испуганного плачущего цесаревича и перекивая трубы, возглашает:

– Вот это было и это будет на тысячу лет!

И вдруг с размаху головой бьет его об угол, расплескивая красное, и еще раз повторяет, и снова, истошно вопит мать мальчика, а Государь хватается великую княжну, которая от ужаса остолбенела, и вдавливая пальцами ей глаза внутрь. Катя делает шаг, другой, кордебалет пытается начать танец, но не может глаз отвести от того, что творится в зале, в оркестровой яме еще ничего не видно, и оркестр продолжает наяривать, люди вскакивают с мест, начинается давка, двери закрыты, Государь продолжает визжать, и спустя всего несколько секунд через испуганный хор толпы, через крики боли и мольбы дать воздуха, прорастает что-то иное, жуткое, нечеловеческое.

Этот темный вал докатывается скоро и до сцены, и до оркестра, который все играет и играет, как ему было приказано, но тут начинает сбиваться, начинают из него выпадать инструменты, вместо них утробные голоса и визги вступают, усиливаются, пока полностью не заменяют собой музыку.

Катя танцует, пока не валится с ног.

КОНЕЦ

## ЭПИЛОГ

Мишель не знает, сколько времени прошло.

Лампочка под потолком давно погасла — и слава богу. Она привыкла уже к мысли, что умрет тут. Конец света наступил, это ей ясно. Она предупреждала их, что это случится, но ее никто не слушал. И вот теперь слушать некому.

Дышать нечем из-за князя. После того, как он себя разрезал, к ним в камеру больше никто не заходил. Хорошо, что отопление тоже отключилось, и только вода почему-то капает еще потихоньку.

Мишель истаяла, сил вставать нет, голова не своя. В ней один только Ярославль, один только дом — самое настоящее, что было с Мишелью в этой жизни. Бабушка читает ей своего Есенина и молится за здоровье ее с Сашей ребенка, дед учит стрелять из старого «Макарова», Егор кается, играет ей на своей гитаре.

В проблесках другого мира смотрит на нее из своего угла камеры балерина — распухшая, расчеловечившаяся, обожравшаяся мяса. Она умирать не собирается, у нее какие-то дела и после конца света есть. А Мишель постится, поэтому к земле уже почти не привязана, она плывет уже, плывет по какой-то реке, на берегах которой стоят знакомые полужнакомые люди, машут ей. Впереди, кажется, водопад, но это и хорошо. Хочется ускориться и прыгнуть в бурлящую пропасть. И когда она прыгает уже и летит, дверь открывается.

Светят фонариками внутрь, затыкают себе нос, находят живых, радуются. Балерина встает сама, бритва все еще в руке зажата, важный инструмент. Мишель эти люди поднимают на ноги, она слабовата, чтобы самой идти. Балерина что-то спрашивает у них, они показывают ей — не слышат, глухие.

От свежего воздуха Мишель теряет сознание. Ее растирают снегом, приводят в себя. Вокруг такие же спасенные заморыши, как она сама. Солнечный морозный день. Глаза болят нестерпимо. Широкая площадь пуста. Кружат вороны в небе.

Дома стоят серые, как скалы. Улицы пустые.

К Мишель подходит кто-то, показывает другим на нее пальцем и падает перед ней на колени. Показывает другим. Им тоже отчего-то радостно и тревожно ее видеть. Они пишут ей веточкой на снегу: «Блаженная Мишель».

Мишель смотрит на них ошарашенно: чего хотят?

Ей кое-как объясняют — ты же хотела людей спасти? О тебе слава идет. Как ты людям правду донести хотела. Как ты себя не жалела. Как пострадала. Как сгинула в застенке. И вот мы тебя нашли.

Она отнекивается, отмахивается, но ее поднимают на руки, укутывают, несут. Несут куда-то по улице, дают надышаться, наглядеться на небо, а потом заносят под крышу. Опять темнеет в глазах, и долго-долго не светает. Потом, наконец, просыпается. Ее поят чем-то терпким, наваристым — она ныряет и выныривает — окрепшая.

В церкви она.

Вокруг люди — смотрят на нее с обожанием, крестятся истово. Тянутся поцеловать ей руки. Она оглядывается все еще удивленно, ее ведут куда-то ласково, но настойчиво. Все вокруг глухие. Все пишут по воздуху буквами, перебивая друг друга руками. Подводят ее к иконе.

Икона старая, расколотая, покрытая сусальным золотом.

На иконе — красивый человек с крыльями, печальными глазами и длинными кудрями. Глаза у него печальные, но в руке меч. По золоту человек нарисован черным.

«Михаил-Архангел!» — объясняют ей. «Твой покровитель!»

«Почему?» — недоумевает Мишель.

«Ну как же! А имя-то у тебя какое! В честь него ведь!»

Она не знает, как ей правильно тут быть. Кивает. Тогда ее просят: помолись. Помолись за себя и за всех нас, сколько нас тут осталось.

Михаил-Архангел глядит на нее невесело, внимательно. Мишель в который раз пробует — перекреститься, произнести про себя эти слова, попросить невидимое существо, которое к ней всегда было равнодушно, ее защитить, спасти, простить.

Пальцы горстью собирает.

Поднимает руку ко лбу.

Опускает к лону.

Ведет к сердцу.

И грудь перечеркивает слева направо.

Все?

И вдруг внутри нее что-то переворачивается. Она глядит на себя... А у нее — живот. Большой живот. Как это? Как это? Кажется? Она кладет руку поверх.

В животе что-то толкается. Кто-то толкается. Живой.

## **Дмитрий Глуховский**

Она ахает, падает на колени. Слезы льются сами. Горячим щеки заливает. Она крестится еще раз — теперь вот искренне, выбегает на улицу... Там уже весна. Там уже почки на деревьях набухли, уже пахнет живым теплом, и солнце не холодное, зимнее, а ласковое весеннее солнышко. Сколько же времени она спала?

Мишель поднимает голову... Смотрит на колокольню. Там работает глухой звонарь, там ходит бронзовый маятник, отмеряя время.

Она слышит. Слышит! Слышит малиновый колокольный перезвон.

А ее уже снова поднимают на руки, и несут, и ведут — из монастыря на бульвары, и там ставят во главе шествия, которое уже идет, наугад, нестройно распевая, держа в руках кресты и иконы Христа и Богородицы, по Бульварному кольцу. И Мишель понимает, что ей удалось спасти многих, потому что народищу тут тьма, довольно, чтобы опоясать все бульвары и замкнуть круг.

# Содержание

## Часть I

Эта сторона .....	9
Та сторона .....	25
По душам .....	46
Дары .....	64
Не видали креста .....	83
Наползает тьма .....	104
Пробуждение .....	127
Из ниоткуда в никуда .....	148
Черная гать .....	172
Все ОК .....	190

## Часть II

Кресты .....	219
Предложение .....	237
Живой .....	257
Встреча .....	277
Обращение .....	296
Мари .....	311
Шихрур .....	340
Мишка .....	363
Кресты .....	384
Щелкунчик .....	408
ЭПИЛОГ .....	438